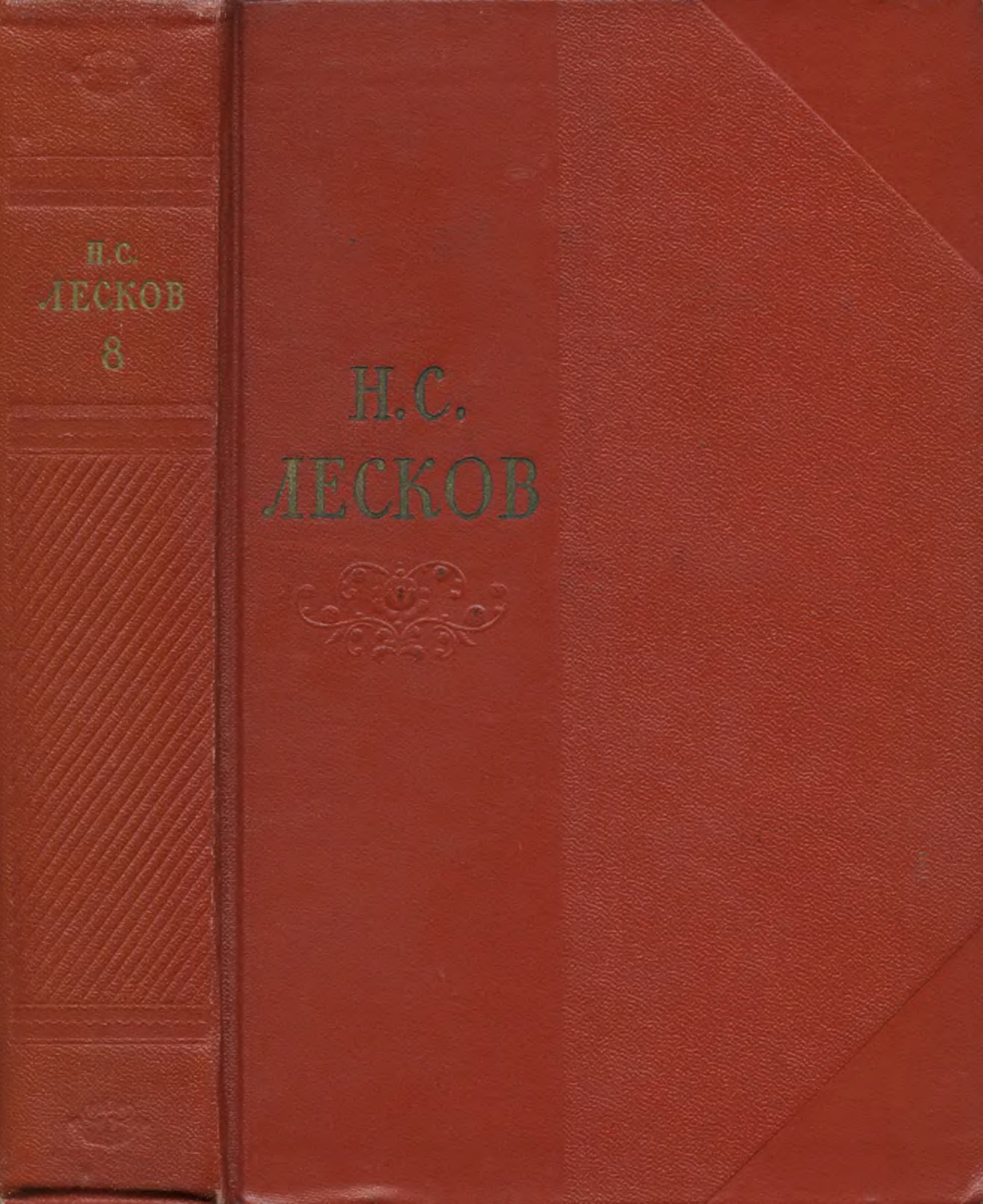


Н.С.
ЛЕСКОВ
8
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,

А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,

Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ВОСЬМОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста и примечания
А. И. БАТЮТО

ПУГАЛО

У страха большие глаза.
Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от «маленького собора». Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстилался большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка — Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их с рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастия, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я — дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

— Другое дело, — говорила няня, — если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенною крышею. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей «на кулигах».[1] Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья — совершенно седой старик с пребольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под

---

[1] Кулига — место, где срублены и выжжены деревья, чищоба, пережога. *(Прим. автора.)*

скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, — он заготовлял на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

— *Он* меня любит. *Он*, если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, — он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, — он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все молодшие люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и «водяным дедкой» действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьезности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах — то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени

у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: «черт с тобой — понюхай!» и при этом открыл тавлинку, — то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство — слух — обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, — вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, — я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для

меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

— Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, — говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты — принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

— Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то — прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, «на разновилье», то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракитами «екатерининского насаждения», вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит взапусте.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе — самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую

горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где *никто* никогда не останавливался, и жил «пустой дворник» Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Повесть «пустого дворника» Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, — а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, — потому что «бог плута метит». Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла «отслужившийся палач», по имени Борька, и сказано было ему: «Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько», — и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, — хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся па-

лачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах — его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

«Но дитя! — думал он. — Дитя не виновато в моих грехах, — кто-нибудь пожалеет дитя».

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девчонку... Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах — это никому не было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «бесчеревная», то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в середине» у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать «самым легким манером». Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается *без черева* и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палач, очевидно, знал этакое слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удается морочить правоверных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастию, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидала у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла в чем дело и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, — ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то, что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятель-

ство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван.

Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор «на разновилье», и говорит, что с ним было несчастие: ехал он, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.

Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.

Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

— Я должен тебя осчастливить, — сказал он Селивану, — у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нем сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него местились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Он отвечал:

— Это моя жена.
— Из каких она мест родом?
Селиван кротко отвечал:
— Из божьих.
— Чем она больна?
— Ногами недужна.
— А отчего она так недужает?
Селиван, насупясь, буркнул:
— От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, — молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека всё жили здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда *никогда* не заглядывал *ни один* проезжающий и не кормил здесь своих лошадей *ни один* обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, — рано или поздно, но непременно. Селиван нахо-

дился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на свое окошко, и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, — про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

— Сова летит, лунь плывет — ничего не видно: буря, метель и... ночь матка — все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лунь плывет», а понимал я только одно, что Селиван — это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться... Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я «дома, в хоромах, никому про Селивана не сказывал». По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них

произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусали ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частию назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозванию «Шибаёнок». Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек — Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки — Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську — этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унизительные поручения, как-то: чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Сели-

вану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслися жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет».

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски — *куры)* целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачник, к его счастию, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем как оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуску. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению, он и при такой

ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда «ку-ка-реку!» Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «ку-ка-реку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормошить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастию, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решился предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка — очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже била лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, что хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь «ку-ка-реку!» Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: «Э, брат, врешь — не уйдешь», и с этим, недолго думая, так ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвым. По несчастию, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человеческий образ. Он, сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийтись от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну

преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, — Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, — его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежевысмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Роською и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я,

несмотря на все, что о нем слышал, — питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся — и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все свои сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям, и очень любил о нем думать; и обыкновенно, чуть я начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрятано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убегали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целию я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что

я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленый липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность — вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвесть над ним самая скорая Аннушка Шибаёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклеванье воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось

страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностию; но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что ни в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руковождение нами — в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных — было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская — Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в «приказные», или, по-нынешнему говоря, в писцы — в орловское губернское правление, где

служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади «нарочным» на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастия и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: «Девушка крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную — «Под вечер осенью ненастной», и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, — он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее — здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей «легконосной Пулхерии».

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс,— именно, продекламировать оду, написанную «Легконос-

ной Пулхерии», перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к «Легконосице» были такие восклицания: «О ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестивал, с большим угощением. Кажется, все это делалось «на шереметевский счет», как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме

орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой — страх от ужасных стихов... Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которою все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно — я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаёнок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана — говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевает последний снег, а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланою лошадью. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадью я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью.

Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распашу ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель», а ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и опрашивали:

— Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

— Идем Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно — старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю.

— Фуй, чтоб тебе пусто было! — закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностию, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом...

Это несчастие с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда негодны: покрывшие их грязь и яйца совсем их попортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами.

Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, — особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, — дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерею обоза, но и утратою всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой рантовой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склонясь головою под кустик, жарко молился богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги

молнии — они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастию, нас обвили две черные жилистые руки — и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

— Эх вы, глупые ребятки, куда залезли!

И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но — чудное дело — черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, — борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

— Вы того... ничего... не пужайтесь...

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

— Ничего; сейчас большой дождь пойдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребятишки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! — заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

— Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, — сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, — отчего грязь не убавилась, а только получила растушовку в другую сторону.

— Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... и в грязи черевички[1] спадут.

— Умеете ли верхом ездить? — заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

— Умею.

— А умеешь, то и ладно! — молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата — на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замокла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

— Ничем вы ему не обязаны, — говорили нам наши охранительницы, — а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам *Селиван!*

---

[1] Башмаки — по-орловски черевички. *(Прим. автора.)*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы бедной жизни их родных и друзей на деревне и учились *жалеть народ*. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостию, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех *пугалом*. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, — он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал

вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и... с перерезанным горлом, из которого лилась кровь...

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было и перепугаться и закричать, — как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже *видели* убитую...

— Иначе, — говорили они, — мы разве бы так испугались?

И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь... Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновенье ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом *с осени,* а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась... Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику — и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету

в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.

Это мы тоже *все видели.*

Но как бы то ни было, мы нашими россказнями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении: все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усвоивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, — к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в *старинном веницейском кольце* был *«таусинный камень»,* с

которым к человеку «никакая беда неприступна».[1] У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня — Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.

Тетушка была в раздумье: пережидать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно — лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не

---

[1] Т а у с и н н ы й к а м е н ь, или таусень — светлый сафир с оттенком *павлиньего пера,* в старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по-старинному, в «напалке». «Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень *таусень,* а в том муть и как бы пузырина зрится». *(Прим. автора.)*

хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как бы вдруг недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами — это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленною скоростию к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, — они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте — Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу дол-

жно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бо́чить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадкам, мы были обрадованы восклицанием:

— Вот Селиванкин лес завиднелся.

— Далеко он? — спросила тетушка.

— Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало — мы ехали от Кром уже около часа, но прошло еще добрых полчаса — мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

— Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

— Где же лес? — переспрашивает тетушка, — проехали мы его, что ли?

— Нет, еще не проезжали, — глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

— Да что же это значит?

Молчание.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от устали. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

— Где ты? — спросила тетушка сошедшего Бориса. Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропушило снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, *кажется,* сбились.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на ко́зла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

— Спиридона нет на козлах!

— Как нет! где же он?

— Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.

— О господи! Нет, не надо, — не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился другой снеговой столб, еще более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый снегом и обмерзлый.

— Где же ты видел лес, Спиридон?

— Видел, сударыня.

— Где же он теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «необсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет, но... только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

— Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки злодея Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению дере-

венская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги... Там бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо,

а в вытянутой к нам руке держит фонарь... Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше — замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но... в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

— Отогреться что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

— Да, мы замерзаем... Спаси нас!

— Пусть бог спасет! Въезжайте — изба топлена.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке.

Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со сто-

роны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

— Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли *другие* проезжие?

— Взойдешь — увидишь, — отвечал Селиван.

Няня проговорила:

— Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

— Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь, — все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

— Прежде всего, — сказала она Селивану, — принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

— Вот свечка.

— Нет, ты дай новую, целую!

— Новую, целую? — переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другой о шкатулку.

— Давай поскорей новую, целую свечку.

— Зачем тебе целую?

— Это не твое дело — я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет — мы поедем.

— Буря не пройдет.

— Ну все равно — я тебе за свечку заплачу.

— Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.

— Нет у нас, матушка, свечечки.

— Кто это говорит? — спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.

— Что она, больна, что ли?

— Больна.

— Чем?

— Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова — но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, — этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер

станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновенье, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновенье вспомнил все — кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, — и мне стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли — к нам ломятся.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох... кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками... Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери...

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распах-

нувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана...

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

— Матушка! Бог спас, — хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

— Скорее, скорей вон отсюда, — заговорила тетушка. — Где наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать... А этот разбойник... бог спас, матушка! — лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мóчи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, — сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер

и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывесть, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стоила по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге — не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, — могли напасть волки... Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго — все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет... Вершник слезет, чтобы взять

за повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая... Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, — он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенного омета.

Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

— Вот это прекрасно, — сказала тетушка, — исправник теперь всех нужнее.

— Да! он барин хватский, — он Селивашке задаст! — подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мой отец и исправник были поражены тем, что̀ мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати, о деньгах. При упоминании о них, тетушка сейчас же воскликнула:

— Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке — словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь — в руках Селивана... Или... может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, не мало... Могла у него быть и подъемная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою...

— Ну, вот оно и есть! — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. — Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

— Да боже мой! мы были все в таком страхе! — стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вам верю, — говорил исправник, — вам было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда... Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет

скрывать... А впрочем — теперь у него в руках есть деньги... он может делиться... Надо спешить... Народ ведь шельма... Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли... Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные...

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

— Все, все как было!

— Сохранно... — тихо молвил Селиван. — Я все бёг за вами... хотел догнать... не сдужал... Простите, что сижу перед вами... задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

— Возьми что тебе дают, — сказал исправник.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

— А то как же? Разве надо не честно?

— Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.

— Утаить чужое!.. — Селиван покачал головою и добавил: — Мне не надо чужого.

— Но ведь ты беден — возьми это себе на поправку! — ласкала его тетушка.

— Возьми, возьми, — убеждал его мой отец. — Ты имеешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

— Что такой за закон, — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. — Чужою бедою не разживешься... Не надо! — прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запречь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкою поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки.

Он брал все вежливо, но неохотно и говорил:

— На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать... пошел доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался *пугалом?*»

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое... Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромыслений — хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

— Ты очень счастлив; твоя душа в день рождества была — как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение — пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, — ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение — как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружав-

ших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что как у всех было подозрение — не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения — с другой, — и всем казалось, что все они — враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, всё-таки думал, что у него есть какая-то *тайна*, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача.

Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись.

Так, каждый, кто называл Селивана «пугалом», в гораздо большей мере сам был для него «пугалом».

ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ

Нет ничего увлекательнее порыва горячего чувства.

Берсье.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В дружественном мне доме с нетерпением ожидали получения февральской книги московского журнала «Мысль». Нетерпение это понятно, потому что должен был появиться новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого. Я заходил к моим друзьям почаще, чтобы встретить ожидаемое произведение нашего великого художника и прочитать его вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы. Подобно мне, заходили и другие из коротких друзей — всё с одною и тою же самою целью. И вот желанная книжка пришла, но рассказа Толстого в ней не было: маленький розовый билетик объяснял, что рассказ не может быть напечатан. Все огорчились, и всяк это выразил соответственно своему характеру и темпераменту: кто молча надулся и насупился, кто заговорил в раздражительном тоне, иные проводили параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым настоящим и воображаемым будущим. А я в это время молча перелистывал книгу и пробегал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского — одного из немногих литературных собратий наших, который не разрывает связей с жизненною правдою, не лжет и не притворствует ради угодничества так называемым направлениям. От этого беседовать с ним всегда приятно и очень нередко — даже полезно.

На этот раз г. Успенский писал о своей встрече и разговоре с пожилою дамою, которая припоминала перед ним недавнее прошлое и замечала, что тогда мужчины были *интереснее*. С виду они были очень форменны, ходили в узких мундирах, а между тем имели много одушевления, сердечного жара, благородства и занимательности — словом, того, что делает человека *интересным* и через что он нравится. Нынче, по замечанию дамы, этого стало меньше, да порою и совсем не встречается. По профессиям мужчины теперь стали свободнее и одеваются как хотят и разные большие идеи имеют, а при всем том они стереотипны, они скучны и неинтересны.

Замечания пожилой дамы мне показались очень верными, и я предложил оставить тщетные кручины о том, чего читать не можем, и прочесть то, что предлагает г. Успенский. Предложение мое было принято, и рассказ г. Успенского всем показался справедливым. Пошли воспоминания и сравнения. Нашлось несколько человек, знавших лично недавно скончавшегося грузного генерала Ростислава Андреевича Фадеева; стали припоминать, сколько необыкновенного, живого интереса умел он являть своею особою, которая с виду была так мешковата и ничего будто не обещала. Вспомнили, как он даже под старость легко бывало овладевал вниманием самых умных и милых женщин, и ни одному из молодых и цветущих здоровьем щеголей никогда не удавалось взять перед ним первенство.

— Эко вы вещь какую указали! — отозвался на мои слова собеседник, который был всех в компании постарше и отличался наблюдательностию. — Велико ли дело такому умному человеку, как был покойный Фадеев, заполонить себе внимание *умной* женщины! Умным женщинам, батюшка, жутко. Их, во-первых, на свете очень немного, а во-вторых — как они больше других понимают, то они больше и страдают и рады встрече с настоящим умным человеком. Тут simile simili curatur[1] или gaudet[2] — не знаю, как лучше сказать: «подобное подобному радуется». Нет, и вы и дама, с которою беседовал наш приятный писатель, берете очень свысока: вы вы-

---

[1] Подобное подобным лечится *(лат.)*.
[2] Радуется *(лат.)*.

ставляете людей отличных дарований, а по-моему более замечательно, что и гораздо пониже, в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, «интересные мужчинки». И дамы, ими занятые, тоже были не из таких избранниц, которые способны «преклоняться» перед умом и талантом, а тоже, бывало, и такие, в своем роде, особы средней руки — очень бывали нежны и чувствительны. Как в глубоких водах, была в них своя скрытая теплота. Вот эти-то средние люди, по-моему, еще чуднее, чем те, которые подходили к типу лермонтовских героев, в которых в самом деле ведь нельзя же было не влюбляться.

— А вы знаете какой-нибудь пример такого рода интересных средних людей с скрытою теплотою глубоких вод?

— Да, знаю.

— Так вот и рассказывайте, и пусть это будет нам хоть каким-нибудь возмещением за то, что мы лишены удовольствия читать Толстого.

— Ну, «возмещением» мой рассказ не будет, а для времяпровождения я вам расскажу одну старую историйку из самого невеликого армейско-дворянского быта.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я служил в кавалерии. Стояли мы в Т. губернии, расположившись по разным деревням, но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями — был в нем театр, клуб дворянский и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти бо́льшую половину ее номеров. Одни нанимали офицеры, которые имели постоянное пребывание в городе, а другие номера содержались для временно прибывающих из деревенских стоянок, и эти никому из посторонних людей не передавались, а так и шли все «под офицеров». Одни съезжают, а другие на их место приезжают — так и назывались «офицерскими».

Времяпровождение было, разумеется, — картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных.

Игра велась порою очень большая — особенно зимою и во время выборов. Играли не в клубе, а у себя в «номерах» — чтобы свободнее, без сюртуков и нараспашку, — и зачастую проводили за этим занятием дни и ночи. Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить нельзя было, и отсюда вы сами, верно, можете заключить, что́ мы за народ были о ту пору и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менее — и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом — хорошему среди нас поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то с приезжими помещиками — людьми такого же серьезного настроения, как мы сами, а в антрактах пили да приказных били, увозили да назад привозили купчих и актерок.

Общество самое пустое и забубенное, в котором молодые спешили равняться со старшими и все равно не представляли в своих особах ничего умного и достойного уважения.

Об отменной чести и благородстве тоже ни разговоров, ни рацей никогда не было. Ходили все по форме и вели себя по заведенному обыкновению — тонули в оргиях и в охлаждении души и сердца ко всему нежному, высокому и серьезному. А между тем *скрытая теплота,* присущая глубоким водам, была и оказалась на нашем мелководье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Командир полка был у нас довольно уже пожилой — очень честный и бравый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, — «без приятностей для нежного пола». Ему было лет пятьдесят с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, в Т. опять овдовел и снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя этакое незначительное, и под кадриль тому — все в ней было такое же совершенно незначитель-

ное. Среднего роста, средней полноты, ни хороша, ни дурна, белокуренькие волосики, голубые глазки, губки аленькие, зубки беленькие, круглолица, белолица, на румяных щечках по ямочке — словом, особа не вдохновительная, а именно, что называется, — «стариковское утешение».

Познакомился с нею наш командир в собрании через ее брата, который служил у нас же корнетом, и через него же сделал ее родителям и предложение.

Просто это делалось — по-товарищески. Пригласил офицера к себе в кабинет и говорит:

— Послушайте — на меня ваша достойная сестра произвела самое приятное впечатление, но вы знаете — в мои года и при моем положении мне получить отказ будет очень неприятно, а мы с вами как солдаты — люди свои, и я вашей откровенностию, какова бы она ни была, нимало не обижусь... В случае — если хорошо, то хорошо, а если пожелают мне отказать, то боже меня сохрани от мысли, чтобы я стал иметь к вам через то какую-нибудь личность, но вы узнайте...

Тот так же просто отвечает:

— Извольте — узнаю.

— Очень благодарен.

— Могу ли, — говорит, — я для этой надобности отлучиться от своей части домой на три или четыре дня?

— Сделайте милость — хоть на неделю.

— И не позволите ли, — говорит, — поехать со мною и моему двоюродному брату?

Брат двоюродный у него был почти такой же, как он, молоденький, розовый юноша, которого все за его юность и девственную свежесть так и называли «Саша-розан». Особенного описания ни один из этих молодых людей не заслуживает, потому что ни в одном из них ничего замечательного и выдающегося не было.

Командир замечает корнету:

— Для чего же вам нужен ваш двоюродный брат при таком семейном вопросе?

А тот отвечает, что именно при семейном-то вопросе он и нужен.

— Я, — говорит, — с отцом и с матерью должен буду разговаривать, а он в это время займется с сестрою и отвлечет ее внимание, пока я улажу дело с родителями.

Командир отвечает:

— Что же — в таком разе поезжайте оба с вашим двоюродным братом, — я его увольняю.

Корнеты поехали, и миссия их вышла вполне благоуспешна. Через несколько дней родной брат возвращается и говорит командиру:

— Если вам угодно, можете моим родителям написать или сделать ваше предложение словесно — отказа не будет.

— Ну, а как, — спрашивает, — сама ваша сестра?

— И сестра, — отвечает, — согласна.

— Но как она... то есть... рада этому или не рада?

— Ничего-с.

— Ну, однако... по крайней мере — довольна она или больше недовольна?

— По правде доложить, она ничего почти не обнаруживала. Говорит: «Как вам, папаша и мамаша, угодно — я вам повинуюсь».

— Ну да, это прекрасно, что она так говорит и повинуется, но ведь по лицу, в глазах, без слов девушку можно заметить, какое у нее выражение.

Офицер извиняется, что он, как брат, к лицу своей сестры очень привык и за выражением ее глаз не следил, так что ничего на этот счет определенного сказать не может.

— Ну, а двоюродный ваш брат мог заметить — вы могли с ним об этом говорить на обратном пути?

— Нет, — отвечает, — мы об этом не говорили, потому что я спешил исполнить ваше поручение и вернулся один, а его оставил у своих и вот имею честь представить от него рапорт о болезни, так как он захворал, и мы послали дать знать его отцу и матери.

— А-а! А что же с ним такое сделалось?

— Внезапный обморок и головокружение.

— Вон какая девичья немочь. Хорошо-с. Я вас очень благодарю, и так как теперь мы почти как родные, то прошу вас — останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоем пообедать.

И за обедом все нет-нет да его о кузене и спросит — что он и как в их доме принят, и опять — при каких обстоятельствах с ним сделался обморок. А сам все молодого человека вином поит, и очень его подпоил, так что

тот если бы имел в чем проговориться, то наверно бы проговорился; но ничего такого, к счастию, не было, и командир скоро на Анне Николаевне женился, мы все на свадьбе были и мед-вино пили, а оба корнета — родной брат и кузен — были даже у невесты шаферами, и ничего не было заметно ни за кем — ни сучка, ни занозочки. Молодые люди по-прежнему кутили, а новая наша полковница скоро начала авантажнеть в турнюре, и особые желания у нее являлись во вкусе. Командир этим радовался, мы все, кто чем мог, старались споспешествовать ее капризцам, а молодые люди — ее брат с кузеном — в особенности. Бывало, то за тем, то за другим так тройки в Москву и скачут, чтобы доставить ей что-либо желанное. И вкусы у нее, помню, всё сказывались не избранные, всё к вещам простым, но которых не всегда отыщешь: то султанского финика ей захочется, то ореховой халвы греческой — словом, все простое и детское, как и сама она глядела детенком. Наконец настал и час воли божией, а их супружеской радости, и из Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Как сейчас помню, что приехала эта дама в город во время звона к вечерне, и мы еще посмеялись: «Вот, мол, фараонскую бабу со звоном встречают! Что-то за радость через нее будет?» И ждем этого, точно это в самом деле какое-нибудь общее полковое дело. А тем временем является неожиданное происшествие.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Если вы читали у Брет-Гарта, как какие-то малопутящие люди в американской пустыне были со скуки заинтересованы рождением ребенка совершенно постороннею им женщиною, то вы не станете удивляться, что мы, офицеры, кутилы и тоже беспутники, все внимательно занялись тем, что бог дарует дитя нашей молоденькой полковнице. Вдруг это почему-то получило в наших глазах такое общественное значение, что мы даже распорядились отпировать появление на свет новорожденного и с этою целью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего, а сами — чтобы не заскучать — сели

под вечерний звон «резаться», или, как тогда говорилось, «трудиться для польз императорского воспитательного дома».

Повторяю, что это было у нас и занятие, и обыкновение, и работа, и самое лучшее средство, которое мы знали для того, чтобы преодолевать свое скучание. И нынче это производилось точно так же, как и всегда: заначалили бдение старшие, ротмистры и штаб-ротмистры с пробивающеюся сединою на висках и усах. Они сели именно как раз, когда в городе звонили к вечерне и горожане, низко раскланиваясь друг с другом, тянулись в церкви исповедоваться, так как описываемое мною событие происходило в пятницу на шестой неделе великого поста.

Ротмистры посмотрели на этих добрых христиан, поглядели и вслед акушерке, а потом с солдатскою простотою пожелали всем им удачи и счастия, какое кому надобится, и, спустив в большом номере оконные шторы из зеленого коленкора, зажгли канделябры и пошли метать «направо, налево».

Молодежь же еще сделала несколько концов по улицам и, проходя мимо купеческих домов, перемигнулась с купеческими дочками, а потом, при сгустившихся сумерках, тоже явилась к канделябрам.

Я отлично помню этот вечер, как он стоял и по ту и по другую сторону опущенных штор. На дворе было превосходно. Светлый мартовский день сгас румяным закатом, и все оттаявшее на угреве опять подкрепилось, — стало свежо, а в воздухе все-таки повевало весенним запахом, и сверху слышались жаворонки. Церкви были полуосвещены, и из них тихо выходили поодиночке сложившие свои грехи исповедники. Тихо, поодиночке же брели они, ни с кем не говоря, по домам и исчезали, храня глубокое молчание. На всех на них была одна забота, чтобы ничем себя не развлечь и не лишиться водворившихся в их душах мира и безмятежности.

Тишина разом скоро стала во всем городе — и без того, впрочем, нешумном. Запирались ворота, за заборами послышалось дергание собачьих цепей по веревкам; заперлись маленькие трактиры, и только у занимаемой нами гостиницы вертелись два «живейные» извозчика, поджидавшие, что они нам на что-нибудь понадобятся.

В эту пору вдалеке, по подмерзшему накату большой улицы, застучали большие дорожные троечные сани, и к гостинице подъехал незнакомый рослый господин в медвежьей шубе с длинными рукавами и спросил: «Есть номер?»

Это случилось как раз в то время, как я и еще двое из молодых офицеров подходили к подъезду гостиницы после обхода дозором окошек, в которых имели обыкновение показываться нам недоступные купеческие барышни.

Мы слышали, как приезжий спросил себе номер и как вышедший к нему старший коридорный Марко назвал его «Августом Матвеичем», поздравил его с счастливым возвращением, а потом отвечал на его вопрос:

— Не смею, сударь Август Матвеич, солгать вашей милости, что номера нет. Номерок есть-с, но только я опасаюсь — останетесь ли вы им, сударь, довольны?

— А что такое? — спросил приезжий, — нечистый воздух или клопы?

— Никак нет — нечистоты, изволите знать, мы не держим, а только у нас очень много офицеров стоят...

— Что же — шумят, что ли?

— Н... н... да-с, знаете — холостежь, — ходят, свищут... Чтобы вы после не гневались и неудовольствия на нас бы не положили, потому как мы их ведь утихомирить не можем.

— Ну вот — еще бы вы смели сами офицеров усмирять! После этого на что бы уже и на свете жить... Но, я думаю, с усталости переночевать можно.

— Оно точно, можно, но только я хотел, чтобы вперед это вашей милости объяснить, а то, разумеется, можно-с. Затем позволите брать чемодан и подушки?

— Бери, братец, бери. Я от самой Москвы не останавливался и так спать хочу, что никакого шума не боюсь — мне никто не помешает.

Лакей повел помещать гостя, а мы проследовали в главный номер — эскадронного ротмистра, где шла игра, в которой теперь принимала участие уже вся наша компания, кроме полковницына кузена Саши, который жаловался на какое-то нездоровье, не хотел ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору.

Родной брат полковницы ходил с нами на купеческое обозрение и с нами же присоединился и к игре, а Саша только вошел в игорный номер, и сейчас же опять вышел и опять стал прохаживаться.

Странен он был как-то, так что даже пришлось обратить на него внимание. На вид он казался в самом деле как будто просто не в своей тарелке — не то болен, не то грустен, не то расстроен, а станешь в него всматриваться — будто и ничего. Только сдавалось, будто он мысленно от всего окружающего отошел и занят чем-то далеким и для всех нас посторонним. Все мы слегка над ним подтрунили, что, мол, «ты не акушеркою ли заинтересовался», а впрочем, никакого особенного значения его поведению не придали. В самом деле — он был еще очень молодой человек и в настоящее офицерское питье «из девяти элементов» еще как следует не втравился. Вероятно, ослабел от бывших перед тем трудов и питих. Притом же в комнате, где играли, было, по обыкновению, сильно накурено, и голова могла разболеться; да могло быть, что и финансы у Саши были в беспорядке, потому что он в последнее время азартно играл и часто бывал в значительном проигрыше, а он был мальчик с правилами и стыдился часто беспокоить родителей.

Словом — мы оставили этого молодого человека бродить тихими шагами по суконному половику, застилавшему коридор, а сами резались, пили и закусывали, спорили и шумели, и совсем позабыли и о течении ночных часов и о торжественном событии, которое ожидалось в командирском семействе. А чтобы забвение это вышло еще гуще — около часа за полночь все мы были развлечены одним неожиданным обстоятельством, которое подвел нам тот самый незнакомый приезжий, которого мы встретили, как я вам сказал, выходящим из дорожных саней на ночлег в нашу гостиницу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Во втором часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий «княжеский главноуправитель», остановившийся в таком-то номере, прислал его к нам извиниться и до-

ложить, что он не спит и скучает, а потому просит — не позволят ли ему господа офицеры прийти и принять участие в игре?

— Да ты знаешь ли этого господина? — спросил старший из наших офицеров.

— Помилуйте, как же не знать Августа Матвеича? Их здесь все знают — да они и по всей России, где только есть княжьи имения, всем известны. Август Матвеич самую главную доверенность имеет на все княжеские дела и вотчины и близко сорока тысяч в год одного жалованья берет. (Тогда еще считали на ассигнации.)

— Поляк он, что ли?

— Из поляков-с, только барин отличный и сам в военной службе служил.

Слугу, который нам докладывал, все мы считали за человека добропорядочного и нам преданного. Очень смышленый был и набожный — все ходил к заутрене и на колокол в свой приход в деревню собирал. А Марко видит, что мы заинтересовались, и поддерживает интерес.

— Август Матвеич теперь, — говорит, — из Москвы едет, как слух был — два имения княжеские в совет заложивши, и должно быть с деньгами — желают порассеяться.

Наши переглянулись, перешепнулись и решили:

— Что же нам всё свои-то лобанчики из кошелька в кошелек перелобанивать. Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом.

— Что же, — говорим, — пожалуй, но только ты нам отвечаешь: есть ли у него деньги?

— Помилуйте! Август Матвеич никогда без денег не бывают.

— А если так, то пусть идет и деньги несет — мы очень рады. Так, господа? — обратился ко всем старший ротмистр.

Все отвечали согласием.

— Ну и прекрасно — скажи, Марко, что просим пожаловать.

— Слушаю-с.

— Только того... про всякий случай намекни или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою

непременно на наличные деньги играем. Никаких счетов, ни расписок — ни за что.

— Слушаю-с — да это не беспокойтесь. У него во всех местах деньги.

— Ну и проси.

Через самое малое время, сколько надо было человеку не франту одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец — в штатском платье, но манера держаться военная и даже, можно сказать, этакая... гвардейская, как тогда было в моде, — то есть смело и самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения. Лицо красивое, с чертами, строго размещенными, как на металлическом циферблате длинных английских часов Грагама. Стрелка в стрелку так весь многосложный механизм и ходит.

И сам-то он как часы длинный, и говорит он — как Грагамов бой отчеканивает.

— Прошу, — начинает, — господа, извинения, что позволил себе напроситься в вашу дружескую компанию. Я такой-то (назвал свое имя), спешу из Москвы домой, но устал и захотел здесь отдохнуть, а меж тем услыхал ваш говор — и «покой бежит от глаз». Как старый боевой конь, я рванулся и приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете.

Ему отвечают:

— Сделайте милость! сделайте милость! Мы люди простые и едим пряники неписаные. Мы все здесь товарищи и держим себя без всяких церемоний.

— Простота, — отвечает он, — всего лучше, ее любит бог, и в ней поэзия жизни. Я сам служил в военной службе и хотя по семейным делам вынужден был ее оставить, при самом счастливом ходе, но военные привычки во мне остались, и я враг всех церемоний. Но вы, я вижу, господа, в сюртуках, а здесь жарко?

— Да, признаться, мы только сейчас надели сами сюртуки для встречи незнакомого человека.

— Ай, как не стыдно! А я этого-то и боялся. Но если уже вы были так любезны, что меня приняли, то вы на первом шагу нашего знакомства ничем не можете мне сделать такого истинного удовольствия, как если освободите себя и останетесь снова, как было до моего прихода.

Офицеры позволили склонить себя к этому и остались в одних жилетах — причем потребовали точно такого же дезабилье и от незнакомца. Август Матвеич охотно сбросил с себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубою шелковою подкладкою в рукавах и не отказался выпить «для знакомства со всеми» рюмку водки.

Все по рюмке выпили и закусили и при этом случае вспомнили о «кузене» Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору.

— Позвольте, — говорят, — здесь нет одного из наших. Позвать его сюда!

А Август Матвеич и говорит:

— Вы, верно, недосчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору?

— Да, его. Позовите его сюда, господа!

— Да он не идет.

— Что за пустяки такие!.. Премилый молодой товарищ и уже хорошо повел курс наук по питью и игре, и вдруг что-то сегодня изменил и осовел. Возьмите его сюда, господа, силою.

Этому запротиворечили, и послышалось несколько замечаний, что, быть может, Саша в самом деле болен.

— Какой черт — я головою отвечаю, что он просто устал или хандрит с непривычки от большого проигрыша.

— А корнет много проиграл?

— Да — в последнее время ему ужасно не везло, он был постоянно как-то вне себя и постоянно проигрывал.

— Скажите пожалуйста — это бывает; но у него такой вид, как будто он не столько несчастлив в картах, как несчастлив в любви.

— А вы его видели?

— Да; и притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошибкою в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марко.

— Что за удивление!

— Да, и когда Марко спросил его, что ему угодно, — он точно не скоро понял, в чем дело, а потом, бедняжка, очень сконфузился... Я вспомнил старые годы и подумал: верно тут зазноба сердечная!

— Ну уж и зазноба. Пройдет это все. Вы, господа, в Польше слишком много значения придаете этим сентиментам, а мы, москали, народ грубый.

— Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости: он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным.

— Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу, пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви!

Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, поборая друг друга, усталость, конфуз и улыбка.

Он говорил, что ему действительно нездоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрестанно требуют отчета. Когда же ему пошутили, что «даже незнакомец» заметил в нем «страданье сердца от амура», Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимою ненавистью, а потом сердито и резко оторвал:

— Это вздор!

Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которое все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом «событии» Саша опять побледнел.

Ему сказали:

— Уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, — мы услышим и тебя разбудим.

Саша повиновался, но не вполне: рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу.

Ждал ли он кого и высматривал или так просто его беспокоило что-то внутреннее — не могу вам сказать; но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер, и то откинется в глубь кресла, то точно хочет сорваться и убежать.

Наш незнакомец, с которым я сидел рядом, замечал, что я наблюдаю за Сашей, и сам наблюдал его. Я это должен был видеть по его взглядам и по тому, что́ он

сказал мне, а он сказал мне вполголоса следующие дрянные слова, которых я не могу позабыть во всю жизнь:

— Вы дружны с этим вашим товарищем?

При этом он метнул глазами в сторону опустившегося Саши.

— Ну, разумеется, — отвечал я с легким задором молодости, усмотревшей в таком вопросе неуместную фамильярность.

Август Матвеич заметил это и тихо пожал под столом мою руку. Я посмотрел на его солидное и красивое лицо, и опять, по какой-то странной ассоциации идей, мне пришли на память никогда себе не изменяющие английские часы в длинном футляре с грагамовским ходом. Каждая стрелка ползет по своему назначению и отмечает часы, дни, минуты и секунды, лунное течение и «звездные зодии», а все тот же холодный и безучастный «фрон»: указать они могут всё, отметят всё — и останутся сами собою.

Примирив меня с собою ласковым рукопожатием, Август Матвеич продолжал:

— Не сердитесь на меня, молодой человек. Поверьте, я не хочу сказать о вашем товарище ничего дурного, но я немало жил, и его положение мне что-то внушает.

— В каком смысле?

— Оно мне кажется каким-то... как вам это сказать... феральным: оно глубоко меня трогает и беспокоит.

— Даже уже и беспокоит?

— Да, именно — беспокоит.

— Ну, смею вас уверить, что это совершенно напрасное беспокойство. Я хорошо знаю все обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вам, что в них нет ничего, что могло бы смутить или оборвать течение его жизни.

— *Оборвать!* — повторил он за мною, — c'est le mot! [1] Вот именно слово... «оборвать течение жизни»!

Меня неприятно покоробило. Зачем это я сам именно так выразился, что дал повод незнакомцу ухватиться за мое выражение?

Август Матвеич мне вдруг начал не нравиться, и я стал с недоброжелательством смотреть на его точный грагамовский циферблат. Что-то гармоничное и вместе с тем

[1] Меткое слово *(франц.)*.

какое-то давящее и неотразимое. Идет, идет — и проиграют куранты, и опять идет далее. И все на нем какое-то отменное... Вон рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и белее всех наших, а под нею красная шелковая фуфайка как кровь сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя свою живую кожу да чем-то только обернулся. А на руке у него женский золотой браслет, который то поднимается к кисти, то снова упадет и спрячется вниз за рукав. На нем явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя «Olga».

Мне почему-то досадно за эту «Ольгу». Кто она и что она ему такое — родная или любовница, — мне все равно досадно.

Чего, зачем и почему? Не знаю. Так, — одна из тысячи глупостей, невесть откуда приходящих затем, чтобы «смутить смысл смертного».

Но я вспоминаю, что мне надо отделаться от своего слова *«оборвать»*, которому он придал вовсе нежеланное значение, и говорю:

— Я жалею, что я так выразился, — но сказанное мною слово не может иметь никакого двойного значения. Мой товарищ молод, имеет состояние, он один сын у родителей и всеми любим...

— Да, да, но тем не менее... он не хорош.

— Я вас не понимаю.

— Ведь он смертен?

— Разумеется, как вы и я, — как целый свет.

— Совершенно справедливо, но только людей целого света я не вижу, а ни на мне, ни на вас нет этих роковых знаков, как на нем.

— Каких «роковых знаков»? О чем вы говорите?

Я очень неуместно рассмеялся.

— Зачем же вы смеетесь над этим?

— Да, извините, — говорю, — я сознаю невежливость моего смеха, но вы представьте мое положение: мы с вами глядим на одно и то же лицо, и вы мне рассказываете, будто видите на нем что-то необыкновенное, тогда как я решительно ничего не вижу, кроме того, что всегда видел.

— Всегда? Этого не может быть.

— Я вас уверяю.

— Гиппократовы черты!

— В этом ничего не понимаю.

— Как не понимаете? Есть такой agent psychique.[1]

— Не понимаю, — сказал я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страх.

— Agent psychique, или гиппократовы черты, — это непостижимые, роковые, странные обозначения, которые давно известны. Эти неуловимые черты появляются на лицах людей только в роковые минуты их жизни, только накануне того, когда предстоит свершить «великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался»... Эти черты превосходно умеют наблюдать шотландцы и индусы Голубых гор.

— Вы были в Шотландии?

— Да, — я в Англии учился сельскому хозяйству и путешествовал по Индостану.

— И что же — вы говорите, что видите известные вам проклятые черты теперь на добром Саше?

— Да; если этот молодой человек сейчас называется Саша, то я думаю, что он скоро получит *другое* имя.

Я почувствовал, что меня прошел насквозь какой-то ужас, и несказанно обрадовался, что в это самое время к нам подошел один из наших офицеров, сильно подгулявший, и спросил меня:

— Что ты — о чем с этим барином ссоришься?

Я отвечал, что мы вовсе не ссоримся, но что у нас шел вот какой странный и смутивший меня разговор.

Офицер, малый простой и решительный, посмотрел на Сашу и сказал:

— Он в самом деле какой-то скверный! — Но вслед за тем обратился к Августу Матвеичу и сурово спросил:

— А вы что же — френолог или предсказатель?

Тот отвечал:

— Я не френолог и не предсказатель.

— А так — черт знает что?

— Ну и это тоже нет — я не «черт знает что», — отвечал тот спокойно.

— Так что же вы: стало быть, колдун?

— И не колдун.

— А кто же?

— *Мистик.*

---

[1] Психический признак *(франц.)*.

— Ага! вы *мистик!*.. это значит — вы любите поиграть в вистик. Знаю, знаю, видали мы таких, — протянул офицер и, будучи без того уже порядком пьян, снова отправился еще повреждать себя водкою.

Август Матвеич посмотрел на него не то с сожалением, не то с презрением. Обозначательные стрелки на его циферблате передвинулись; он встал, отошел к играющим, декламируя себе под нос из Красинского:

> Ja Boga nie chcę, ja nieba nie czuję,
> Ja w niebo nie pójdę...[1]

Мне вдруг сделалось так не по себе, точно я беседовал с самим паном Твардовским, и я захотел себя приободрить. Я еще далее отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, изъяснявшим по-своему слово «мистик», а когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеича.

У него были огромные записи выигрышей и проигрышей, и на всех лицах по отношению к нему читалось какое-то нерасположение, выражавшееся даже отчасти и задорными замечаниями, которые ежеминутно угрожали еще более обостриться и, может быть, сделаться причиною серьезных неприятностей.

Без неприятностей как-то дело не представлялось ни на минуту — словно на то было будто какое-то, как мужички говорят, «приделение».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда я подошел к игравшим, кто-то из наших заметил, например, Августу Матвеичу, что браслет, прыгавший вверх и вниз по его руке, мешает ему свободно метать талию. И тут же добавил:

— Вы бы, может быть, лучше сняли с себя это женственное украшение.

Но Август Матвеич и на этот раз выдержал спокойствие и отвечал:

---

[1] Я бога не хочу, я не чую неба,
Я на небо не пойду... *(польск.)*

— Да снять бы лучше, это так, но я не могу воспользоваться вашим добрым советом: эта вещь наглухо заклепана на моей руке.

— Вот фантазия — изображать из себя невольника!

— А почему бы и нет? — иногда очень хорошо чувствовать себя невольником.

— Ага! и поляки это, наконец, признали!

— Как же — что до меня, то я с самых первых дней, когда мне стали доступны понятия о добре, истине и красоте, признал, что они достойны господствовать над чувствами и волей человека.

— Но в ком бывают совмещены все эти идеалы?

— Конечно, в лучшем творении бога — в женщине.

— Которую зовут Ольгою, — пошутил кто-то, прочитав имя на браслете.

— Да — вы угадали: имя моей жены Ольга. Не правда ли, какое это прекрасное русское имя и как отрадно думать, что русские хоть его не заняли у греков, а нашли в своем родном обиходе.

— Вы женаты на русской?

— Я вдов. Счастье, какого я был удостоен, было так полно и велико, что не могло быть продолжительно, но я о сю пору счастлив воспоминанием о русской женщине, которая находила себя со мною счастливою.

Офицеры переглянулись. Ответ показался им немножко колким и куда-то направленным.

— Черт его возьми! — проговорил кто-то, — не хочет ли этот заезжий сказать, что господа поляки особенно милы и вежливы и что наши женщины без ума от их любезности.

Тот непременно должен был это слышать, даже посмотрел молча в сторону говорившего и улыбнулся, но тотчас же снова начал метать очень спокойно и чисто. За ним, разумеется, во все глаза смотрели понтеры, но никто из них не замечал ничего нехорошего. Вдобавок, никакое подозрение в нечестности игры не могло иметь и места, потому что Август Матвеич был в очень значительном проигрыше. Часам к четырем он заплатил уже более двух тысяч рублей и, окончив расчет, сказал:

— Если вам, господа, угодно продолжать игру, то я еще закладываю тысячу.

Выигравшие офицеры, по принятому этикету банковой игры, находили неловким забастовать и отвечали, что они будут понтировать.

Некоторые только, отвернувшись, пересмотрели заплаченные Августом Матвеичем деньги, но в содержании оные одобрили.

Все было в совершенном порядке, он всем заплатил самыми достоверными и несомненными ассигнациями.

— Далее, господа, — сказал он, — я не могу положить на стол перед вами ходячей монеты, так как все, что у меня было в этом виде, от меня уже ушло. Но у меня есть банковые билеты по пятисот и по тысяче рублей. Я буду ставить билеты и для удобства прошу вас на первый раз разменять мне пару таких билетов.

— Это возможно, — отвечали ему.

— В таком случае я сейчас буду иметь честь представить вам два билета и попрошу вас их рассмотреть и разменять на деньги.

С этими словами он поднялся с места, подошел к своему сюртуку, который лежал на диване неподалеку от сидевшего в непробудном самоуглублении Саши, и стал шарить по карманам. Но это выходило долго, и потом вдруг Август Матвеич отшвырнул от себя прочь сюртук, взялся рукою за лоб, пошатнулся и едва не упал на пол.

Движение это было тотчас же всеми замечено и показалось до такой степени истинным и неподдельным, что Август Матвеич возбудил во многих живое участие. Два или три человека, находившиеся к нему ближе, участливо воскликнули: «что с вами такое?» и кинулись его поддержать.

Гость наш был очень бледен и на себя не похож. Я в этот раз впервые еще видел, как большое и неожиданное горе вдруг перевертывает и моментально старит очень сильного и самообладающего человека, каким, мне казалось, надлежало считать появившегося среди нас на свое и на наше несчастие княжеского главноуправителя. Моментально постигающее человека неожиданное горе его как-то трет, мнет и комкает, как баба тряпку на портомойне, и потом колотит вальком, пока все из него не выколотит. Не умею и не стану вам описывать лицо и взгляды Августа Матвеича, но живо помню досадное и неуважительное по отношению к его горю сравнение, кото-

рое мне пришло в голову, когда я в числе других подался к главноуправителю и приблизил к его лицу свечу. Это опять касалось часов и циферблата, и притом одного смешного с ними случая.

Отец мой имел страсть к старым картинам. Он их много разыскивал и портил: он сам их размывал и покрывал новым лаком. Мы, бывало, смотрим, как он привезет откуда-нибудь старую картину, и видим темноватую ровную поверхность, на которой все колера как-то мирно стушевались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, под слоем потемневшего лака; но вот по этой картине проехала губка, напитанная скипидаром; остеклившийся лак пошел сворачиваться, проползли грязные потоки, и все тоны той же самой картины зашевелились, изменились и, кажется, пришли в беспорядок. Она стала как будто не она — именно потому, что теперь-то она и являлась глазам сама собою, как есть, без лакировки, которая ее усмиряла и сглаживала. И мне вспомнилось, как мы раз, подражая отцу, хотели так же *умыть* циферблат на часах в нашей детской и, к ужасу своему, увидали, что изображенный на нем Бука с корзинкою, в которой сидели непослушные дети, вдруг потерял свои очертания и наместо очень храброго лица являл что-то в высшей степени двусмысленное и смешное.

Нечто такое же являет собою в несчастии и живой человек, даже самообладающий, а иногда и гордый. Горе срывает с него лак, и вдруг всем становятся видны его пожухлые тоны и давно прорвавшиеся до грунта трещины.

Но наш гость был еще сильнее многих: он владел собою — он старался оправиться и заговорил:

— Извините, господа, — совершенные пустяки... Я только прошу вас не обращать на это внимания и отпустить меня к себе, потому что... мне... сделалось дурно: извините — я продолжать игры не могу.

И Август Матвеич обратил ко всем свое лицо, глядевшее теперь совершенно смытым циферблатом, но он еще силился держать любезную улыбку. Очевидно, он хотел «уйти без истории», но в это самое мгновение кто-то из наших, тоже, конечно, находившийся под влиянием лишней рюмки, задорно крикнул:

— У вас еще раньше этого не было ли дурно?

Поляк побледнел.

— Нет, — отозвался он скоро и сильно возвысив голос, — нет, со мною никогда еще не бывало *так дурно*. Кто говорит и думает иначе, тот ошибается... Я сделал неожиданное открытие... я имею слишком достаточную причину, чтобы отменить мое намерение продолжать игру, и решительно не понимаю: что и кому от меня угодно!

Тут все заговорили:

— О чем это он? От вас, милостивый государь, ничего не угодно и никто ничего не требует. Но это любопытно: какое такое вы сделали, находясь среди нас, открытие?

— Никакое, — отвечал поляк и, поблагодарив поклоном офицеров, поддерживавших его ввиду охватившей его мгновенной слабости, добавил: — Вы, господа, меня совсем не знаете, и репутация моя, отрекомендованная вам коридорным слугою, не может вам много говорить в мою пользу, а потому я не нахожу возможным продолжать дальнейший разговор и желаю вам откланяться.

Но его удержали.

— Позвольте, позвольте, — заговорили к нему, — этак невозможно.

— Я не знаю — почему «этак невозможно». Я заплатил все, что проиграл, а дальше игры продолжать не желаю и прошу освободить меня из вашего общества.

— Тут не о плате...

— Да, не о плате-с.

— Так о чем же еще?.. Спрашиваю: «Что вам угодно?» — вы отвечаете, что вам от меня «ничего не угодно»; ухожу молча — вы снова в какой-то претензии... Что такое, черт возьми! Что такое?

Тут к нему подошел один из усатых ротмистров — «товарищ в битвах поседелый», муж бывалый в картежных столкновениях различного рода.

— Милостивый государь! — заговорил он, — позвольте мне объясниться с вами одному от лица многих.

— Я очень рад, — хотя совершенно не вижу, о чем нам объясняться.

— Я вам сейчас это изложу.

— Извольте.

— Я и мои товарищи, милостивый государь, действительно вас не знаем, но мы приняли вас в свою компанию с нашею простою русскою доверчивостию, а между тем вы не могли совершенно скрыть, что вас поразила какая-то

внезапность... И это в нашем кружке... Вы, милостивый государь, упомянули слово «репутация». У нас, черт возьми! — надеюсь, тоже есть репутация... Да-с! Мы вам верим, но вас тоже просим довериться нашей честности.

— Охотно-с, — перебил поляк, — охотно! — и протянул руку, которую ротмистр как бы не заметил, и продолжал:

— Я вам ручаюсь моею рукою и головою, что вас не ожидает здесь ни малейшая неприятность, и всякий, кто позволит себе чем бы то ни было, хотя бы отдаленным намеком, оскорбить вас здесь до разбора дела, тот будет иметь во мне вашего защитника. Но это дело так остаться не может; ваше поведение нам кажется странным, и я прошу вас от лица всех здесь присутствующих, чтобы вы успокоились и серьезно нам объяснили, действительно ли вы внезапно заболели или вы что-нибудь заметили и с вами что-нибудь случилось. Просим вас сказать это нам откровенно в одно слово.

Все подхватили: «да, мы все просим, все просим!» И действительно все просили. Движение сделалось всеобщее. К нему не присоединялся разве только один Саша, который по-прежнему оставался в своей глупой потерянности, но и он встал с своего места — произнес: «Как это противно!» и оборотился лицом к окну.

А поляк, когда мы к нему так круто приступили, не потерялся, а, напротив, даже приосанился, развел руками и сказал:

— Ну, в таком случае, господа, я вас прошу меня извинить: я ничего не хотел говорить и все хотел снести на моем сердце, но когда вы меня честью обязываете вам сказать — что со мною сделалось, я повинуюсь чести и, как честный человек и дворянин...

Кто-то не выдержал и крикнул:

— Не слишком ли долго все о чести!

Ротмистр сердито посмотрел в сторону, откуда это было сказано, а Август Матвеич продолжал:

— Как честный человек и дворянин, я скажу вам, что у меня, господа, кроме того, сколько я проиграл вам, было еще с собою в бумажнике двенадцать тысяч рублей банковыми билетами по тысяче и по пятисот рублей.

— Вы их имели при себе? — спросил ротмистр.

— Да, при себе.

— Вы хорошо это помните?

— Без малейшего сомнения.

— И теперь их нет?

— Да; это вы сказали: их нет.

Пьяный офицер опять было крикнул:

— Да они были ли?

Но ротмистр еще строже ответил:

— Прошу молчать! Господин, которого мы видим, не смеет лгать. Он знает, что такими вещами в присутствии порядочных людей не шутят, потому что такие шутки кровью пахнут. А что мы действительно порядочные люди — это мы должны доказать делом. Никто, господа, ни с места, а вы, поручик такой-то, и вы, и вы еще (он назвал трех из товарищей) извольте сейчас запереть на ключ все двери и положить ключи здесь, у всех на виду. Первый, кто захотел бы теперь отсюда выйти, должен лечь на месте, но я надеюсь, что из нас, господа, никто этого не сделает. Никто не смеет сомневаться, что из нас ни один не может быть виноват в пропаже, о которой говорит этот проезжий, но это должно быть доказано.

— Да, да, без сомнения, — вторили офицеры.

— И когда это будет доказано, тогда начнется второе действие, а теперь, оберегая нашу честь и гордость, все мы, господа, обязаны немедленно, не выходя отсюда, позволить себя обыскать до нитки.

— Да, да, обыскать, обыскать! — заговорили офицеры.

— И до нитки, господа! — повторил ротмистр.

— До нитки, до нитки!

— Мы все по очереди донага разденемся перед этим господином. Да, да, как мать родила — донага, чтобы нельзя было нигде ничего спрятать, и пусть он сам обыщет нас каждого. Я всех вас старше летами и службою, и я первый подвергаю себя этому обыску, в котором не должно быть ничего унизительного для честных людей. Прошу отойти от меня далее и стать всем в ряд, — я раздеваюсь.

И он стал скоро и порывисто снимать с себя все, до носков на ногах, и, положив вещи на полу перед управляющим, поднял над головою руки и сказал:

— Вот я весь — как рекрут на приеме стою. Прошу обыскивать мои вещи.

Август Матвеич начал было отнекиваться и уклоняться под тем довольно справедливым предлогом, что он подозрений не заявлял и обыска не требовал.

— Э-э! нет, это стара шутка, — заговорил, весь побагровев и засверкав гневно глазами, ротмистр и затопотал босыми пятками по полу. — Теперь поздно, милостивый государь, деликатничать... Я недаром перед вами раздевался... Прошу вас осмотреть мои вещи до нитки! Иначе я, голый, сию же минуту и тут же убью вас вот этим стулом.

И тяжелый трактирный стул заходил в его волосатой руке по воздуху над головою Августа Матвеича.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Август Матвеич волей-неволей нагнулся к разложенному на полу гардеробу ротмистра и стал трогать вещи для вида.

Голые пятки по полу затопотали еще сильнее, и с их тупым выстукиванием раздался задушенный, щипящий со свистом голос:

— Не так ищут, не так! Держите меня, или я кинусь на него и задушу его, если он не будет нас обыскивать как следует!

Ротмистр был буквально вне себя и так весь трясся от гнева, что даже дрожал густой черный мох на подмышках его мускулистых рук, которые он теперь судорожно сжал снова над своею головою.

Поляк, однако, оказался молодцом и нимало не сробел перед бешеным порывом ротмистра: он окинул спокойным взглядом его лицо и его подмышки, в которых точно будто дрожали две черные крысы, и сказал:

— Извольте — и хотя я уверен, что вы несомненно честный человек, я, по вашему требованию, буду обыскивать вас как вора.

— Да, черт возьми, — я честный человек, и я непременно требую, чтобы вы обыскивали меня *как вора!*

Август Матвеич его обыскал и, разумеется, ничего не нашел.

— Итак, я чист от подозрений, — сказал ротмистр. — Прошу других следовать моему примеру.

Другой офицер разделся, и его обыскали таким же образом, потом третий, и так все мы по очереди уже позволили себя осмотреть, и оставался еще не обысканным только один Саша, как вдруг в ту самую минуту, когда до него дошла очередь, в дверь из коридора раздался стук.

Мы все вздрогнули.

— Не пускать никого! — скомандовал ротмистр.

Стук повторился настойчивее.

— Да какой это черт там ломится? Мы не можем пустить никого постороннего на этакое срамное дело. Кто бы это ни был — прогнать его к дьяволу.

Но стук снова повторился, и вместе с тем послышался знакомый голос:

— Прошу отворить — это я.

Голос принадлежал нашему полковнику.

. . . .

. . . .

Офицеры переглянулись.

— Откройте же, господа, двери, — просил полковник.

— Откройте! — сказал, застегиваясь, ротмистр.

Двери отперли, и командир, очень мало нами любимый, вошел приятельски с редко посещавшей его лицо ласковой улыбкой.

— Господа! — заговорил он, не успев оглядеться, — у меня дома все благополучно, и я после пережитых мною тревожных минут вышел пройтись по воздуху и, зная ваше товарищеское желание разделить мою семейную радость, сам зашел сказать вам, что мне бог дал дочь!

Мы стали его поздравлять, но поздравления наши, разумеется, были не так живы и веселы, как полковник вправе был ожидать по тому, что узнал о тронувших его наших сборах, и он это заметил, — он окинул своими желтыми глазами комнату и остановил их на постороннем человеке.

— Кто этот господин? — спросил он тихо.

Ротмистр ему отвечал еще тише и сейчас же в коротких словах передал нашу смутительную историю.

— Какая гадость! — воскликнул полковник. — И чем же это кончено, или до сих пор еще не кончено?

— Мы все заставили его нас обыскать, и к вашему приходу остался необысканным только один корнет N'.

— Так кончайте это! — сказал полковник и сел на стул посреди комнаты.

— Корнет N', ваша очередь раздеться, — позвал ротмистр.

Саша стоял у окна со сложенными на груди руками и ничего не отвечал, но и не трогался с места.

— Что же вы, корнет, — разве не слышите? — позвал полковник.

Саша двинулся с места и ответил:

— Господин полковник и все вы, господа офицеры, — клянусь моею честью, что я денег не крал...

— Фуй, фуй! к чему такая ваша клятва! — отвечал полковник, — все вы здесь выше всяких подозрений, но если товарищи ваши постановили сделать, как они все сделали, то то же самое должны сделать и вы. Пусть этот господин вас обыщет при всех — и затем начнется другое дело.

— Я *этого не могу*.

— Как?.. чего не можете?

— Я денег не крал, и у меня их нет, но я обыскать себя не позволю!

Послышался недовольный шепот, говор и движение.

— Что это? Это глупо... Почему же мы все позволили себя обыскать?..

— Я не могу.

— Но *вы должны* это сделать! Вы должны, наконец, понять, что ваше упрямство усиливает унизительное для всех нас подозрение... Вам должна, наконец, быть дорога если не ваша честь, то честь всех ваших товарищей — честь полка и мундира!.. Мы все от вас требуем, чтобы вы сейчас, сию минуту разделись и дали себя обыскать... И как поведение ваше уже усилило подозрение, то мы рады случаю, что вы можете быть обысканы при полковнике... Извольте раздеваться...

— Господа! — продолжал бледный, покрывшийся холодным потом, юноша, — я денег не брал... Я вам клянусь в том отцом и матерью, которых люблю больше всего на свете. И на мне денег этого господина нет, но я сейчас вышибу эту раму и брошусь на улицу, но не разденусь ни ради чего на свете. Этого требует *честь*.

— Какая честь! что за честь может быть выше чести общества... чести полка и мундира... Чья это честь?

— Я вам не скажу больше ни слова, но я не разденусь, и у меня в кармане есть пистолет — я предупреждаю, что выстрелю во всякого, кто захочет меня тронуть силою.

Юноша, говоря это, то бледнел, то горел весь как в огне, задыхался и блуждающим взором глядел на дверь с томящим желанием вырваться, меж тем как в руке его, опущенной в карман рейтуз, щелкнул взведенный пальцем курок.

Словом, Саша был вне себя, и этим экстазом он остановил весь поток направленных к нему убеждений и всех заставил задуматься.

Поляк первый обнаружил к нему самое большее и даже трогательное участие. Забывая свое уединенное и вполне невыгодное, нерасполагающее положение, он с выражением какого-то заразительного ужаса закричал:

— Проклятье! проклятье этому дню и этим деньгам! Я не хочу, я не ищу их, я о них не жалею, я никому никогда ни одного слова не скажу об их пропаже, но только ради создавшего вас Саваофа, ради страдавшего за правду и милость Христа, ради всего, что кому-нибудь из вас жалко и дорого, — отпустите этого *младенца*...

Он сказал именно «младенца» вместо юноши, и вдруг совершенно иным, как будто из каких-то глубоких недр души исходящим голосом добавил:

— Не ускоряйте рока... Разве вы не видите, куда идет он...

А он, то есть Саша, действительно в это время шел или, лучше сказать, пробирался мимо офицеров к двери.

Полковник следил за ним желтыми белками своих глаз и проговорил:

— Пусть уходит...

И потом он еще тише добавил:

— Я, кажется, что-то понимаю.

Саша достиг порога, остановился и, оборотясь ко всем лицом, сказал:

— Господа! я знаю, как я оскорбил вас и как дурен должен быть в глазах всякого мой поступок. Простите!.. я иначе поступить не мог... Это моя тайна... Простите!.. Это честь...

Голос его заволновался — точно в нем задрожали чистые детские слезы, и он застыдился их. — захотел их скрыть, — он закрыл ладонью глаза, крикнул: «прощайте»! и выбежал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то роковой высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе.

Если вы читали, что писал Жаколио или пишет о загадочных вещах наша соотечественница Рада-Бай, то вы, может быть, прислушались к тому, что она повествует о «психической силе» у индусов и о зависимости этой силы от «умственного настроения». Психическая сила, может быть, есть и в том франте, который проходит по тротуару, помахивая тросточкой и насвистывая из Орфея: — «И в-о-т м-ы шли, — и в-о-т м-ы шли». Но подите-ка докопайтесь в нем, где у него завалена эта сила, да и к чему ее приложить можно. Екклезиаст прекрасно представляет это в примере тени, падающей от дерева по направлению получаемого освещения... В общей суматохе все метутся и принимают за важнейшее то, что вовсе не важно, а один иначе настроенный взгляд видит и замечает настоящее и самое главное в эту минуту — и вот вам «психическая сила».

Во мне как будто сверкнул какой-то маленький ее клочок, когда выбежал Саша. Что-то было страшное в его движении и в обороте, — в быстром скачке не скачке, а в каком-то отдалении, — словно он оторвался и унесся бесследно... Даже шагов его не было слышно по коридору, а только что-то прошумело... Поляк сразу же бросился вслед за ним... Мы думали, что он хочет его настичь и обличить в краже, так как Саша, если помните, имел

роковое несчастие заходить еще ранее ошибкою в его комнату и, стало быть, становился еще подозрительнее по отношению к пропавшим деньгам (а мы все уже волею-неволею верили в то, что деньги были и пропали). Несколько человек сделали быстрое движение, чтобы преградить Августу Матвеичу путь к двери, а полковник крикнул ему:

— Остановитесь, милостивый государь, ваши деньги будут вам заплачены!

Но поляк с удивительною силою отбросил офицеров, а полковнику крикнул в ответ:

— Пусть черт возьмет деньги! — и выбежал вслед за Сашей.

Тут только все мы вспомнили свой непростительный промах, что, дозволяя обыскивать самих себя, мы не потребовали того же самого от причинившего нам все это беспокойство поляка, и кинулись за ним, чтобы схватить его и не дать ему возможности спрятать деньги и потом взвести на нас унизительную клевету; но в это самое мгновение, которое шло быстрее и кратче, чем идет мой рассказ, в некотором отдалении из коридора послышался как будто удар в ладоши...

Нас прожгла мысль, что поляк оскорбил Сашу ударом в лицо, и мы кинулись на помощь к товарищу, но... помощь ему была бесполезна...

В дверях перед нами стояла, колеблясь, длинная часовая фигура Августа Матвеича с грагамовским циферблатом, на котором все стрелки упали книзу...

— Поздно, — прохрипел он, — *он застрелился.*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мы бросились толпою в маленький номерок, который занимал Саша, и увидали поражающую картину: посреди комнаты, освещенной одною догоравшею свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, меж тем как голова Саши лежала у него на плече. Руки его повисли, как плети, но согнувшиеся в коленах ноги еще делали такие судорожные движения, как будто его щекотали и он смеялся.

История о деньгах, которая довела до всего этого или по крайней мере подоспела к тому, чтобы подтвердить причинность появления «гиппократов черт» на юном лице бедного Саши, была позабыта... Опасение скандала тоже отодвинулось бог весть куда — все забегали, засуетились, укладывали раненого на постель, требовали докторов и хотели помочь ему, бывшему уже вне всяких средств для помощи... Старались унять кровь, в изобилии стремившуюся из раны, нанесенной большою пулею в самое сердце, звали его по имени и кричали ему на ухо: «Саша! Саша! милый Саша!..» Но он, очевидно, ничего не слышал — он гас, холодел и через минуту вытянулся на кровати, как карандаш.

Многие плакали, а денщик рыдал навзрыд... Из толпы к трупу протеснился коридорный Марко и, верный своему набожному настроению, сказал тихо:

— Господа, это нехорошо над отходящей душою плакать. Лучше молитесь, — и с этим он раздвинул нас и поставил на стол глубокую тарелку с чистою водою.

— Это что? — спросили мы Марко.

— Вода, — отвечал он.

— Зачем она?

— Чтобы омылась и окунулась его душа.

И Марко поправил самоубийцу навзничь и стал заводить ему глазные веки...

Мы все крестились и плакали, а денщик упал на колена и бил лбом о пол так, что это было слышно.

Прибежали два доктора — наш полковой и полицейский, и оба, как нынче по-русски говорят, «констатировали факт смерти»...

Саша умер.

За что? за кого он убил себя? Где деньги, кто вор, который украл их? Что будет дальше с этой историей, которая разлетелась, как выпущенная на ветер пуховая подушка, и ко всем к нам липла?

Все это мешалось, и головы шли кругом, но мертвое тело умеет отвлечь все внимание и заставить прежде всего заботиться о себе.

В номере Саши появились полицейские и лекаря с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними, и нас попросили удалиться. Его раздевали и осматривали его вещи при одних понятых, в числе

которых был коридорный Марко и наш полковой доктор, да один офицер в виде депутата. Денег, разумеется, не нашли.

Под столом оказался пистолет, а на столе листок бумаги, на котором наскоро, торопливым почерком Саша написал: «Папа и мама, простите — я невинен».

Для того, чтобы написать это, требовалось, разумеется, две секунды.

Денщик, который был свидетелем смерти Саши, говорил, что покойный вбежал, — не садясь к столу, стоя написал эту строчку и сейчас же, стоя, выстрелил себе в грудь и упал ему на руки.

Солдат много раз передавал этот рассказ в неизменной редакции всем, кто его расспрашивал, и потом стоял молча, моргая глазами; но когда подошел к нему Август Матвеич и, взглянув ему в глаза, хотел его расспрашивать более подробно, денщик отвернулся от него и сказал ротмистру:

— Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне выйти обмыться, на моих руках кровь христианская.

Ему разрешили выйти, потому что он в самом деле был сильно залит кровью — что являло вид тяжелый и ужасный.

Все это происходило еще на рассвете, и заря уже чуть алела — свет уже чуть пробивался в окна.

В номерах, занятых офицерами, все двери в коридор были открыты, и везде еще горели свечи. В двух-трех комнатках сидели, опустя руки и головы, офицеры. Все они были похожи теперь более на мумий, чем на живых людей. Пьяный чад унесся, как туман, не оставив и следа... На всех лицах выражалось отчаянье и горе...

Бедный Саша, — если бы дух его мог интересоваться земным, — конечно, должен бы найти утешение в том, как все его любили и как всем больно было пережить его, столь молодого, столь цветущего и полного жизнью!

А на нем тяготело подозрение... ужасное, гнусное подозрение... Но кто бы посмел напомнить теперь об этом подозрении усачам, по опустившимся лицам которых струились слезы...

— Саша! Саша! бедный, юный Саша! что ты с собой сделал? — шептали уста, и вдруг сердце останавливалось, и пред всяким из нас вставал вопрос: «И ты тоже не

виноват ли в этом? Разве ты не видел, *какой он был?* Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны?» Саша! бедный Саша! И что это за тайна, которую унес он с собою в тот мир, куда он предстал теперь с явной разгадкой погубившей его тайны... О, он чист, конечно, он чист от этого гнусного подозрения, и... проклятие тому, кто довел его до этого поступка!

А кто довел?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Комната Августа Матвеича была отворена в коридор точно так же, как и все офицерские комнаты, но в ней не было зажженной свечи, и при слабом рассвете там едва можно было отличить щегольской чемодан и другие дорожные вещи. В углу комнаты стояла слегка смятая постель.

Проходя мимо этой комнаты, непременно хотелось остановиться и поглядеть издали: что в ней такое? Откуда и за что на нас нанесло такую напасть?

Меня лично тянуло зайти сюда и поискать, нет ли пропавших денег здесь — не засунул ли их куда-нибудь сам пострадавший и потом позабыл и развел всю эту историю, стоившую нам стольких тревог и потери прекрасного, молодого товарища. Я даже склонен был исполнить это: я хотел вскочить в номер поляка и поискать и с этим приблизился к двери, но, по счастию, неосторожное легкомыслие мое было остановлено неожиданным предупреждением.

Из конца коридора, с той стороны, где был просторный ротмистерский номер, в котором ночью шла игра и попойка, послышалось несколько голосов:

— Куда? Куда?.. Еще этой глупости недоставало!

Я сконфузился и оробел. Мне вдруг ясно представилась моя опрометчивость и опасность, которой я подвергал себя быть заподозренным в особенной близости к этому делу.

Я перекрестился и ускоренным шагом пошел в тот угол, откуда донеслись ко мне предостерегшие меня голоса.

Здесь, у полутемного еще окна, выходившего на север, на грязном войлоке, покрывавшем грязный же коник. служивший постелью ротмистерского денщика, сидели три наши офицера и наш полковой батюшка с заплетенной косою и широчайшею русою бородою, за которую мы его звали «отец Барбаросса». Он был очень добрый человек, принимавший участие во всех полковых интересах, но все выражавший всегда без слов, одним лишь многозначительным качанием головы и повторением короткой частицы «да». Говорил он только в случае крайней необходимости и тогда отличался находчивостью.

Три офицера и батюшка курили вместе из двух трубок, затягиваясь поочередно и затем передавая их для потребы ближнего. Батюшка помещался посередине группы, и потому трубки шли через него и справа и слева — отчего он получал двойную против всех долю наслаждения и притом еще увеличивал его тем, что после всякой сильной затяжки закрывал себе все лицо своею бородою и выпускал из себя дым с большою медлительностию сквозь этот удивительный респиратор.

Коник, на котором сидели эти добрые люди, приходился вблизи ротмистерских дверей, которые теперь были заперты на ключ, и за ними шла оживленная, но очень сдержанная беседа. Слышен был говор и переменявшиеся реплики, но нельзя было разобрать ни одного слова.

Там, запершись на ключ, находились теперь наш полковой командир, наш ротмистр и виновник всех наших сегодняшних бед, Август Матвеич. Они вошли в эту комнату по приглашению полковника, и о чем они там хотели говорить — никому не было известно. Три офицера и батюшка заняли ближайшую к комнате позицию сами — по собственному побуждению и по собственной предусмотрительности, из опасения, чтобы не оставить своих беспомощными в случае, если объяснения примут острый характер.

Опасения эти были, однако, напрасны: разговор, как я уже сказал, шел в приличном тоне, который все более смягчался, и, наконец, даже послышались ноты дружественности и задушевности, — вслед за тем раздалось движение стульев и шаги двух человек, приближавшихся к двери.

Повернулся ключ, и в открытых дверях показались наш командир и Август Матвеич.

Выражение их лиц было если не спокойное, то вполне мирное и даже дружественное.

Полковник пожал на пороге руку поляка и сказал:

— Очень рад, что могу питать к вам те чувства, которые вы сумели внушить мне при таких ужасных обстоятельствах. Прошу верить моей искренности, так же как я верю вашей.

Поляк с достоинством ответил ему поклоном и молча направился в свою комнату, а полковник обратился к нам и сказал:

— Я спешу домой. Прошу вас всех войти к ротмистру и от него узнать — чего мы все должны держаться.

С этим полковник кивнул нам головою и пошел к выходу, а мы все, сколько нас было, наполнили номер ротмистра прежде, чем внизу прогремел блок выходной двери, затворившейся за нашим командиром.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка. Он был находчив и умен, но не отличался уменьем владеть собою и дар красноречия имел чисто военный — он более внушал, чем излагал и рассказывал.

Таков же точно он был и в эту минуту, когда мы его застали срывающим с себя галстук и мечущим на всех сердитые взгляды.

— Что?.. хорошо случилось?— обратился он к батюшке.

Тот отвечал: «да, да, да», и покачал головою.

— То-то и есть — «да, да, да». Добрые занятия довели и до добрых последствий.

Батюшка опять протянул: «да, да, да».

— А ведь это ваше бы дело...

— Что такое?

— Внушить нашему брату совсем другое настроение...

— Да.

— А вы никакого влияния не имеете.

— Говори пустяки.

— Нечего «пустяки». Чего вы теперь явились? — теперь надо дьячка псалтырь читать, и ничего более.

— Да в чем дело-то... что делать-то далее? — стали приступать наши. — Полковник ушел — вы пылите и батьку распекаете... Разве мы, в самом деле, его внушений, что ли, стали бы слушать... А где теперь поляк? Черт знает, были ли у него деньги, — что он один теперь у себя в комнате делает? Говорите, пожалуйста, — что решено? Кто же обидчик, кто злодей?

— Черт злодей, черт! Другого никого нет, — отвечал ротмистр.

— Но сам этот пан...

— Этот пан вне всяких подозрений...

— Кто это вам открыл?

— Мы сами, господа, мы сами: я и ваш полковой командир сами за него ручаемся. Мы не говорим вам, что он честнейший человек, но мы ясно видим, что он говорит правду — что деньги у него были и пропали. Их мог взять только черт... А что они были — это доказывается тем, что командир, желая избежать скандальной огласки, здесь при мне предложил ему сегодня же получить от него сполна все двенадцать тысяч, лишь бы не было дела и разговоров, — и он отказался...

— Отказался...

— Да; и *мало того,* что отказался, но он сам вызвался никому не жаловаться на пропажу и ни перед кем не упоминать об этом проклятом происшествии. Словом, он вел себя так честно, благородно и деликатно, как только можно пожелать.

— Да, да, да! — протянул батюшка.

— Да; и мы с полковником дали ему слово, что и мы и вы будем питать к нему полную доверенность и станем считать себя все его должниками в течение года, — и если, по истечении года, ничто не разъяснится и деньги не отыщутся, тогда мы платим ему двенадцать тысяч, а он их тогда дал согласие взять...

— Разумеется, мы это принимаем и будем перед ним исправны в нашем долге, — подхватили офицеры.

— Но, господа, — продолжал ротмистр, понизив голос, — он уверен, что мы и не будем платить, — он почему-то утверждает, что *эти деньги найдутся.* Он говорит об этом так твердо и с такою уверенностию, что если

только верно, что вера может переставлять горы, — то его уверенность должна сбыться... Да, да — она должна сбыться, ибо это цена крови... Он передал, просто сказать, он перелил эту веру в нас с полковником, и хотя он просил нас, чтобы мы его обыскали, но и я и полковник от этого отказались... Вам предоставляю сделать, что вам угодно, — он пошел в свой номер и будет ждать вас там без выхода, чтобы вы его обыскали. Можете. Но условие у нас одно: мертвое молчание об этом перед всеми. На это я требую от вас честное слово.

Мы дали честное слово и номер Августа Матвеича обыскивать не пошли, а только зашли к нему наскоро пожать его руку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А тем не менее во всех осталось полное тяжелое недоумение и скорбь о человеке, а там над бедным Сашей производилось вскрытие; написан фальшивый по существу акт о том, что он «лишил себя жизни в припадке умопомешательства»; батька отпел панихиду, и дьячок тянет монотонно псалтырь: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко богу крепкому, богу благодеявшему мне».

Томленье духа. Ходишь, ходишь, куришь до бесчувствия и уйдешь и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла!.. Вот именно «вкусил мало меду и умер».

Все мы, боевые или по крайней мере предназначенные к боям люди, раскисли и размякли. Поляк тоже не хотел уезжать — он хотел проводить с нами Сашу в могилу и видеть его отца, за которым рано утром послали и ждали его в город к вечеру.

Если бы не коридорный Марко, то мы бы забыли время есть и пить, но он бдел над нами и много делал и для покойника. Он его обмывал, одевал и рассказывал, что́ надо купить и где поставить, да и нас уговаривал успокоиться.

— На все воля господня! — говорил он, — мы все как трава.

И сейчас же опять бежал по другим делам. Другие слуги под каким-то предлогом были арестованы,

и в вещах их был сделан обыск. Денщика покойного Саши тоже обыскали и даже допросили: не передал ли ему чего-нибудь перед своею смертью самоубийца.

Солдат, казалось, не сразу понял этот вопрос, но потом отвечал:

— Его благородие никаких денег мне не передавал.

— Ты помнишь, что тебе может быть за утайку?

— Как же-с, помню.

Разумеется, все это спрашивали не мы, а следственные власти, которым нельзя увлекаться щекотливостью.

Денщика отпустили, и он тотчас же ушел и стал чистить запасные Сашины сапоги.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вечером приехал отец. Он был очень миловидный и совсем еще не старый — не более лет пятидесяти двух или трех. Манера держаться у него была военная, и он был в отставном военном сюртуке, со шпорами, но без усов. Мы его никогда ранее не видали и потому не заметили, как он вошел в комнату сына, а узнали его уже тогда, когда он оттуда вышел.

Он с приезда спросил денщика, и тот повел его и оставался с ним один на один, с глазу на глаз при покойнике около двух-трех минут. И после этого короткого времени отец вышел к нам в зал, имея вид, поразивший нас своим тихим величием.

— Господа! я представляюсь вам, — начал он, кланяясь, — я отец вашего несчастного товарища! Мой сын умер, он убил себя... он осиротил меня и свою мать... но *он не мог поступить, господа, иначе...* Он умер как честный и благородный молодой человек, и... и... это то, в чем я уверяю вас и.. в чем я сам буду искать себе утешения...

С этими словами сразу обаявший нас старик упал на стул к круглому столу и, закрыв лицо руками, звонко заплакал, как ребенок.

Я поспешил подать ему дрожащею рукою стакан воды.

Он принял ее, проглотил два глотка и, ласково сжав мою руку, молвил:

— Благодарю вас всех, господа.

А потом обмахнулся платком и сказал:

— Не то еще... Я что такое? Но жена, жена как узнает!.. Материнское сердце не вынесет.

И он опять утерся платком и поехал «представиться полковнику».

Полковнику он сказал тоже, что Саша «умер как должно честному и благородному молодому человеку» и что «иначе он поступить не мог».

Полковник глядел на него в упор долго, кусая, по своему обычаю, маленький леденец, и потом сказал:

— Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство... Мы с вами ведь в свойстве, и потому я вам могу и должен сказать все. Я ничему не верю, но поведение корнета было-таки странно...

— О, оно было совершенно необходимо, полковник...

— Я верю, но если бы вы могли приподнять перед моими глазами хоть уголок завесы, закрывающей эту тайну...

— Не могу, полковник.

Полковник пожал плечами.

— Что делать, — сказал он, — пусть все так остается.

— Кроме одного, полковник. Деньги княжескому управителю полк платить не будет, потому что их плачу я. Это мое грустное право.

— Не смею спорить.

И отец Саши действительно в тот же самый день с глазу на глаз подал Августу Матвеичу двенадцать тысяч.

Поляк взял пачку и, сказав: «никогда!» — положил ее снова в карман старика, и они сели друг против друга и оба стали плакать.

— Великий боже! великий боже! — восклицал старик, — все это такое честное, такое благородное — и между тем есть же злодей, который здесь что-то сделал.

— И он найдется.

— Да; но сын мой не воскреснет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

А в чем же была тайна?

Чтобы рассказ стал, наконец, понятным, — надо нескромно раскрыть ее.

На груди Саши был акварельный портрет его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковни-

цей и дала жизнь новому человеческому существу в то самое мгновение, когда Саша самовольно разрешил себя от жизни.

Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов; но когда розовая Аня сделалась женой полковника и тот стал ревновать ее к кузену, — Саша почувствовал себя в томленьях Дон-Карлоса. Он довел эти муки до помрачающих терзаний и... в эту-то пору подвернулся случай с деньгами и с обыском, к которому, как на грех, подошел полковник.

Саша не выдал тайны кузины.

Держа уже пистолет у груди, он подал этот портрет денщику и сказал:

— Богом заклинаю — отдай отцу.

Тот и отдал его через гроб покойного.

Отец сказал, что его сын «умер, как должно честному и благородному молодому человеку».

Портретик был чистый, невинный, даже мало схожий с тою, кого изображал он, с дробною надписью: «Милому Саше его верная Аня».

И ничего более...

Это теперь смешно — пожалуй, даже глупо! Да, да; быть может, все это так. «Что ни время — то и птицы, что ни птицы — то и песни». Я вам никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчет *интересности,* как ее женщины чувствуют.

Что это такое был корнет Саша? Так себе, ничего или очень мало, — розовый мальчик, дворянчик, белогубый выкормочек в мундире. Ничего у него, никаких пленительных даров, кроме дара молодости и... безоглядного *чувства личной чести женщины...* И вот подите-ка, что вы скажете: было ли тут перед чем пасть и преклониться? А я вам расскажу, как пали и преклонялись.

Истории той тайны, которую я вам сейчас по необходимости рассказал, в городе тогда никто никому рассказать не мог, потому что о ней только кое-что знал денщик, а вполне понимал ее один отец самоубийцы. Кроме того, явилось еще обстоятельство, которое не только могло, но и непременно должно было все это спутать, благодаря ошибке Марко, который видел и, крестясь, рассказал многим по секрету, как денщик покойного передал что-то

тайно из рук в руки его отцу. Что это могло быть такое, что один из них передал, а другой взял и спрятал с такою тайностию?.. Бог знает. Марко крестился и говорил:

— Не хочу брать на свою душу греха, — не мог рассмотреть, что именно такое, а только видел, что какой-то пакетец в бумажке передан.

Не это ли были деньги? Почему бы так не думать при тех смутных обстоятельствах, которые я вам описываю и которые, как всякое подозрение, становились час от часу бестолковее и способнее распространять на все свою деморализующую подозрительность... Не всякий ли, имеющий руки, имеет и средства взять ими? Открыть вора — вот в чем первая задача; не упустить малейшего подозрительного признака — вот в чем обязанность каждого...

Да, каждого, кто думает, что желчные глаза подозрительности видят лучше, чем светлое око растроганного сердца; но, к счастию рода человеческого, ему доступны бывают и великие душевные откровения, когда люди как бы осязают невидимую правду и, ничем не сдерживаемые, стихийно стремятся почтить скорбью несчастье. Это своего рода священные бури, ниспосылаемые для того, чтобы разогнать сгустившийся удушливый туман, — в них есть «дыханье свыше», в них есть откровенье, которому ясно все, что закрыто сплетеньем.

Марко даже не давали воли говорить о том, что он видел... Все *знали,* что́ такое денщик передал отцу бедного Саши: *это был женский портрет...* В этом ни на одно мгновение не хотела усомниться ни одна человеческая душа — об этом говорил свет, глядевший в окно, где совершилась с глазу на глаз таинственная передача; этим дышал воздух, об этом разливался песнью жаворонок...

Похороны Саши были не торжественны и даже не трогательны, а они были ужасны. Все вы, господа, видали торжественные погребения с тем, что называют «помпою»... Я не говорю о похоронах с парадом, которыми, по моему мнению, выражается только одна жалкая суета человеческая. Вспомните похороны Гоголя, о которых мы читали такие прекрасные описания, похороны Некрасова и Достоевского, которые называли «событием в истории». Все это, конечно, имеет значение и, быть может, не лишено

искренности, но только искренность-то тут слишком загромождена чем-то ей посторонним. Я видел, как в Москве хоронили Скобелева... Тут больше чем где-нибудь прорывалось того, что отдает настоящей скорбью, но — смейтесь надо мною, если вам угодно, а я, стоя там, вспоминал и сравнивал тот значительно оригинальный день моей молодости, когда мы хоронили Сашу... Какое сравнение! Тоже и ему, как офицеру, мы устроили по уставу «церемонию», но ее никто не видел и не замечал, хотя она и занимала самое видное место. То, что сделала в честь его истинная скорбь людей, устремившихся отовсюду, чтобы рыдать и терзаться при виде его молодого мертвенно бледного лица, подавило все и, кажется, самый воздух пропитало трепетом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Никого не собирали на эти похороны, кроме эскадрона, в котором служил покойник, но люди во множестве сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути от гостиницы вплоть до кладбищенской церкви стали люди разного положения. Женщин больше, чем мужчин. Им никто не внушал, о чем надо жалеть, но они сами знали, что́ надо оплакать. и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя «за благородность». Да-с, я вам употребляю то слово, какое все говорили друг другу.

— За благородство свое, голубчик, помер!

— Себя не пожалел для милого сердца!

Стоит этакая подгородной слободы баба-тетеха и причитает:

— Соколик ты ясный... жизнюшку свою положил за благородность...

И, куда ни повернитесь, все в том же роде что-то тепло, тепло и фамильярно лепечут. Непременно на «ты» и чтоб поласковей — будто до сердца обнимает.

— Крошка ты милый!.. молодой, благородный!..

— Ангел ты мой чувствительный!.. Как тебя не любить было!

И всё так... Дворянки, купчихи, поповны, мещанки, горничные и хоровые цыганки — и особенно эти послед-

ние, как профессорины и жрицы трагического стиля в любви, — все лепечут дрожащими устами теплые словца и плачут о нем, как о лучшем друге, как о собственном возлюбленном, которого будто последний раз держат и ластят у сердца.

А всё ведь это женщины не ахти какие, и они Сашу совсем и не знали, может быть ни разу не видали и, пожалуй, может быть даже совсем ни за что и не полюбили бы его, когда бы знали его со всем, что в нем было хорошего и дурного. А вот тут, когда он «за благородство» да за «милое сердце», — тут уж нет ни минуты, чтобы рассуждать и отрезвлять себя каким-нибудь рассуждением, а надо причитать и плакать... Вон из тела душа просится...

Иннокентий однажды так всех тронул: вышел да вместо ораторства говорит: «Он в гробе — давайте плакать», вот и все, — и слезы льются и льются из глаз. Это была какая-то общая трясовица сердец. Женщины вглядывались в проносимое мимо лицо Саши (там носят покойников в открытом гробе), и все находили его очень обыденное личико самым величественным и прелестным... «Так, говорят, и написано: «верность до гроба!»

Что за дело, что, может быть, не совсем то было написано? Они читали то, что видели их глаза, — и этого довольно.

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Губы нервно дрожат, и лица мокры от слез; все нежны, все с ним говорят:

— Усни, усни, мой страдальчик!

В церкви иное настроение, еще острее. Ораторское искусство и не дерзает ни на минуту испортить тот священный строй, к которому все выше и выше возводит сердца песнотворческий гений Дамаскина. Его поэтический вопль и жжет и заживляет рану.

Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу вашего рыданья
И от кадила синий дым

Не мне струит благоуханье.
Но, вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею всех я вас молю,
Пусть каждый за меня взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленье, —
Прими усопшего раба
В твои блаженные селенья.

И уж я вам, милостивые государи, доложу, что уж действительно... припадали с этим к господу-то!.. Да ведь с слезами-с, с каким плачем-с!.. Как велик грех Саши-розана по богословской науке — в этом оплакивавшие его были не знатоки, но уж умоляли «принять его в блаженные селенья» так неотступно, что я, право, не знаю, как тут согласить этот душевный вопль с точными положениями оной науки.... Я бы в этом запутался.

Нынче многие укоряют наших, что они очень плохие ораторы. Не напрасно ли? Правда, что ораторы — плохие, да ведь не везде хорошо говорить, где принято. Есть случаи, где просто лучше плакать, где вопли «прими» и «прости» пристойней рацей, которые иной как пойдет разводить, так и договорится до чего-нибудь такого, что́ либо оскорбляет разум, либо оскорбляет чувство. Вспомните шиллеровского великого инквизитора. Зато я и люблю погребение по восточному чину. Приходят и уходят как-то... точно на зов пророка Исаии: «Приидите и стяжемся»... Но где тут стязаться? Кто победит — ясно. А *ты* вот все можешь, *ты* призвал, *ты* изменил зрак и положил «красоту», как «неимущую вида» — так *ты* же «забудь», «прости» и «презри» все, чем он не оправдал себя перед *тобою*...

Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье, —
Прими усопшего, господь,
В твои блаженные селенья.

Снова всё опять к тому же и к тому: «прости!»

Вспомнишь притчу о вельможе, который «никого не боялся и ничего не стыдился», а между тем когда и к та-

кому усердно пристали, то и он сказал наконец: «сделаю», — и успокоишься.

Он ли, который сам создал ухо, чтобы все слышать, он ли задремлет, он ли уснет, он ли не сделает, что просит голос стольких растроганных душ...

Пусть даже и «вере могила темна», но уж пристойнее и трогательнее обходиться с этим, как придумали обходиться восточные христиане, кажется, невозможно. Со вкусом поэт был Дамаскин!

Еще случай тут вышел на Сашиных похоронах со вдовою одного бывшего вельможи. Это была дама родовитая, умная, очень воспитанная, а называлась она «змеею». Кличка эта была глупая, змеей эту даму звали не за зло, которого она решительно никому не делала, а за презрительность, про которую говорили много. Она будто не любила ничего своего, русского — ни языка, ни веры, ни обычая, а все презирала, и презирала не с легкомыслием, не с фатовской замашкой, которые легче простить, — а прочно, глубоко и искренно, с каким-то сознанием. Она ничего не порицала и не отвергала, а считала все русское даже не заслуживающим внимания... Она даже удивлялась, что географы на ландкартах Россию обозначают... Такие дамы тогда были. А и эта, услыхав, что все плачут по каком-то офицере, который «застрелился за благородство», — велела открыть двойную дверь на своем балконе, мимо которого несли Сашу, и вышла с лорнетом. Я ее помню: высокая, в гранатовой шубке на собольем меху, стоит и смотрит в лорнет.

А юный наш Саша, с открытым лицом, словно оторванная ветка плывет перед нею по людным волнам.

«Змея» подавила вздох и сказала стоявшей с ней англичанке:

— Юность безумна везде — безумие же иногда схоже с геройством, а героизм нравится массе.

Англичанка отвечала:

— O yes! [1] — и при этом прибавила, что ее интересует замечаемое дружное, всеобщее чувство. «Змея» из деликатности к желанию чужестранки согласилась пойти в церковь, где надо всем поставит последнюю точку молоток гробовщика по гробовой крышке.

---

[1] О да! *(англ.)*.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Против всяких законов архитектоники и экономии в постройке рассказа я при конце его ввел это новое лицо и должен еще сказать вам об этой даме, чтобы вы знали — до чего она была язвительна. Когда супруг ее был на земле, они однажды принимали у себя такое лицо, перед которым хозяин хотел показаться в блеске своего значения, а она презирала мужа, как и всех, или, может быть, немножко более. Муж это знал и запросил у нее пардона. Только одного просил: «Не опровергайте меня». Она посмотрела на него и согласилась.

— Я даже готова вас поддержать.

Муж ей поклонился на этом. Высокий гость был доброго нрава и иногда любил говорить запросто. Так и в этот раз он пожелал слушать администратора за чаем, который кушал, получая чашку прямо из рук хозяйки. Хозяин и пошел ему читать, как он все видел, все знал, все предохранял, предупреждал и устраивал общее благо... Говорил он, говорил и, наконец, ошибся и что-то правду сказал. А «змея» сейчас его здесь и поддержала, и прошипела:

— Voilà ça c'est vrai. [1]

Ничего больше — только и сказала, а гость не выдержал, потупился и рассмеялся, у нее поцеловал руку, а супругу ее сказал:

— Ну, хорошо, хорошо, довольно: я буду верить, что tout ça est vrai. [2]

Так она его с этим и похоронила, и с той поры жила здесь с одною своей англичанкой и читала иностранные книги.

На людях ее никогда не видали, и потому теперь, когда она с своею англичанкою показалась в церкви, где отпевали Сашу, — на нее все взглянули, и всякий потеснился, и им двум нашлось место. Даже толпа будто сама их придвинула вперед, чтобы посмотреть на них. Но высшим велением угодно было, чтобы ничто постороннее не отвлекало общего внимания от того, что ближе касалось бедного Саши.

---

[1] Вот это действительно правда *(франц.)*.

[2] Все это правда *(франц.)*.

В то самое мгновение, как две важного вида дамы подвигались вперед, на пороге дверей еще появилась одна женщина — скромная, в черной шелковой шубке: одежда ее как пеплом посыпана дорожным сором, лицо ее — воплощенье горя...

Ее никто не знал, но все узнали, и в толпе пронеслось слово:

— Мать!

Все ей дали широкий путь к драгоценному для нее гробу.

Она шла посреди раздвинувшейся толпы — скоро, протянув вперед перед собой обе руки, и, донесясь к гробу, — обняла его и замерла...

И пало и замерло с нею все.... Все преклонили колена, и в то же время все было до того тихо, что когда «мать» сама поднялась и перекрестила мертвого сына, — мы все слышали ее шепот:

— Спи, бедный мальчик... ты умер честно.

Ее уста произнесли эти слова тихим, едва заметным движением, а отозвались они во всех сердцах, точно мы все были ее дети.

Молоток гробовщика простучал, гроб понесли к выходу; отец вел под локоть эту печальную мать, а глаза ее тихо смотрели куда-то вверх... Она верно знала, где искать сил для такого горя, и не замечала, как к ней толпились со всех сторон молодые женщины и девушки и все целовали ее руки, как у святой...

От могилы к воротам кладбища снова тот же натиск и то же движение.

У самых ворот, где стоял экипаж, «мать» как бы что-то поняла из окружающего: она обернулась и хотела сказать «благодарю», но пошатнулась на ногах. Ее поддержала стоявшая возле «змея» и... поцеловала ее руку.

Так всех растрогал и расположил к себе наш бедный Саша, так был оценен всеми простой и, может быть, необдуманный порыв его — «не выдать женщину».

Никто не останавливался над тем, что́ это за женщина и стоила ли она такого жертвоприношения. Все равно! И что это была за любовь — на чем она зиждилась? Все началось точно с детской, точно «в мужа с женою играли», — потом расстались, и *она*, по своей мало-

содержательности, быть может, счастлива, мужа ласкает и рождает детей, — а *он* хранит какой-то клочок и убивает себя за него... Это все равно! *Он*-то хорош, *он всем интересен!* О нем как-то легко и приятно плакать.

Словом, никого тут нельзя отметить титлом особого величия, а все серьезно и верно ведут свои роли, — вот как актеры занимавшей недавно Петербург мейнингенской труппы. Все *серьезно* поставлено!

Англичанка, про которую я, например, говорил вам, — лицо нам всех более постороннее. Ей выходка Саши, верно, должна была представляться совсем не так, как плакавшим о нем хоровым цыганкам; и довольно бы ей, кажется, прийти, посмотреть и уйти в себя снова. Так нет же — и она хотела свой штрих провести на картине. Она писала свои заметки о России, и, разумеется, делала это основательно, сверялась с тем, кто прежде ее посещал нашу родину и что говорил о наших нравах, а потом обо всем дознавала в новом, что видела, и отмечала. В старых справках она почерпнула, что «на жен нет подлей как на Москве», а дабы верно отметить новый факт, она выбрала время и адресовалась к самому Сашину отцу. Она послала ему деликатное письмо, в котором выражала сочувствие его скорби и чрезвычайному достоинству, с каким он и его жена перенесли свое горе. В заключение она просила позволения знать: кто руководил их воспитанием, давшим всем им столько достойного чувства?

Старик отвечал, что его жена училась во французском пансионе, а его воспитанием руководил monsieur Ravel[1] из Парижа.

Англичанка находила странность в этом известии, но «змея» помогла ей, сказав:

— Если бы их учил семинарист, то вы, быть может, даже не получили бы ответа.

Тогда думали, что все грубое и неприкладное к жизни идет из семинарий, и винили их так же искренно и неосновательно, как в последовавшую за тем недавнюю эпоху хотели было заставить всех нас судить о вещах с грацией мыслителей из «Бурсы» Помяловского.

---

[1] Господин Равель *(франц.)*.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Остается покончить с уголовщиной, которая во всяком разе была в моей истории. Украдены или нет деньги, а вспомните, что ведь было положено возвратить их поляку, и к этому еще было добавление.

Кроме полковых товарищей, явился еще добровольный плательщик, и притом самый настойчивый — это Сашин отец. Поляку стоило больших усилий отказаться от его требований немедленно принять эти деньги, но Август Матвеич их не взял. Вообще он вел себя во всей этой истории в высшей степени деликатно и благородно, и мы ни в чем не находили, чтобы его укорить или заподозрить. В том, что деньги были и пропали, уже никто из нас не сомневался. Да и как иначе: раз, что он не берет предлагаемых ему денег, то какую же он мог иметь цель, чтобы сочинить всю эту хлопотливую историю с кровавым концом?

Городское общество, для которого наше ночное происшествие не могло остаться в совершенном секрете, было того же мнения, но одна голова обдумала дело иначе и задала нам загвоздку.

Это был неважный и несколько раз уже мною вскользь упомянутый коридорный наш Марко. Он был парень замысловатый, и, несмотря на то, что через него мы и узнали об Августе Матвеиче, — Марко теперь стоял не на его и даже не на своей стороне и так нам по секрету и высказывался.

— Я, — говорит, — себя клятве и отлучению за это готов поддать, потому что я о нем вам доложил, но как теперь я подразумеваю, то это не столько моя вина, как божие попущение. А ваше нынешнее на него расположение больше ничего, как — извините — это за то, что он не русского звания, и через него об нас прошла слава про заведение, и полиция без причины, под разными выдумками, услужающих забирает и все напрасно к этим деньгам сводит, чтобы путались... Грех один только, грех, и ничего больше, как грех, — заключал Марко и уходил к себе в темную каморочку, где у него был большой образник и перед ним горела неугасимая лампада.

Его иногда становилось жалко: он, бывало, по целым часам стоит здесь и думает.

— Все думаешь, Марко?

Пожмет плечами и отвечает:

— Льзя ли, сударь, не думать... Такое несчастье... срам, и позор, и гибель душе христианской!

Те, кто более с ним разговаривали, первые стали иметь мысли, которые потом мало-помалу сообщились и прочим.

— Как хотите, — говорили, — Марко, разумеется, простой человек, из крестьян, но он умен этим... нашим простым... истинно русским умом.

— И честен.

— Да, и честен. Иначе бы, разумеется, хозяин его не поставил над делом. Он человек верный.

— Да, да, — поддакивал наш батюшка, пуская себе дым в бороду.

— А он, смотря просто, видит, может быть, то, чего мы не видим. Он судит так: для чего *ему* было это делать? Денег он не берет. Да ему деньги и не надобны...

— Очевидно не надобны, если не берет, когда ему их предлагают.

— Конечно! Это не из-за денег и делано...

— А из-за чего же?

— А-а, уж об этом вы не меня, а Марко спрашивайте.

И батюшка так поддерживал:

— Да, да, да — отселе услышим Марко.

— А что же глаголет Марко?

— А Марко глаголет: «Не верь поляку».

— Но почему же?

— Потому, что он есть поляк и неверный

— Ну, позвольте, позвольте! Однако ведь *неверный* — это одно дело, а *вор* — это совсем другое. Поляки народ амбиционный, и о них этак думать... не того... нечестно.

— Да позвольте, пожалуйста, — перебивает вдохновленный Марко рассказчик, — «этак думать», «этак думать»; а сами, наверное, вовсе и не знаете, о каком думанье говорится... О воровстве нет и речи, нет и подозрения, а поляку именно то самое и принадлежит, что сами ему присвоиваете, — то есть именно *амбиция*.

— Да что же ему нужно было, чтобы пропали деньги?

— Поляку-то?

— Да-с.

— Вам в голову ничего не приходит?

Все начали думать: «Что такое мне приходит в голову?»

— Нет — ничего не приходит.

— Это оттого, что у нас с вами, батюшка, головы-то дворянством забиты, а простой, истинно русский человек — он видит, что́ поляку надо.

— Да что же ему надо, — говорите, ведь это всех касается!

— Да, это всех касается-с. Ему в авантаже его родины было, чтобы нас обесславить...

— Батюшки мои!

— Конечно-с! — пустить в ход, что в обществе русских офицеров может случиться воровство...

— А ну как это в самом деле *так*!

— Да нечего гадать: это *так и есть*!

— Ах, черт бы его взял!

— Экий коварный народ эти поляки!

И батюшка поддержал, сказав:

— Да, да, да.

А потом еще подумали и нашли, что соображения Марко не следует скрыть от командира, но только не надо обнаруживать, что это от Марко, потому что это может вредить впечатлению, а указать какой-нибудь источник более авторитетный и безответственный.

— В трактире, в бильярдной кто-то говорил...

— Нет, — это нехорошо. Полковник скажет: как же вы слышали такую мораль и не вступились. Арестовать надо было, кто это говорил.

— Надо выдумать другое.

— Да что?

Вот тут нам батюшка и помог:

— Лучше всего, — говорит, — сказать, что в общей бане слышали.

Это всем понравилось. В самом деле, ведь умно: баня — место народное, там крик, шум, говор, вместе все голые жмутся и вместе на полке парятся — вместе плескаются... А кто сказал?.. разбери-ка поди или заарестуй... Всех разве надо брать, потому что тут все люди ровненькие, все голенькие.

Так и сделали; и батюшку же самого упросили с этим и пойти.

Он согласился и на другой же день все выполнил.

Полковник тоже этим слухом заинтересовался и говорит:

— И что всего хуже, что это уже сделалось общей молвою... в народе, в бане говорится.

Батюшка отвечает:

— Да, да, да! всё в бане... Я это все в бане слышал.

— И что же вы... решительно не могли узнать, кто это говорил?

— Не мог-с. Да, да, да, решительно не мог.

— Очень жалко.

— Да... я очень хотел узнать, но не мог, потому что все, да... знаете, в бане все одинаковы. Нас, духовных, еще кое-как отличить можно, потому мы мужчины, но с косами, а простые люди, кои без этого, все друг на дружку похожи.

— Вы бы могли за руку схватить того, кто говорил

— Помилуйте — намыленный сейчас выскользнет!.. И притом, как я в это время на полке парился, то мне даже нельзя было его и достать.

— Ну да — если нельзя достать, так тогда, разумеется, нечего... А только, я думаю, все-таки это пока лучше оставить так... Теперь ведь уж несколько времени прошло, а через год этот поляк ведь дал слово приехать... Я думаю, он свое слово сдержит. А вот вы расскажите мне, как по-духовному надо думать о снах? Пустяки они или нет?

Батюшка отвечает:

— Это все от взгляда.

— Как от взгляда?

— Да, то есть нет — я не то хотел... есть сны от бога, просветительные, есть и иные — есть сны натуральные от пищи, есть сны вредные от лукавого.

— То-то вот, — отвечает полковник, — но, однако, и это еще не точно. А вот как вы отнесете такой сон. Моя жена — вы знаете — очень молодая женщина, и покойный корнет был ей и родня и друг ее детства, а потому смерть его ее страшно поразила, и она сделалась как бы суеверна. Притом мы потеряли ребенка, и она перед тем видела сон.

— Скажите!

— Да, да, да. Что касается до снов, то она относится к ним — как вы сейчас сказали. Я этого не разделяю, но опровергнуть не хочу, хотя очень знаю, что если на ночь поужинать, то сон снится «бя» какой — стало быть, это от желудка.

— Да, и от желудка, — согласился батюшка, — даже всего больше от желудка, — но ему пришлось еще помучиться.

— Да-с, — продолжал полковник, — но ведь вот то и дело, что у нее это не сон, а видения...

— Как видения?

— Да-с, понимаете — она не во сне видит, не закрытыми глазами, а видит наяву и слышит...

— Это странно.

— Очень странно, — тем более что она его никогда не видала-с!

— Да, да, да... Это вы про кого же?

— Ну, понятно, про поляка!

— Ага-га... да, да, да! — понимаю.

— Моя жена тогда его не видала — потому что тогда, во время этого несчастного приключения, она была в постели, — так что не могла даже проститься с несчастным безумцем, мы смерть его от нее скрыли, чтобы молоко не бросилось в голову.

— Боже спаси!

— Ну да... Разумеется, уж лучше смерть, чем это... Наверное — безумие. Но представьте вы себе, что он ее постоянно преследует!..

— Покойник?

— Да нет — поляк! Я даже очень рад, что вы ко мне после баньки зашли и что мы об этом разговорились, потому что вы в своей духовной практике что-нибудь все-таки можете почерпнуть.

И тут полковник рассказал батюшке, что бедняжке, нашей молодой, розовенькой полковнице, все мерещится Август Матвеич, и, по приметам, как раз такой, каков он есть в самом деле, то есть стоит, говорит, где-то перед нею на виду, точно как бывают старинные аглицкие часы в футляре...

Батюшка так и подпрыгнул.

— Скажите, — говорит, — пожалуйста! Часы! Ведь его так и офицеры прозвали.

— Ну, я потому-то вам и рассказываю, что это удивительно! А вы еще представьте себе, что в зале у нас словно назло именно и стоят такие хозяйские часы, да еще с курантами; как заведут: динь-динь-динь-динь-динь-динь, так и конца нет, и она мимо их с сумерек даже и проходить боится, а вынесть некуда, и говорят, будто вещь очень дорогая, да ведь и жена-то сама стала их любить.

— Чего же это?

— Нравится ей мечтать... что-то этакое в маятнике слышит... Понимаете, как он идет... размах свой делает, а ей слышится, будто «и-щщу и и-щщу». Да! И так, знаете, ей это интересно и страшно — жмется ко мне, и чтобы я ее все держал. Думаю, очень может быть, она опять в исключительном положении.

— Да, да... и это может быть с замужнею, это... очень может быть... И даже очень быть может, — отхватал сразу батюшка и на этот раз освободился и прибежал к нам, в самом деле как будто он из бани, и все нам с разбегу высыпал, но потом попросил, чтобы мы никому ни о чем не сказывали.

Мы, впрочем, этими переговорами не были довольны. По нашему мнению, полковник отнесся к сообщенному ему открытию недостаточно внимательно и совсем некстати свел к своим марьяжным интересам.

Один из наших, хохол родом, сейчас нашел этому и объяснение.

— У него, — говорит про полковника, — мать зовут Вероника Станиславовна.

Другие было его спросили:

— Что вы этим хотите сказать?

— А ничего больше, кроме того, что ее зовут Вероника Станиславовна.

Все поняли, что мать полковника, конечно, полька и что ему, значит, о поляках слышать неприятно.

Ну, наши тогда решили к полковнику больше не обращаться, а выбрали одного товарища, который был благонадежен нанести кому угодно оскорбление, и тот поехал будто в отпуск, но в самом деле с тем, чтобы разыскать немедленно Августа Матвеича и всучить ему деньги, а если не возьмет — оскорбить его.

И найди он его — это бы непременно сделалось, но волею судеб последовало совсем другое.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В один жаркий день, в конце мая, вдруг и совершенно для всех неожиданно к нашей гостинице подкатил в дорожной коляске сам Август Матвеич — взбежал на лестницу и крикнул:

— Эй, Марко!

Марко был в своей каморке, — верно, молился перед неугасимой, — и сейчас на зов выскочил.

— Сударь! — говорит, — Август Матвеич! вас ли, государь, вижу?

А тот отвечает:

— Да, братец, ты меня видишь. А ты, мéрзавец, все, знать, колокола льешь, да верно, чтоб они громче звонили, ты про честных людей вздоры распускаешь, — и хлоп его в щеку.

Марко с ног долой и завопил:

— Что это такое!.. за что!

Мы, кто случился дома, выскочили из своих комнат и готовы были вступиться. Что такое в самом деле — за что его бить — Марко человек честный.

А Август Матвеич отвечает:

— Прошу вас повременить минутку — за мною следуют другие гости, при которых я вам сейчас покажу его честность, а пока прошу вас к нему не прикасаться и не трогать его, чтобы он ни на одно мгновенье не сошел с моих глаз.

Мы отступили, а в это время, смотрим, уж явилась полиция.

Август Матвеич обернулся к полицейским и говорит:

— Извольте его брать — я передаю вам вполне уличенного вора, который украл мои деньги, а вот и улика.

И он передал удостоверение, что на колокольном заводе получен от Марко билет с номером, с каким Август Матвеич за день до пропажи получил этот билет из Опекунского совета.

Марко упал на колена, покаялся — и сознался, как дело было. Август Матвеич, когда ложился спать, вынул билеты из кармана и сунул их под подушку, а потом запамятовал и стал их в кармане искать. Марко же, войдя в его номер поправить постель, нашел деньги, соблазнился — скрал их, в уверенности, что можно будет запутать

других — в чем, как видели, и успел. А потом, чтобы загладить свой грех перед богом, — он к одному прежде заказанному колоколу еще целый звон «на подбор» заказал и заплатил краденым билетом.

Все остальные билеты тут же нашли у него в ящике под киотом.

И зазвонили у нас свои «корневильские колокола», и еще раз все всплеснули руками и отерли слезу за бедного Сашу, а потом пошли с радости пировать.

Августу Матвеичу все чувствовали себя благодарными, а командир, чтобы показать ему свое уважение и благодарность, большой вечер сделал и всю знать собрал. Даже мать его, эта самая Вероника-то, — ей уже лет под семьдесят было, — и та приехала, только оказалось, что она совсем не «Станиславовна», а Вероника *Васильевна,* и из духовного звания, протопопская дочь — потому что Вероника есть и у православных. А почему думали, что она «Станиславовна», — так и не разъяснилось.

На этом вечере полковница встретила Августа Матвеича при всех с особенным вниманием: она встала, прошла ему навстречу и подала ему обе руки, а он попросил извинения «в польском обычае» и поцеловал у нее руки, а на другой день прислал ей письмо по-французски, где написал, что он все это время отыскивал сам пропавшие деньги вовсе не для их ценности, а для причин чести... И хотя деньги эти нынче найдены, но он их взять не желает, потому что они есть «цена крови» и внушают ужас. Он просил полковницу оказать ему «милосердие» — воспитать на эти деньги круглую сиротку — девочку, которую он отыскал и которая родилась как раз в ту ночь, когда расстался с жизнью Саша. «Быть может, в ней его душа».

Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Август Матвеич и привез ей сам в чистой белой корзине, в белой кисее и лентах.

Ловкий поляк! — все ему даже позавидовали, как он умел сделать это красиво, нежно и вкрадчиво. Мистик и вистик!

Она, говорили, прощаясь с ним, плакала, а мы с ним простились при брудершафтах за городом в роще. Это была случайность: он уезжал, а мы бражничали и остановили его. Извинились и затащили, и пили, пили без

конца, и откровенно ему всё рассказали, что́ гадкого о нем думали.

— Ну и ты тоже, — приступили, — и ты нам скажи... как ты это все подстроил.

Он говорил:

— Да я, господа, ничего не подстраивал — все само собой так вышло...

— Ну да ладно, — говорим, — не виляй, брат, — ты поляк, мы тебе это в вину не ставим, а, однако, как же это ты мог отыскать сиротку-дитя, которое родилось как раз в ту ночь, как умер Саша, и, стало быть, это дитя — ровесник умершему ребенку полковницы...

Поляк засмеялся.

— Ну, господа, — говорит, — да разве можно было это подстроить?

— Да в том-то и дело! Черт вас знает, какие вы тонкие!

— Ну, поверьте, я теперь только и узнаю, что я так тонок, что даже сам себя не могу видеть. Но вы меня увольте в дорогу, а то почтовый ямщик, по своим правилам, выпряжет лошадей из моего экипажа.

Мы его отпустили, сами подсадили его в коляску и крикнули: пошел!

А он примерялся, как нам грациозно поклониться из коляски, но, верно, не успел сесть, как лошади дернули — и он предвусмысленно поклонился нам задом.

Так наша грустная история и кончилась. В ней нет идей, которые бы чего-нибудь стоили, а я рассказал ее только по интересности. Тогда было так, что что-нибудь этакое самое ничтожное затеется и пойдет расти, расти, и всё какие-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захват будто ух какой большущий, а потом пойдут перетирать — и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет... Иной даже любить начнет, да и оставит — скучно станет. А отчего это? — чаї от многого, а более всего — думается — не от равнодушия ли к тому, что называется *личной честью?..*

ГРАБЕЖ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени.

Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворовались.

А случившийся в компании старый орловский купец говорит:

— Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят.

— Ну, это вы шутите.

— Нимало. А зачем же сказано: «со избранными избран будеши, а со строптивыми развратишися?» Я знаю случай, когда честный человек на улице другого человека ограбил.

— Быть этого не может.

— Честное слово даю — ограбил, и если хотите, могу это рассказать.

— Сделайте ваше одолжение.

Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле, незадолго перед знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком.

Вот как это было рассказано.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я орловский старожил. Весь наш род — все были не последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных.

Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я, по воле родительской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму господню я имел усердие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это — уж совсем была святая богомолка. Мы были, по батюшке, церковной веры и к Покрову, к препочтенному отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: из своего особливого стакана пила и ходила молиться в рыбные ряды, к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца и там, в Ельце и в Ливнах, очень хорошее родство имели, но редко с своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед орловскими гордиться и в компании часто бывают воители.

Домик у нас у Плаутина колодца был небольшой, но очень хорошо, по-купечески, обряжен, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней обедне, в Покров, — и от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем евангелие читали или не говорил ли отец Ефим какую проповедь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Театр тогда у нас Турчанинов содержал после Каменского, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозволяли. «Ничего, дескать, там, в «Вене», хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки».

Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось — прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как мещане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартального Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил — квартальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение было только смотреть, но самому в стену чтобы не становиться. Однако я грешен был и в этом покойной родительнице являлся непослушен: сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать станет, — то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенных!» да как почну против себя семинаристов подавать, так все и посыпятся. Но славы себе я не искал и даже, бывало, всех об одном только прошу: «Братцы! пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не называть», — потому что боялся, чтобы маменька не узнали.

Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом ишла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Начали к нам по этому случаю приходить в салопах свахи, и с Нижних улиц, и с Кромской, и с Карачевской, и разных матушке для меня невест предлагали. От меня это все велось в секрете, так что все знали больше, чем я. Трепачи наши под сараем, и те, бывало, говорят:

— Тебя, Михайло Михайлыч, маменька женить собирается. Как же ты сам на это, сколько согласен? Ты смотри — знай, что жена тебя после венца щекотать будет, но ты не робей — ты ее сам как можно щекочи в бока, а то она тебя защекочет.

Я, бывало, только краснею. Догадывался, разумеется, что что-то до меня касается, но сам никогда не слыхал, про каких невест у маменьки с свахами идут разговоры. Как придет одна сваха или другая — маменька с нею запрутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и всё наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня по голове и обнадеживает:

— Не тужи, молодчик Мишенька: вот уж скоро не будешь один скучать, скоро мы тебя обрадуем.

А маменька даже, бывало, и за это сердятся и говорят:

— Ему это совсем не надо знать; что я над его головой решу, то с ним и быть должно. Это как в писании.

Я и не тужил; мне было все равно: жениться так жениться, а придет дело до щекотки, тогда увидим еще, кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против маменькиного желания и меня против их научала.

— Не женись, — говорила, — Миша, на орловской — ни за что не женись. Ты смотри: здешние орловские все как переверчены — не то они купчихи, не то благородные. За офицеров выходят. А ты проси мать, чтобы она взяла тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней родом. Там в купечестве мужчины гуляки, но невесты есть настоящие девицы: не щепотницы, а скромные — на офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят и старым русским крестом крестятся. На такой как женишься, то и благодать в дом приведешь и сам с женой по-старому молиться начнешь, а я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам

свое божие благословение, и жемчуг окатный, и серебро, и пронизи, и парчовые шугаи, и телогреи, и все болховское вязание.

И было у тетеньки с маменькой на этот счет тихое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставши и по новым святцам Варваре великомученице акафист читали. Они жену мне хотели взять из орловских для того, чтобы у нас было обновление родства.

— По крайней мере, — говорили, — чтобы на прощеные дни, перед постом, было нам к кому на прощанье с хлебами ездить и к нам чтобы было кому завитые хлебы привозить.

Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие.

Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подвернулся вдруг самый нежданный случай.

Сидим мы раз с тетушкой, на святках, после обеда у окошечка, толкуем что-то от божества и едим в посте моченые яблоки, и вдруг замечаем — у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим — из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник обверчен, и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты, на голове яломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх.

Встал этот человек и вытряхивается, как пудель, от снега, а потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека в бобровом картузе и в волчьей шубе и держит его под руки, чтобы он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, а как волчью шубу увидала, так и благословилася:

— Господи Исусе Христе, помилуй нас, аминь! — говорит.— Ведь это братец Иван Леонтьич, твой дядя, из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был; а тут вдруг привалил на святках. Скорее, бери ключ от ворот, бежи ему встречу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать и насилу его нашли в образнике, да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать стали, да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала, и тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится.

— Что это, — говорит, — вы, как тетери, днем закупорились?

Маменька с ним здравствуются и отвечают:

— Разве вы, — говорит, — братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день и ночь от полиции запираемся.

Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел да Кромы — первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворам отец. «И мы, говорит, тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь, а на что же днем? Мне то и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили: у меня валенки кожей обшиты — идти нельзя, скользко, — а я приехал по церковной надобности не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит, а мне догонять нельзя».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтьич из валенков в сапоги, одел сюртук и сел к самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому он такому церковному делу приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся?

А Иван Леонтьевич отвечает:

— Дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался.

Маменька говорит:

— Не слышали.

— Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат! Такой уж у вас город глохлый.

— Но каким же это манером у вас дьякон оборвался?

— Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов, и все громче, да громче, да еще громче, и вдруг как возгласил о «спасении» — так ему жила и лопнула. Подступили его с амвона сводить, а у него уже полон сапог крови натекло.

— Умер?

— Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего.

— А это кто же ваш первый прихожан и куда он отъехал?

— Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Затем его все и упросили: поезжай, посмотри и выбери; что тебе полюбится — то и нам будет любо. Его всяк стар и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно?

Маменька отвечают:

— Не знаю.

— То-то вот и есть, что вы живете и ничего не знаете.

— Мы гостиниц боимся.

— Ну да ничего; Павла Мироныча тоже нелегко обидеть: сильней его ни в Ельце, ни в Ливнах кулачника нет. Что ни бой — то два да три кулачника от его руки падают. Он в прошлом году, постом, нарочно в Тулу ездил, и даром что мукомол, а там двух самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал.

Маменька и тетенька перекрестились.

— Господи! — говорят, — зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера привез!

А дяденька смеется:

— Чего, — говорит, — вы, бабы, испугались! Наш прихожанин хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать.

Матушка с тетей опять ахнули.

— Что ты это, братец, зачем такое страшное шутишь!

Дядя еще веселее рассмеялся.

— Эх вы, — говорит, — вороны-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище — ни на что не похож, и сами-то вы в нем все как копчушки в коробке заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете. Вот мы это-то самое у вас и отберем.

— Что же это такое?

— Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами: один у Богоявленья, в Рядах, а другой на Дьячковской части, у Никития. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем; а который нам не годится — тому во второй номер: за беспокойство получай на рясу деньгами. Павел Мироныч теперь уже поехал собирать их на пробу, а мне сейчас надо идти к Борисоглебскому соборцу; там, говорят, у вас есть гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда вести в провожатых.

Я спрашиваю:

— Это вы, дяденька, мне говорите?

Он отвечает:

— Известно, тебе. Кто же еще, кроме тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михайло Михайлович: окажи родственную услугу — проводи, сделай милость, на чужой стороне дядю родного.

Я откашлянулся и вежливо отвечаю:

— Это, дяденька, состоит не в том расчислении: я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам собой не владею, а как маменька прикажет.

Маменьке же это совершенно не понравилось:

— Зачем, — говорит, — вам, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит.

— Мне с племянником-то приличней ходить.

— Ну, что он еще знает!

— Да небось все знает. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

— Нет, — говорю, — я всего знать не могу.

— Почему же так?

— Маменька не позволяют.

— Вот так дело! А как ты думаешь: родной дядя всегда может во всем племянником руководствовать или нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас и пойдем во все следы, пока дойдем до беды.

Я то тронусь, то стою как пень: и его слушаю и вижу, что маменька ни за что не хотят меня отпустить.

— У нас, — говорят, — Миша еще млад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки, и воровской час будет.

Но тут дядя на них даже и покричал:

— Да полно вам, в самом деле, дурачиться! Что вы это парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера, а мне он нужен потому, что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиция обходом встретится — так ведь со мной все наши деньги на хлопоты... Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам сбыть и себе сманить сильного... Неужели же вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался?

Матушка говорит:

— Боже от этого сохрани — не в одном Ельце уважают родственность! Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из кромчан страсть очень сильные, фунтов по восьми в день одного хлеба едят без приварка.

Дядя не захотел.

— На что, — говорит, — мне годятся наемные люди. Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдут провожать, да сами же первые и убьют, а Миша мне племянник, — мне с ним по крайней мере смело и прилично.

Стал на своем и не уступает:

— Вы, — говорит, — мне в этом никак отказать не можете, — иначе я родства отрекаюсь.

Этого матушка с тетенькой испугались и переглядываются друг на дружку: дескать, что нам делать — как быть?

Иван Леонтьич настаивает:

— И то, — говорит, — поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в этом отказать? Это отказать — все равно что для бога отказать. А он ведь раб божий, и бог с ним волен: вы его при себе хотите оставить, а бог возьмет да и не оставит.

Ужасно какой был на словах убедительный.

Маменька испугались.

— Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

— Ах, вороны-сударыни! Вы и слов-то силы не понимаете! Кто же не раб божий? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решиться, и я сам его у вас из-под крыла вышибу...

И с этим хвать меня за плечо и говорит:

— Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное платье, — я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю со мной следовать.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так на нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится.

— Кого же, — говорю, — я должен слушать?

Дядя отвечает:

— Самого старшего надо слушать — меня и слушай. Я тебя не на век, а всего на один час беру.

— Маменька! — вопию. — Что же вы мне прикажете?

Маменька отвечают:

— Что же... если всего на один час, так ничего — одевай гостиное платье и иди проводи дядю; но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь — умру со страху!

— Ну вот еще, — говорю, — приключение! Как это я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается, — а вы меж тем станете беспокоиться...

Дядя хохочет.

— На часы, — говорит, — на свои посмотришь и время узнаешь.

— У меня, — отвечаю, — своих часов нет.

— Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет! Плохо же твое дело!

А маменька отзываются:

— На что ему часы?

— Чтобы время знать.

— Ну... он еще млад... их заводить не сумеет... На улице слышно, как на Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют.

Я отвечаю:

— Вы разве не знаете, что на богоявленских часах вчера гиря сорвалась и они не бьют.

— Ну так девичьи.

— А девичьих никогда не слышно.

Дядя вмешался и говорит:

— Ничего, ничего: одевайся скорей и не бойся просрочить. Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будет.

Я как про часы услыхал — весь возгорелся: скорее у дяди руку чмок, надел на себя гостиное платье и готов.

Маменька благословила и еще несколько раз сказала:

— Только на один час!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит:

— Свисти скорее живейного извозчика — поедем к часовщику.

А у нас тогда, в Орле, путные люди на извозчиках по городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались.

Я говорю:

— Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят.

Он говорит: «Дурак!» — и сам засвистал. А как подъехали, опять говорит:

— Садись без разговора! Пешком в час оборотить к твоим бабам не поспеем, а я им слово дал, и мое слово олово.

Но я от стыда себя не помню и с извозчика свешиваюсь.

— Что ты, — говорит, — ерзаешь?

— Помилуйте, — говорю, — подумают, что я наемщик.

— С дядей-то?

— Вас здесь не знают; скажут: вот он его уже катает, по всем местам обвезет, а потом закороводит. Маменьку стыдить будут.

Дядя ругаться начал.

Как я ни упирался, а должен был с ним рядом сидеть, чтобы скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне глаза деть, — не смотрю, а вижу и слышу, будто все кругом говорят: «Вот оно как! Арины Леонтьевны Миша-то уж на живейном едет — верно в хорошее место!» Не могу вытерпеть!

— Как, — говорю, — вам, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А он меня прихватил и смеется.

— Неужели, — говорит, — у вас в Орле уже все подряд дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь по дурным местам возить? Где у вас тут самый лучший часовщик?

— Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается; у него на окнах арап с часами на голове во все

стороны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий мост надо на Болховскую ехать, а там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят; я мимо их ни за что на живейном не поеду.

Дядя все равно не слушает.

— Пошел, — говорит, — извозчик, на Болховскую, к Керну.

Приехали. Я его упросил, чтобы он хоть здесь отпустил извозчика, — что я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду. На это он согласился. Меня назвал еще раз дураком, а извозчику дал пятиалтынный и часы мне купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой.

— Такие, — говорит, — часы у нас, в Ельце, теперь самые модные; а когда ты их заводить приучишься, а я в другой раз приеду — я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой.

Я его поблагодарил и часам очень рад, но только прошу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не ездил.

— Хорошо, хорошо, — говорит, — веди меня скорей в Борисоглебскую гостиницу; нам надо там сквозной номер нанять.

Я говорю:

— Это отсюда рукой подать.

— Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждаться некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона выбрать; сейчас это и делать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и сам ступай домой к матери.

Я его проводил, а сам поскорее домой.

Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок, часы, показываю.

Маменька посмотрела и говорит:

— Что ж... очень хороши, — повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь.

А тетенька отнеслась еще с критикой:

— Зачем же это, — говорит, — часы серебряные, а ободок желтый?

— Это, — отвечаю, — самое модное в Ельце.

— Пустяки какие, — говорит, — у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили — всё носили одного звания: серебряные часы так серебряные, а золотые

так золотые; а это на что́ одно с другим совокуплено насильно, что бог разно по земле рассеял.

Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят, и опять сказали:

— Поди в свою комнату и повесь над кроваткой. Я тебе в воскресенье под них монашкам закажу вышить подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь.

Я весело говорю:

— Починить можно.

— Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит, и часы пропали. Лучше поди скорее повесь.

Я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуяся. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо, тихо тикают: тик, тик, тик, тик... Я слушал, слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора в зале.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Раздается за стеною и дядин голос и еще чей-то другой, незнакомый голос; а тоже слышно, что и маменька с тетенькой тут находятся.

Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления и там дьякона слушал, и у Никитья тоже был, но «надо, говорит, их вровнях ровно поставить и под свой камертон слушать».

Дядя отвечает:

— Что же, действуй; я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет — кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие; а вечером совершенно никого нет, и даже перед окнами как лес стоят оглобли да лубки на Полешской площади.

Незнакомый отвечает:

— Это нам и нужно, а то у них тоже нахальные любители есть и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать.

— А ты разве боишься?

— Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью.

А у самого у него голос как труба.

— Я им, — говорит, — на свободе все примеры объясню, как в нашем городе любят. Послушаем, как они подведут и покажут себя на все лады: как ворчком при облачении, как середину, как многолетный верх, как «во блаженном успении» вопль пустить и памятную завойку сделать. Вот и вся недолга.

И дядя согласился.

— Да, — говорит, — надо их сравнять и тогда для всех безобидное решение сделать. Который к нашему елецкому фасону больше потрафит — о том станем хлопотать и к себе его сманим, а который слабже выйдет — тому дадим на рясу за беспокойство.

— Бери деньги с собою, — а то у них крадут.

— Да и ты тоже свои с собой бери.

— Хорошо.

— Ну, а теперь ты иди уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, — потому что наш народ, говорят, шельма: все пронюхает.

Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит:

— Я вот этих сумерек-то у них в Орле боюся, а теперь скоро совсем стемнеет.

— Ну, я, — отвечает незнакомый, — ничего не боюсь.

— А как ихний орловский подлёт с тебя шубу стащит? [1]

— Ну, как же. Так-то он с меня и стащит! Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу.

— Хорошо, что ты так силен.

— А ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вола ушибить может.

Маменька отзывается:

— Миша слаб — где ему защищаться!

---

[1] Подлёт — по стар. орловски то же, что в Москве «жулик» или в Петербурге «мазурик» (см. «Историч. оч. г. Орла» Пясецкого 1874 г.). *(Прим. автора.)*

— Ну, пусть медных пятаков в перчатку возьмет, тогда и крепок сделается.

Тетенька отзывается:

— Ишь что выдумает!

— Ну, а чем я худо сказал?

— На все у вас в Ельце, видно, свое правило.

— А то как же? У вас губернатор правила уставляет, а у нас губернатора нет, — вот мы зато и сами себе даем правило.

— Как бить человека?

— Да, и как бить человека есть правила.

— А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами и не приключится.

— А у вас в Орле в котором часу настает воровской час?

Тетушка отвечает из какой-то книги:

— «Егда люди потрапезуют и, помоляся, уснут, в той час восстают татие и исходя грабят».

Дядя с незнакомым рассмеялись. Им это все, что маменька с тетенькой говорили, казалось будто невероятно или нерассудительно.

— Чего же, — говорят, — у вас в таком случае полицмейстер смотрит?

Тетенька опять отвечают от Писания:

— «Аще не господь хранит дом — всуе бдит стрегий». Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит: «Зачем дома не спал? И не ограбили б».

— Он бы лучше чаще обходы посылал.

— Уж посылал.

— Ну и что же?

— Еще хуже стали грабить.

— Отчего же так?

— Неизвестно. Обход пройдет, а подлёты за ним вслед — и грабят.

— А может быть не подлёты, а сами обходные и грабили.

— Может быть, и они грабили.

— Надо с квартальным.

— А с квартальным еще того хуже — на него если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.

— Экий город несуразный! — вскричал Павел Мироныч (я догадался, что это был он) и простился и вышел, а дядя пошевеливается и еще рассуждает:

— Нет, и вправду, — говорит, — у нас в Ельце лучше. Я на живейном поеду.

— Не езди на живейнике! Живейный тебя оберет, да и с санок долой скинет.

— Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит.

Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит:

— Что же это такое: я же ему часы с ободком подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном обещании, что я с ними буду и все приготовлю, а теперь вместо того что же, я должен, наслушавшись ваших страхов, дома, что ли, остаться или один на верную погибель идти?

Тетенька с маменькой притихли и молчат.

А дядя настаивает:

— Ежели б, — говорит, — моя прежняя молодость, когда мне было хоть сорок лет, — так я бы не побоялся подлётов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год, и если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я, пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу, и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тут у вас и околею. Хороните меня тогда здесь на свой счет у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел...

Тут мне стало так его жалко и так совестно, что я сразу же выскочил и говорю:

— Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженые солдаты по домам представляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, дозвольте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной и часы мне подарили и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить.

Маменька, как ни смущались, должны были меня отпустить, но только уж зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокаиваю.

— Что вы, — говорю, — маменька: зачем по сторонам, когда есть прямая дорога. Я при дяде.

— Все-таки, — говорят, — хоть и при дяде, а до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите.

А потом стала меня за дверью крестить и шепчет:

— Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут, и запоют: «Кто не хочет пить — того будем бить». Я своего братца на этот счет знаю.

— Хорошо-с, — отвечаю, — маменька; хорошо, хорошо! Во всем за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

— Сердце мое, — говорят, — чувствует, что это у вас добром не кончится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами подлёты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой, известно, домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человек, а тоже за себя постоять могут.

Побежали мы туда, сюда, в рыбные лавки и в ренсковые погреба, всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера, с большими кульками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили и хозяина, борисоглебского гостинника, в компанию пригласили и просим:

— Мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание наше и просьба — чтобы никто чужой не слыхал и не видал.

— Это, — говорит, — сделайте милость; клоп один разве в стене услышит, а больше некому.

А сам такой соня — все со сна рот крестит.

Вскоре же и Павел Мироныч приехал и обоих дьяконов с собой привез: и богоявленского и от Никития. Закусили сначала кое-как, начерно, балычка да икорки и сейчас поблагословились за дело, чтобы пробовать.

Три верхние номера все сквозь в одно были отворены. В одном на кроватях одежду склали, в другом, крайнем, закуску уставили, а в среднем — голоса пробовать.

Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и показал, что́ главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос у него, я вам говорил, престрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:

— Вам бы самому и первым дьяконом быть.

— Мало ли что! — отвечает Павел Мироныч, — мне, при моем капитале, и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать.

— Этого кто же не любит!

И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал, начали себя показывать дьякона́: сначала один, а потом другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стеган, а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и бородка маленькая, смычком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть», и потом «Прободи владыко» и «Пожри владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона. У рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто издалека ветром наносит: «Во время онно». А потом начал выходить все выше да выше и, наконец, сделал такое воскликновение, что стекла зазвенели. И дьякона́ вровнях с ним не отставали.

Ну, потом таким же манером и все прочее, как икатенью вести и как ее надо певчим в тон подводить, потом радостное многолетие «и о спасении»; потом заунывное — «вечный покой». Сухой никитский дьякон завойкою так

всем понравился, что и дядя и Павел Мироныч начали плакать и его целовать и еще упрашивать, нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее.

Дьякон отвечает:

— Отчего же нет: мне это религия допускает, но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться — от него раскат в грудях шире идет.

— Сделай твое одолжение — ром на то изготовлен: хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, а еще лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из горлышка.

Дьякон говорит:

— Нет, я больше стакана за раз не обожаю.

Подкрепились — дьякон и начал сниза́ «во блаженном успении вечный покой» и пошел все поднимать вверх и все с густым подвоем всем «усопшим владыкам орловским и севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гавриилу, Никодиму же и Иннокентию», и как дошел до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и им», так даже весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать, и даденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, и я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то бац нас по булдажкам, — мы оба вскрикнули и враз на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька в испуге говорит:

— Ну вас совсем! Оставьте их... не зовите их больше... они уж и так здесь под кроватью толкаются.

Павел Мироныч спрашивает:

— Кто под кроватью может толкаться?

Дядя отвечает:

— Покойнички.

Павел Мироныч, однако, не оробел: схватил свечку с огнем, да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда в виде как будто наш купец от Николы, из Мясных рядов.

Все мы, кроме гостинника, в разные стороны кинулись и твердим одно слово:

— Чур нас! чур!

А за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из Мясных рядов.

— Что же это значит?

А эти купцы оба говорят:

— Пожалуйста, это ничего не значит... Мы просто любим басы слушать.

А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил и у Павла Мироныча свечу вышиб, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павел Мироныч свечою чуть лицо не подпалил.

Но Павел Мироныч рассердился на гостинника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплочены, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать.

А гостинник будто все спал, но оказался сильно выпивши.

— Эти хозяева, — говорит, — оба мне родственники: я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме что хочу — все могу.

— Нет, не можешь.

— Нет, могу.

— А если тебе заплочено?

— Так что же, что заплочено? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь и уедешь, а они здесь всегдашние: вы их ни пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеете.

— Не нарочно мы их пятками ткали, а только ноги свои подвели, — говорит дядя.

— А вы ног бы не подводили, а прямо сидели.

— Мы подвели с ужаса.

— Ну так что за беда. А они к лерегии привержены и желамши слушать...

Павел Мироныч вскипел.

— Да это нешто, — говорит, — лерегия? Это один пример для образования, а лерегия в церкви.

— Все равно, — говорит гостинник, — это все к одному и тому же касается.

— Ах вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какие?

— Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на ключ заперли!

И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг все возмутилось, и уже гостинник кричит:

— Ступайте вы, мукомолы, вон из моего заведения, я с своими мясниками сам продолжать буду.

Павел Мироныч ему и погрозил.

А гостинник отвечает:

— А если грозиться, так я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в Елец не привезете.

Павел Мироныч, как первый елецкий силач, обиделся.

— Ну что делать, — говорит, — зови, если с места встанешь, а я вон из номера не пойду; у нас за вино деньги плочены.

Мясники захотели уйти — верно, вздумали людей кликнуть.

Павел Мироныч их в кучу и кричит:

— Где ключ? Я их всех запру.

Я говорю дяде:

— Дяденька! бога ради! Вот мы до чего досиделись! Тут может убийство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждут... Что они думают!.. Как беспокоятся!

Дядя и сам устрашился.

— Хватай шубу, — говорит, — пока отперто, и уйдем.

Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздух выкатились; но только тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег мокрый-премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает.

— Веди, — говорит дядя, — я что-то вдруг все забыл — где мы, и ничего рассмотреть не могу.

— Вы, — говорю, — уж только скорей ноги уносите.

— Павла Мироныча нехорошо что оставили.

— Да ведь что же с ним делать?

— Так-то оно так... но первый прихожанин.

— Он силач; его не обидят.

А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то невесть что кажется, будто кто-то со всех сторон вылезает.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой и я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света точно у меня память отуманили.

— Позвольте, — говорю, — дяденька, сообразить, где мы находимся.

— Неужели же ты в своем городе примет не знаешь?

— Нет, знаю, мол; первая примета у нас два собора: один новый, большой, а другой старый, маленький, и нам надо промежду их взять направо, а я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого.

— Вот тебе и раз! Этак и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно.

— Авось, бог даст, не разденут.

— А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей вылезли?

— Знаю.

— Обоих знаешь?

— Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов, а другой Агафон Петров.

— И что же — они всамделе купцы?

— Купцы.

— У одного рожа-то мне совсем не понравилась.

— Чем?

— Язовитское в нем обраⅿение.

— Это Ефросин: он и меня раз испугал.

— Чем?

— Мечтанием. Я один раз ишел вечером ото всенощной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес бог, — потому что у них в рядах злые собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится... Я прилег к щелке подглядеть и вижу: он стоит с ножом в руках над бычком, бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает; голова мотается на перерезанном горле и кровь так и хлещет; а другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали за Окою гром погромыхивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул: «Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав проводить, но он как вздрогнет весь... Я и убежал. И сейчас это в памяти.

— Зачем же ты теперь такую страшность рассказываешь?

— А что же такое? разве вы боитесь?

— Не боюсь, да не надо про страшное.

— Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: так и так, — я тебя испугался. А он отвечает: «А ты меня испугал, потому что я стоял соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты так чувствительно слушаешь?» — «Не могу, отвечает, у меня часто сердце заходится».

— Да ты силен или нет? — вдруг перебил дядя.

— Хвалиться, — говорю, — особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинных в кулах зажму, то могу какого хотите подлёта треснуть прямо на помин души.

— Да хорошо, — говорит, — если он будет один.

— Кто?

— Ну кто, подлёт-то! А если они двое или в целой компании?..

— Ничего, мол: если и двое, так справимся — вы поможете. А в большой компании подлёты не ходят.

— Ну, ты на меня не много надейся: я, брат, стар стал. Прежде, точно, я бивал во славу божию так, что по Ельцу знали и в Ливнах...

Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим, сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает.

— Позвольте, — говорю, — мне кажется, как будто кто-то идет.

— А что? И я слышу, что идет, — отвечает дядя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я молчу, дядя мне шепчет:

— Остановимся и вперед его мимо себя пропустим.

А было это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашевскому мосту ходят, а зимой через лед между барками.

Тут исстари место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты, а внизу вправо, на Орлике, дрянные бани да пустая мельница, а сверху сюда обрыв как стена, а с правой сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал

говорить, что будочник ворам помогает... Думаю, кто это ни подходит — подлёт или нет, — а в самом деле лучше его мимо себя пропустим.

Мы с дядей остановились... И что же вы думаете: тот человек, который сзади ишел, тоже, должно быть, стал — шагов его сделалось не слышно.

— Не ошиблись ли мы, — говорит дядя, — может быть, никто не шел.

— Нет, — отвечаю, — я явственно слышал шаги, и очень близко.

Постояли еще — ничего не слышно; но только что дальше пошли — слышим, он опять за нами поспевает... Слышно даже, как спешит и тяжело дышит.

Мы убавили шаги и идем тише — и он тише; мы опять прибавим шагу — и он опять шибче подходит и вот-вот в самый наш след врезается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подлёт нас следит, и следит как есть с самой гостиницы; значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между большим собором и малым — он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случиться. Он один не будет.

А снег, как назло, еще сильней повалил; идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро — все облипши.

А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлёта, который за нами следит, верно тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить — и убить и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкою из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и дожидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те грабят, а эти опять на карауле караулят.

Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался, потому что наши певчих любили, и был тогда удивительный бас Струков, ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя

губа как будто откидной передок в фаэтоне отваливалась. Пока он ревет — она все откинута, а потом захлопнется. Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлёты боялись. Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихинской роще на майском гулянье убили...

Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось, а он перебивает:

— Постой, ты меня совсем уморил. Всё у вас убивают: отдохнем по крайней мере перед тем, как на лед сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пятака. Бери-ка их тоже к себе в перчатку.

— Пожалуй, давайте — у меня рукавичка с варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит:

— Что, добрые молодцы, кого ограбили?

Я думал: так и есть — подлёт, но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал.

— Это ты, — говорю, — Ефросин Иваныч? Пойдем, брат, с нами вместе заодно.

А он второпях проходит, как будто с снегом смешался, и на ходу отвечает:

— Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись... Щелкану — и жив не останешься...

— Нельзя, — говорю, — его остановить; видите, он на наш счет в ошибке: он нас за воров почитает.

Дядя отвечает:

— Да и бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что бог даст, с одною с божьей помощью. Бог не выдаст — свинья не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело... Господи помилуй! Никола, мценский заступник, Митрофаний воронежский, Тихон и Иосаф... Брысь! Что это такое?

— Что?

— Ты не видал?

— Что же тут можно видеть?

— Вроде как будто кошка под ноги.

— Это вам показалось.
— Совсем как арбуз покатился.
— Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало.
— Ой!
— Что вы?
— Я про шапку.
— А что такое?
— Да ведь ты же сам говоришь: «сорвали»... Верно там, на горе, кого-нибудь тормошат.
— Нет, верно просто ветер сорвал.
И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед.
А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как остановятся. Нагромождено, бывало, так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где насилу можно пролезть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.
— Ну, тут, — говорю, — дяденька, я от вас скрывать не хочу, — здесь и есть самая опасность.
Дядя замер — уж и святым не молится.
— Идите, — говорю, — теперь вы, дяденька, вперед.
— Зачем же, — шепчет, — вперед.
— Впереди безопаснее.
— А отчего безопаснее?
— Оттого, что если подлёт на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно: подлёт вам, может, рукою или скользкою мочалкою рот захватит, — а я и не услышу... идти буду.
— Нет, ты не иди... А какие же у них есть мочалки?
— Скользкие такие. Женки их из-под бань собирают и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было.
Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится.
— Я, — говорит, — впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь.
— Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свиснуть.
— Какой свайкой?
— Что же это вы спрашиваете: разве вам неизвестно, что такое свайка?

— Нет, я знаю: свайка для игры делается — железная, вострая...

— Да, вострая.

— С круглой головкой?

— Да, фунта в три, в четыре, головка шариком.

— У нас в Ельце на это носят кистени; но чтобы свайкой — я это в первый раз слышу.

— А у нас в Орле первая самая любимая мода — по голове свайкой. Так череп и треснет.

— Однако пойдем лучше рядом под ручки.

— Тесно вдвоем между барками.

— А как это... свайкой-то, в самом деле!.. Лучше как-нибудь тискаться будем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, — слышим, и тот, задний, опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет.

— Скажи, пожалуй, — говорит дядя, — ведь это, значит, не мясник был?

Я только плечами двинул и прислушиваюсь...

Шуршит, слышно, как боками лезет и вот-вот сейчас меня рукою сзади схватит... А с горы, слышно, еще другой бежит... Ну, видимо дело, подлёты, — надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлёт совсем уж за моими плечами... дышит.

Я говорю дяде:

— Все равно нельзя миновать — оборотимся.

Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, либо уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встретить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом оборотились, — он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк!..

Мы оба с дядей так с ног долой и срезались.

Дядя кричит мне:

— Лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз сорвал.

А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хвать себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет... Сорвал, бестия!

— С меня с самого, — отвечаю, — часы сняты!

И я, себя позабывши, кинулся за этим подлётом изо всей мочи и на свое счастье впотьмах тут же его за баркою изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него:

— Отдавай часы!

Он хоть бы слово в ответ; но зубами меня, подлец, за руку тяпнул.

— Ах ты, собака! — говорю. — Ишь как кусается! — И треснул его хорошенько во-усысе да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другою рукою прямо к нему за пазуху и сразу часы нашел и вытащил.

Тут же сейчас и дядя подскочил:

— Держи его, держи, — говорит, — я его разутюжу.

И начали мы его утюжить и по-елецки и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился; и только уж когда за Плаутин колодец забежал, так оттуда закричал «караул»; и сейчас же опять кто-то другой по ту сторону, на горе, закричал «караул».

— Каковы разбойники! — говорит дядя. — Сами людей грабят, и сами еще на обе стороны «караул» кричат!.. Ты часы у него отнял?

— Отнял.

— А что ж ты мой картуз не отнял?

— У меня, — отвечаю, — про ваш картуз совсем из головы вышло.

— А вот мне теперь холодно. У меня плешь.

— Наденьте мою шапку.

— Не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева пятьдесят рублей дан.

— Все равно, — говорю, — теперь не видно.

— А ты же как?

— Я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко — сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.

Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался.

Так домой и прибежали.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Маменька с тетенькой еще не ложились спать: обе чулки вязали — нас дожидались. И как увидали, что дядя вошел весь в снегу вывален и по-бабьему носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули и заговорили:

— Господи! что это такое!.. Где же зимний картуз, который на вас был?

— Прощай, брат, мой зимний картуз!.. Нет его, — отвечает дядя.

— Владычица наша пресвятая богородица! Где же он делся?

— Ваши орловские подлёты на льду сняли.

— То-то мы слышали, как вы «караул» кричали. Я и говорила сестрице: «Вышли трепачей — я будто невинный Мишин голос слышу».

— Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли — от нас бы и звания не осталось... Нет, это не мы «караул» кричали, а воры; а мы сами себя оборонили.

Маменька с тетенькой вскипели.

— Как? Неужели и Миша силой усиливался?

— Да Миша-то и все главное дело сделал — он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял.

Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но говорят:

— Ах, Миша, Миша! А я же ведь тебя как просила: не пей ничего и не сиди до позднего, воровского часу. Зачем ты меня не слушал?

— Простите, — говорю, — маменька, — я пить ничего не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними какая могла быть большая неприятность.

— Да все равно и теперь картуз сняли.

— Ну, теперь еще что!.. Картуз дело наживное.

— Разумеется — слава богу, что ты часы снял.

— Да-с, маменька, снял. И ах как снял! — сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другою рукою за пазухой обвел и часы вынул, и тогда его вместе с дяденькой колотить начали.

— Ну, уж это напрасно.

— А нет-с! Пусть, шельма, помнит.

— Часы-то не испортились?

— Нет-с, не должно быть — только, кажется, цепочку оборвал...

И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку, а тетенька всматривается и спрашивают:

— Да это чьи же такие часы?

— Как чьи? Разумеется, мои.

— А ведь твои были с ободочком.

— Ну так что же?

А сам смотрю — и вдруг вижу: в самом деле, на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком, и у их ног — овечка...

Я весь затрясся.

— Что же это такое??! Это не мои часы!

И все стоят, не понимают.

Тетенька говорит:

— Вот так штука!

А дяденька успокаивает:

— Постойте, — говорит, — не пужайтесь; верно он Мишуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял.

Но я швырнул эти вынутые часы на стол и, чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, на стенке над кроватью мои часы потюкивают: тик-так, тик-так, тик-так.

Я подскочил со свечой и вижу — они самые, мои часы с ободочком... Висят, как святые, на своем месте!

Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл...

— Господи! да кого же это я ограбил?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Маменька, тетенька, дядя — все испугались, прибежали, трясут меня.

— Что ты, что ты? Успокойся!

— Отстаньте, — говорю, — пожалуйста! Как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил!

Маменька заплакали.

— Он, — говорят, — помешался, — он увидал, что ли, что-нибудь страшное!

— Разумеется, увидал, маменька!.. Что тут делать!!

— Что же такое ты увидал?

— А вот это самое, посмотрите сами.

— Да что? где?

— Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят: на стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободочком...

Дядя первый образумились.

— Свят, свят, свят! — говорит, — ведь это твои часы?

— Ну да, конечно мои!

— Ты их, значит, верно и не надевал, а здесь оставил?

— Да уж видите, что здесь оставил.

— А те-то... те-то... Чьи же это, которые ты снял?

— А я почем знаю, чьи они!

— Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Ведь это мы с Мишей кого-то ограбили!

Маменька так с ног долой и срезалась: как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села.

Я к ней, чтобы поднять, а она гневно:

— Прочь, грабитель!

Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает:

— Свят, свят, свят!

А маменька схватились за голову и шепчут:

— Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого!

Дядя ее поднял и успокаивает:

— Да уж успокойся, не путного же кого-нибудь избили.

— Почему вы знаете? Может быть, и путного; может быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем.

Дядя говорит:

— А как же мой картуз? Зачем он картуз сорвал?

— Бог знает, что такое ваш картуз и где вы его оставили.

Дядя обиделся, но матушка его оставила без внимания, и опять ко мне.

— Берегла сынка столько лет в страхе божием, а он вот к чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все, все узнают, что ты сам подлёт.

Я не вытерпел и громко сказал:

— Помилуйте, маменька! Какой же я подлёт, когда это все по ошибке!

Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточками перстов в голову да причитывает причтою по горю-злосчастию:

— Учила: живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты, не доспеть бы тебе стыда-срама великого и через тебя племени укору и поносу бездельного. Учила: не ходи, чадо, к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсти-ограбити, но не захотел ты матери покориться; снимай теперь с себя платье гостиное, и накинь на себя гуньку кабацкую, [1] и дожидайся, как сейчас будошники застучат в ворота и сам Цыганок в наш честный дом ввалится.

И все сама причитает, а сама меня костяшкой приступкивает в голову.

А тетенька как услыхала про Цыганка, так и вскрикнула:

— Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида! Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался.

Обнялись тетенька обе с маменькой, и, обнявшись, обе плачучи удалились. Остались только мы вдвоем с дядей.

Я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов просидел; все думал: кого же это я ограбил? Может быть, это француз Сенвенсан с урока шел, или у предводителя Страхова в доме опекунский секретарь жил... Каждого жалко. А вдруг если это мой крестный Кулабухов с той стороны от палатского секретаря шел!.. Хотел — потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал... Крестник!.. своего крестного!

— Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается.

---

[1] Гуня — старинное слово; значит: обносок, рубище. В Орле 50 лет назад еще говорили «гуня». *(Прим. автора.)*

А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то — я даже и не видал, как — подходит ко мне и говорит:

— Полно сидеть повеся нос, надо действовать.

— Да что же, — отвечаю, — разумеется, если бы можно узнать, с кого я часы снял...

— Ничего; вставай поскорее и пойдем вместе, сами во всем объявимся.

— Кому же будем объявляться?

— Разумеется, самому вашему Цыганку и объявимся.

— Срам какой сознаваться!

— А что же делать? Ты думаешь, мне охота к Цыганку?.. А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать станет: бери обои часы и пойдем.

Я согласился.

Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькою, пошли.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутствии перед зерцалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного.

Дядя увидал, что я с этим князем поклонился, и говорит:

— Неужели он правду князь!

— Ей-богу, поистине.

— Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он выскочил на минутку на лестницу.

Так и сделалось: я повертел полуполтинник — князь на лестницу и выскочил.

Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы нас как можно скорее в присутствие пустить.

Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествиев.

— И с нами тоже происшествие случилось.

— Ну да ведь какое? Вы вот оба в своем виде, а там на реке одного человека под лед спустили; два купца на

Полешской площади все оглобли, слеги и лубки поваляли; один человек без памяти под корытом найден, да с двоих часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все прочие бегают, подлётов ищут...

— Вот, вот, вот, ты и доложи, что мы пришли дело объяснить.

— Вы подравшись или по родственной неприятности?

— Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу; нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи еще полмонетки.

Князь спрятал полтинник в карман и через пять минут кличет нас:

— Пожалуйте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Цыганок такой был хохол приземистый — совсем как черный таракан; усы торчком, а разговор самый грубый, хохлацкий.

Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близко, но он закричал:

— Говорите здалеча.

Мы остановились.

— Что у вас за дело?

Дядя говорит:

— Перво-наперво — вот.

И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл.

Тогда дядя стал рассказывать:

— Я елецкий купец и церковный староста, приехал сюда вчерашний день по духовной надобности; пристал у родственниц за Плаутиным колодцем...

— Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?

— Точно так; мы возвращались с племянником в одиннадцать часов, и за нами следовал неизвестный человек; а как мы стали переходить через лед между барок, он...

— Постойте... А кто же с вами был третий?

— Третьего с нами никого не было, окроме этого вора, который бросился...

— Но кого же там ночью утопили?
— Утопили?
— Да!
— Мы об этом ничего не известны.
Полицмейстер позвонил и говорит квартальному:
— Взять их за клин!
Дядя взмолился.
— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Да за что же нас!.. Мы сами пришли рассказать...
— Это вы человека утопили?
— Да мы даже ничего и не слышали, ни о каком утоплении. Кто утонул?
— Неизвестно. Бобровый картуз изгаженный у проруби найден, а кто его носил — неизвестно.
— Бобровый картуз!?
— Да; покажите-ка ему картуз, что он скажет?
Квартальный достал из шкафа дядин картуз.
Дядя говорит:
— Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал.
Цыганок глазами захлопал.
— Как вор? Что ты врешь! Вор не шапку снял, а вор часы украл.
— Часы? С кого, ваше высокоблагородие?
— С никитского дьякона.
— С никитского дьякона!
— Да; и его очень избили, этого никитского дьякона.
Мы, знаете, так и обомлели.
Так вот это кого мы обработали!
Цыганок говорит:
— Вы должны знать этих мошенников.
— Да, — отвечает дядя, — это мы сами и есть.
И рассказал все, как дело было.
— Где же теперь эти часы?
— Извольте — вот одни часы, а вот другие.
— И только?
Дядя пустил еще барашка и говорит:
— Вот это еще к сему.
Прикрыл и говорит:
— Привести сюда дьякона!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Входит сухощавый дьякон, весь избит и голова перевязана.

Цыганок на меня смотрит и говорит:

— Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

— Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин, только от дальнего места помилуйте. Я один сын у матери.

— Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувство?

Я вижу этакий разговор несоответственный и говорю:

— Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут.

Дядя подал.

— Как это у вас происходило?

Дьякон стал рассказывать, что «были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице, и очень все было хорошо и благородно, но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за магарыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду — и они идут. А вдруг между тем издали слышу, еще меня кто-то сзади настигает... Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили... А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословился в уме: господи благослови! да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил, но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали... Вот и цепочки обрывок».

— Покажите цепочку.

Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит:

— Это так и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьякон отвечает:

— Это самые мои, и я их желаю в обрат получить.

— Этого нельзя, они должны остаться до рассмотрения.

— А как же, — говорит, — за что я избит?

— А вот это вы у них спросите.

Тут дядя вступился.

— Ваше высокородие! Что же нас спрашивать понапрасну. Это в действительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Ведь мы его к себе в Елец берем.

А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону.

— Нет, — говорит, — позвольте еще, чтобы я в Елец согласился. Бог с вами совсем: только упросили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение.

Дядя говорит:

— Отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело.

— Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть.

— Мы тебя вылечим.

— Нет, я, — говорит, — вашего лечения не хочу, меня всегда у Финогеича банщик лечит, а вы мне заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

— Ну и заплатим.

— Я ведь это не в шутку; меня бить нельзя... на мне сан.

— И сан удовлетворим.

И Цыганок тоже дяде помогать стал:

— Елецкие, — говорит, — купцы удовлетворят... Кто там еще за клином есть?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Вводят борисоглебского гостинника и Павла Мироныча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостиннике тоже.

— За что дрались? — спрашивает Цыганок.

А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают:

— Ничего, — говорят, — ваше высокоблагородие не было, мы опять в полной приязни.

— Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь — это ваше дело; а как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полешской площади все корыты и лубья и оглобли повалял?

Гостинник говорит, что по нечаянности.

— Я, — говорит, — его хотел вести ночью в полицию, а он — меня; друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал; в снегу сбились, на площадь попали — никак не пролезть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обход взял... часы пропали...

— У кого?

— У меня.

Павел Мироныч говорит:

— И у меня тоже.

— Какие же доказательства?

— Для чего же доказательства? Мы их не ищем.

— А мясника Агафона кто под корыто подсунул?

— Этого знать не можем, — отвечает гостинник, — не иначе как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем.

— Хорошо, — говорит Цыганок, — только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона.

Пришел черный дьякон.

Цыганок ему говорит:

— Вы это зачем же ночью будку разбили?

Дьякон отвечает:

— Я, — говорит, — ваше высокоблагородие, был очень испугавшись.

— Чего вы могли испугаться?

— На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать; я назад бросился и прошусь к будошнику, чтобы он меня от подлётов спрятал, а он гонит: «Я, говорит, не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват — силом вскочил в будку и заснул, а утром встал, смотрю: ни часов, ни денег нет.

Цыганок говорит:

— Что же, елецкие? Видите, и этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали.

Павел Мироныч и дядя отвечают:

— Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить занять у знакомцев, здесь при нас больше нету.

Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились, и много еще было смеху и потехи, и напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян в Борисоглебской и ехал по улице на извозчике,

платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали, а дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили — не поехал.

— Я, — говорит, — очень рад, что мне господь даровал с вас за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домик обстрою и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу, а вы, елецкие, как я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко гробу. Унылость во всем доме стала повсеместная. Лекаря Депиша не хотели: боялись, что он будет обо всем состоянье здоровья расспрашивать. Обратились к религии: в девичьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была иорданская простыня, как Евникея в Иордане реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквах с семи крестов воду спускали. Не помогло. Мужик-леженка был, Есафейка, — все лежнем лежал, ничего не работал — ему картуз яблочной резани послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распоряжаться стала. Иорданскую простыню Евникее велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать.

Это свахино было научение. Своих детей у нее много было, но она еще до сирот была очень милая — все их приючала и маменьке стала говорить:

— Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится: воздух другой сделается. Господа для воздуха расставляют цветы, конечно, худа нет; но главное для воздуха — это чтоб были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана — скрежещет... Особенно в Пушкарной теперь одна девка: так она с дитем бьется, что даже под орлицкую мельницу уже топить носила.

Маменька проговорила:

— Скажи, чтоб не топила, а мне подкинула.

В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и пе-

ремена в них началась. Стали мне оказывать язвительность.

— Тебе, — говорят, — к велику дню ведь обновы не надо: ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабацкую.

Я уже все терпел дома, но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи как увидят, дразнятся:

— С дьякона часы снял.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мне улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

— Хочешь, — говорит, — молодец, чтоб тебе голову на плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой и смеяться будет — ты и не почувствуешь.

Я говорю:

— Сделайте милость, мне жить противно.

— Ну, так ты, — говорит, — меня одну и слушай. Поедем мы с тобою во Мценск — Николе угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим; и женю я тебя на крале на писаной, с которой ты будешь век вековать, бога благодарить да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная.

Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет.

— Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прикажу понять, так она все въявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Николе во все свое удовольствие: лошадка в тележке идти будет с кладью, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по протуварчику, для угодника потрудимся: ты, да я, да она, да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка, Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной во Мценск отпускают. И вы тут с ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь, и как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тихости. А на все людские

речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взворачивать. Так все добро и пойдет, и былая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить, а остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории; и как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась, а я и о сю пору живу и все говорю: благословен еси, господи!

ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ
(1839 г.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и

очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

— Беда, ваше благородие, беда!

— Что такое?!

— Страшное несчастие постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастие».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которою против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, — не тратя сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут на этом пути он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает...

Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, — так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не

решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

— Что за человек... что за люди?

— Тонул, заливался, — начал было Постников.

— Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственною полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свиньин был человек не бес-

сердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что́ придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди не симпатизировавшие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или, даже пытаться его разжалобить — было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что́ один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, — этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это наде-

лал? — Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что «Свиньин слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свиньина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как только Свиньин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что́ произошло на его часах и что́ он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он «богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свиньин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление

часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход — скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиньин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удиви-

тельным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиньин и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» — поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиньине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиньину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

— Солдат бросил будку и спас человека?

— Точно так, — отвечал Свиньин.

— А будка?

— Оставалась в это время пустою.

— Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.

— Протокол? — односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

— Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

— Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

— Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякиванья генерала...

— Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?

— Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

— Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

— Виноват, — отвечал спасенный.

— То-то! Был пьян?

— Виноват, пьян не был, а был выпимши.

— Зачем в воду попал?

— Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.

— Значит, в глазах было темно?

— Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

— И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

— Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. — Он указал на офицера и добавил: — Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

— Век буду помнить.

— Имя ваше, господин офицер?

Офицер назвал себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.

— В поминанье за здравие это имя запиши.

— Запишу, ваше превосходительство.

— Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

— Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?

— Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

— О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

— С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

— Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

— Не за что благодарить, — продолжал Кокошкин. — Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

— Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

— Слушаю-с, — отвечал понятливо пристав.

— Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:

— Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился к вам, — отвечал Свиньин.

— Кто караульный офицер?

— Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:

— Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:

— Ну все равно: спокойно почивайте.

Аудиенция кончилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les *i*.[1]

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

— Ну, слава богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру, — теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и

---

[1] Точку над *i* *(франц.)*.

Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, — напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною *очень доволен.* Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

— Да, пора! — подсказал обрадованный Миллер.

— Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

— Нет, — перебил он, — это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

— А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших

подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les *i*, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует». Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

— Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя — солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один — должную награду, а другой — заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было

так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:

— Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

— Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

— Это действительно так, — заговорил поощренный Свиньин. — Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

— Долг службы никогда не должен быть нарушен.

— Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

— Но он лишен и награды за спасение погибавших.

— Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас — подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее — это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смирной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

СКОМОРОХ ПАМФАЛОН

> Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.
>
> *Лао-тзы.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на самом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга ненавидели, а к низшим, бедным людям не имели сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных

нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравами на званых пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У упомянутого Ермия душа была *мирная,* и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: если верить, что евангелие божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое: читать «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем», а заместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставлять перед царем, как будто он оглупел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как в самом деле трудно, чтобы и в почести остаться и самому вести жизнь по Христову учению?

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда перед царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним, — думает, — не угожу другим: если с хитрыми пойду — омрачу свою душу, а если за нехитрых стану — то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет неспокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озвереет, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей; а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его дозволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермия остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всяку власть»). А в это же самое время скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе:

«Не указание ли мне это свыше? — подумал Ермий. — Царь меня отпустил от служебных забот,

а господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминучие заботы, и хоть я от служебных дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») — были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между нуждавшимися бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем нежданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала, и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот, — подумал Ермий, — это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно

оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собою Ермий взял на скалу только одну длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

— Принеси мне воды: я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

— Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

— Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и так сделалось известно людям о новом столпнике, и люди из села побежали к Ермию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьев капусты и сухих, невареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своем Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили.

Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда свалива̇л пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том: как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь наверно иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так — пусть земной мир весь стоит для вечности, и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там показать свои успехи в здешней школе. Но какие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку творец, узрев, «яко все добро зело», если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть богу угождающие и вечность улучившие?»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою наклонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

ГЛАВА ПЯТАЯ

И вот однажды, когда, при опускающемся покрове ночи, столпник «усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть иже богу угожающи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись к его слуху следующие слова:

— Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре богу угожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

— Господи, если я обрел милость в очах твоих, то дозволь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

— Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: взаправду ли он это слышал, или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головой Ермий и слышит:

— Спускайся вниз, Ермий, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

— Да кто он такой, этот Памфалон?

— А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

— И где же обитает этот Памфалон?

— Он обитает в Дамаске.

Ермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обстоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладою снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

— Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона?

А старец отвечает:

— Как же могу я идти и искать человека мне неизвестного?

— Человек тебе назван.

— Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

— Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск...

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена — города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало, что послы благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомянул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать

лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти отросли, как у хищной птицы... Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздается издали:

— Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветрившийся сухой труп и возле него ветхую «козью милоть», какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам казалось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти засветло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию — хоть назад беги... И опять ему пришла в голову дума: не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть

опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места.

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

— Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе, как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт всем, и чем больше идут к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал: где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

— Кто там стучится?

Ермий отвечает:

— Я бедный странник.

— Ах, бедный странник! Не мало вас шляется. Чего же тебе надо?

— Прошу приюта.

— Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

— Я беден и не могу платить в гостинице.

— Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

— Да меня здесь никто не знает.

— А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

— Я прошусь во имя Христа.

— Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, всё Христа вспоминаете, а наместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей:

— Чего тебе надо?

— Изнемогаю, я бедный странник... пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

— У меня денег нет, — отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

— Полно, полно выкликать это имя,— отвечали ему из-за дверей второго дома, — все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

— Ах, — отозвался Ермий,— поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

— Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

— Я не своею волею пришел, а имел повеление.

— Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козьих милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым седмь приставных бесов ходит.

«Ого! — подумал Ермий, — как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я — пустынник, простоявший тридцать лет, — в тени столпа моего люди получали исцеления, а меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчестен от извратившихся природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

— Ну, насмешил ты меня, старичина!

— Чем это? — спросил Ермий.

— Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его расспрошу, что мне сделать, где найти приют».

— Ну, ты постой-ка, — сказал Ермий, — и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

— Как же, — отвечает, — есть здесь и таковые.

— Где же они?

— А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

— Ну, значит, их человеколюбство плохо.

— Таковы все показные человеколюбцы.

— А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

— И таковые известны.

— Где же они?

— Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

— Пойду же я к ним.

— Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками:

— Что же это, — говорит, — человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! увы!

— А ты вместо того, чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, — *иди к Памфалону.*

— Как ты сказал? — переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

— *Иди к Памфалону.*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Рад был отшельник услыхать про Памфалона. Стало быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес?

— Мне, — говорит Ермий, — Памфалона и нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

— А тебе что о твоем Памфалоне сказано?

— Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

— Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

— Почему же он всем так известен?

— А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой заслышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! сейчас, значит, сам Памфалон придет, и веселый смех будет.

— А для чего же он пса при себе водит?

— Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит и шипит по-змеиному.

— Зачем же Памфалону все это нужно — и пес и разноперая птица?

— Как же — Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

— Да кто же такой у вас этот Памфалон?

— А разве ты сам этого не знаешь?

— Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

— Вот как! — воскликнул он. — Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

— Перебирает ногами и вертит головою, — повторил пустынник, — лицедейство, телодвижение и скоки... Да кто же он такой наконец?!

— Скоморох.

— Как?.. этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он *скоморох!*

— Ну да, Памфалон скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой.

Ермий даже свой пустыннический посох из рук уронил и проговорил:

— Сгинь! сгинь, дьявол, полно тебе надо мной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

— Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у него наверно теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером приготовляет свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у гетер представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ермий, пораженный тем, что он услыхал о Памфалоне, остался в потемках и думает:

«Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох? Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам».

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда, и — надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Ермий все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидал приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме, как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох.

Ермий пошел на свет и видит: действительно стоит очень маленький, низенький домик, а в нем растворенная дверь, и над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно.

Жилье невелико — всего один покой, и притом не высокий, но довольно просторный, и в нем все на виду — и хозяин, и хозяйство, и все его рукомесло. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох.

На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери, висела глиняная лампа с длинным рожком, на конце которого горел красным огнем фитиль, напитанный жиром. Фитиль этот сильно коптил, и вниз с него падали огненные капли кипящего жира. Вдоль всей стены

висели разные странные вещи, которые, впрочем, точнее можно бы назвать хламом. Тут были уборы и сарацынские, и греческие, и египетские, а также были и разнопестрые перья, и звонцы, и трещотки, и накры, и красные шесты, и золоченые обручи. В одном угле вбит был крюк в потолок, а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилище, а на конце того шеста на веревке другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которою она прикована к обручу. В другом же углу загнуты полколесом гнуткие драницы, и за ними задеты бубны, накры, сопели и еще более странные вещи, которых и назначения даже не мог придумать давно не видавший суеты городской жизни пустынник.

На полу в одном углу постель из циновки, а в другом сундук; на этом сундуке перед скамьею, заменяющею стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища.

Вид его странен: он уже человек не молодой, а подстароват, имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз, но лицо это раскрашено, а полуседая голова вся завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьею, на которой разбросаны разные скоморошьи приборы, а перед лицом его маленькая глиняная жаровня и паяло. Он дует ртом через паяльную трубку в жаркие угли и закрепляет одно за другое какие-то мелкие кольца и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник.

Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги, а с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвонили звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепенулась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипела клювом. Памфалон

разогнулся, отнял на минуту губы от паяла и крикнул:

— Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужего человека, который приходит звать нас смешить заскучавших богачей. А ты, легкий посол, — добавил он, возвыся голос, — от кого ты ни жалуешь, подходи скорее и говори сразу: что тебе нужно?

На это Ермий ему ответил со вздохом:

— О Памфалон!

— Да, да, да; я давно Памфалон — плясун, скоморох, певец, гадатель и все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?

— Ты ошибся, Памфалон.

— В чем я ошибся, приятель?

— Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований: я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя за скоморошное игрище.

— Ну что ж за беда! Ночь еще впереди — придет кто-нибудь другой и покличет нас и на игрище, и у меня будет назавтра заработок, для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что же такое угодно?

— Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать.

Услышав эти слова, скоморох оглянулся, положил на сундук дротяные кольца и паяло и, расставив над глазами ладонь, проговорил:

— Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голос твой незнаком мне... Впрочем, в доме моем и в добре будь волен, как в своем, а насчет бесед... Это ты, должно быть, смеешься надо мною.

— Нет, я не смеюсь, — отвечал Ермий. — Я здесь всем чужой человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прошу приюта.

— Что же, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть — не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить.

— Благодарю, — отвечал Ермий, — и за привет твой пусть благословит тебя бог, благословивший страннолриимный кров Авраама.

— Ну, ну, перестань многословить! Совсем не о чем говорить, а уж ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься, а теперь входи скорее: пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь кликнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки: к нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз; так сладко поют и играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бежать, куда кликнут, а теперь как раз такой час, когда богатые и знатные гости приходят попоровать к веселым гетерам.

«Проклятый час», — подумал Ермий.

А Памфалон продолжал:

— Ну, входи же, сделай милость, и не обращай вниманья на мою собаку: это Акра, это мой верный пес, мой товарищ, — Акра живет не для страха, а так же, как я, — для потехи. Входи ко мне, путник.

С этим Памфалон протянул гостю обе руки и, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе.

Так страшен и дик показался ему вошедший пустынник!

Прежний вельможа, простояв тридцать лет под ветром и пламенным солнцем, изнемождил в себе вид человеческий. Глаза его совсем обесцветились, изгоревшее тело его все почернело и присохло к остову, руки и ноги его иссохли, и отросшие ногти загнулись и впились в ладони, а на голове остался один клок волос, и цвет этих волос был не белый, и не желтый, и даже не прозелень, а голубоватый, как утиное яйцо, и этот клок торчал на самой середине головы, точно хохол на селезне.

В изумлении стояли друг перед другом два эти совсем не сходные человека: один скоморох, скрывший свой натуральный вид лица под красками, а другой — весь излинявший пустынник. На них смотрели длинномордая собака и разноперая птица. И все молчали. А Ермий пришел к Памфалону не для молчания, а для беседы, и для великой беседы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Оправился первый Памфалон.

Заметив, что Ермий не имел на себе никакой ноши, Памфалон с недоумением спросил его:

— Где же твоя кошница и тыква?

— Со мной нет ничего, — отвечал отшельник.

— Ну, слава богу, что у меня сегодня есть чем тебя угостить.

— Мне ничего и не надо, — перебил старец, — я пришел не за угощением. Мне нужно знать, как ты угождаешь богу?

— Что такое?

— Как ты угождаешь богу?

— Что ты, что ты, старец! Какое от меня угождение богу! Да мне об этом даже и думать нельзя.

— Отчего тебе нельзя думать? О своем спасении всяк должен думать. Ничего для человека не может быть так дорого, как его спасение. А спасение невозможно без того, чтобы угодить богу.

Памфалон его выслушал, улыбнулся и отвечал:

— Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как мне смешно тебя слушать. Видно, и вправду давно ты из мира.

— Да, я из мира давно; я тридцать лет уже не был между людьми, но все-таки что я говорю, то истинно и согласно с верой.

— А я, — отвечал Памфалон, — с тобою не спорю, но говорю тебе, что я человек очень непостоянной жизни, я ремеслом скоморох и не о благочестии размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясу головой, чтобы мне дали что-нибудь за мое посмешище. О каком богоугождении я могу думать в такой жизни!

— Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

— А, друг любезный, я уже это пробовал.

— И что же?

— Не удается.

— Еще раз попробуй.

— Нет, уж теперь и пробовать нечего.

— Отчего?

— Оттого, что я на сих днях упустил такой случай для исправления моей жизни, какого уже лучше и быть не может.

— Почему ты знаешь? По-твоему не может быть, а у бога все возможно.

— Нет, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу более искушать бога, если я не умею пользоваться его милостями. Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет.

— Так ты, значит, отчаянный?

— Нет, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человек, и разговаривать со мною о вере... просто даже некстати.

Ермий покачал головой и говорит:

— В чем же, однако, состоит твоя вера, веселый беззаботный человек?

— Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если создавший меня сам что-нибудь лучшее из меня со временем сделает, ну так это его дело. Он всех удивить может.

— А отчего же ты сам о себе не заботишься?

— Некогда.

— Как это некогда?

— Да так, я живу в суете, а когда нарочито соберусь спасаться, то на меня нападает тоска, и вместо хорошего еще хуже выходит.

— Ты говоришь несообразное.

— Нет, это правда. Когда я размыслюсь, то от моего слабого характера стану тревожен и опять сам все разрушу и стану на свою скоморошью степень.

— Ну, так ты человек пропащий.

— Очень может быть.

— И я думаю, что ты совсем не тот Памфалон, которого мне надобно.

— Я не могу тебе на это ответить, — отвечал скоморох, — но только мне кажется, что на этот час, когда я так счастлив, что могу послужить твоей страннической нужде, я теперь, пожалуй, как раз тот Памфалон, который тебе нужен, а что тебе дальше нужно будет, о том завтра узнаем. Теперь же я умою твои ноги, и ты покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

— Мне нужно бесед твоих.

— Бесед! — опять воскликнул Памфалон.

— Да, мне нужно бесед твоих, я для них пришел и не отступлю от тебя.

Памфалон поглядел на старца, потрогал его за его синий хохолок и потом вдруг расхохотался.

— Что же это тебе, весельчак, так смешно в словах моих? — спросил Ермий.

А Памфалон отвечал:

— Прости мне мое безумство. Я это по привычке шутить рассмеялся. Ты хочешь не отступить от меня, а я подумал, что мне, пожалуй, и хорошо бы взять тебя и поводить с собою по городу. Мне бы было выгодно водить тебя напоказ по Дамаску. На тебя бы все глядеть собирались, но мне стыдно, что я так о тебе подумал, и пусть же и тебе будет стыдно надо мною смеяться.

— Я ни над кем не смеюсь, Памфалон.

— Так зачем же ты говоришь, что хочешь от меня бесед для своего научения? Какие научения могу дать я, дрянной скоморох, тебе, мужу, имевшему силу рассуждать о боге и о людях в святом безмолвии пустыни? Господь меня не лишил совсем святейшего дара своего — разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старик, позволь мне омыть твои ноги и почивай на моей постели.

— Хорошо, — сказал Ермий, — ты хозяин в своем доме и делай, что хочешь.

Памфалон принес лохань свежей воды и, омыв ноги гостя, подал ему есть, а потом уложил в постель и промолвил:

— Завтра будем говорить с тобою. А теперь об одном тебя попрошу: не тревожься, если кто-нибудь из подгулявших людей станет стучать ко мне в дверь или бросать что-нибудь в стену. Это ничего другого не значит, как празднолюбцы зовут меня потешать их.

— И ты встаешь и уходишь?

— Да, я иду во всякое время.

— И неужто ты входишь повсюду?

— Конечно, повсюду: я ведь скоморох и не могу разбирать места.

— Бедный Памфалон!

— Как быть, мой отец! Мудрецы и философы моего мастерства не требуют, а требуют его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищ, верчусь на пирах, бываю в загородных рощах, где гуляют молодые богачи, а больше все по ночам бываю в домах у веселых гетер...

При последнем слове Ермий едва не заплакал и еще жалостнее воскликнул:

— Бедный Памфалон!

— Что делать, — отвечал скоморох, — я действительно очень беден. Я ведь сын греха и как во грехе зачат, так с грешниками и вырос. Ничему другому я, кроме скоморошества, не научен, а в мире должен был жить потому, что здесь жила во грехе зачавшая и родившая меня мать моя. Я не мог снести, чтобы мать моя протянула к чужому человеку руку за хлебом, и кормил ее своим скоморошеством.

— А где же теперь твоя мать?

— Я верю, что она у бога. Она умерла на той же постели, где ты лежишь теперь.

— Тебя любят в Дамаске?

— Не знаю, что есть слово «любят», но меня, пожалуй, и любят, и кидают мне деньги за мои забавы, и угощают меня за своими столами. Я пью на чужой счет дорогое вино и плачу за него моими шутками.

— Ты пьешь вино?

— О да, что я пью вино и люблю его пить, в том нет никакого сомнения. Да без этого и нельзя для человека, который держится веселой компании.

— Кто же тебя приучил к этой компании?

— Случай, или, лучше тебе сказать, я не умею объяснить этого твоему благочестию. Мать моя в молодости была весела и прекрасна. Отец мой был знатный человек. Он меня бросил, а другие из степенных людей никто меня не взяли, взял меня такой же, как я, скоморох и много меня бил и ломал, но все-таки спасибо ему — он меня выучил своему делу, и теперь никто лучше меня не кинет вверх колец, чтобы они на лету сошлися; никто так не щелкает языком, не строит рож, не плещет руками, и не митушует ногами, и не тростит головой.

— И тебе это ремесло еще не омерзело?

— Нет, оно часто мне не нравится, особенно когда я вижу, как проводят у гетер время вельможи, которым надо бы думать о счастье народа, и когда в веселые дома приводят цветущую юность, но я в этом воспитан и этим одним только умею добывать себе хлеб.

— Бедный, бедный Памфалон! Смотри, вот уже и голова твоя забелелась, а ты все до сей поры плещешь руками, и семенишь ногами, и тростишь головой у погибших блудниц. Ты сам погибнешь с ними.

А Памфалон отвечал:

— Не жалей меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетер. Гетеры грешницы, но бывают к нам, слабым людям, жалостливы. Когда их гости упьются, они сами ходят и сами для нас от гуляк собирают даянье, и даже порою с излишком и с ласкою для нас просят.

И заметив, что Ермий отвернулся, Памфалон тронул его ласково за плечо и молвил с уветом:

— Верь мне, почтенный старик, что живое всегда живым остается, и у гетер часто бьется в груди прекрасное сердце. А печально нам быть на пирах у богатых господ. Вот там часто встречаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотят, а свободного смеха и шуток не терпят. Там требуют того, чего естество человеческое стыдится, там угрожают ударением и ранами, там щиплют мою разноперую птицу, там дуют и плюют в нос моей собаке Акре. Там ни во что вменяют все обиды для низших и наутро... ходят молиться для вида.

— О горе! о горе! — прошептал Ермий, — вижу, что он даже совсем еще далек от того, чтобы понимать, в чем погряз, но его ум и его естество, может быть, добры... Потому я, верно, для того к нему и послан, чтобы вывесть его одаренную душу на иную путину.

И сказал он ему вдохновенно:

— Брось свое гадкое ремесло, Памфалон.

А тот ему спокойно ответил:

— Очень бы рад, да не могу.

— Произнеси глагол к богу, и он тебе поможет.

Памфалон вздрогнул и упавшим голосом молвил:

— Глагол!.. зачем ты читаешь в душе моей то, о чем я хочу позабыть!

— Ага! ты, верно, уже давал обет и опять его нарушил?

— Да, ты отгадал: я сделал это дурное дело — я давал обет.

— Почему же ты называешь обет дурным делом?

— Потому, что христианам запрещено клясться и обещаться, а я, какой ни есть, все же христианин, и, однако, я давал обет и его нарушил. А теперь я знаю, что разве может слабый человек давать обет всемогущему, который предуставил, чем ему быть, и мнет его, как горшечник мнет глину на кружале? Да, знай, старичок, знай, что я имел возможность бросить скоморошество и не бросил.

— И почему же ты не бросил?

— Не мог.

— Что у тебя за ответ: все ты «не мог»! Почему ты и мог и не мог?

— Да, и мог и не мог, потому что... я небрежлив — я не могу о своей душе думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старец приподнялся на ложе и, вперив глаза в скомороха, воскликнул:

— Что ты сказал?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на бесконечные веки веков, лишь бы сделать что-нибудь в сей быстрой жизни для другого! Да ты имеешь ли понятие о ярящемся пламени ада и о глубине вечной ночи?

Скоморох усмехнулся и сказал:

— Нет, я ничего не знаю об этом. Да и как я могу знать о жизни мертвых, когда я не знаю даже всего о живых? А ты знаешь о тартаре, старец?

— Конечно!

— А между тем, я вижу, и ты не знаешь о многом, что есть на земле. Мне это странно. Я тебе говорю, что я человек негодный, а ты мне не веришь. А я не поверю тебе, что ты знаешь о мертвых.

— Несчастный! да ты имеешь ли даже понятие о самом божестве?

— Имею, только очень малые понятия, но в том не ожидаю себе великого осуждения, потому что я ведь не вырос в благородной семье, я не слушал уроков у схоластиков в Византии.

— Бога можно знать и служить ему без науки схоластиков.

— Я с тобою согласен и так всегда говорил в уме с богом: ты творец, а я тварь — мне тебя не понять, ты меня всунул для чего в эту кожаную ризу и бросил сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь. Хотел бы узнать: для чего это все так мудрено сотворено, да я не хочу быть как ленивый раб, чтобы о тебе со всеми пересуживать. Я буду тебе просто покорен и не стану разузнавать, что ты думаешь, а просто возьму и исполню, что твой перст начертал в моем сердце! А если дурно сделаю — ты прости, потому что ведь это ты меня создал с жалостным сердцем. Я с ним и живу.

— И ты на этом надеешься оправдаться!

— Ах, я ни на что не надеюсь, а я просто ничего не боюсь.

— Как! ты и бога не боишься?!

Памфалон пожал плечами и ответил:

— Право, не боюсь: я его люблю.

— Лучше трепещи!

— Зачем? Ты разве трепещешь?

— Трепетал.

— И нынче устал?

— Я уже не тот, что был прежде когда-то.

— Наверно, ты сделался лучше?

— Не знаю.

— Это ты хорошо сказал. Знает тот, кто со стороны смотрит, а не тот, кто свое дело делает. Кто делает, тому на себя не видно.

— А ты себя когда-нибудь чувствовал хорошо?

Памфалон промолчал.

— Я умоляю тебя, — повторил Ермий, — скажи мне, ты когда-нибудь чувствовал себя хорошо?

— Да, — отвечал скоморох, — я чувствовал...

— А когда это было?

— Представь, это было именно в тот самый час, когда я себя от него удалил...

— Боже! что говорит этот безумец!

— Я говорю сущую правду.

— Но чем и как ты отдалил себя от бога?

— Я это сделал за единый вздох.

— Ответь же мне, что ты сделал?

Памфалон хотел отвечать, что с ним было, но в это самое мгновение циновку, которою была завешена дверь, откинули две молодые смуглые женские руки в запястьях, и два звонкие женские голоса сразу наперебой заговорили:

— Памфалон, смехотворный Памфалон! скорей поднимайся и иди с нами. Мы бежали впотьмах бегом за тобою от нашей гетеры... Спеши скорей, у нас полон грот и аллеи богатых гостей из Коринфа. Бери с собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче в ночь можешь много заработать за свое смехотворство и хоть немножко вернешь свою большую потерю.

Ермий взглянул на этих женщин, и их лоснящаяся теплая кожа, их полурастворенные рты и замутившиеся глаза с обращенным в пространство взором, совершенное отсутствие мысли на лицах и запах их страстного тела ошибли его. Пустыннику показалось, что он слышит даже глухой рокот крови в их жилах, и в отдалении топот копыт, и сопенье, и запах острого пота Силена.

Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.

А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:

— Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! — и, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам:

— Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.

Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои скоморошьи снаряды, ушел, загасив лампу.

Ермий остался один в пустом жилище.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать

это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе рокотанье их крови и веянье страстного пота Силена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..

Отшельник содрогнулся.

Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске... ту же темную скверну греха, от которой он бежал из Византии? Нет, верно не ангел божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.

Тяжело было старцу подняться — ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела... он встает, он бредет во тьме по стогнам Дамаска, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф, и самый Силен — всё напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срывает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:

— Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.

И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури, и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дремлют...

Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины — один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листах мягкий козий сыр и сочные фрукты.

Ничего этого с вечера здесь не было...

Значит, пустынник спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.

Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утром встал и мог подкрепиться...

Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.

Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.

«Чудак мой хозяин», — подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а ангел.

«Что же! — подумал Ермий, — может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! как это узнать? Как разрешить это сомненье?

И старик заплакал, опустился перед скоморохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.

Памфалон проснулся и спросил:

— Что тебе угодно от меня, мой отец?

Но увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:

— Зачем я вижу слезы на старом лице твоем? Не обидел ли тебя кто-нибудь?

А Ермий ему отвечает:

— Никто меня не обидел, кроме тебя, потому что я пришел к тебе из моей пустыни, чтобы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне: чем ты угождаешь богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлено, что ты богу любезен.

Памфалон задумался и потом говорит:

— Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.

— Да ты, может быть, сам не знаешь?

— Ну, как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете, и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.

— Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?

— Ага! про это изволь, — отвечал Памфалон, — если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там на свободе я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.

— Пойдем, бога ради, скорее, — отвечал Ермий, покрываясь своими ветхими лохмотьями.

Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ни за что я не стал бы тебе рассказывать, — начал Памфалон, — о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но, что всего хуже еще, — я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул бога в данном ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоем суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание.

Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел, и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о божественном я не научен и по жизни моей мне редко когда это приходит на мысль, но ты прозорлив — бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли этак жить? Грешишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится. Но человек ведь, отче, лукав

и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я: и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы жить, как другие, степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало, — нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня бог так устроил? Но если он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет, — ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, как прочие благородные люди, которых почитают и монахи, и клирики, и все ожидающие себе царствия небесного.

И что же ты думаешь! точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вот что было раз в моей жизни.

Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетня, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гостей было много, и всё чужеземцы из Рима и хвастуны богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них заработать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила

всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Ор коринфянин, с надутым брюхом без шеи. Ор громко сказал:

— Покажи мне, Азелла, много ли золота все положили в твою тунику.

Она показала.

Ор же взглянул и, скосивши лицо с надменной усмешкой на римлян, добавил:

— Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони сейчас от себя всех этих гостей и возьми за то у слуги моего вдесятеро против того, что они все положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостям:

— Мудрые люди, фортуна спускается к смертным не часто, а к Памфалону она еще во всю жизнь не сходила. Дайте ей место, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня последнего и дала мне так много денег, что я не мог счесть их, а утром, когда стал сосчитывать, насчитал двести тридцать златниц. Я и обрадовался и вместе с тем испугался.

«Вот, — подумал я, — случай, после которого я уже не должен более служить скоморошьим потехам. Это точно бог внял моему обещанью. Никогда еще у меня не бывало зараз столько денег. Довольно же меня всем обижать и надо мной насмехаться. Теперь я не бедняк. За эти деньги я вчера снес большие обиды, но зато вперед этого больше не будет. Конец скоморошью! Я отыщу себе небольшое поле с ключом чистой воды и с многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно, как все люди, с которыми не стыдятся вести знакомство ни клир, ни монахи».

И я предался разнородным мечтаньям, стал любоваться собою, как я буду жить достойною жизнью: буду рано утром вставать, а не то что теперь — только утром ложиться; не буду свистать, а стану петь псалмы; буду днем работать в *своем* винограднике, а вечером сяду у *своего* ручья под *своей* пальмой и стану размышлять о *своей* душе да выглядывать путника. А покажется путник, я поднимусь и пойду ему навстречу, приглашу его к себе, приму его в дом, успокою, угощу и потом поведу

с ним в тишине под звездным небом беседу о боге. Переменится совсем к лучшему жизнь моя, и не буду я скоморохом в старости, когда оскудеют мои силы. А чтобы решение мое еще более окрепло и слабость ко мне ниотколь не подкралась, я завязал себе руки неразрывною цепью... Я сделал то, о чем ты говорил, я поклялся с этого раза стать совсем иным человеком; но послушай же, что затем сталось и перед чем я не устоял в клятве и обещании.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чтобы ничего не истратить, я не пошел отправлять домой убогого воина, а зарыл все мои деньги в землю у себя под изголовьем и утром не поднимал моей циновки. Я притворился больным и не хотел ни одного раза больше идти на гульбу с бражниками. Всем, кто приходил меня звать, я отвечал, что я болен и пойду за город в горы подышать свежим воздухом и поискать на болезнь мою целебную траву. А сам пробрался потихоньку к сводчику, к жиду Капитону, который знает все, где что продается, и просил его отыскать мне хорошее поле с водою и с пальмовой тенью. Капитон-сводчик меня сразу обрадовал.

— Есть, — говорит, — у меня на виду как раз то, что тебе нужно.

И описал мне продажное поле так хорошо, как я сам не умел о нем и подумать. Есть там и ключ и пальма, да еще и бальзамный куст, от которого струит ароматом на целое поприще.

— Иди, — говорю, — и купи мне скорей это поле.

Жид обещал все устроить.

«Вот, — думал я, — теперь уже совсем наступает конец моей беспорядочной жизни, теперь я брошу все мои крики и свисты, сниму все смешные наряды, надену на себя степенный левитон, покрою голову платом и буду работать день на поле, а вечером стану сидеть у своей кущи и подражать гостеприимству Авраама.

Но не скрою от тебя — во все это время я ощущал беспокойство. Все мне казалось, что ничего того, что я затеял, не будет.

На обратном пути от Капитона объял меня страх: не узнал ли кто, что я получил деньги от гордого коринфянина, и не пришел ли без меня и не украл ли моих денег из того места, где я их зарыл у себя под постелью?.. Побежал я домой шибко, в тревоге, какой ранее никогда еще не знал, а прибежав, сейчас же прилег на землю, раскопал свою похоронку и пересчитал деньги: все двести тридцать златниц, которые бросил мне гордый Ор коринфянин, были целы, и я взял и опять их зарыл и сам лег на них, как собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мне страшно было не одних тех воров, что ходят и крадут, а я боялся и того вора, что жил вечно со мной в моем сердце. Я не хотел знать ни о чьем несчастье, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человеку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая внимания на то, что где-нибудь делается с другими. Я не виноват в их несчастиях.

А так как я, ходя к Капитону и возвращаясь назад, изрядно устал, то меня одолел сон, но и сон этот был тоже исполнен тревоги: то я видел, что давно уже купил себе сказанное Капитоном поле, и живу уже в светлом доме, и близко меня журчит родник свежей воды, и бальзамный куст мне точит аромат, и ветвистая пальма меня отеняет. То во всей этой красоте все что-то портит: в роднике я вижу бездну пиявиц, вокруг пальмы прыгают огромные жабы, а под самым бальзамным кустом извивается аспид. Увидав аспида, я так испугался, что даже проснулся, и сейчас подумал: целы ли мои деньги? Они были целы — я лежал на них, и никто их не мог взять без насилия. И вот мне пришла мысль, что богатство, которое мне бросил Ор у Азеллы, вероятно не осталось до сих пор тайной в Дамаске. Не с тем кинул мне деньги на пиру у гетеры гордый коринфянин Ор, чтобы это оставалось в тайне. Он, конечно, для того только это и сделал, чтобы все завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вот теперь люди узнают, что у меня есть деньги, и придут ко мне ночью и меня ограбят и изобьют, а если я стану им сопротивляться, то они совсем убьют меня.

А как у меня циновка была опущена, то в горнице стало нестерпимо душно, и я подошел приподнять

циновку и вижу, что по улице идут два малолетних мальчика с корзинами, полными хлеба, а перед ними осел, который тоже нагружен такими же корзинами с хлебом. Мальчики погоняют осла и разговаривают между собою... обо мне!

— Вот, — говорит один, — наш Памфалон нынче уже и циновки своей не открывает.

— Да зачем ему теперь открывать ее, — отвечает другой, — ему больше не нужно кривляться: он богач — может спать сколько захочет. Ты ведь, я думаю, слышал, что рассказывали все, которые приходили сегодня к нам в пекарню за хлебом.

— Как же, как же, я даже так заслушался, что хозяин дал мне за это во всю ладонь подзатыльник. Какой-то гордец из Коринфа, чтобы унизить наших дамасских богачей, бросил Памфалону у гетеры Азеллы десять тысяч златниц. Он теперь купит дом, и сады, и невольниц и будет лежать у фонтана.

— Не десять, а двадцать тысяч златниц, — поправил другой, — и притом деньги эти были еще в ящике, осыпанном перлами. Он купит, наверное, поле с чертогом, поставит вокруг себя самых красивых мальчиков с опахалами и станет сбирать разных ученых и заставлять их рассуждать на разных языках о святом духе.

Из этого разговора мальчиков, развозивших хлеб из пекарни, я узнал, что случай моего неожиданного обогащения уже известен всему Дамаску, а притом и самая сумма, которою я обладал по прихоти горделивого Ора, была более чем в десять раз преувеличена.

Да и кто мог наверно знать, что сумма, брошенная мне гордецом Ором, заключалась менее чем в трехстах литрах, а совсем не в двадцати тысячах златниц? Конечно, это знал только один я, потому что и сам Ор, без сомнения, не считал того, что он мне кинул.

Но и это было еще маловажно в сравнении с тем, чем закончили свой разговор проходившие мальчики. Один из них продолжал, будто всех очень занимает: куда я спрятал теперь такое богатство, как двадцать тысяч златниц. Особенно же этим будто интересовался флейтщик Аммун, отчаянный головорез, который прежде был воином в двух взаимно враждовавших армиях, потом разбойником, убивавшим богомольцев, а после еще монахом в Нитрийской

пустыне и, наконец, явился сюда к нам в Дамаск с флейтою и черной блудницей, завернутой в милоть нитрийского брата. Брата он, верно, убил, а блудницу продал в веселый дом нагишом, а милотью обтирал долго пыль и грязь с ног гуляк, подходящих вечерами к порогам гетер. Он также часто играл на своей флейте при моих представлениях, но еще чаще гетеры отгоняли его. Аммун сам был виноват, потому что он без стыда начал румянить себе щеки и наводить брови, как особа обоего пола. Этим он сделался мерзок для женщин, как их соперник. Меня Аммун страшно ненавидел. Я даже знал, что он уже несколько раз научал пьяных людей напасть на меня ночью и сделать мне вред.

Теперь желанье сделать мне вред в Аммуне, конечно, должно было усилиться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное им злодейство в исполнение. У него уже было золото, и он брал себе людей в кабалу и заставлял их делать, что скажет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мысль об опасности, угрожающей мне от Аммуна, пролетела в моей голове как молния и так овладела мною, что даже помешала мне отнять рогожу от окна и воротить прошедших мимо мальчиков, у которых мне надо было купить для себя свежих хлебов.

Скача и вертясь за то, что мне кинут, я всегда был сыт и даже очень нередко подкреплял себя вволю вином, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провел весь день и без пищи и без глотка вина, а притом еще и в тревоге, которая возрастала так же быстро, как быстро сгущаются наши сумерки, переходящие в темную ночь.

Мне было не до пищи: я страшился за целость моего богатства и за мою жизнь: флейтщик Аммун так и стоял с своими кабальными перед глазами напуганной души моей. Я думал, это непременно так и есть: вот он днем обегал уже всех подобных ему, согласных на злодейства, и теперь, при наступающей темноте, все они собрались в какой-нибудь пещере или корчемнице, а как совсем стемнеет, они придут сюда, чтобы взять от меня двадцать

тысяч златниц. Когда же они не найдут у меня столько, сколько думают, то они не поверят, что коринфянин Ор не дарил мне такой суммы, и станут меня жечь и пытать.

И тут вдруг я, к ужасу своему, вспомнил, что я никогда как следует не заботился о крепости запоров для своего бедного жилища... Я закрывал его на время моего отсутствия более только для вида, а ночью часто спал, даже совсем не положив болтов ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и как время уже совсем приблизилось к ночи, то надо было поспешить все пересмотреть и что можно поскорее приладить, чтобы не так легко было ко мне ворваться.

Я придумал, как можно подпереть изнутри мою дверь, но только что стал это подстроивать, как вдруг неожиданно, перед самыми глазами моими, моя циновка распахнулась, и ко мне не взошел, а точно чужою сильною рукою был вброшен весь закутанный человек. Он как впал ко мне, так обвил мою шею и замер, простонав отчаянным голосом:

— Спаси меня, Памфалон!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С теми мыслями, каких я был полон в эту минуту и чего в тревоге опасался от Аммуна, я прежде всего заподозрил, что это начинается его дело, затеянное с какою-нибудь хитростию, в которых разбойничий ум Аммуна был очень искусен.

Я уже ждал боли, которую должен был ощутить от погружения в мою грудь острого ножа рукою впавшего ко мне гостя, и, охраняя жизнь свою, с такою силою оттолкнул от себя этого незнакомца, что он отлетел от меня к стене и, споткнувшись на обрубок, упал в угол. А я тотчас же сообразил, что мне легче будет управиться с одним человеком, который притом показался мне слабым, чем с несколькими за ним следующими, и потому я поскорее примкнул заставицу и задвинул крепкий засов, а потом взял в руки секиру и стал прислушиваться. Я твердо решился ударить секирою всякого, кто бы ни

показался в мое жилище, а в то же время не сводил глаз с того пришельца, которого отшвырнул от себя в угол.

Он стал мне казаться странен тем, что неподвижно лежал в углу, куда упал, и занимал так мало места, как ребенок, а в то же время он совсем не обнаруживал ничего против меня ухищренного, а, напротив, был будто заодно со мною. Он зорко следил за каждым моим движением и, учащенно дыша, шептал:

— Запрись!.. скорей запрись!.. скорей запрись, Памфалон!

Меня это удивило, и я сурово сказал:

— Хорошо, я запрусь, но тебе что от меня нужно?

— Подай мне поскорее твою руку, дай мне испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебе, что мне нужно.

— Хорошо, — отвечал я, — каковы бы ни были твои замыслы, но вот тебе моя рука, и вот чаша воды и место у моей лампы.

С этим я протянул гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое детское тело.

— Ты не мужчина, а женщина! — вскричал я.

А гость мой, говоривший до сей поры шепотом, отвечает мне женским голосом:

— Да, Памфалон, я женщина, — и с этим она распахнула на себе темную епанчу, в которую была завернута, и я увидал молодую, прекрасную женщину, с лицом, которое мне было знакомо. На нем вместе с красотою отражалось ужасное горе. Голова ее была покрыта дробным плетением волос, и тело умащено сильным запахом амбры, но она не имела бесстыдства, хотя говорила ужасные вещи.

— Посмотри, хороша или нет я? — спросила она, отеняясь одною рукою от лампы.

— Да, — отвечал я, — ты бесспорно красива, и тебе лучше не терять своего времени со мною. Что тебе нужно?

А она говорит:

— Ты не узнал меня, верно. Я Магна, дочь Птоломея с Альбиной. Купи меня, купи, Памфалон-скоморох, дочь Птоломея — у тебя теперь много богатства, а Магне золото нужно, чтоб спасти мужа и избавить детей из неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукой разрешать на себе пояс туники.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Старик! я видал много людей, но такой странной гостьи у меня еще никогда не случалось... Она и продавала себя и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце.

Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины.

— Остановись! — вскричал я; — я тебя узнаю, ты в самом деле благородная Магна, дочь Птоломея, в садах которого я с позволения твоего отца не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки! Говори мне скорее, что с тобой сделалось, где твой супруг, роскошный богач-византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего Понт скифского варвара? Где же твоя семья, где твои дети?

Магна, потупясь, молчала.

— Скажи же по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг — у умной Фотины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии-девы? Зачем быстрые ноги твои принесли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение!

Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ:

— Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий! Я не смеюсь: я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети!.. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно!

— Ну так скорее скажи мне, что это за горе, и если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню.

— Хорошо, я все скажу тебе, — отвечала Магна.

И тут-то, пустынник, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и клятву, и самую вечную жизнь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей вхожих к ним было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох, а там собирались ученые богословы и изрекали о разных высоких предметах и о самом святом духе. Жена Птоломея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась в мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной. Прекрасный сад ее отца, Птоломея, примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому гетеры Азеллы. Я всегда шел с моей скоморошьею ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя в поле, я останавливался на полпути, как раз против садов Птоломея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился над обрывом оврага, ел, — и заставлял Акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя, в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидал один раз прекрасное лицо взросшей Магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя Акра. Я это приметил и, не давая Магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем Акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло...

Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил Акру два раза, и когда она подняла жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова:

— Жестокий человек! за что ты мучишь это бедное животное! для чего ты принуждаешь собаку делать то, что несвойственно ее природе.

Я оборотился и увидал Магну, которая вышла из своего древесного закрытия, и, стоя по перси над низкой, заросшей листами оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом.

— Не осуждай меня, юная госпожа, — отвечал я, — я не жестокий человек, а выучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся.

— Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам, — ответила мне Магна.

— О госпожа! — отвечал я, — всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу, и хорошо, если он живет не на счет другого и не делает несчастия ближних.

— Это не идет к тебе, ты развращаешь своих ближних, — молвила Магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которою отличался всегда взор ее матери.

— Нет, юная госпожа, — отвечал я, — ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама испытала. Я простолюдин и не могу развращать людей высшего звания.

И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала:

— Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот... лови мой кошелек: я бросаю это тебе, чтобы ты дал вволю пищи твоей жалкой собаке.

С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага.

В этом падении я страшно расшибся.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В бедствии моем мне было утешением, что во все десять дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная Магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими девственными руками, смачивала у ручья

плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась.

— Отчего, — говорила она, — все не живут, как живет моя мать и мои подруги Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл.

И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался ей этого обещать, то она сердилась.

Я же ей говорил то, что и есть в самом деле.

— Разве ты не знаешь, — говорил я, — что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение? Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своею дорогой, как бык на веревке.

Магна не умела понять простых слов моих и все относила к привычке.

— Сказано мудрым, — отвечала она, — что привычка приходит как странник, остается как гость и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему больше не годною, как опять же для дегтя.

Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь — все равно что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорей из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище.

Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания.

И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойною Магной. Для того чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостоинству, она нашла

себя вынужденной довериться еще некоторому юноше, по имени Магистриану.

Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды с своими кистями к той же гетере Азелле, которая велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф, и когда Магистриан проходил полем близ того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения, он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданьем ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

— Прохожий! не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище.

Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мною наедине, стал меня спрашивать: как это со мною случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить две недели без пищи?

А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было.

И едва я дошел до того, как питала меня Магна и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь озарился в лице и воскликнул в восторге:

— О Памфалон! сколь ты счастлив, и как мне завиден твой жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и ноги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную Магну.

Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспешил его образумить.

— Ты малодушник, — сказал я. — Дочь Птоломея прекрасна, об этом ни слова, но здоровье для всякого

человека есть самое высшее благо, а притом Птоломей так суров, а мать Магны, Альбина, так надменна, что если душа твоя чувствует пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя хорошего выйти не может.

Магистриан побледнел и отвечал:

— Чему ж еще надобно выйти! Разве мне не довольно, что она меня вдохновляет.

И он ею продолжал вдохновляться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда я оправился и пришел в первый вечер к Азелле, Магистриан повел меня показать картины, которые он написал на стенах в беседке гетеры. Обширное здание беседки было разделено на «часы», из которых слагается каждый день жизни человека. Всякое отделение назначалось к тому, чтобы приносить в свой час свои радости жизни. Вся беседка в целом была посвящена Сатурну, изображение которого и блестело под куполом. У главного круга было два крыла в честь Гор, дочерей Юпитера и Фемиды, а эти отделения еще разделялись: тут были покои Ауге, откуда виднелась заря, Анатоло, откуда был виден восход солнца; Музия, где можно было заниматься науками; Нимфея, где купались; Спондея, где обливались; Киприда, где вкушали удовольствия, и Элетия, где молились... И вот здесь-то, в одном отдаленном уголке, который назначался для уединенных мечтаний, живописец изобразил легкою кистью благочестивое сновидение... Нарисован был пир; нарядные и роскошные женщины, которых я всех мог бы назвать поименно. Это все были наши гетеры. Они возлежали с гостями, в цветах, за пышным столом, а некто юный спал, уткнувшись лицом в корзину с цветами. Лицо его не было видно, но я по его тоге узнал, что это был сам художник Магистриан. А над ним виднелася травля: львы в цирке неслися на юную девушку... а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепал по плечу и сказал:

— Хорошо!.. ты ее написал очень схоже, но почему ты полагаешь, что ей звери не страшны? Я знаю их род: Пто-

ломей и Альбина известны своим благородством и гордостию тоже, но ведь рок их щадил, и их дочери тоже до сих пор не касалось никакое испытание.

— Что же из этого?

— А то, что прекрасная Магна никаких бедствий жизни не знает, и я не понимаю, почему ты отметил в ней такую черту, как бесстрашие и стойкость перед яростью зверя? Если это иносказанье, то жизнь ведь гораздо страшнее всякого зверя и может заставить сробеть кого хочешь.

— *Только* не Магну!

— Ах, я думаю, *даже* и Магну!

Я говорил так для того, чтобы он излишне не увлекался Магной; но он перебил меня и прошептал мне:

— Меня звали делать ширмы для ее девственной спальни, и пока я чертил моим углем, я с ней говорил. Она меня спросила о тебе...

Живописец остановился.

— Она сожалеет, что ты занимаешься таким ремеслом, как скоморошество. Я ей сказал: «Госпожа! не всякий в своей жизни так счастлив, чтобы проводить жизнь свою по избранию. Неодолима судьба: она может заставить смертного напиться из самого мутного источника, где и пиявки и аспид на дне». Она пренебрежительно улыбнулась.

— Улыбнулась?.. — спросил я. — Узнаю в этом дочь Птоломея и гордой Альбины. Мне, знаешь ли... мне больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше — с состраданием тихо вздохнула б.

— Да, — произнес Магистриан, — но она также сказала: «Смерть лучше бесславия», и я верю, что она на это способна.

— Ты скоро судишь, — отвечал я, — смерть лучше бесславия — это неспорно, но может ли это сказать мать, у которой есть дети?

— Отчего же? ты только вспомни, что сделала мать Маккавеев?

— Да. Маккавеев убили. А если бы матери их погрозили сделать детей такими скоморохами, как я, или обмывщиками ног в доме гетеры... Что? я думаю, если бы мать их была сама Магна, — то бог весть что бы она предпочла: позор или смерть за их избавление?

— Зачем говорить это! — воскликнул, отходя от меня, Магистриан, — пусть не коснется ее вовек никакое зло.

— О, — говорю я, — от всей души присоединяюсь к твоему желанию всего доброго Магне.

А на другой же день после этого разговора Магистриан пришел ко мне перед вечером очень печальный и говорит:

— Слышал ли ты, Памфалон, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдают дочь свою замуж!

— А почему ты называешь это грустною новостью? — отвечал я. — С каких это пор союз двух сердец стал печалью, а не радостью?

— Это было всегда, когда сердце соединяют с бессердечием.

— Магистриан! — остановил я живописца, — в тебе говорит беспокойное чувство, его зовут ревность. Ты должен его в себе уничтожить.

— О, я уже давно его уничтожил, — отвечал живописец. — Магна мне не невеста, и я ей не жених, но ужасно, что жених ее приезжий Руфин-византиец.

Это имя мне так было известно, что я вздрогнул и опустил из рук мое дело.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Руфин-византиец был из знатного рода и очень изящен собою, но страшно хитер и лицемер столь искусный, что его считали чрезмерным даже в самой Византии. Тщеславный коринфянин Ор и все, кто тратили деньги и силы на пирах у гетеры Азеллы, были, на мое рассуждение, лучше Руфина. Он прибыл в Дамаск с открытым посланием и был принят здесь Птоломеем отменно. Руфин, как притворщик, целые дни проводил во сне дома, а говорил, будто читает богословские книги, а ввечеру удалялся, еще для полезных бесед, за город, где у нас о ту пору жил близ Дамаска старый отшельник, стоя днем на скале, а ночью стеная в открытой могиле. Руфин ходил к нему, чтобы молиться, стоя в его тени при закате солнца, но отсюда крылатый Эол его заносил постоянно под кровлю Азеллы, всегда, впрочем, с лицом измененным, благодаря Магистрианову искусству. А потому мы хорошо его знали,

ибо Магистриан, как друг мой, не делал от меня тайны, что он рисовал другое лицо на лице Руфина, и мы не раз вместе смеялись над этим византийским двуличьем. Знала об этом и гетера Азелла, так как гетеры, закрыв двери свои за гостями, часто беседуют с нами и, находя в нас, в простых людях, и разум и сердце, любят в нас то, чего не встречают порою в людях богатых и знатных.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и любила его безнадежно, потому что Магистриан думал об одной Магне, чистый образ которой был с ним неразлучно. Азелла чутким сердцем узнала всю эту тайну и тем нежней и изящней держала себя с Магистрианом. Когда я и Магистриан оставались в доме Азеллы, при восходе солнца она, проводив своих гостей, часто говорила нам, как она которого из них разумеет, и не скрывала от нас своего особенного презрения к Руфину. Она называла его гнусным притворщиком, способным обмануть всякого и сделать самую подлую низость, а Азелла всех хорошо понимала. Один раз после безумных трат коринфянина Ора она нам сказала:

— Это бедный павлин... Все его щиплют, и когда здесь бывает с ним вместе византиец Руфин, хорошо бы встряхивать Руфинову епанчу.

Это значило, что Руфин мог быть и вор... Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистриан это знали.

Но Птоломей и Альбина глядели на византийца своими глазами, а добрая дочь их была покорна родительской воле, и жребий ее был совершен. Магна сделалась женою Руфина, который взял ее вместе с богатым приданым, данным ей Птоломеем, и увез в Византию.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Птоломей и Альбина были скоро наказаны роком. Лицемерный Руфин оказался и небогат, и не стольименит, как выдавал себя в Дамаске, а главное, он совсем не был честен и имел такие большие долги, что богатое приданое Магны все пошло на разделку с теснившими его заимодавцами. Скоро Магна очутилась в бедности, и приходили слухи, будто она терпит жестокую долю

от мужа. Руфин заставлял ее снова выпрашивать серебро и золото у ее родителей, а когда она не хотела этого делать, он обращался с нею сурово. Все же, что присылали Магне ее родители, Руфин издерживал бесславно, совсем не думая об уменьшении долга и о двух детях, которые ему родились от Магны. Он, так же как многие знатные византийцы, имел в Византии еще и другую привязанность, в угоду которой обирал и унижал свою жену.

Это так огорчило гордого Птоломея, что он стал часто болеть и вскоре умер, оставя своей вдове только самые небольшие достатки. Альбина все повезла к дочери: она надеялась спасти ее и потеряла все свои деньги на дары приближенным епарха Валента, который сам был алчный сластолюбец и искал случая обладать красивою Магной. Кажется, он имел на это согласие самого Руфина. Говорили, будто Руфин даже понуждал свою жену отвечать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенья семейства, потому что иначе Валент угрожал отдать Руфина со всею его семьею во власть его заимодавцев.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась в вечность, а Магна осталась с детьми в самой горестной бедности, но не предалась развращенным исканьям Валента. Тогда гневный вельможа Валент распорядился отдать всех их во власть заимодавцев.

Заимодавцы посадили Руфина в тюрьму, а детей его и бедную Магну взяли в рабство. А чтобы сделать это рабство еще тяжелее, они разлучили Магну с детьми и малюток ее отослали в село к скопцу-селянину, а ее отдали содержателю бесчестного дома, который обязался платить им за нее в каждые сутки по три златницы.

Напрасно вопияла ко всем бедная Магна и у всех искала защиты. Ей отвечали: над нами над всеми закон. Закон наш охраняет многоимущих. Они всех сильней в государстве. Если бы был теперь на своем месте наш прежний правитель Ермий, то он, как человек справедливый и милосердный, может быть вступился бы и не допустил бы этого, но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе. Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельничье самолюбие.

Произнеся эти слова, скоморох заметил, что сидевший возле него пустынник вздрогнул и схватил Памфалона за руку. Памфалон спросил его:

— Что, ты о них сожалеешь, что ли?

— Да, я сожалею... сожалею... И о них и о себе сожалею, — отвечал Ермий. — Продолжай твою повесть.

Памфалон стал продолжать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Содержатель бесчестного дома, чтобы избежать неприятного шума в столице и надежнее взять свои деньги, не стал держать Магну в Византии, а отправил ее в Дамаск, где ее все знали как самую благородную и недоступную женщину, а потому, без сомнения, теперь все устремятся обладать ею.

Магну, как рабыню, стерегли зорко, и у нее были отняты все средства бежать. Она не могла и лишить себя жизни, да она о самоубийстве и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своих детей от скопца из неволи.

Так она под караулом и в закрытости была привезена в Дамаск, и на другой день, то есть именно в тот день, когда я скрывался, лежа на моем золоте, огласилось, что продающий Магну содержит ее у себя за плату по пяти златниц за каждые сутки. Получить ее может всякий, кто заплатит златницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Тот, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно не медлил, чтобы собирать их с хорошим прибытком, и для того разослал зазывальщицу по всем богатым людям Дамаска, чтобы оповестить им, каким он роскошным владеет товаром.

Развращенные люди кинулись в дом продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но к вечеру продавец стал угрожать снестись с тем, кто взял ее детей, чтобы их оскопить, и она решилась ему покориться... И после этого силы ее оставили, и она крепко заснула и увидела сон: к ней кто-то тихо вошел и сказал ей: «Радуйся, Магна! ты сегодня обрела то одно, чего тебе

во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, как твоя мать; ты осуждала других падших женщин, не внимая, чем они доведены были до падения. Это было ужасно, и вот теперь, когда ты сама готова пасть и знаешь, как это тяжко, теперь твоя противная богу гордость сокрушилась, и теперь бог сохранит тебя чистой».

И в это же самое время в дом, где заключалась Магна, постучался один застенчивый гость, который закрывал лицо свое простой епанчою, и, тихо позвав хозяина, сказал ему шепотом:

— Ах, я очень стыдлив, но умираю от страсти. Скорее введи меня к Магне — даю тебе десять златниц.

Продавец был рад, но, прежде чем ввести незнакомца к Магне, сказал ему:

— Я должен сказать тебе, господин, что эта женщина из знатного рода, и она стоит мне по кабале больших денег, которых я через нее не выручил, потому что она умела разжалобить всех, кого я вводил к ней. Не мое будет дело, если ты станешь слушать ее слова и тебя размягчат ее речи. Я свое золото должен иметь, потому что я человек бедный и взял ее за дорогую цену.

— Не беспокойся, — отвечал, продолжая скрывать лицо, незнакомец, — вот получи свои десять златниц, а я не таковский: я знаю, что значат женские слезы.

Продавец взял у него десять златниц и дернул шнур, который опрокинул медную чашу, содержавшую медный же шар. Шар покатился по холщовому желобу и, докатившись до шатрового отделения Магны, звонко упал в медный таз, стоявший у изголовья ее постели. После чего продавец сейчас же повел гостя к Магне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Незнакомец вошел в отдаленный покой, накуренный пистиком и амброй, и увидал здесь при цветочном фонаре лежащую Магну. Ее не разбудил удар в таз, потому что как раз в это время ей снился тот сон, где открывалось, что надменная сила ее отлетела и теперь она спасена за признание своей немощи.

Продавец упрекнул Магну, что она не слыхала удара шара по тазу, и, указав ей на незнакомца, сказал грубо:

— Не притворяйся, будто не слышишь, что к тебе пущен шар! Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпеть убытки, я передам тебя туда, где к тебе будут входить суровые воины, и от тех ты уже не дождешься пощады.

И, сказав это, продавец взял шар и вышел, а гость затворил за ним и, оборотясь, тихо молвил Магне:

— Не бойся, злополучная Магна, я пришел, чтобы спасти тебя. — И он сбросил свой плащ.

Магна узнала Магистриана и зарыдала.

— Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтоб лить их и отчаиваться. Успокойся и верь, что если небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавление уже несомненно, если ты только согласна сама помогать мне, чтобы я мог тебя выручить и возвратить тебя детям и мужу.

— Согласна ли я! — воскликнула Магна. — О, добрый юноша, разве в этом возможно сомненье!

— Так поспеши же скорее делать, что я тебе скажу: теперь я отвернусь от тебя — и давай как можно скорее переменимся платьем.

И вот Магна надела на себя тунику, и епанчу, и все, что имел на себе мужское Магистриан, а он сказал ей:

— Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно так, как вошел сюда я, и смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери.

Магна так и сделала и благополучно вышла, но тотчас же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бежать, где скрыться, и что будет с бедным юношей, когда завтра обман их откроют? Магистриан подвергнется истязаньям, как разрушитель заимодавного права; он, конечно, не имеет столько, чтобы заплатить весь долг, за который отдана в кабалу Магна, и его навеки посадят в тюрьму и будут его мучить, а она все равно не может явиться к своим детям, потому что ей нечем выкупить их из кабалы.

И вот тут этой женщине пришла в голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести вперед добропорядочную жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Когда Магна открыла мне свои бедствия и рассказала об опасности, которой подвергался за нее Магистриан, передо мною точно разверзлась бездна. Я знал, что у Магистриана не могло быть десяти литр золота, которые взнес он за Магну и которые все равно не могли избавить ее от ее унижения, ибо не составляли цены всей ее кабалы и ничего не оставляли на выкуп ее детей от скопца в Византии. Но где, однако, Магистриан мог взять и эти златницы? Он работал в доме Азеллы, где всегда был ларец с сокровищами этой без ума влюбленной в него гетеры... И ужас объял мою душу... Я подумал: что́ если любовь к бедной Магне довела его до безумия, и он похитил ларец, и имя Магистриана отныне бесчестно: *он вор!*

А бедная Магна, продолжая оглашать воздух стонами, возвратилась опять к тем же словам, с которых начала, когда неожиданно вошла в мое жилище.

— Памфалон! — вопияла она, — я слышала, что ты разбогател, что какой-то гордый коринфянин дал тебе несметные деньги. Я пришла продать себя тебе, возьми меня к себе в рабыни, но дай мне денег, чтоб выкупить из неволи моих детей и спасти погибающего за меня Магистриана.

Отшельник! ты отжил жизнь в пустыне, и тебе, быть может, непонятно, какое я чувствовал горе, слушая, что отчаяние говорит устами этой женщины, которую я знал столь чистой и гордой своею непорочностию! Ты уже взял верх над всеми страстями, и они не могут поколебать тебя, но я всегда был слаб сердцем, и при виде таких страшных бедствий другого человека я промотался... я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души.

Я зарыдал и сквозь рыдания молвил:

— Ради милости божией умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не может этого вынесть! Я простой человек, я скоморох, я провожу мою жизнь среди гетер, празднолюбцев и мотов, я дегтярная бочка, но я не куплю себе того, что ты предлагаешь мне в безумье от горя.

Но Магна так ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

— Ты отвергаешь меня! — воскликнула она с ужасом. — О, я несчастная! где мне взять золота, чтобы

избавить от изуродования моих детей? — и она заломила над головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большего ужаса... Я задрожал, увидя, как ее унизило горе до того, что она, уже словно счастья, искала, чтобы кто-нибудь купил у нее ее ласки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я поспешил ее утешить.

— Нет, — закричал я, — это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебе друг и докажу тебе это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори более, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорей это плетение волос, через которое ты стала походить на гетеру; смой с своих плеч чистой водою этот аромат благовонного нарда, которым их покрыли люди, желавшие твоего позора, а потом скажи мне: сколько именно должен муж твой.

Она вздохнула и тихо промолвила:

— Десять тысяч златниц.

Я видел, что ее обманули: богатство, которое бросил мне расточительный Ор, было ничтожно для того, чтобы заплатить долг ее и выкупить детей.

Магна молча встала и, подняв рукою сброшенную епанчу Магистриана, хотела снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочет уйти от меня с нехорошею целию, и воскликнул:

— Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

— Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

— Ты хочешь освободить Магистриана!

Она только молча кивнула головой в знак согласья.

Я ее остановил насильно.

— Не делай этого, — сказал я. — Это будет напрасно. Магистриан так благороден и так тебе предан, что он оттуда не выйдет, а ты своим возвращением только увеличишь смятенье. У меня всего есть двести тридцать златниц... Это все, что я получил от коринфянина Ора. Если думают, что у меня есть более, то это или сочинила молва, или нахвастал сам Ор пустохвальный. Но все двести тридцать златниц ты должна считать за свои. Не возражай мне, госпожа Магна, не возражай мне против этого ни одного слова! Это золото твое, но надо достать еще

много, чтобы составило долг твоего мужа. Я не знаю, где больше взять, но ночь пока еще только в начале... Магистриан до утра безопасен. Твой продавец уверен, что вы теперь слилися в объятьях. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра до тебя никого без меня не допустит, а я сейчас извещу о твоем несчастье твоих именитых подруг: Таору, Фотину и Сильвию-деву, благочестье которой известно Дамаску... Их слуги все меня знают и за дары меня пустят к своим госпожам. Они богаты и целомудренны, и они не пожалеют золота, и дети твои будут выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

— Не тревожь, Памфалон, ни Таоры, ни Фотины, ни девственной Сильвии — все они ничего для твоей просьбы не сделают.

— Ты ошибаешься, — возразил я. — Таора, Сильвия и Фотина — благочестивые женщины, они преследуют всякий разврат, и по их слову у нас уже выслали многих гетер из Дамаска.

— Это ничего не значит, — отвечала Магна и открыла мне, что прежде чем бедствия ее семейства достигли до нынешней меры, она уже обращалась с просьбою к названным мною высоким гражданкам, но что все они оставили ее просьбы втуне.

— А как теперь, — прибавила она, — ко всему этому присоединился еще позор, до которого дошла я, то всякие просьбы к ним им будут даже обидны. Я сама была такова ж, как они, и знаю, что не от них может прийти избавление падшей.

— Ну, все равно, жди у меня, что нам пошлет милосердное небо, — сказал я и, погасив лампу, запер вход в мое жилище, в котором Магна осталась под защитою Акры, а я во всю силу бегом понесся по темным проходам Дамаска.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я не послушался Магны и проник, с помощию слуг, к Таоре, Сильвии и к Фотине... И стыжуся вспоминать, что́ я от них слышал... Магна была права во всем, что мне о них говорила. Слова мои только приводили в пламен-

ный гнев этих женщин, и я был изгоняем за то, что смел приходить в их дома с такою просьбой... Две из них, Таора и Фотина, велели прогнать меня с одним только напоминанием, что я стоил бы хороших ударов, но Сильвия-дева, та повелела бить меня перед ее лицом, и слуги ее били меня медным прутом до того, что я вышел от нее с окровавленным телом и с запекшимся горлом. Так, томимый жаждою, вбежал я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глоток воды с вином и идти далее. А куда идти — я сам не знал этого.

Но тут, едва я явился, под крытым переходом меня встретила наперсница гетеры, белокурая Ада. Она как будто нарочно шла с кувшином прохладительного напитка, и я сказал ей:

— Будь милосердна, прекрасная Ада, освежи уста мои — я умираю от жажды.

Она улыбнулась и молвила с шуткой:

— Тебе ли теперь умирать, *господин* Памфалон, ты больше не беден и можешь иметь рабов, которые станут прохлаждать для тебя воду.

А я ей ответил:

— Нет, Ада, я, слава богу, опять уже не богат — я опять так же беден, как прежде, и вдобавок... должен признаться, — я сильно изранен.

Она мне нагнула сосуд, а я припал к питью, и в то время, когда я пил, а Ада стояла, склонившись ко мне, она заметила на моих плечах кровь, которая сочилась из рубцов, нанесенных мне медным прутом пред лицом девственной Сильвии. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада в испуге вскричала:

— О несчастный! ты взаправду в крови! На тебя, верно, напали ночные воры!.. О несчастный! Хорошо, что ты спасся от них под нашею кровлей. Останься здесь и подожди меня немного: я сейчас отнесу это охлажденное питье гостям и вмиг возвращусь, чтоб обмыть твои раны...

— Хорошо, — сказал я, — я тебя подожду.

А она добавила:

— Может быть, ты хочешь, чтоб я шепнула об этом Азелле? У нее теперь пирует с друзьями градоправитель Дамаска: он пошлет отыскать тех, кто тебя обидел?

— Нет, — отвечал я, — это не нужно. Принеси мне только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надев чистую одежду, я хотел идти к бывшему монаху Аммуну, который занимался всякими делами, и закабалить ему себя на целую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать их на выкуп от скопца детей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мне было нужно.

Но она также сказала обо мне и своей госпоже, а это повело к тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняной туникой, как в переходе, где я лежал на полу, прислонясь боком к дереву, показалась в роскошном убранстве Азелла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта.

Азелла подошла с участьем ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мною случилось. Я ей стал рассказывать вкратце и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы.

Тогда я подумал: вот теперь время, чтобы открыть Магистрианову тайну, и вдруг неожиданно молвил:

— Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?

— Нет, это не все, — отвечала Азелла. — Но какое тебе до этого дело?

— Мне большое есть дело, и я тебя умоляю: скажи мне, где ты их сохраняешь и все ли они целы?

— Я храню их в драгоценном ларце, и все они целы.

— О, радость! — вскричал я, позабыв всю мою боль. — Все цело! Но где ж взял десять литр золота Магистриан?!

— Магистриан?!

— Да.

И когда я стал рассказывать, что сделал Магистриан, Азелла стала шептать:

— Вот кто истинно любит! Моя Ада видела, как он вышел из дома Аммуна... Я все понимаю: он продал Аммуну себя в кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта и сказала:

— Возьми все это, возьми и беги, как можно скорее возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал!

Я так и сделал: я соединил все мои деньги, которые дал мне Ор коринфянин, с тем, что получил от гетеры, и отправил с ними Магну выкупать из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно, но зато исправление жизни моей и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь скоморохом — я смехотвор, я беспутник — я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом: я бочка, я дегтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничем уже не исправишь. Вот тебе и весь сказ мой, отшельник, о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обет, данный богу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Ермий встал, протянул руку к своей козьей милоти и молвил скомороху:

— Ты меня успокоил.

— Полно шутить!

— Ты дал мне радость.

— В чем она?

— Вечность впусте не будет.

— Конечно!

— А почему?

— Не знаю.

— Потому, что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди

к себе в дом, Памфалон, и делай, что делал, а я пойду дальше.

Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этих птиц, но они не оставляют скалы.

— Это так и должно быть, — ответил им Ермий. — Не мешайте им вить свои гнезда. Птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. У вас много забот; я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти, а когда возвращусь с стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра.

Жители согласились, и Ермий начал гонять козье стадо и учить на свободе детей поселян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Памфалона. Старец теперь любил думать о добром Памфалоне, и всякий раз, когда Ермий переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам с своей Акрой и на лбу у него медный венец, но с этим венцом заводилося чудное дело: день ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и, наконец, в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукою глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше — взлетает от земли на воздух и несется прямо к пылающей алой заре.

Куда он несется! Он испепелится, он там сгорит. Ермий рванулся за Памфалоном, чтобы удержать его или чтобы по крайней мере с ним не расстаться, но в жарком рассвете зари между ними вдруг стала преграда... Это как бы частокол или решетка, в которой каждая жердь одна с другою не схожи. Ермий видит, что это какие-то знаки, — во весь небосклон большими еврейскими литерами словно углем и сажей напачкано слово: «самомненье».

«Тут мой предел!» — подумал Ермий и остановился, но Памфалон взял свою скоморошью епанчу, махнул ею

и вразстер это слово на всем огромном пространстве, и Ермий тотчас увидал себя в несказанном свете и почувствовал, что он летит на высоте, держась рука за руку с Памфалоном, и оба беседуют.

— Как ты мог стереть грех моей жизни? — спросил Памфалона на полете Ермий.

А Памфалон ему отвечал:

— Я не знаю, как я это сделал: я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел. Я всегда все так делал, пока был на земле, и с этим иду я теперь в другую обитель.

Дальнейших речей их не слышал уже списатель сказанья. Прохладное облако густою тенью застлало дальнейший их след от земли, и с румяной зарею заката вместе слились их отшедшие души.

ИНЖЕНЕРЫ-БЕССРЕБРЕНИКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тридцатых годах истекающего столетия в петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое: Брянчанинов, Чихачев и Николай Фермор. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собою очень любопытные характеры, а судьба их имеет общий интерес. Во всяком случае в ней есть многое, что может пригодиться как данные для характеристики тридцатых годов, а также и для уяснения современных разномыслий по поводу мнений о значении школы и о независимости человеческого характера.

Дмитрий Александрович Брянчанинов в указанном направлении был первым заводчиком: он был главою кружка любителей и почитателей «святости и чести», и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденною чертою Брянчанинова. По крайней мере по книге, о нем написанной, известно, что он был богомолен с детства, и если верить френологическим системам Галя и Лафатера, то череп Брянчанинова являл признаки «возвышенного богопочитания».

Он был мальчик с чрезвычайно миловидною и располагающею наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Брянчанинов был осторожен с детства; он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго.

Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня.

Вскоре после принятия его в инженерное училище туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно «выбор пансионеров».

Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством баллов приемного экзамена, а личным взглядом, то есть великий князь назначал своими пансионерами тех, кто ему нравился.

Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пансионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Брянчанинова с собою в экипаж и, приехав с ним в Аничков дворец, повел его за собою в покои великой княгини, впоследствии императрицы Александры Феодоровны.[1]

Великая княгиня была тогда в своем кабинете и, сидя за письменным столом, не слыхала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Брянчанинова, и не оглянулась на них.

Великий князь взял Брянчанинова за плечо и поставил его за спинкою кресла государыни, а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал ей по-французски:

— Я привез тебе представить моего нового пансионера. Посмотри на него.

---

[1] «Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова» говорит, что великий князь *приказал кадету прийти во дворец,* но генерал Пав. Фед. Фермор, товарищ Брянчанинова, помнит, что Николай Павлович *взял Брянчанинова с собою. (Прим. автора.)*

Государыня оборотилась на стуле, посмотрела на мальчика в лорнет и с довольною улыбкой сказала:

— Это прекрасный мальчик.

Вслед затем Брянчанинов был накормлен во дворце сытным завтраком и отпущен в училище, где его ждали и тотчас же подвергли обстоятельным расспросам о том, что с ним было.

Скромный, но правдивый юноша рассказал все по порядку и по правде.

Благоволение великого князя ему послужило в большую пользу.

Начальство училища с этого же дня обратило на Брянчанинова особенное внимание. Характер и способности юноши были изучены и определены в точности, и в первый же раз после этого, когда великий князь спросил:

— Как Брянчанинов?

Ему по сущей справедливости отвечали:

— Он во всех отношениях примерный.

— Очень рад, — заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого в этом случае получала себе приятное ему подтверждение.

— А каковы его наклонности и характер? — продолжал государь.

— Он очень религиозен и отличной нравственности.

— Я очень рад и очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером.

Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Брянчанинову, и Брянчанинов получил в этом кружке значение вождя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Брянчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из десяти, и из них особенною дружбой Брянчанинова сразу стал поль-

зоваться Миша Чихачев, которому Брянчанинов и открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие его направления и цели.

— Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал он Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя: будь мне друг — наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души.

Чихачев обещал ему эту помощь.

— Прекрасно, — отвечал он, — я всегда скажу тебе правду, но в этом и не будет надобности, так как ты уже нашел средства спасти себя от соблазна.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ты сам сказал: надо *не начинать,* и если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется...

— Твоя правда, — ответил, подумав, Брянчанинов, — но... все-таки наблюдай за мною. Я боюсь, что могу быть втянут на этот путь от тех самых людей, которые должны быть мне примером. Ведь мы «должны быть покорны начальникам нашим»...

— Да, это правда, — ответил Чихачев и тотчас же заметил, что лицо Брянчанинова вдруг как бы озарилось какою-то радостною мыслью, — он взял товарища за обе руки, сжал их в своих руках и, глядя с серьезною восторженностью вверх, как бы читал под высоким карнизом покоя:

— Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляют люди, и ты, может быть, отгадываешь, в чем оно заключается...

— Мне кажется, что я отгадываю, о чем ты думаешь.

— Я думаю, что надо всегда смотреть на Богочеловека.

— Ты прав.

— Поверь — если мы не будем сводить с него наших мысленных глаз и будем стараться во всем ему следовать, то для нас нет никакой опасности. Он нас спасет от опасности потерять себя во всех случаях жизни.

— Верю.

— И вот он с нами, и мы в нем, и он в нас. Мне кажется, я понял сейчас в этих словах новый, удивительный смысл.

— И я тоже.

Товарищи восторженно обнялись и с этой минуты сделались неразрывными друзьями. Дружба их, впрочем, носила особый отпечаток чего-то аскетического. Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов к поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из различных путей, которыми русские образованные люди подобного настроения в то время стремились к достижению христианского идеала, наибольшим вниманием и предпочтением пользовались библейский пиетизм и тяготение к католичеству, но Брянчанинов и Чихачев не пошли вослед ни за одним из этих направлений, а избрали третье, которое тогда только обозначалось и потом довольно долго держалось в обществе: это было православие в духе митрополита Михаила. Многие тогдашние люди с благочестивыми стремлениями и с образованным вкусом, по той или по другой причине, никак не могли «принять все как в катехизисе», но не хотели слушать и «чуждого гласа», а получали успокоение для своих мучительных противоречий в излюбленных толкованиях и поучениях Михаила. Находить же религиозное примирение с своею совестью — кому не дорого из людей, имеющих совесть? И у Михаила было очень много почитателей, оставшихся ему верными и после того, как в его сочинениях признано было не все «соответственным».

Брянчанинов и Чихачев были из числа больших почитателей преосв. Михаила.[1] Они внимали и охотно

[1] В книге о жизни Брянчанинова, на стр. 15-й, упоминается, что «в то время разнообразные религиозные идеи занимали столицу северную, препирались и боролись между собою», но не показано, как эта борьба касалась Брянчанинова и Чихачева, а не касаться их она не могла. Устные указания на то, что они читали сочинения митрополита Михаила, отнюдь не представляются неправоподобными. *(Прим. автора.)*

усвоивали его религиозные мнения и пошли по его направлению, в котором они могли не предаваться чуждому русской натуре влиянию католичества и в то же время не оставаться наедине без всякой церковной теплоты, на что приходилось обрекать себя людям, следовавшим строго пиетистическим традициям.

Оба молодые человека рано стали вести самую воздержную жизнь, разумея воздержность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи, раздражительности, мщения и лести. Это дало их характерам не только отпечаток благородства, но и благочестия, которое вскоре же было замечено сначала товарищами, а потом и начальством, и создало Брянчанинову такое почетное положение среди воспитанников, какого не достигал в инженерном училище никто другой ни до него, ни после него. Ему все верили, и никто не имел случая сожалеть о своей с ним откровенности, но откровенность эта тоже имела особенный, ограничительный характер, отвечавший характеру благочестивого юноши, рано получившего от товарищей прозвище «монаха». Брянчанинову нельзя было говорить ни о каких школьных гадостях, так как он всегда был серьезен и не любил дурных школьных проделок, которые тогда были в большом ходу в закрытых русских училищах. Ни Брянчанинов, ни Чихачев не участвовали тоже ни в каких проявлениях молодечества и прямо говорили, что они желают не знать о них, потому что не хотят быть о них спрошенными, ибо не могут лгать и не желают ни на кого доказывать. Такая твердая откровенность поставила их в особенное, прекрасное положение, в котором они никогда не были в необходимости никого выгораживать, прибегая ко лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этот «дух» Брянчанинова и Чихачева и никогда их не спрашивали в тех случаях, когда представлялась надобность исследовать какую-нибудь кадетскую проделку. С откровенностями в этом роде товарищи к Брянчанинову и Чихачеву и не появлялись, но зато во всех других случаях, если встречалось какое-либо серьезное недоразумение или кто-нибудь имел горе и страдание, те смело обращались к «благочестивым товарищам-монахам» и всегда находили у них самое теплое, дружеское участие. К Брянчанинову обращались

тоже в случае несогласий между товарищами и его мнение принимали за решение, хотя он сам всегда устранялся от суда над другими, говоря: «Меня никто не поставил, чтобы судить и делить других». Но сам он делился с нуждающимися всем, чем мог поделиться.

Чихачев хотя был того же самого духа, как и друг его Брянчанинов, но имел второстепенное значение, с одной стороны, потому, что Брянчанинов обладал более яркими способностями и прекрасным даром слова, а с другой — потому, что более молодой по летам Чихачев добровольно тушевался и сам любил при каждом случае отдавать первенство своему другу.

Влияние их на товарищей было большое; учились они оба прекрасно, и начальство заведения надеялось, что из них выйдут превосходные инженеры. В том же был уверен и великий князь, который «очень желал видеть в инженерном ведомстве честных людей».

Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собою свое почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище, оставили там по себе самую лучшую память, а также и нескольких последователей, из которых потом вскоре же отличился своею непосредственностью и неуклонностью своего поведения Николай Фермор, о котором расскажем ниже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По окончании кадетских классов в инженерном училище Брянчанинов и Чихачев вышли на вольную квартиру и поселились вместе на Невском проспекте в большом и очень нелепом доме Лопатина. Дома этого теперь уже не существует — он сломан, и по месту, которое занимал его обширный двор, пролегает нынешняя Пушкинская улица.

Удаление из-под надзора, которому друзья подчинялись в закрытом заведении, открыло им большую свободу располагать своим временем сообразно своим стремлениям и вкусам. Они этим и воспользовались. Они повели образ жизни самый строгий — чисто монашеский, — соблюдали постные дни; не посещали никаких

увеселений и гульбищ; избегали всяких легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждый день они вставали очень рано и шли пешком в Невскую лавру, где выслушивали раннюю обедню, и затем там же пили чай у голосистого иеродиакона Виктора.[1] Об этом Викторе сохранилось предание как о монахе очень слабом — он вел самую нетрезвую жизнь и говорил всем грубости, но ему все это прощалось за хороший голос и за отменное мастерство руководить исполнителями при торжественных богослужениях. Но как человек он был очень добр, прям и до того откровенен, что не мог нимало покривить душою и притвориться. Такою своею прямотой он содержал в постоянном страхе известного Андрея Николаевича Муравьева, которого находил «противным», а его молодых «сен-сиров» называл «сквернавцами» и просто выгонял вон.

Помолившись за раннею обедней и напившись чаю у Виктора, друзья шли в свое инженерное училище, в офицерские классы, где оставались положенное время, а потом уходили домой, скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями, а покончив с ними, читали богословские и религиозные книги, опять-таки отдавая перед многими из них предпочтение сочинениям митрополита Михаила.[2]

Мягкое, миролюбивое, христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на обоих молодых людей и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Брянчанинов, ни Чихачев не захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала

---

[1] Рассказ о близости Брянчанинова и Чихачева с Виктором представляется странным и почти невероятным. Известно, что они ходили в лавру *к духовнику* и что лица, желавшие отклонить их от набожности, делали в этом направлении большие усилия. Не следует ли думать, что юноши, с своей стороны, старались скрывать, к кому именно они ходили в лавру, а их товарищи думали, что они ходят к веселому Виктору? *(Прим. автора.)*

[2] Михаил Десницкий, из студентов Московской академии, был приходским священником, потом придворным священником Зимнего дворца, потом придворным иеромонахом и с 1818 года митрополитом петербургским. Скончался 24-го марта 1821 года. Сочинения его до сих пор многими любимы и высоко ценятся, но они редко встречаются в продаже. Специалисты, впрочем, находили в них большие недостатки. *(Прим. автора.)*

их военная служба, для которой они были приготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ламновский, имя которого было исторически связано с поставкою в казну мрамора, почему его и звали «мраморным». В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело «правильно и братски», — вырабатывали *систему самовознаграждения*.

«Монахи» не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государства и потому, может быть по неопытности, сочли для себя невозможною инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться, при их хороших родственных связях и при особенном внимании императора Николая Павловича к Брянчанинову. Государь хотя о нем теперь уже не осведомлялся так часто, как прежде, но если бы Брянчанинов захотел, то ему, при его упомянутых родственных связях, всегда было легко напомнить о себе государю, и тот, без сомнения, оказал бы ему свою всесильную помощь. Брянчанинов, однако, этого не только не искал, но даже удерживал родных от всяких о нем забот в этом роде. Он старался держать себя незаметно и скромно и как будто имел на уме что-то другое.

Совершенно так же вел себя и Чихачев. А между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу: Брянчанинов из верхнего класса в Динабург, а Чихачев из нижнего — в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Брянчанинов выпросился в отставку и ушел в свирский монастырь, где и остался послушником. По другим сведениям это было иначе, и это интересно, потому что вторая версия содержательнее и полнее выражает поэтическую борьбу молодых аскетов, как о ней рассказывали в обществе.

По рассказам современников, Брянчанинов и Чихачев колебались уходить из мира в монастырь и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий.

Как только у нас возгорелась война с Турциею, то Чихачев и Брянчанинов оба разом подали просьбы об

отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами, но тем не менее они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку.

Истинная причина их уклонения от военной службы в прошениях их была не объяснена, но их семейным и друзьям было известно, что она заключалась в том, что они находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, они не хотели не только воевать оружием, но находили, что не могут и служить приготовлением средств к войне. Впрочем, и самое возведение оборон они не усматривали возможности производить с полною честностью. Им казалось, что надо было «попасть в систему самовознаграждения» или противодействовать тем, чьи приказания должно было исполнять.

Конечно, со стороны молодых людей тут было, может быть, значительное преувеличение опасности, но тогда взятки царили повсюду, и сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени.

Нашим «монахам» казалось, что служить честно — это значило постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать.

Борец более смелый еще подрастал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошения об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор!» — и их не выпустили. Надо было покориться, но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов

и Чихачев опять подали вторично просьбы об отставке, но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственных связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку, «под сурдинкою».

Это было будто бы уже на походе, и молодые друзья должны были отстать от своих частей при пересудах и ропоте своих товарищей, из которых одни им завидовали, как баричам, уходившим от службы в опасное время, а другие старались дать им чувствовать свое презрение, как трусам.

Друзья предвидели такое истолкование своего поступка и перенесли эти неприятности с давно выработанным в себе спокойствием. В утешение себе они знали, что они не трусы и удаляются от войны не из боязни смерти, а потому они не обижались, а спешили как можно скорее и незаметнее «бежать из армии».

Выход их будто бы в самом деле был похож на побег: об отпуске их из частей старались не говорить — их будто куда-то «послали», и потом они совсем скрылись, избежав, таким образом, еще многих других неприятностей.[1]

Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались: Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору, а Чихачев приехал к своей сестре Ольге Васильевне, по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении не много и не ясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Его находили «странным», как будто потерянным или отрешенным от мира и не предающимся живо ни радостям, ни печалям. Это было очень тяжело видеть в молодом человеке, и семейные Чихачева общими силами старались узнать, «что

---

[1] Эта часть рассказа совершенно несогласна с тем, что читается в жизнеописании Брянчанинова, и представляется настоящею легендой, в которой удаление молодых людей от мира желали представить как можно эффектнее. Однако рассказ этот держится в этом виде до сих пор, и ему верят, несмотря на то, что книга передает дело иначе. (*Прим. автора.*)

у него на душе». Одни думали, «влюблен», другим казалось, «замешан», а один родственник с волтерьянскою заправкой уверял, что племянник «помешан».

— На чем?

— Гордец. Хочет быть лучше всех... Набожный чистоплюй... Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком... Чистоплюй!

На этого волтерьянца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома.

Мать и сестра его были в отчаянии. Особенно мать, беспокойства которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья и старалась искать беглеца и в то же время боялась, чтобы не распространился широко слух об его исчезновении. Надо было, чтобы это не дошло как-нибудь в Петербурге до государя. Всего ужасно боялись — и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались в величайшем секрете большие поиски, в которых принимали участие родственники пропавшего и особенно преданные и доверенные крепостные слуги, — шла, с кем можно, осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось без результатов. Спросили даже волтерьянца, но тот вместо ответа посоветовал читать житие Алексея человека божия, так как, по его мнению, Чихачев будто всего вероятнее поревнует примеру этого святого. На «бесчувственного циника» кивали головами, а следов пропавшего беглеца все-таки не находили нигде. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать и не показывать вида, что молодой человек пропал, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Волтерьянец угадывал всех ближе к истине: оба друга, Чихачев и Брянчанинов, появились вместе в Бабайки, и тут же оба вместе начали одновременно свой путь в иночестве,[1] которое было им как бы врожденно и в школе напророчено.

Где бежавший из имения О. В. Кутузовой Чихачев встретился с появившимся на короткое время в Петер-

[1] На самом деле Брянчанинов попал в Бабайки только в конце своей монашеской жизни, а Чихачев был здесь очень короткое время для свидания с другом. *(Прим. автора.)*

бурге Брянчаниновым — это осталось их тайною, которая, может быть, и не представляет ничего особенно интересного, но тем не менее они об этом никогда не говорили. Важен тот факт, как и где началось это «последование Алексею человеку божию» и чем оно разрешилось, представив собою нам два врожденные характера, достопримечательные своею цельностью и последовательностью.

Их не в силах были изменить ни среда школы и ее направление, ни самый лестный фавор, ни строгое осуждение, ни укоризны трусостью как пороком, который должен бы несносно уязвлять благородное чувство, если бы оно не видало себе оправдания в идеале высшем. Пусть, быть может, этот идеал понят и узко, но тем не менее он требовал настоящего мужества для своего целостного осуществления. И у Брянчанинова с Чихачевым не оказалось недостатка в мужестве.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчанинов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Брянчанинова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить: кто и когда выпустил Брянчанинова? Но Филарет все-таки вывел Брянчанинова, приспособленного совсем не к тем целям, к которым его тщательно приготовляло петербургское инженерное училище.

Спустя лет десять, в продолжение которых император Николай Павлович не вспоминал о Брянчанинове и Чихачеве, государь в одну из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов.[1] Митрополит не возражал, но сказал, что есть теперь прекрасный игумен,

---

[1] На самом деле разговор в этом роде происходил в Петербурге, а не в Москве. *(Прим. автора.)*

настоящий монах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое поочистить и исправить в монастырях.

— Кто этот редкий человек? — спросил государь.

— Игнатий Брянчанинов.

— Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище.

— Это тот самый и есть.

— Разве он пошел в монахи?

— Он уже игумен.

— Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и может быть полезным для управы с монахами. Они невозможны.

— Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок.

— В таком разе, если он у вас уже привел в порядок, то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне поочистил хоть немножко мою петербургскую Сергиевскую пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн.

— Воля вашего величества будет исполнена, и я твердо надеюсь, что Игнатий Брянчанинов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить.

— Очень рад, но жалею, что он один такой: один в поле — не воин.

— С ним есть его друг — такой же строгий монах — Чихачев.

— Ба! Чихачев! Это тоже из той же семьи — мой кадет.

— Точно так, ваше величество.

— Ну так и прошу перевести их вместе.

Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собою друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником, и оба они начали «чистить» и «подтягивать» сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн, легендарные сказания о коем и до сей поры увеселяют любителей этого жанра.[1]

---

[1] На это есть указания и в «Жизнеописании» (стр. 66 и 67). *(Прим. автора.)*

Последующая духовная карьера Игнатия Брянчанинова известна. Он был епископом без образовательного ценза и имел много почитателей и много врагов.

Чихачев не достиг таких высоких иерархических степеней и к ним не стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое, незаметное положение, и он продолжал тушеваться как при друге своем Брянчанинове, так и после. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок, никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего тона, даже под схимою. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особливых дарах.

Даже набожные дамы, создающие у нас репутацию святых и чудотворцев при жизни, ничего особенного о Чихачеве внушать не смели. Он ни предсказаний не делал, ни чудес не творил.

Музыкальные и вокальные способности и познания Чихачева до некоторой степени характеризуются следующим за достоверное сообщаемым случаем: одна из его родственниц, Мария Павловна Фермор, была замужем за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды, когда он сидел у Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини. Кавелина, знакомя встретившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачев — ее дядя и что он хотя и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом.

— Но вас он никогда не слыхал, — добавила Мария Павловна.

— Почему же это так?

— Это потому, что у нас духовные лица не могут ходить в театры.

— Какая жалость, — отвечал Рубини, — музыка возвышает чувства, и театр может наводить на очень глубокие размышления.

— Ну, уж как бы это там ни было, а у нас такое правило, что монахи опер не слушают.

— Но все равно ваш дядюшка мог быть в моем концерте.

Кавелина улыбнулась и отвечала:

— Нашим монахам не позволено бывать и в концертах.

— Это варварство! — воскликнул Рубини, — и, я думаю, вы не станете ему следовать и не запретите мне спеть при вашем дяде.

— Я буду от этого в восторге.

— А вы ничего против этого не имеете? — обратился, живо вставая с места, Рубини к самому Чихачеву.

— Я очень рад слышать знаменитого Рубини.

— В таком случае Рубини поет с двойною целью, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое искусство.

Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а Рубини стал и пропел для Чихачева несколько лучших своих арий.

Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и, когда пение было окончено, он сказал:

— Громкая слава ваша нимало не преувеличивает достоинств вашего голоса и уменья. Вы поете превосходно.

Так скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась Рубини. Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивели все опошлевшие возгласы дешевого восторга, которыми люди банальных вкусов считают за необходимое приветствовать артистов. В словах Чихачева действительно была похвала, которую можно принять, не краснея за того, кто хвалит. И Рубини, сжав руку монаха, сказал:

— Я очень рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о вашем пении.

Чихачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта.

Рубини пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не знают о существовании этого голоса.

— К чему же бы это послужило? — произнес Чихачев.

— Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей.

Чихачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши.

Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и с ее гостем.

Подав руку Чихачеву, он еще раз сильно сжал его руку, посмотрел ему в глаза и воскликнул с восторгом:

— Ах, какой голос! какой голос пропадает безвестно!

— Он не пропадает: я им пою богу моему дондеже есмь, — проговорил Чихачев по-русски.

Рубини попросил перевести ему эту фразу и, подернув плечами, сказал:

— Ага!.. Да, да... это другое дело.

К сожалению, престарелый свидетель этого происшествия не мог вспомнить, что такое пел для Рубини Чихачев в гостиной М. П. Кавелиной. А это очень любопытно, потому что голос у Чихачева была знаменитая октава, которая очень важна в хоре, но не solo. Следовательно, очень бы интересно знать, что такое Чихачев мог исполнить один своею октавой и притом в таком совершенстве, что вызвал восторги у Рубини.

Может быть, кто-нибудь это знает от какого-нибудь более памятливого свидетеля или современника. Это весьма возможно, так как встреча Рубини с Чихачевым в гостиной генерал-губернаторского дома и все, что там произошло, говорят, очень быстро распространилось в «свете» и было разнесено молвою по городу. Знал об этом и император Николай, и ответ Чихачева: «пою богу моему» чрезвычайно ему понравился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться *их дух,* которым от них «надышались» малыши и в свою очередь показали черты, совершенно непригодные для службы, к какой они предназначались по своему специальному

образованию. Одним из наиболее «надышавшихся» был Николай Фермор.

В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием, а младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. Непосредственное внимание его тогда к училищу, за множеством других дел, уже прекратилось, и только в преданиях рассказывалось, как он, бывало, заходил в училище с вечерней прогулки, иногда даже вдвоем с государыней Александрой Феодоровной. Ее, бывало, оставит в зале, а сам обходил дортуары, где воспитанники уже спали, и Ламновский чаще всех имел удачу встречать великого князя и через то казался ему очень усердным к своему инспекторскому служению, что на самом деле было далеко не так.

По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись, — и его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Ламновский при нем продолжал служить, как и при Николае Павловиче. «Дух» в училище держался все тот же: одними практиковалась «система самовознаграждения», а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. Одни выходили во вкусе Ламновского, другие в менее смелом, но еще в более тонком роде и «мелочами не мазались». После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего Царства Польского, началась постройка новых крепостей, «система самовознаграждения», казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи: инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они «иначе не понимают, как быть инженером — это значит *купаться в золоте*». Так они и росли с этим убеждением,

укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать.

Но как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать «систему самовознаграждения», или хотя пассивно «не мешать товарищам», были беспокойные отщепенцы, «надышавшиеся брянчаниновским духом». Их звали «сектою» и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь «предерзкая собака на сене». Таковою и вышел Николай Фермор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Секта Брянчанинова», под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства.

Разумеется, все это держалось в очень небольшом кружке юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, так сказать, каплею в море, которую с полным удобством можно было не замечать или считать ни во что. Начальство так на них и смотрело: оно о них кое-что знало и называло их «мечтателями», но не опасными. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что «быть инженером — значит купаться в золоте». Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребреников было нечего.

Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечения честностью и благородством могут когда-

нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты.

Это и оправдалось.

Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться, но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы «взбрызнуть свои эполеты», Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить отечеству с совершенным бескорыстием и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам, по «системе самовознаграждения», но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию.

Читая свое стихотворение, он был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал и, все выше и выше возвышая голос, окончил истерическим экстазом, который многим был неприятен и приписан влиянию выпитого поэтом вина. Такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало: с ним никто не спорил, никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался, дружного звона сдвинутых бокалов не раздалось, а, напротив, многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение и как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое, оскорбительное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собрания. А некто, кажется и теперь еще живущий и по крайней мере очень недавно произносивший «речи с юмором», поправил дело, сказав, что «надо помнить о присяге и, подчиняясь ей, не заводить никаких союзов, основанных на исключительных клятвах и обязательствах».

— По крайней мере я, господа, напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу.

— И мы тоже, и мы! Браво! Ура!

Николай Фермор не сконфузился, но очень обиделся; он стоя дождался, пока шум стих, обвел вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал:

— Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью.

И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание.

Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось. Кто-то возгласил известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами: «да здравствует *разум»,* и все пили этот тост, но Фермор не пил, — ему не из чего было пить за «разум», — его бокал был разбит после тоста «за честность в жизни и на службе». Этот человек постоянно являлся вне общего движения — «уединенным пошехонцем», и все были рады, что он оставил общество ранее других, все по уходе его тотчас вздохнули, и веселье закипело, а он был уже один, унеся с собою неудовольствие на других и оставив такое же или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других.

С рассказанного случая на самом первом шагу самостоятельной жизни Фермора началось его отлучение. Это не обещало ничего хорошего, но он нимало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, разражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания.

Ему было сделано замечание, что так служить нельзя.

Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением, но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде.

Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был

им доволен, но в это именно время (в 1831 году) начались большие постройки в крепостях Царства Польского, где наши инженеры особенно привольно «купались в золоте». Это ни для кого не было большою тайной, но все-таки «купанье» иногда обращало на себя внимание государя и великого князя, и тогда производилось «освежение личного состава», от чего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние.

Кто по нежеланию, или по неуменью, или из страха сам не лез в золотое русло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшие окунали в ванны домашним порядком.

Дело было устроено так удобно, что тому, кто не хотел сам лично входить в какие-нибудь сделки, не было и никакой необходимости заниматься этим самолично. В известной части старший сам сделывался с поставщиками и приемщиками и делился со всеми своими сослуживцами, без объяснения путей и источников дохода. При таком порядке каждый «купался» без всякого насилия своей скромности и своей совести. Не доносить же на старших, — да и чем подкрепить донос? Все скажут: «это неправда» и «мир зинет — правда сгинет».

Н. Ф. Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету, как способный инженерный офицер, и это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор совершенно неожиданно для себя получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ.

Фермор не обрадовался: он точно чувствовал, что ему там несдобровать, но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея человека божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а, напротив, хотел борьбы со злом — он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь; Фермор был человек

с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Он писал недурные стихи, но не к «ножкам Терпсихоры», а к возбуждению духа чести в житейских отношениях, и в этом смысле значительно опережал свое время и неминуемо должен был нажить себе много недоброжелателей и врагов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого «система самовознаграждения» была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всею ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, «дабы не происходило никакой путаницы». Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно, при выдаче казенного жалованья, раздавалась «прибавка» или «дачка», о происхождении которой известно было только, что она «идет из кружки». Как составлялась эта «кружка», всем было понятно: старший брал или «уэкономливал» и потом «делил, как поп на причет». Причетники получали то, что им давал отец настоятель, и никаких частностей всей этой благостыни могли не знать. Они даже обязаны были не стараться проникать в тайны, чтобы не подвергать дитя опасности от семи нянек, а получали, что им распределялось от отца командира, и затем продолжали служить с незапятнанною совестью, исполняя приказания старшего и ни в чем ему не переча.

Словом, «система самовознаграждения» была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны, тем более что отец настоятель был мастер собирать кружку и делил ее не скаредно.

При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалованье было сравнительно сущею безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение, «из кружки», выдавалось на руки без всяких расписок — по-домашнему, или посемейному. Сколько командир собирал, об этом этикетом принято было не любопытствовать, но тем, что он дарствовал, все были довольны, потому что он был «человек благородный и давал не скупясь».

Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел; но вот вдруг приезжает из Петербурга «молокосос Фермор» и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем причте и в обществе, что от него надо было избавиться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время, по расчислению поверстного расстояния, и «как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны», был принят с особливым вниманием.

— Вас избрал для посылки сюда сам великий князь, — сказал Фермору его начальник части. — Очень вам рады, нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо.

Фермор благодарил.

— Да, мы о вас позаботимся — у нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте.

Фермор пошел отдыхать, а потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий.

Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что «занятия придут своим чередом». А «пока» ему никакого прямого назначения не было.

— Что же мне делать? Чем заниматься?

Начальнику это рвение не понравилось, и он сразу же посмотрел на него как на человека мало дисциплинированного и «с чем-то особенным в характере». А все

сколько-нибудь и в каком-нибудь отношении «особенное» тогда не нравилось и казалось подозрительным, или во всяком случае особенность не располагала к доверию и даже внушала беспокойство. Желательны были люди «стереотипного издания», которые походили бы один на другого, «как одноформенные пуговицы».

Фермор к этому не подходил и своим домогательством занятий с первого же раза не понравился.

Начальник ему ответил холодно и сухо:

— Ходите и присматривайтесь; мы увидим, к чему вы способны.

Фермор стал «ходить и присматриваться», но ему продолжало сразу не везти во мнении начальства — нашли, что он слишком внимательно присматривается.

— Что ему такое надо?

О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи.

Ответ пришел успокоительный, начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему потому, что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет, и старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. [1]

Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера.

В первый же месяц, когда приспело время получать жалованье, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими. Казначей с своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они

[1] Павел Федорович Фермор впоследствии достиг значительной высоты служебного положения и был начальником военно-юридической академии, образованной из аудиторского училища. *(Прим. автора.)*

расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины, им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалованье.

Эту получку инженеры брали из рук казначея не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке.

Казначей был «косоротый», чиновник из писарей, в своем роде деловитый и в своем роде добрый человек, очень веселого нрава. Он иногда дозволял офицерам «любопытствовать, сколько в пачке», но большею частью этого никто не делал, так как это ни к чему не вело и только могло служить перед начальством признаком строптивости.

«Косоротый», скривя губы, говорил:

— Веруй, а не испытуй. Верующему приложится, а у испытующего отнимется.

Все здраво рассуждавшие люди знали, что надо верить, и верили. За это им и давалось по вере их.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, «косоротый» придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег (кажется, что-то около сорока рублей), тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтою бумажною полоской.

Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованьем, «косоротый» черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру.

И Фермор действительно от него ушел, но пачки, перетянутой бумажною полоской, не тронул.

— Что же вы? — проговорил ему вслед «косоротый».

Фермор остановился.

— Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше.

— Что такое? — спросил, недоумевая, Фермор.

— Свое, что вам следует.

— Я получил все свое, что мне следует.

— И это тоже вам следует.

Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку.

— Что же это такое?

Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал:

— Что я вам буду рассказывать! Это деньги.

— Какие?

— Государственные ассигнации.

— Сколько же их здесь?

— Сколько? Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут четыреста рублей.

— И они мои?!

— Да, ваши.

— Решительно не понимаю! — произнес, двинув плечами, Фермор.

— Ну, так и не понимайте, — отвечал «косоротый» и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину.

А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую «оскорбительную штуку» хотел было с ним проделать «косоротый».

— Я понял его, — говорил Фермор, — он меня соблазнял потому, что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся... И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность.

И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла, и с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти «со всеми вместе в гастро-

номию, так как это у нас, — говорит, — заведено и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды».

— Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем... Это его презрение к моей чести...

— Полноте, пожалуйста, да он и не думает ни о чьей чести!

— Но тогда что же дает ему такую уверенность? И притом, я ведь еще ничего не делал, а только «ходил да присматривался».

— Ну, полно вам добираться... «Ходите да присматривайтесь», тогда и поймете. А впрочем, в «гастрономии» у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор, а теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей.

Они пошли в «гастрономическое отделение», где Николай Фермор повторил в усиленном виде сцену в том же самом роде, как та, которую он разыграл в Петербурге, на пиру вновь вышедших инженеров.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В «гастрономию» в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть «глупые деньги». Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего, а с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия.

Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями «гастрономии» были русские инженеры, которые «купались в золоте».

Если русские армейские войска полонили Варшаву, то русские инженеры несомненно полонили варшавскую «гастрономию» и приложили старание внушать здешней челяди уважение к русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшие здесь ранее честь польской аристократии, присмирели и были вытеснены в «малые кабинеты», а самым большим помещением завладели русские инженеры и назвали его «инженерным залом».

Сюда при них никто не смел приходить и садиться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандиозностью своего поведения.

В обычае своем они были люди еще очень простые, и в день получения жалованья и пачек в бумажных полосках приходили в гастрономию «валом», то есть почти во всем составе, со включением и «косоротого». Здесь пили и ели много, забирая все, что есть самого лучшего и самого дорогого; засиживались долго, сколько хотели, и платили за все настоящим благородным манером, то есть не торгуясь и даже не считая, что действительно взято и что бессовестно присчитано.

После отшедшего века магнатерии они начинали век инженерии, и, должно признаться, начинали его со славою. Заря, облиставшая инженерную славу, поднималась в Варшаве и Новогеоргиевске и оттуда светила далее, против естества, — с запада на восток, через Киев, даже до Баку и Ленкорани, ибо ныне даже и там воспрославлено имя русского инженера.

С такими-то людьми, если не барственных, то по крайней мере широких привычек очутился чудак, опоенный самою щекотливою честностью, и он повел себя в этом почтенном сообществе как старинный юродивый в золотом чертоге. Он жался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Не проглотив ни одного глотка вина, Фермор опьяневал от одних паров, от одной атмосферы и чувствовал неотразимую тягу броситься в зияющую бездну, мимо которой ему нимало не тесно было бы пройти, если бы его туда не влекло и не толкало все вместе взятое, чего не ощущал никто, кроме его одного. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и жег себя огненными муками.

«Жизнь меня обманула! — рассуждал он и так написал в письме к своему родственнику. — Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из

жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и с честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и пресмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни... Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно...»

И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми, заседавшими в «гастрономии». И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал: зачем и с какой стати он это говорит? Он никак не мог вспомнить ни момента, ни случая, когда в нем вздрогнули вещие струны пророческой арфы и он пошел «глаголом жечь сердца людей». А в то же время он понимал, что делает что-то совершенно неудобное, расстроивающее компанию и потому неприличное и даже обидное. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого, а только один «косоротый» лег грудью на стол и, положив на руки голову, крепко спит, посвистывая носом.

На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна: Фермор не пил, но пили другие, а как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае полученное им месячное жалованье ушло почти все без остатка.

Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто «купался

в золоте»; но кто хотел жить на одно казенное жалованье, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной компании он никогда участвовать не будет.

Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим. Иначе невозможно.

Фермор только немножко сожалел кое-кого из молодых инженеров, которых считал за людей лучшего порядка, и стеснялся, как он *им* откажет в товариществе. Но беспокойство его было напрасно: ни старшие, ни младшие, никто его сообщества более не искали. Другой месяц Фермор тоже «проходил присматриваясь», без особого назначения, а когда пришел день раздачи жалованья, «косоротый» подал ему казенные деньги в книжке и *две* пачки, перетянутые бумажною полоской, — за истекающий месяц и за прошедший.

Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалованье.

«Косоротый» еще более скосоротился и спросил:

— Что ж?.. Опять не берете?

— Да, не беру и никогда не возьму, — резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений.

— Хорошо-с, — отвечал «косоротый», и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника.

Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что «косоротый» спрятал у себя его деньги, — напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые Фермором.

И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер.

Дон-кихотство переходит в трагизм.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Фермора совсем не позвали во второй раз в «гастрономию». Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них,

при каком-то рассказе о чем-то, происходившем в последний раз в «гастрономии», сказал Фермору:

— Мы вас с собою не звали потому, что нам всем было совестно: вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно.

— Мне это *невозможно*! — отвечал Фермор.

— То-то и есть.

Молодой человек не искал пиров и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в «гастрономии», он даже (как выше сказано) сам желал от этого отказаться, но когда почувствовал, что его «выключили без прошения», и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, сробел.

— Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост... И еще извиняются... Это уже насмешка!

Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили.

К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили, и вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то *шутку* казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки.

Это его возмутило: он пошел требовать от казначея объяснений и в пылу гнева чуть не поднял руку...

«Косоротый» скрылся, но рассказал историю.

На Фермора стали смотреть как на человека помешанного.

— Это Дон-Кихот; ему невесть что представляется; он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей.

Теперь, если бы он и захотел подчиниться общему положению и братски принимать дележи кружки, ему вряд ли удалось бы поправить свое положение в обществе товарищей и старших, которых он всех без исключения обидел своим фанфаронством.

— Дрянной и беспокойный человек, — говорили о нем, и он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться.

К счастию, на каждого старшего у нас бывает еще

высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше.

В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому, известному своею странною и до сих пор невыясненною ролью по приему Почаевской лавры от униатских монахов, а потом впоследствии митрополиту новгородскому и с.-петербургскому.

Фермор, от скуки и досады, вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в «обхождении».

Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это — прекрасное, восторженное дитя, человек совсем не пригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль «младенца», а притом и петербургская рекомендация, которую привез Фермор, имела вес в глазах Рафальского, который дорожил связями в Петербурге. Вследствие всего этого он нашел полезным принять в Николае Ферморе участие, чтобы иметь за то на своей стороне лицо, которое о нем писало.

По таким побуждениям, истинный смысл которых молодому идеалисту был недоступен, викарий варшавский принял в нем участие и воспользовался первым случаем ему помочь. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу.

Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважною. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает: молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством... и также известен великому князю... и также просит архиерей... Отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество? Об этом надо спросить.

Ден спросил, что́ это значит?

Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны; что его и не думали оставлять без назначения, но надо было, разумеется, «присмотреться», к чему его можно лучше назначить.

— Ну да, ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался, а архиерея там... за него просили, и он просит... Надо для него сделать.

— Да уж и сделали.

— Ну и прекрасно! — отвечал Ден и известил Антония, что все улажено: его prótegé[1] дадут дело по силам, «а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден».

Антоний сейчас же послал за Фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем «мало восторга», а «наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью».

Викарий его за это отечески пощунял и дал «к жизни наставление», заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях.

— Духа в себе не угашайте и носа не вешайте, — учил епископ, — вперед очень быстро не устремляйтесь, да инии не возропщат, и позади не отставайте, да инии не вознепщуют. Надо держать серединку на половинке — себя блюсти и ближнего не скрести. А в заключение всего афоризм: не укоряй, и не укорен будеши, а укоришь других — укорят и тя.

Фермор этого нимало не боялся: за что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ: начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие, к которому ни с какой стороны не могло подползти никакое подозрение. Начальник поручил Фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще шесть человек, чинами старше и умом опытнее.

Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная: смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно.

Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему ни дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет.

---

[1] Протеже *(франц.)*.

Его товарищи все враз на него перекосились. Первую, вторую неделю ему спустили, а потом один от лица прочих говорит:

— Вы что же это делаете? Отличиться, что ли, хотите?

Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами, и, по его понятиям, он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве.

— А вы ведь имели время присматриваться, так вы разве не видите, что все *по одному* делу в докладной день представляют, а вы для чего тащите пять да шесть и из каждого показываете разную шерсть?

— Мне сколько поручают, я столько и представляю.

— Да разве это можно так делать?

— У меня много свободного времени, и я успеваю.

— Мало ли что вы успеваете! Вы вон и вина не пьете и в карты не играете — нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкою против товарищей.

Фермор стал скучать и явился просить другого дела.

— Каков молодец! он уже недоволен своим положением и просит другого! Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки! — стали говорить одни, а другие прибавляли:

— Какие протекции! Из Петербурга его рекомендуют, здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иваныч (Ден). Кому хотите дать столько протекций, всякий себе карьеру сделает.

А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже.

Из Петербурга ему пишут, что он «не умеет» пользоваться участием, а он не находит в этом участии того, что нужно, — не особых протекций, а возможности честного и усердного труда.

Он уже не знал, на кого роптать: все хороши — начальник его не порицал и не преследовал, а даже показывал, что очень доволен его усердием; и «косоротый» ему не предлагал пачек с бумажною полоской, а давал только то, что следует, и даже вслух приговаривал: «извольте столько-то рублей и копеек», и в «гастрономию»

его не приглашали, но ему день ото дня становилось все тяжелее и невыносимее.

Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника: как он служит?

Тот отвечал, что он сам Фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами.

Викарий при первом свидании передал это Фермору и осведомился:

— В чем дело?

— Не гожусь, не подхожу, — отвечал Фермор.

— Отчего?.. Для чего вы такой зломнительный? Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня: вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами.

Фермор вспыхнул и отвечал:

— Это совершенно верно: начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи.

— Ну вот... Это нехорошо.

— Да; но чтоб они относились ко мне хорошо, — чтобы *я был любим,* — надо, чтоб я сделал... то... что совсем нехорошо.

— Что же это?.. Неужто вольномыслие?

— О нет! Я ничего не знаю о вольномыслии, — отвечал Фермор.

— Так что же?

Фермор молчал.

— Верно, берут?

— Я ничего говорить не буду.

— Если это, то ведь что инженерия, что финансерия — это такие ведомства, где все берут.

— Зачем же это? Для чего это так?

Викарий долго на него посмотрел и сказал:

— Для чего берут-то?

— Да!.. Ведь это подло!

— Значит, поладить не можете?

— Не могу, ваше преосвященство, я к этому совсем от природы неспособен.

— Ну, способности тут не много надо.

— Взятка... мне руку прожжет.

— Прожечь не прожжет, а... нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять.

Фермор понял, что передано что-нибудь об его сцене с «косоротым», и с горечью воскликнул:

— Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют.

— Да, но все-таки на службе надо уживаться.

— Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место.

— И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди.

— Но не все же люди одинаковы!

Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал:

— Да, иногда бывает и отмена.

— Я посмотрю... я верую встретить иное.

— Ну, веруйте... посмотрите.

В тоне викария было слышно утомление.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимом, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и «бормотал» какие-то странности.

Антоний узнал об этом и послал просить его к себе.

Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал:

— Я потерял веру в людей и не могу ничего делать.

Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую бо́льшую откровенность и отпустил его, сказав, что он,

по его мнению, должно быть болен и ему надо полечиться.

Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, «желая спасти его», поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил:

— Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи.

— Ай, ай!

— Да, он не только нарушает военную дисциплину, но... простите меня великодушно: он подвергает критике ваши архипастырские слова... Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание: он положительно болен, и его надо увезти куда-нибудь к родным, где бы он имел за собою нежное, родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь, и если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения.

Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном.

Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой.

— Жаль, очень жаль, — заговорил он. — Я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняге разрешат отпуск и дадут средства, но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что́ он мне скажет.

Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора, но это известие, вместо того чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен, и вообще все, что делается, то не нужно, а что нужно, то есть, чтобы дать ему возможность служить при честных людях, — то это не делается. Дену устроить это ничего бы

не стоило, но он, к несчастию, тоже не так на все смотрит, потому что и сам...

Викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет: этак дела в государстве идти не могут.

Письмо осталось без ответа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Посланный Деном его доверенный и искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность.

Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что «потерял веру к людям»; но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть, с одной стороны, снисходительнее, а с другой — шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет и порицал без исключения все власти, находя их бессильными остановить повсюду у нас царящее лицемерие, лихоимство, неуважение к честности, к уму и к дарованиям, и в заключение назвал все власти не соответствующими своему назначению.

Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор если и не сумасшедший, то находится в положении, очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтоб он, под влиянием своей мрачной меланхолии, не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности.

— Я и подозревал это.

Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти «больного» в Петербург.

Приказание это было исполнено: Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего, очень хорошего доктора.

Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого какою бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было.

На указание ему самых сильных лиц он отвечал, что «это все равно, — никто ничего не значит: что нужно, того никто не сделает».

— Они все есть, но когда нужно, чтоб они значили то, что́ они должны значить, тогда они ничего не значат, а это значит, что ничто ничего не значит.

Так он пошел «заговариваться», и в этом было резюме его внутреннего разлада, так сказать, «пункт его помешательства». О расстройстве Николая Фермора скоро заговорили в «свете». Странный душевный недуг Фермора казался интересным и занимал многих. Опять думали, что он скрывает что-то политическое, и не охотно верили, что ничего подобного не было. А он сам говорил:

— Я знаю не политическое, а просто гадкое, и оно меня теснит и давит.

Душевные страдания Фермора, говорят, послужили мотивами Герцену для его «Записок доктора Крупова», а еще позже — Феофилу Толстому, который с него написал свой этюд «Болезни воли». Толстой в точности воспроизвел своего героя с Николая Фермора, а рас-

суждения взял из «Записок доктора Крупова», появившихся ранее.

Судя по времени события и по большому сходству того, что читается в «Записках доктора Крупова» и особенно в «Болезнях воли» Ф. Толстого, с характером несчастного Николая Фермора, легко верить, что и Герцен и Феофил Толстой пользовались историею Николая Фермора для своих этюдов — Герцен более талантливо и оригинально, а Ф. Толстой более рабски и протокольно воспроизводя известную ему действительность.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В таком положении, что называется ни в тех, ни в сих, Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство, — он не вовремя уходил из дома и не вовремя возвращался, сердился за пустяки и не обращал внимания на вещи крупного значения. Но вообще он всегда выходил из себя за всякую самомалейшую недобросовестность. Он не спускал никому, если видел, что человек поступает несправедливо и невеликодушно против другого человека. Но если его ничто не раздражало, то он был тих и или ходил задумчиво, или сидел потупя взор, как Абадонна, и читал Губера.

Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствование Николая I бывали, свидетельствуя и теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев.

Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собою туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере, в одной палатке.

Николай Федорович был в это время в тихой полосе — он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта — честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение, и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое

другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться, на него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось.

В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний Сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего Сада.

Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Увидев государя, Николай Фермор стал, как следовало, и приложил руку к фуражке.

Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе.

Фермор подошел.

— Кто ты такой? — спросил государь.

Фермор назвал свое имя.

— Зачем ты здесь?

Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастие там заболеть и, по приказанию его высочества, привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере.

Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил:

— Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?

— Нет, ваше величество, — это был мой брат.

— Чем же ты нынче болен?

Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение.

Государь это заметил и ободрил его.

— Говори правду! Что бы то ни было, *мне* надо отвечать правду!

— Ваше величество, — отвечал Фермор, — я никогда не лгу ни перед кем и вам доложу сущую правду: болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям.

— Что такое? — переспросил, возвыся голос и откидывая голову, государь.

Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна.

— Мне не верят, ваше императорское величество, но я ужасно страдаю.

— Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы; но это ничего не значит — ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься.

— Никак нет, ваше величество.

— Отчего нет?

— Нельзя служить честно.

Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение.

Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, нимало не сердясь, коснулся его плеча и сказал:

— Успокойся — я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно.

— Кто же меня защитит?

— Я тебя защищу.

Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало.

— Или ты и мне не веришь?

— Я вам верю, ваше величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать.

— Почему?

Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил:

— Виноват, простите меня, ваше величество: я не знаю почему, но... не можете... не защитите.

Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным.

— Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел?

— Генерал Ден присылал ко мне своего доктора.

— И что же, он тебе не помог?

— Мне нельзя помочь, потому что я потерял...

— Да, да, я знаю, — перебил государь, — ты потерял доверие к людям... Но ты не робей: этим самым отчасти страдаю и я...

— Ваше величество, в вашем положении это еще ужаснее!

— Что, братец, делать! Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься богу?

— Молюсь.

— У нас есть духовные лица с большою известностью, ты бы обратился к кому-нибудь из них.

— Я пользовался в Варшаве расположением преосвященного Антония.

— Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Брянчанинова — он твой товарищ.

— Он товарищ моего старшего брата, Павла.

— Это все равно: я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свезти тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы.

Фермор молчал.

Государь пошел своею дорогой, но потом во второй раз опять остановился — сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал:

— Иди же, иди! Иди, не стой на месте... А если тебе что-нибудь надобно — проси: я готов тебе помочь.

— Ваше величество! — отвечал Фермор, — я стою не потому, что хочу бо́льших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно.

По щекам Фермора заструились слезы.

Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб.

Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро.

— Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно; но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни — я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время.

— Нижайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сделаю.

— Отчего?

— У вас, ваше величество, столько важных и священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить.

— Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерал-адъютанта. Я буду рад тебе помочь; тебя кто теперь лечит?

— Доктор Герацкий.

— Он не годится — я поручу тебя Мандту. Прощай.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор (Павел) еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем Саду и какой у них вышел разговор, причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности.

Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением и слухом, но, по наведенным справкам, оказалось однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. По крайней мере особливые люди, которым все надо видеть, — действительно видели, что император встретил Фермора в Нижнем Саду и довольно долго с ним разговаривал, два раза к нему возвращался, и обтер своим платком его лицо, и поцеловал его в лоб.

Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству.

Батальонным командиром у Павла Фермора в это

время был Ферре. К нему к первому явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему: как теперь быть, — оставить ли это без движения, отнеся все слышанное на счет больного воображения Николая Фермора, или же верить передаче и исполнять в точности переданное приказание государя?

Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду, и потому переданные через него приказания государя надо исполнить.

Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в «пустыню» к Сергию.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Брянчанинова П. Фермор застал на служении: он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу.

Игнатий принял братьев в своих покоях, при чем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце потому, что надо было идти в трапезную к братии. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомянулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь.

Свидание «утратившего доверие к людям» Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым нимало не возвратило ему его утраты, а только исполнило его сильной нервной усталости, от которой он зевал и беспрестанно засыпал, тогда как брату его, Павлу Федоровичу, одно за одним являлись новые хлопоты по исполнению забот государя о больном.

Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут.

— Но я не мог быть в лагере, потому что возил брата к Сергию по приказанию государя и сказался о том своему батальонному командиру.

— Все равно, — отвечали ему, — вас ищут тоже по приказанию государя, а батальонный ничего не сказал. Идите скорее в вашу палатку — там вам есть важное письмо.

Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мандт.

Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что «сегодня он был экстренно вытребован государем императором, которому благоугодно было передать на его попечение Николая Фермора, и в виду этого он, д-р Мандт, просит Пв. Ф. Ф-ра, *как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать* к нему для личных объяснений».

Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город, на квартиру Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мандт был дома. Он сидел на веранде и курил.

Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал:

— Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?

Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно, но Мандт нашел это недостаточным: ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь «историю болезни», написанную медиком, и притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю.

По счастию, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата, но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние.

Чтобы помочь делу, Мандт выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург

утром, и «история болезни» Николая Фермора поспела в руки Мандта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю.

Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно: он благодарил Мандта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека.

— Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем.

Мандт принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его «утраченным доверием к людям».

Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием.

В обществе тоже говорили, что «теперь Мандт разорвется, а вылечит... Иначе, черт их возьми, — грош цена всей их науке».

Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мандт, так и Мандт, — ему все равно, при чьем содействии утеривать последнее доверие к людям. Он точно как изжил всю свою энергию и чувствительность в своем утреннем разговоре с государем, и что теперь за этим дальше следует — ему до этого уже не было никакого дела.

Чем, как и где будет пользовать его Мандт, — это его и не интересовало. Он теперь смотрел на дело как человек, для которого все эти хлопоты не важны и результат их безразличен, потому что он сам знает самое верное средство, как избавиться от тяжести своего несчастного настроения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Тем, что описано в выше сего помещенных строках, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мандт сделал больному только один неудачный визит, когда

он не нашел Фермора в палатке петергофского лагеря. На другой день, как сказано, Мандт прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя, Н. Ф. Здекауера. Если же государь спрашивал: видит ли он Фермора, то Мандт отвечал, что «видит», и, чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребывал пациента к себе на квартиру.

Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование, и он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Мандта (по Мойке, неподалеку от Полицейского моста, в доме Беликова).

Таким образом прошел год и могло бы идти и дальше, но однажды раннею весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу, и от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление.

Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской, у самого английского магазина.

Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился.

Государь взглянул на него и сейчас же узнал.

— Фермор?

— Точно так, ваше величество.

— Как теперь твое здоровье?

— Я не чувствую, ваше величество, ни малейшего облегчения.

На лице государя выразилось неудовольствие.

— Что же делает с тобой Мандт?

— Он иногда присылает ко мне Здекауера, а иногда требует меня к себе.

— Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?

— Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил bitter Wasser.[1]

---

[1] Горькую воду (*нем.*).

— И только?

— Только всего, ваше величество.

Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами.

— Ну, прекрасно, что же я могу тебе сделать?

— Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских.

— Хорошо, — отвечал государь и, кивнув головой, удалился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал «ездовой» из дворца, посланный Мандтом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору.

Николай Фермор, нимало не раздумывая, пошел.

Мандт на этот раз не держал его долго в приемной.

— Вы на меня нажаловались государю? — встретил он его строгим вопросом.

— Я не жаловался. Государь изволил спросить меня: чем вы меня лечите, а я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить bitter Wasser. Я всегда говорю правду.

— Да, да, вы все с правдой... Но вы просили государя поручить вас другому доктору?

— Да, мне казалось, что вам, при вашем положении, некогда мною заниматься, и я просил его величество дозволить мне пользоваться советом другого доктора.

— Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию, вам назначен другой врач. Отправьтесь на Михайловскую площадь, в дом Жербина, там живет главный доктор учреждений императрицы Марии. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни.

В семейных мемуарах, которыми я пользовался для составления настоящего очерка, не названо имени врача, сменившего в этой истории доктора Мандта. Способ его лечения, однако, тоже не отличался удачею,

но зато приемы отличались от системы Мандта гораздо большею решительностью.

Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных «на седьмую версту».

Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке.

Но врач был непреклонен в своем мнении: он находил необходимым удалить пациента от его домашней обстановки и всю прежнюю безуспешность лечения приписывал тому, что больной ранее не был устранен из дома и не находился под постоянным надзором.

Возражать и спорить, однако, было невозможно: врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю.

Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание — прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Мандта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем как с удалением его «на седьмую версту» возможность такой встречи устранялась и всем становилось гораздо спокойнее.

Ма́ндт сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила и в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал, как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным.

Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фермора без своей опеки. Он

велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору «навещать больного как можно чаще и *непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья»*.

Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Это, с одной стороны, успокоило родных больного, что Николай Федорович не будет на седьмой версте заброшен, как все прочие, которые имели несчастие туда попадать, а с другой стороны — создало находчивому доктору совершенно непредвиденное и очень тяжелое и неприятное положение, которого он не желал. Мудрец попался. Он должен был два-три раза в неделю ездить в больницу «Всех скорбящих», что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило, а повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь не приятно.

Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия.

«На седьмой версте» тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным.

Нет сомнения, что и в больнице «на седьмой версте», как и в других подобных учреждениях, люди допускали злоупотребление своею силой над больными.

Фермор же все это видел, и если бы государь вдруг пожелал его посетить (что, по характеру и обычаям императора, почитали за очень возможное), то неутомимый правдолюбец мог наделать больших хлопот; а их через него и так вышло уже немало.

Надо было от него совсем избавиться, и у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии; он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которою заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения.

— Так что же? — воскликнул государь, — послать туда, на мой счет, Фермора.

Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоела.

— Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают.

К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры.

Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штетин; с ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе, в первый его весенний рейс, и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым.

Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штетин. Он нужен был по службе в петергофском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища, по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы и подробная инструкция, как больного везти, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине, согласно воле и приказанию императора.

Это препоручение Николая Фермора другому лицу, без сомнения, должно служить доказательством, что

больной в это время уже был окончательно признан за сумасшедшего, а то, что его помещали все-таки на самом лучшем пароходе, которым пользовались по преимуществу особы знатные, указывает, как старались сберечь этого больного, пользовавшегося вниманием государя.

Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля.

Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием: бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ того и другого пола, занимавших видное положение в тогдашнем высшем обществе и пользовавшихся в нем большим влиянием.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном, философском настроении.

На стене его комнаты, в доме, за седьмою верстой, осталось начертание апофегмы Гиппократа: «Quod medicamenta non sanat, ferrum sanat; quod ferrum non sanat — ignis sanat; quod ignis non sanat, mors sanat» (то есть «что не излечивают лекарства, то излечивает железо; что не излечивает железо, то излечивает огонь; что не излечивает огонь, то излечивает смерть»).

Кому эта апофегма сильно понравилась и кто заботливою рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь.

Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения.

Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод: он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают.

Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее, трогательное прощание; но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату.

Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же наперерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? — он в каждом здесь находил самого нежного родственника.

— Ведь все мы русские, все дети одного царя и братья по вере.

Тайный советник Бек привел даже по-церковнославянски от Писания об ангелах, которым заповедано сохранить и взять человека на руках своих. Да если бы молодой человек и не внушал ничего сам по себе, то одного того, что он лично известен государю и его величество имеет о нем попечение, было бы чересчур достаточно, чтобы все считали своим долгом сберечь его, позабыв сами себя.

Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся, и Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петергофский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном Селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пиллар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался.

— Кто же в этом виноват? — спросила хозяйка.

— Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало.

— Что же такое опечалило государя перед разводом?

Пиллар пожал плечами и сказал:

— Государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие.

— О чем?

— О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчила.

Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность: она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомила.

Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пиллара на Павла Фермора.

Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать и просит одной милости — сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате.

— Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить.

— Увы, — отвечал Пиллар, — дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастии уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно.

— Как, где и каким образом?

— Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма.

Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой:

«Quod medicamenta non sanat — mors sanat».

Утраченное доверие к людям уврачевала смерть...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Но краткое известие о том, что «Николай Фермор бросился в море и утонул», достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать: как могло случиться это трагическое происшествие

при той тщательной бережи и при той нежной предусмотрительности, с которыми больной был отправлен.

Об этом существовали две версии.

Г-н Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастие случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Из всей знати остались внизу только два-три человека, которые не пили послеобеденного кофе и предпочитали послеобеденный сон. Николай Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал.

На палубе пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек, и когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту, и затем сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров...

Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать.

Пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах; но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну.

Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штетину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала А. В. Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с тою, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде.

По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен, но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам.

Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел, и потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватились же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и освежительно зевнув, спросил:

— А где же этот наш... как его... что едет по приказанию государя?

Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе, и потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно и даже где нельзя человеку спрятаться... Но все поиски оказались тщетны, — и только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, — тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе.

— Где же он делся? Вокруг вода и небо и ничего больше.

Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал:

— Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря.

К стыду человечества, эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Ужас был, но небольшой, и то он чувствовался более к ночи, когда дамам стало представляться, будто из волн «поднимается голова».

Чтобы избавиться от этого привидения, все поспешили скорее сойти в освещенные каюты, а на другое утро тайный советник уже советовал видеть во вчерашнем событии указание — «как наша молодежь относится к жизни и как она мало способна ценить милости».

Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно невозможно, но я не знаю, которой из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. Летом 1887 года с парохода рижского общества, носящего то же самое имя, каким назывался пароход, с которого пропал Николай Фермор, одна молодая дама бросилась в море и утонула так, что этого *никто* не заметил. Известно и несколько других точно таких же случаев. Следовательно, нет ничего невозможного, что Николай Фермор, при большом оживлении пассажиров, занятых новыми интересными знакомствами, очень легко мог укрыть свое намерение и покончил со своею безотрадною жизнью так, как сообщает вторая версия этого рассказа.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В обители св. Сергия тоже знали *эту* вторую версию и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены погибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. По их понятиям, эти господа могли меньше говорить о том, как им близок бедняк, о котором заботился их государь, но должны были больше поберечь его.

Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, и схимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «плачу и рыдаю».

Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой — в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.

ПРЕКРАСНАЯ АЗА

Любовь покрывает множество грехов.
I Петра IV, 8.

В первых веках христианства в Александрии египетской жила одна очень молодая и очень красивая девушка, египтянка, по имени Аза. За ее красоту ее называли «Прекрасною Азой». Она была круглая сирота. Родители ее умерли, едва только она вышла из детства и оставили ей большое богатство. Аза имела благоустроенный дом и обширный виноградный сад по скату к реке Нилу. Наследства, которое получила Аза, достаточно было бы, чтобы ей прожить целую жизнь в полном довольстве, но молодая египтянка была чрезвычайно добра и участлива ко всякому человеческому горю и ничего не жалела для того, чтобы помочь людям, которые находились в бедствии. Через это с нею произошел следующий роковой случай.

Раз перед вечером, когда схлынул палящий египетский жар, Аза пошла с своими служанками купаться к Нилу. Она выкупалась и, освеженная, покрывшись легким покрывалом, тихо возвращалась к себе назад через свой виноградник. Служанки ее этим временем оставались еще на реке, чтобы убрать купальные вещи.

Вечер после знойного дня был прелестный; работники, окончив свое дело, ушли, и виноградник был пуст. Аза могла быть уверена, что она одна в своем саду, но вдруг,

к удивлению своему, она заметила в одной куртине присутствие какого-то незнакомого ей человека. Он как будто скрывался и в то же время торопливо делал что-то у одного плодовитого дерева. Можно было подумать, что он рвал плоды и оглядывался, боясь, как бы его не поймали вертоградари.

Египтянке пришло на мысль подойти ближе к незнакомцу с тем, чтобы помочь ему скорее нарвать больше плодов и потом тихо проводить его через ход, выводивший на берег Нила, к купальне. С этою целью Аза и пошла к незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этот незнакомец не срывал плоды, а делал что-то совсем другое: он закреплял для чего-то шнур к суку старого дерева. Это показалось Азе непонятно, и она притаилась, чтобы видеть, что будет дальше, а незнакомец сделал из шнура петлю и вложил в нее свою голову... Еще одно мгновение, и он удавился бы в этой петле, из которой слабой девушке не по силам было бы его вынуть, а пока она успела бы позвать на помощь людей — удавленник успел бы умереть... Надо было помешать этому немедленно.

Египтянка закричала: «Остановись!» и, бросясь к самоубийце, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомец был пожилой человек, эллин, с печальным лицом и в печальной одежде, с неподрубленным краем. Увидав египтянку, он не столько испугался, сколько пришел в досаду и сказал ей:

— Какое несчастие! Злой демон, что ли, выслал тебя сюда, чтобы остановить мою решимость?

— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь так прекрасна? — отвечала ему египтянка.

— Может быть, жизнь и прекрасна для тебя и для подобных тебе, которые живут в полном довольстве. Раньше и я находил в ней хорошее, но нынче судьба от меня отвернулась, и жизнь моя составляет мне несносное бремя: ты не права, что мешаешь мне умереть. Иди отсюда своею дорогою и оставь мне возможность вылезть по моей веревке вон из этой житейской ямы, где я

не хочу более терзаться между грязью и калеными угольями.

Девушка не соглашалась его оставить и сказала:

— Я не позволю тебе удавиться: я закричу, и сейчас прибегут мои люди. Лучше возьми свой шнурок под одежду и поди за мною в мой дом: расскажи мне там твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сделаю, а если оно в самом деле так беспомощно, как ты думаешь, тогда... выходи от меня с своим шнуром куда хочешь: я тебе ни в чем не помешаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на дереве.

— Хорошо, — отвечал незнакомец, — и как мне ни тяжело медлить на земле, но ты мне кажешься такою участливою, в глазах твоих столько ума, а в голосе ласки, что я тебе хочу повиноваться. Вот уже шнур мой спрятан под моею одеждой, и я готов идти за тобою.

Египтянка привела отчаянного незнакомца в свой благоустроенный дом, приказала служанке подать фрукты и прохладительное питье и, усадив гостя среди мягких подушек на пышном ковре, вышла, чтобы переменить свое купальное платье на другое. Когда же Аза возвратилась, то она села тут же, рядом с гостем, а за ними стали две черные служанки и легким движением шелковых кистей начали приводить в колебание спускавшееся с потолка огромное напитанное ароматами опахало из больших пестрых перьев.

Египтянка желала как можно скорее узнать горестную историю незнакомца, что он и исполнил. Рассказ его был прост и немногосложен. Покусившийся на самоубийство эллин недавно еще имел большое состояние, но потерпел неудачи в делах и до того задолжал, что не мог рассчитаться с своим заимодавцем. В этом затруднении он прибегнул к состраданию заимодавца, но это было напрасно: богач соглашался оказать ему снисхождение, только не иначе, как на одном ужасном условии.

— В чем же заключается это условие? — спросила египтянка.

— Я не могу сказать тебе этого при твоих слугах.

Аза велела служанкам удалиться.

— У меня есть дочь, девушка твоих лет, по имени Ио. Она так же, как ты, стройна станом и прекрасна лицом, а о сердце ее суди, как можешь, по следующему. Заимодавец мой, большой и безнравственный сластолюбец, сказал мне: «Отдай мне твою Ио на ложе, и тогда я освобожу тебя от темницы, иначе ты задохнешься в колодке». Я оскорбился и не хотел слышать об этом. Это было мне тем более тяжко, что у моей бедной Ио есть жених. Он беден, но имеет возвышенный ум, и дочь моя горячо его любит с самого детства; кроме того, и жена моя не снесет такого бесчестья, чтобы дочь наша стала наложницею. Но беда настигает беду: представь себе новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мне тихо: «Отец, я все знаю... я уже не ребенок... я решилась, отец... Чтобы на твою старую шею не набили колодку... Прости мне, отец... я решилась...»

Ио зарыдала, и я вместе с нею рыдал еще больше и стал ее отговаривать, но она отвечала: «Любовь к тебе и к матери, которая не снесет твоего унижения, во мне теперь говорит сильней любви к моему жениху: он молод, — продолжала она, глотая бежавшие слезы, — он полюбит другую и с ней пусть узнает счастье супружеской жизни, а я... я твоя дочь... я дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не говори мне больше ни слова, отец, потому что я твердо решилась».

Притом она пригрозила, что если я буду ей противоречить, то она не станет ждать завтрашнего дня, когда заимодавец назначил мне срок, а уйдет к нему сию же минуту.

Незнакомец отер набежавшие на лицо его слезы и кончил:

— Что еще скажу тебе дальше? Ио имеет решительный нрав и нежно нас с матерью любит... Что она порешила, против того напрасно с ней спорить... Я упросил ее только подождать до завтра и солгал ей, будто имею еще на кого-то надежду... День целый я ходил как безумный, потом возвратился домой, обнял мою жену, обнял нежную Ио и оставил их вместе, взяв тихонько шнурок, и побежал искать уединенного места, где мог бы окончить мои страдания. Ты мне помешала, но зато облегчила горе мое своим сердобольным участием. Мне мило видеть лицо твое, прекрасное и доброе, как лицо моей Ио.

Пусть благословит тебя небо, а теперь прощай и не мешай мне: я пойду и покончу с собою. Когда я не буду в живых, Ио не станет бояться колодки, которую могут набить на шею ее отцу, и она выйдет замуж за своего жениха, а не продаст себя ради отца богачу на бесчестное ложе.

Египтянка внимательно выслушала весь рассказ незнакомца, а потом сказала, глядя ему твердо в лицо:

— Я понимаю во всем твою милую дочь, и мне нравится Ио — она добрая девушка.

— Тем это тяжелей для меня, — отвечал незнакомец.

— Я понимаю и это; но скажи мне, сколько ты должен заимодавцу?

— О, очень много, — отвечал незнакомец и назвал очень знатную сумму.

Это равнялось всему состоянию египтянки.

— Приди ко мне завтра — я дам тебе эту сумму.

Незнакомец изумился: он и радовался и не мог верить тому, что слышал, а потом стал ей говорить, что он даже не смеет принять от нее такую огромную помощь. Он напомнил ей, что долг его составляет слишком значительную сумму, и просил ее подумать, не подвергает ли она себя слишком большой жертве, которой он даже не в состоянии и обещать возвратить ей.

— Это не твое дело, — отвечала египтянка.

— Притом же, — сказал он, — припомни и то, что я из другого народа — я эллин и другой с тобой веры.

Аза на мгновенье опустила ресницы своих длинных, как миндалины, глаз и отвечала ему:

— Я не знаю, в чем твоя вера: это касается наших жрецов; но я верю, что грязь так же марает ногу гречанки, как и ногу всякой иной, и одинаково каждую жжет уголь каленый. Не смущай меня, грек; Ио покорила себе мое сердце — иди обними твою дочь и жену и приди ко мне завтра.

А когда незнакомец ушел, Аза тотчас же опять взяла свое покрывало и пошла к богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Через малое же время, когда прошел срок сделанного заклада, ростовщик пришел с закладною и взял за себя все имущество Азы, а она должна была оставить свой дом и виноградник и выйти в одном бедном носильном платье. Теперь у нее не было ни средств, ни приюта.

Скоро увидели ее в этом положении прежние знакомые ее родителей и стали говорить ей:

— Ты безумная девушка, Аза: смотри, до чего тебя довела твоя безрассудная доброта!

Аза отвечала, что ее доброта не была безрассудна, потому что теперь она лишь одна потерпит несчастье, а без этого погибало целое семейство. Она рассказала им все о несчастье эллина.

— Так ты вдвое безумна, если сделала это все для людей чужой веры!

— Не порода и вера, а *люди* страдали, — ответила Аза.

Услыхав такой ответ, знакомые почувствовали против Азы еще большее раздражение.

— Ты хочешь блистать своей добротою к чужеверным пришельцам, ну так живи же, как знаешь, — и все предоставили ее судьбе, а судьба приготовила ей жестокое испытание.

Аза не могла избежать тяжких бедствий по причинам, которые крылись в ее воспитании: она совсем не была приготовлена к тому, чтобы добывать себе средства своими трудами. Она имела молодость, красоту и светлый, даже проницающий ум и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, девственное тело ее было слабо для того, чтобы исполнять грубые работы, — береговые поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзин с плодами, ни кирпичи на постройки, и когда она хотела мыть белье на реке, то зола из сгоревшего нильского тростника разъедала ее нежные руки, а текучая вода производила на нее головокружение, так что она упала в воду, и ее, полуживую, без чувств, вытащили из Нила.

Аза очутилась в отчаянном положении. Она была в мокром платье и голодная. С ней поделилась сухою ячменной лепешкой береговая блудница — одна из тех, ко-

торые во множестве бродили по берегам Нила, поджидая проходивших здесь вечером чужеземных матросов (навклиров); одна эта женщина поделилась с Азой на ночь своею циновкой, она же прикрыла ее и от стужи ночной своею сухою одеждой, а потом... Аза стала такою же, как эта, — прибрежной блудницей.

Все, знавшие Азу, от нее отвратились — она погибала. Иногда она приходила в свой бывший виноградник, под то самое дерево, на ветвях которого хотел удавиться избавленный ею незнакомец, и вспоминала его рассказ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, как она поступила: пусть страдает она, но зато Ио и ее старики спасены!.. Это радовало Азу и давало ей силу терпеть ее унижение; но в другие минуты она была близка к отчаянию и готова была броситься в Нил. Тогда она садилась над кручей на красном, как огустелый ком крови, песчаном холме и размышляла о том: неизбежно ли так всегда должно быть, чтобы добрые были между грязью и калеными угольями?

Или будь безучастен к горю людскому, или утони в горе сам? Третий выбор — плетись между грязью и углем. Для чего же тогда нашим сердцам дано знать сострадание? Или небо жестоко? Зачем оттуда никто не сойдет и не укажет, как людям сделать жизнь свою лучше, чтоб отверженных не было и чтоб не было гордых, пресыщенных и нищих? О, если б снизошел оттуда такой великий учитель! если был бы такой человек, как бы она, бедная Аза, хотела рыдать у его ног и во всю жизнь исполнять все, что он ей прикажет.

В таком настроении Аза однажды тихо брела вдоль берега Нила по уединенному месту и не встречала сегодня даже буйных мореходцев. Она уже два дня не ела и чувствовала мучительный голод. В глазах у Азы мутилось. Она подошла к реке и нагнулась, чтобы напиться, но сейчас же отскочила в испуге: так самой ей показалось страшно ее изнуренное лицо с померкнувшим взглядом. А так недавно еще никто не решался ее иначе назвать, как «прекрасная Аза».

— О, я понимаю теперь, что это значит. Я уже больше не «прекрасная Аза» — я страшна даже самым потерянным людям!.. Голод приблизился, мучительный голод... но я не ропщу... Я посылаю последний привет мой небу, которое внушило мне решенье любить других больше себя, и с тем умираю!

Она бросилась к реке, чтобы утонуть, и непременно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержал за плечо, и она, оглянувшись, увидала перед собою пожилого человека, скромного вида и в чужестранной одежде.

Аза приняла его за одного из чужестранцев, приходящих на это место с целями, о которых ей было известно, и сказала ему:

— Оставь меня в покое: я не хочу идти сегодня с тобою.

Но чужеземец не отошел, а взглянул на нее ласково и сказал ей:

— Напрасно думаешь, сестра моя, что я был намерен сказать тебе что-либо дурное. Мне показалось, что ты в каком-то боренье с собою.

— Да; я вынимаю ноги из грязи и хочу ступить на горячие уголья. Это требует силы.

— Ты очень слаба.

— Я два дня не ела.

— Так ешь же скорее: со мною есть хлеб и печеная рыба.

Чужеземец поспешно перебросил из-за спины холщовую сумку и подал Азе рыбу, и хлеб, и флягу воды, сращенной с вином.

Аза стала есть, запивая глотками воды, сращенной с вином, а когда первый мучительный голод ее был утолен, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Нехорошо, что я ем твою пищу, ты путешествуешь, и тебе нужен запас для себя.

— Не беспокойся, сестра, я могу потерпеть, и поверь, что терпеть гораздо отрадней, чем видеть терпящих.

Аза вздрогнула.

— Чужестранец! — сказала она, — ты меня накормил и хорошо говоришь... но зачем ты два раза уже назвал

меня своею *сестрою?* Разве не понимаешь ты, кто я такая?

— Ты такое ж создание бога, как я, и сестра мне. Какое мне дело, чем житейское горе и жестокость людей тебя теперь сделали.

Аза вперила в него свои глаза, опять засверкавшие бывалым огнем, и вскричала:

— Ты жжешь меня своими словами: ты, быть может, посланник богов?

— Я такой же простой человек, как и ты, но все мы посланы сюда богом, чтобы оказать друг другу любовь и помогать друг другу в горе.

— Но если ты простой человек, то кто научил тебя так говорить, что сердце мое горит и трепещет?

— Сядем здесь вместе, и я расскажу тебе, кто научил меня так говорить.

Несчастная Аза еще больше смутилась.

— Как? — сказала она, — ты хочешь сидеть со мной рядом! тебя могут увидеть с блудницей почтенные люди, и что ты им скажешь тогда в оправдание?

— Я скажу им, что *тот,* который всех их почтенней, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

— Кто ж это был *он?..* Я о таком не слыхала... но ты о нем говоришь, и слова твои льют новую жизнь в мое сердце... Может быть, он-то и есть твой учитель?!

— Ты не ошиблась: это *он* мой учитель.

Аза заплакала.

— Как ты счастлив, как ты счастлив, чужестранец! Где же он, где этот небесный посланник?!

— Он с нами.

— С нами!.. со мною!.. Не смейся над бедною Азой!.. Аза несчастна... Скажи мне, где он, — я побегу... Я стану его умолять... и, быть может, он даст мне новую жизнь.

Чужеземец сам взволновался.

— Успокойся, — сказал он, — ты ее будешь иметь — новую жизнь, — развяжись только с старой, — развяжись скорей с тем, что гнетет тебя в прошлом.

— Слушай же, кто я такая! — воскликнула с оживлением Аза и рассказала все, что с ней было, и когда повесть ее была кончена, она добавила в свое оправдание:

— Говорят, будто мне надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолело рассудок.

— Кто кладет руку на плуг и сам озирается вспять, тот не пахарь. Не жалей о том, как ты поступила.

Аза потупила взор и сказала:

— Я не о том сожалею... но мне тягостно думать о том, что было после...

— После того, когда ты совершила святейшее дело любви, — прервал ее чужестранец, — после того, когда ты позабыла себя для спасенья других... оставь сокрушения эти!.. Когда каленое уголье жжет ноги, ноги ползут в холодную грязь, но любовь покрывает много грехов и багровые пятна белит, как волну на ягненке... Подними лицо твое вверх... Прими от меня привет христианский и знай, что *он,* к кому душа твоя рвется, перстом на сыпучем песке твой грех написал и оставил смести его ветру.

Аза подняла лицо свое и плакала, а христианин глядел на нее, колени его незаметно согнулись, он поклонился ей в ноги и тихо промолвил:

— Живая! живая!

Утешенье совершилось — пришла новая жизнь в смущенную душу Азы. Христианин раскрыл ей в коротких словах ученье Христово и снова закончил похвалой ее сердцу, но Аза непременно хотела знать: есть ли люди, живущие по этому учению, во взаимной любви, при которой нет ни осуждения, ни зла, ни нищеты.

— Они были, — отвечал христианин.

— Отчего же не все таковы и теперь?

— Это трудно, сестра.

— В чем же тут трудность?

— Слушай, как они жили.

Христианин прочел ей на память места из Деяний: «У множества уверовавших в спасительность его учения было одно сердце и одна душа, — никто из имения своего ничего не называл своим, но все у них было общее, и все, что у них было, они разделяли по нужде каждого и каждый день собирались вместе и вместе принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. IV, 32).

— Как это прекрасно! — воскликнула Аза.

— Но как это трудно.

«Так Иоссия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения» — левит, родом из Кипра, у которого было свое поместье, — продал его и принес деньги к ногам апостолов» (37).

После многих сумрачных дней лицо Азы осветилось отрадной улыбкой: Варнава отдал поместье, и назвали его: «сын утешения»...

Аза выше подняла лицо и сказала:

— Это нетрудно.

— Так иди же отсюда, куда я тебя научу, и расскажи тем людям, к которым придешь, все, что ты мне рассказала.

Чужеземец назвал ей место, где сходятся христиане Александрии, и кто их епископ.

Аза, ни минуты не медля, встала и пошла по его указанию.

Когда Аза пришла, ее сейчас же узнал один клирик и сказал ей:

— Мне знакомо лицо твое: ты очень похожа на блудницу, которая часто ходила на берегу Нила?

— Я сама и есть та блудница, — отвечала Аза, — но я не хочу возвращаться туда, где ты мог меня видеть, — я хочу быть христианкой.

— Это прекрасно, но ты должна прежде очистить себя постом и раскаянием.

— Я все готова исполнить, что нужно.

Ей сказали, как надо поститься, она пошла и долго постилась, питаясь тем, что ей давали из сострадания. Наконец она изнемогла и пришла снова с просьбой крестить ее и принять со всеми в общенье. Клирики сказали ей: ты должна принести при всех покаяние.

— Да, я затем и пришла, чтобы сказать всем, как дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу вас: скажите епископу, что я прошу скорее принять меня в общение.

Клирики сказали епископу, а тот велел назначить Азе катехизатора, который должен был протолковать ей символ и все догматы веры и потом удостоверить ее познания, и тогда Азу будут крестить.

Но Аза этого не дождалась; нетерпеливое желание ее получить христианское имя и жить с христианами вместе снедало ее; она жаловалась и плакала, «а все пренебрегали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка лежала больная «в малой хлевине», туда к ней среди ночи вошли «два светлые мужа» и одели ее в белые «крестильные ризы». В них и осталось на земле мертвое тело Азы, а живой дух ее отлетел в обитель живых.

Кончина Азы, одетой в крестильные ризы, сделала затруднение клирикам: они недоумевали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришел тот чужестранец, который говорил с усопшею Азою у берега Нила. Он был философ и пресвитер сирийский, друг Исаака-сирийца — он вернулся сюда с дороги по внушению духа. Он наклонился над Азой и стал читать христианские молитвы, а пока он молился, тело Азы зарыли в землю, но сириец еще долго стоял и смотрел вдаль — он что-то думал, он был в восторге и двигал устами.

Его спросили:

— Верно, ты видишь что-нибудь чудное?

— Да, — отвечал он, — я вижу, как будто бы небо отверзто... и туда... кто-то входит...

— Неужто блудница?

— О нет!.. блудницу вы закопали в грязи — я вижу... как легкая струйка с каленого угля сливается с светом — мне кажется, это восходит *дочь утешенья*.

ГОРА

ЕГИПЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ

(По древним преданиям)

> Этот анекдот совершенно древний. Такой случай нынче не сбыточен, как сооружение пирамид, как римские зрелища — игры гладиаторов и зверей.
>
> *Египетские ночи.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Очень давно в Александрии египетской, при римском господстве, жил знаменитый и славный художник, по имени Зенон. Он с необыкновенным, тонким искусством делал из серебра и золота роскошную утварь и художественные вещи для женских уборов. По роду своих занятий он назывался «златокузнец». Происходило это в то время, когда в Александрии, в тесном друг с другом соседстве и в близком общении по делам, жило много людей разных вер, и всякий почитал свою веру за самую правильную и за самую лучшую, а чужую веру не уважал и порицал. Были также и такие, которые, чтобы жить в мире и тишине, не оказывали свою веру, а держали ее в себе тайно и ни в какие споры не вступали.

Зенон златокузнец был потаенный христианин, но община александрийских христиан его своим не считала, и сам он держался от нее в отдалении. Ему было удобнее не сообщаться, потому что, наученный христианству каким-то сирийским зашельцем в Египет, Зенон не о всем мыслил совершенно так, как принято было без рассуждения другими христианами в Александрии. Поэтому и те немногие из открытых христиан, которые знали Зенона, почитали его стоящим на ложном пути; он к ним насильно не шел, но никогда с ними и не спорил, а жил сам по себе в отдалении, в тихом, прохладном загородном урочище за палестрою, на дынных огородах.

По художеству, которое тогда называлось «златокузнею», Зенону не было равного — не только в Александрии

и в Фивах, но и в целом Египте. Браслеты, стежки и головные уборы работы Зенона славны были даже в Антиохии. Все именитые женщины обоих этих роскошных городов наперебой непременно хотели иметь украшения, сделанные этим искусным мастером. Евреи из Антиохии делали ему большие заказы и, забирая себе его «златокузню», увозили его художественные произведения в свой город и там продавали по чрезвычайно высокой цене и наживали большие выгоды. Зенон был очень досуж и трудолюбив, но при всем том он не успевал исполнять всех делаемых ему заказов, и недосуг его простирался до того, что он не имел даже времени ни для каких удовольствий, и часто ему некогда было даже о себе подумать. Ему шел уже тридцать первый год, и он имел хороший достаток для того, чтобы жить безнуждно с семьею, а он все еще ходил холостой, был совершенно одинок и жил в своем уединенном, но хорошо устроенном доме за дынными огородами. В прислуге у него для помощи был один непомерной силы персианин, который был ему беззаветно преданным и верным слугою, хотя сам этот человек был язычник и ходил совершать таинства Митры.

Зенон был домосед и на свободе любил читать и размышлять о высоких вопросах. Проработав целый день, он только вечерами выходил за порог своей мастерской, садился на каменную скамейку под широколистным платановым деревом и отсюда любовался вечерним закатом красного солнца за купы деревьев, читал сочинения о высоких предметах или катался по Нилу, сам управляя своею баркой под клетчатым шелковым парусом. По всем домашним делам Зенона в город ходил и справлял их персианин, однако в Александрии все знали Зенона, не исключая лиц именитых, и многие почитали за честь быть с ним в знакомстве, так как он в своем роде тоже был знаменит, — но Зенон был скромен и от почета всегда удалялся. Богатые щеголихи Александрии шли наперебой одна перед другою, чтобы иметь Зенона себе для услуг, и платили очень дорого, лишь бы только перещеголять друг друга, но их было много, а Зенон один, и потому это не помогало. Всем Зенон не мог услужить.

Тогда одна знатная дама вздумала присвоить себе искусство художника иначе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Александрию приехала из Антиохии одна молодая и чрезвычайно красивая вдова, по имени Нефорис, или Нефора. Она была очень богата и до того избалована, что не знала меры своим прихотям и не переносила никакого возражения и отказа. Воздерживаться и останавливаться в осуществлении каких бы то ни было желаний было для нее так несносно, что она об этом не хотела и думать, а цель ее, по приезде в Александрию, прежде всего заключалась в том, чтобы превзойти своею пышностью всех самых роскошных александрийских красавиц. Отказаться от этого суетного желания Нефора не согласилась бы ни за что на свете, так как вся Антиохия знала ее за самую изящную красавицу, которая своею роскошью и увлекательностью затмевала собою всех иных прекрасных женщин, блиставших красой и нарядами на празднествах в роще Дафны. Наряды Нефоры были прелестны, но чтобы сделать их еще более замечательными, она захотела иметь самый лучший, выкованный из золота убор, какой носили щеголихи в Александрии, но только непременно, чтобы он был лучше, чем все подобные уборы, какие до сих пор были сделаны. Она послала за Зеноном, но Зенон отказался прийти, сказав, что ему недосужно. Нефора послала за ним второго посла и велела ему обещать Зенону такую плату, какую сам он захочет, но Зенон ответил послу: «Скажи твоей госпоже, что я работаю, сколько могу, и сверх силы моей не принимаю заказов. Всем угодить я не успею, а наблюдаю очередь, и никакая богачка не может предложить мне ничего такого, что заставило бы меня отступить от справедливого порядка».

Когда посланные к Зенону во второй раз возвратились без успеха и передали ответ художника Нефоре, то эта избалованная и непривычная ни к каким возражениям модница впала в ужасную гневность и дошла до такого безумия, что велела подвергнуть безжалостному наказанию рабов, которых посылала к Зенону, а для себя приказала сейчас же оседлать белого мула и приготовить ей длинное и густое покрывало, в которое могла быть завернута вся ее фигура с головою.

Нефорис решилась сама отправиться к Зенону и во что бы то ни стало принудить художника сделать для нее самую красивую золотую диадему с самыми тонкими и изящными цепочками, скованными легко и усаженными перлами одной величины и одного цвета.

Оба приказания Нефоры были исполнены в точности: рабы ее, ходившие без успеха к Зенону, были наказаны ударами воловьей жилы, а ей был подан белый мул, покрытый роскошным ковром, с уздою из переплетенной широкой зеленой и желтой тесьмы, с золотистою сеткой на челке и с длинными кистями вместо вторых поводьев. У этих поводьев стоял немой сириец из Тира, в ярко-красной, до пят его достигавшей, длинной одежде.

Нефора села на своего мула, и красный сириец повел красивое животное за поводья, не зная, куда его госпожа отправляется. Он только оглядывался на свою госпожу при поворотах и распутьях и следовал мановению ее опахала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как сказано выше, Зенон, удаляясь от шума, жил за городом в уединенной красивой местности, до которой было весьма далеко от жилища Нефоры. Дорога сюда шла сначала городом, потом тенистою аллеей, по которой не затихало очень сильное движение. Нефоре встречались рабы, несшие в паланкинах женщин, ее с грохотом обгоняли парные колесницы на мулах и на рослых конях с подстриженными гривами, а потом путь становился безлюдней и тише. Тут Нефора почувствовала свою неосторожность: она не знала дальше дороги к жилищу Зенона.

От аллеи начинались мелкие свертки по тропинкам в удолья, утонувшие в платановых рощах. У одного из этих свертков под ветвистым деревом сидел старый амаликитянин и ел дыню; возле него жевал свою жвачку такой же старый верблюд. Нефора спросила у амаликитянина, не знает ли он, где живет Зенон златокузнец.

— Я не здешний, — отвечал амаликитянин, — но поезжай далее, и ты увидишь под деревом девочку, которая пасет коз, — та здесь живет и всех знает — она тебе может сказать о том, кто тебе нужен.

Нефора дала знак сирийцу, и тот повел ее мула дальше.

Вскоре они увидали широколиственное дерево, под которым паслись четыре желтые козы, и посреди их сидела на траве простоволосая босая девочка в грубой рубашке из холста коричневого цвета.

Нефора спросила ее о Зеноне.

Босоногая девочка тряхнула своими синими кудрями и отвечала:

— Конечно, я знаю, где живет красивый и добрый Зенон. Я ношу ему молоко от наших коз, и он часто дарит мне дыни и виноград из своего сада. Ни добрей, ни красивей Зенона нет человека на свете. Поверни вправо по третьей тропинке, и ты увидишь поляну, с которой вдали заблестят воды Нила, а перед тобою прямо будет сад, в том саду белый дом с пестрою крышей и большой медный аист над входом, — это и есть жилище Зенона.

Нефора взяла указанное ей направление, но опять скоро смешалась в извивах тропин и могла заблудиться. По счастию, ей встретился человек мрачного вида, с треугольным шрамом на лбу и с большою корзиной, в которой видны были плоды, фляга с питьем и большая красная рыба. Нефора спросила его о Зеноне, а человек ей отвечал:

— Я служитель Зенона, но я не могу возвратиться, чтобы проводить тебя к нему, потому что я поспешаю соединиться с своими единоверцами — мы идем справлять таинство Митры. Господин мой меня отпустил послужить моей вере и остался теперь один в своем доме. Обогни тот большой куст роз, и ты увидишь дорожку, которая прямо приведет тебя к его дому. Зенон теперь один, он занят работой, но дверь в его мастерскую открыта.

Сказав это, перс показал ей, как надо проехать через поляну, где зрели ароматные дыни, и Нефора, проехав меж сирени, жасминов и роз, увидала вдали, как катил воды Нил, а вблизи, в чаще кустов, стоял белый домик, и на нем, как живой, медный аист на белом фронтоне. Вокруг было все тихо; синее небо расстилалось как ровно покрытый шатер; солнце горело, в воздухе стоял зной; на белом карнизе рядком сидели и пели черные дрозды. Вокруг дома было множество лилий и роз, а у самых стен

и у белого мраморного порога лежали целые пласты зеленого диарита. Здесь было свежо, тихо и целомудренно: здесь жил художник.

Усталая от далекого переезда и от жара, Нефора сошла с седла и отослала мула и провожатого вдаль под дерево, а сама осталась перед открытою дверью Зенона. Теперь она, не переступая порога, могла видеть всю его мастерскую. Это была очень большая и высокая квадратная комната без окон; мягкий свет проникал в нее через потолок, сквозь фиолетовую слюду, отчего все вещи казались обвитыми как будто эфирною дымкой. Посередине комнаты на полированном красном порфире красовался бронзовый ибис, и из его клюва струилась свежая вода; стены окружены были колоннами и ровно окрашены красновато-коричневою краской, на которой резко выделялись белые мраморные и лепные фигуры, изображавшие людей и животных. Здесь были и легкие маски женщин, и тяжелые головы фараонов, и задумчивые морды верблюдов, и хищные пасти крокодилов. Зенон, как большинство художников того давнего времени, знал не одну златокузню. Подобно известному со времен Амазиса художнику Феодору, Зенон был и архитектор, и плавильщик, и лепщик, и ваятель, и во всем он был мастер, и знаток, и любитель всякого изящества, о чем и не мудрено было заключить по его жилищу, перед которым теперь стояла Нефора, вдыхая оттуда прохладную свежесть и аромат, разливавшийся из красивых, яркою поливой покрытых тазов, в которых рос золотистый мускус и напоял всю атмосферу своим запахом. Посреди всех художественных произведений искусства, наполнявших покой, стоял сам художник.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Напомним, что Зенону шел тридцать первый год. Он родился в Милете от красивой гречанки и галла. Природа дала ему стройный стан, сильные руки, огромную массу белокурых волос и огненные черные глаза, в которых светилась самая пленительная доброта и благородная твердость. Он был в длинном хитоне из мягкой шелковой материи серого цвета, с бледно-розовыми кружками по

краю; ноги его были обуты в легкие желтые сандалии, а буйные русые волосы схвачены тонким золотым обручиком с бирюзою на лбу.

Он стоял спиной к двери, облокотясь на подставку, на которой лежала глыба глины для лепки, и рассматривал с сосредоточенностью деталь своей модели.

— Зенон! — позвала его Нефора.

Он вздрогнул и оборотился. Нефора нашла, что лицо его прекрасно, и переступила к нему за порог в его мастерскую.

— Ты не должен сердиться, что я прихожу к тебе, художник. Меня привлекла к тебе твоя слава. Женщин влечет к себе слава, а ты славный художник. Я не здесь рождена и никогда тебя не видала, но слава твоя мне известна. У меня есть тоже слава моя, которая не стоит твоей: в Антиохии меня называли «звездою между красавиц», но я прихожу к тебе за советом: помоги мне, художник!

— В чем нужна тебе моя помощь?

— Прежде всего позволь мне быть твоею гостьей и дай отдохнуть мне у тебя от несносного зноя.

— Входи и будь моею гостьей.

Нефора вошла, сняла покрывало и села в широкое кресло, покрытое кожей пантеры.

Застигнутый так внезапно врасплох, «златокузнец» сразу ощутил себя как бы во власти посетившей его бойкой и настойчивой гостьи. Он подал воды ей и положил к ее ногам мягкую подушку, а сам стал перед нею и смотрел на нее, сложив свои руки на груди среди мягких складок хитона. Его поразила замечательная красота Нефорисы, которая, спустив покрывало, явилась одетой так изящно к лицу, что природная прелесть ее лица блистала еще ярче. Небольшая на круглой шее головка Нефоры была покрыта широким и тонким кефье в голубых и белых полосах: мягкие складки этой искусно положенной, изящной повязки облегали, как воздух, ее лицо и черно-синие кудри. Кефье было перевязано желтым шнуром. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на стройной шее лежало золотое ожерелье из множества мелких цепочек, и на конце каждой из них дрожали жемчужные

перлы. Ресницы Нефоры были подведены по египетской моде, концы пальцев слегка подрумянены, а тонкие ногти напудрены розовым перламутром. Гибкий стан Нефоры охватывала легкая туника полосатой материи — розовой с белым, а вместо пояса ей служил золотистый шелковый шнур, у одной из кистей которого висело маленькое зеркальце и такой же маленький сверленый из самоцветного камня флакон с пахучею индийскою эссенцией. Но всего больше поражало необыкновенно живое и изменчивое выражение ее нежного и страстного лица, линии которого так часто менялись, что, казалось, их совсем уловить невозможно.

Усевшись небрежно в кресло, Нефора, не ожидая расспросов хозяина, сама рассказала ему, в чем ее надобность. Она сказала, что желает во что бы то ни стало иметь к предстоящей палестре самую изящную диадему работы Зенона, а он ей отвечал, что это невозможно, ибо все время его до предстоящей палестры уже распределено им для исполнения других, ранее полученных заказов.

— А правду ли ты это говоришь? Можешь ли ты мне сказать: для кого именно ты теперь взялся работать?

— Я думаю, что это я вправе сказать, — отвечал неосторожно художник и назвал Родопис и Сефору, тех самых, которых всех сильнее Нефора желала превзойти своею красотой, появясь в первый раз на александрийской палестре.

— Родопис и Сефора! — воскликнула Нефора. — Неужто же я меньше их стою в очах человека, который способен ценить изящное в мире?

— Человек прежде всего должен исполнять то, что составляет его долг.

— Долг художника служить красоте, и я тебе даю к тому наилучшее средство. Зачем ты будешь напрасно тратить талант свой для плосколобой Родопис и скуластой Сефоры? Им все равно искусство твое не поможет, и они в диадемах твоих не станут изящней; но укрась ты Нефору, приложи красоту убора к ее красоте — и палестра забудет ристанье, а заплещет моей красоте и твоему искусству, художник.

И когда Нефора увидала, что художник ей внимает, то она, чтобы не дать ему опомниться и еще сильнее преклонить его на свою сторону, решилась не выйти от него без того, чтобы не принудить Зенона изменить данному слову и тем более восторжествовать над Родопис и Сефорой. Нефора решила не только умолять Зенона и льстить ему вниманием и лаской, но даже прямо прельщать его своею красотой, с тем чтобы довести его до страстного увлечения и купить у него предпочтение себе хотя бы даже ценою своей чести.

«Тогда, — думала она, — он перестанет отказываться, и чего не хочет сделать мне за большие деньги, то сделает без всякой денежной платы, как для своей любовницы. Я этого желаю... У меня будет убор всех изящнее, а вреда чести моей от этого никакого не будет, потому что, наверное, никому даже и на мысль не придет, чтобы я, самая первая красавица, молодая и богатая вдова Нефорис, брака с которой искало и ищет столько знаменитых людей, отдалась из-за выгод уроженцу Милета... Никто не поверит, что я отдала себя златокузнецу за то, чтобы иметь его златокузню... чтоб унизить ею соперниц... Да, этому никто не поверит, и я тем смелее на это решаюсь».

К тому же... Зенон был красив и...

Нефора вдруг ощутила над собой его обаянье.

Все до сих пор искали внимания ее, — и вот человек, кого *она ищет...* Она предлагает себя... Она себя *продает...*

Это ей ново, и дико, и страстно желанно.

Нефора не размышляла, или ее рассудок был слишком сговорчив и вел ее к достижению того, чего ей желалось.

«Все равно я должна буду выйти замуж за какого-нибудь вельможу, которого я не буду любить, а пока я свободна, не вольна ли я сама располагать собой как хочу? Я хочу, я могу, я желаю здесь, в этой тиши, внезапно купить себе ценою своей красоты услуги красавца Зенона. Так, мой художник! тебя ничто не спасет от соблазна моей красоты, и торжество мое над тобой неизбежно».

И Нефора, нимало не медля, начала стремиться к тому, чтобы осуществить свое намерение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Она сказала Зенону:

— Хорошо, я не хочу настаивать, чтобы ты портил твой честный обычай, но ты можешь помочь мне, оставаясь господином своих обещаний, которые дал Родопис и Сефоре.

— Я не вижу, как я могу это сделать.

— Я тебя научу, если только ты хочешь у меня научиться, — сказала с улыбкой Нефора.

— Учи, я охотно готов тебя слушать, — отвечал, также слегка улыбаясь, Зенон златокузнец.

— Сядь со мною рядом и слушай.

Зенон сел в стоявшее рядом другое кресло, а она взяла его за руку и сказала:

— Ты ведь дал слово не делать лишь новых уборов и не имеешь досуга на это. Я и просить тебя больше об этом не стану; но что ты скажешь на то, если можешь мне сделать удовольствие, не нарушая своего слова?

— Тогда я сделаю все, чтобы не огорчить тебя понапрасну.

— Я не хочу ничего больше: здесь со мной мой пестрый персидский ларец, в котором лежат все мои драгоценности. Там много есть разных прекрасных вещей, которых здесь, в Александрии, на мне не видали. Я привезла их для того, чтобы ты их рассмотрел и обдумал: не возможно ли их смешать и привести их в такое соединение, чтобы из них, по изящному вкусу Зенона, вышел не худший убор для Нефоры?

— Ты это очень хорошо придумала! — воскликнул Зенон златокузнец.

— Я очень рада, что ты меня одобряешь, и с своей стороны награжу тебя всем, чего только захочешь.

Зенон понял смысл этих слов о награде и, встав с места, сказал:

— За простой совет и за легкую помощь по силам моим никакой мне награды не нужно.

— Отчего же?.. Проси!.. Или... если ты горд, то доверь мне самой оценить, чем с тобой расплачусь.

— Нет, оставь это!.. Мне довольно будет того, что я могу доставить тебе радость...

— Хорошо, пусть будет по-твоему! Выйди же теперь к моему рабу, возьми у него мой ларец и принеси его сюда.

Зенон вышел, а Нефора погляделась в свое ручное зеркальце, которое было у кистей ее пояса, и улыбнулась довольною улыбкой.

Зенон возвратился с ларцем, который был не велик, но изящен и довольно тяжел.

— Благодарю, — сказала Нефора. — Теперь дай мне сюда на колени подушку и станем на ней раскладывать вещи.

Зенон исполнил и это, и когда золотые уборы и самоцветные камни в оправах были вынуты маленькою рукой Нефоры из ее узорного ларца и разложены ею по темной ковровой подушке, Зенон наклонился лицом к коленям гостьи и стал серьезно рассматривать амулеты, шпильки, браслеты и цепи, а Нефора меж тем рассматривала самого Зенона и любовалась грациозностью его движений и нежною прелестью его светло-русых кудрей, подстриженных и завитых на лбу по греческой моде.

Долго Зенон не мог ничего выбрать, но, наконец, взяв в руки один золотой амулет, изображающий солнечный диск с прямыми лучами, он задумался и потом соединил это с другим, меньшим диском, на котором было изображение сладострастной богини Ма, с ее закрытыми глазами. Зенон весело взглянул на Нефору и сказал ей:

— Ты совершенно права: из этих вещей можно составить такой прекрасный убор, который способен будет затмить все другие уборы. Ты надень эти браслеты змеями на голые руки. Твои руки прекрасны.

— Ты находишь, что они хороши?

— О да, твои руки прекрасны, и я бы охотно слепил их из воска.

— Что же, слепи. Я рада, что мое тело вдохновляет Зенона.

— Положи диадему с маленьким диском и богиню Ма на лоб, а большой диск укрепи на груди, чтобы лучи его утопали и местами бы вырывались из-под складок туники. Надень светло-зеленого цвета тунику или цвета зреющей вишни на солнце... Вишневый цвет тебе, кажется, больше будет идти в этом уборе... Жрец Ма всегда имеет посох из вишни...

— Как ты хорошо это знаешь. Ма тебя за это должна наградить, как богиня.

— Сейчас мы все кончим: я тебе все рассказал, что надо сделать. Ты понимаешь: надо тончайшие рясны цепочек спустить с диадемы к лучам большого диска на груди, и ими тебя, как богиню, броней опоясать... И ты будешь сама, как Ма богиня, прекрасна.

— И ты мне все это сделаешь, Зенон?

— Нет, и тебе это не нужно. То, что нужно тебе, всякий другой сделает так же, как я, но я более не господин моего времени — я дал слово не брать никакой другой работы, и мне жаль, что я должен тебя огорчить.

— Ты не хочешь, так прощай же, Зенон.

С этим Нефора так быстро встала, что подушка соскользнула с ее колен и все драгоценности ее упали на ковер и рассыпались к ее ногам.

— Как ты неосторожна, — сказал Зенон и нагнулся к полу, чтобы подобрать рассыпанные вещи; но едва он начал распутывать из покрывала маленькую стройную ножку Нефоры, обутую в темную кожаную сандалию с золотым тиснением по краю подошвы, как нога эта скользнула и судорожно вытянулась.

Зенон всклонился и, к удивлению своему, увидал, что все лицо Нефоры быстро покрывалось страшною бледностью, а прекрасные глаза ее меркли.

— Что с тобою? — вскричал он.

— Я не знаю, — тихо и медленно отвечала ему ослабевшим голосом Нефора. — Я ехала слишком долго в седле... я слишком устала... меня чересчур долго жгло палящее солнце, а здесь прохладно, я теперь вдруг себя чувствую дурно... Помоги мне, Зенон! Я задыхаюсь...

Она сделала движение, чтобы подняться, и заговорила еще скорее и тревожнее:

— Уведи меня! Здесь мускус... розы... жасмин... Все деревья здесь так сильно пахнут... Этот свет сквозь лиловую слюду раздражает меня... я его не сношу... я не привыкла к Египту... Света мне!.. воздуха!.. чистого воздуха дай мне скорее!

Вскрикнув это, она поднялась, взмахнула, как будто впотьмах чего-то искала, руками и с меркнущим взором тотчас же упала на руки Зенона.

Зенон подхватил ее, как дитя, на одну руку, а другою рукой дернул за шелковый шнур, и от движения этого шнура одна панель в красной стене его мастерской сейчас же раздвинулась. За нею открылся вход в высокую, очень просторную комнату, куда встревоженный Зенон и пошел, держа на своих руках сомлевшую Нефору. Глаза ее были теперь совершенно закрыты, голова опустилась, и все тело ослабло.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Комната, в которую Зенон внес Нефору, была совсем не похожа на ту, из которой он ее вынес. Это была большая, высокая столовая, стены которой были гладко отделаны кедром, издававшим самый тонкий и едва заметный здоровый, смолистый запах; в ней были четыре большие окна, из которых открывался широкий вид на меланхолический Нил, а по ту сторону вод в отдалении темнели спаржевые поля.

Через открытые сверху донизу окна и отпертую дверь на террасу сюда обильно тек чистый воздух, не насыщенный ничем раздражающим и наркотизирующим. Солнце не сверкало в глаза, и только синее небо да синие воды тихо отражали на всем свой ровный и спокойный оттенок.

Убранство покоя состояло из нескольких низких и широких диванов, покрытых мягкими стегаными матрацами из нежной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще более нежными двусторонними египетскими коврами. Перед каждым диваном были поставлены маленькие столики и табуреты, а посередине комнаты помещался большой стол на львиных лапах, и на этом столе стоял завтрак, который приготовил Зенону ушедший праздновать таинства Митры служитель.

Зенон бережно опустил Нефору на один из диванов, до которого свободнее доходила струя воздуха, подложил ей под голову и под плечи подушки, расстегнул тунику на ее груди и выбежал в смежную комнату, где была его спальня. Отсюда он принес флакон с индийскою эссенцией и, капнув одну каплю этой эссенции на предсердие

Нефоры, провел тихо рукою и подул, чтоб эфирная жидкость быстрее испарялась. Потом он облегчил голову гостьи и ослабил цветные ремни у ее сандалий.

Попечения его были успешны: едва он облегчил стяжки, стеснявшие тело Нефоры, и стал повевать на нее ее же большим опахалом, к ней начали возвращаться ее чувства и сознание — вскоре длинные ресницы ее стали шевелиться, а тонкие ноздри вздыматься дыханием, и, наконец, оба ее изменчивые глаза неуловимого цвета открылись. Она обвела в недоумении незнакомый покой и спросила:

— Где я? — и, получив от Зенона ответ о том, где она и каким случаем попала в эту комнату, Нефора начала сожалеть, что наделала Зенону столько хлопот. Она укоряла себя, зачем пустилась в непривычный ей путь на муле, а не в носилках, и, протянув руку художнику, заключила:

— Прости мне то беспокойство, которое я тебе сделала.

Он просил ее, чтоб она об этом не думала, а она отвечала:

— Я не могу об этом не думать, потому что в этот несносный жар, мне кажется, я буду не в силах сделать обратно далекий путь на седле.

— И это тоже пусть тебя не беспокоит, — отвечал ей Зенон. — Тебе нет нужды терзать себя в такой жар на седле. Отдохни здесь у меня в прохладе, сколько тебе угодно, а когда тени на земле станут длиннее, я сам отвезу тебя спокойно до твоего дома на моей нильской барке, которая стоит здесь же у берега под моим садом.

Нефора благодарила его и осталась.

— Хотя мне это и совестно, — сказала она, — но ты сам видишь, как я ослабела. Я не могу ехать на своем муле и не должна посылать за носилками, чтобы не возбудить этим многих напрасных толков.

— Я все это понимаю, — отвечал Зенон, — и ты не беспокойся, ты не будешь предметом никаких толков. Моя пестрая барка со всех сторон окрыта густыми занавесами, и тебя никто не увидит, а я сам буду ею управлять.

— Это прекрасно, — отвечала Нефора, — но в таком случае пожалей и моего бедного мула и невольника, ко-

торые будут напрасно ждать меня на жаре у твоего дома.

— Это правда, — отвечал Зенон, — и если ты позволишь, я сейчас же отпущу домой и человека и бедное животное.

— Не откажи мне в этом, я прошу тебя.

— Охотно, — отвечал Зенон и сейчас же вышел, а Нефора приподнялась с дивана и подошла к одному из открытых окон. Перед нею открылся на пологом скате к реке прекрасно содержанный сад, разбитый по-египетски радиусами от центра, который обозначался фонтаном у небольшого обелиска из красного гранита, а в конце одной из дорожек была такая же гранитная лестница. К одному из столбов этой лестницы была прикована бронзовою цепью роскошная, очень пестро, по-египетски раскрашенная нильская барка. На носу ее красовался огненно-красный крылатый грифон, а на корме завязанный в узел хвост какого-то морского чудовища. Посредине барки был паланкин, где на бронзовых прутьях висели в густых складках полы мягкой полосатой материи — синей с белым.

Нетрудно было понять, что это и есть нильская барка Зенона, на которой он любил вечерами кататься под клетчатыми шелковыми парусами по Нилу.

Она отличалась от всех других барок, стоявших у берега, не только по богатству, но и по изяществу отделки, в котором, как во всем окружающем Зенона, выражался его художественный вкус.

Он сам и все, что при нем есть, — все это было прекрасно и все пленяло Нефору, и она все более и более волновалась от прилива страстных ощущений.

Придя просто с тем, чтобы заставить художника сделать себе убор и в нем превзойти на палестре каких-то соперниц, Нефора сама для себя неприметно увлеклась вспыхнувшим чувством любви к красавцу Зенону и, никого до сих пор не любя, вся предалась необузданной страсти.

— Пусть, — говорила она, глядя на Нил, но Нила не видя, — пусть совершится судьба... Пусть, пусть это будет... Я собой не владею и владеть не желаю... Все, кто искал улыбки Нефоры, — судьба за вас всех нынче мне

отомстила: я уязвлена страстью, я сегодня впервые люблю. Другой такой случай может не быть: я остаюсь здесь одна с ним, и хочу здесь сгореть, и сгорю в объятиях Зенона.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В то время, когда Нефора рассуждала таким образом, глядя в открытое окно на картину, которая застилалась от нее ее влюбленною мечтой, возвратился Зенон; он сказал ей, что и мул и немой проводник им уже отправлены домой, а самой Нефоре Зенон предложил сесть за стол и подкрепить себя пищей и прохладным напитком из воды и вина.

— Затем, — сказал он, — ты отдыхай здесь в покое, пока схлынет жар, а я буду работать.

Нефора на все согласилась, и когда они сели с Зеноном к столу и он просил ее испробовать мясо, фрукты и прохладное смешение из антильского вина с водой и ягодным соком, Нефора, по эллинскому обычаю, предложила выслушать от нее, кто она и откуда и зачем появилась в Египте.

Зенон от этого не смел отказаться и, чтобы не показать себя невежливым перед гостьей, отвечал ей:

— Повесть твоя усладит слух мой: говори, я а принесу воск и буду лепить из него то, что мне нужно, — и он принес воск и начал его мять на дощечке, а Нефора близко села с ним рядом и начала говорить о себе.

Она упомянула Зенону сначала о своей родине в далекой Фракии, откуда она была увезена в детстве в Антиохию и выросла там при беспрестанных тревогах по поводу быстрых и частых перемен в положении ее родителей, а потом она рассказала, как была отдана замуж за старого и очень безнравственного византийского вельможу, который понуждал ее к постыдным для женщины поступкам в угоду высшего вельможи, от которого зависело его служебное повышение, и как она воспротивилась этому и много за то претерпела, а потом, когда муж ее умер, оставив ей большое богатство, она, по любви к независимости и свободе, не захотела вернуться в свою эллинскую семью, ибо ей противна под-

чиненность безгласных в семье эллинских женщин, а переселилась из Антиохии в Египет, где женщины не находятся в таком порабощении, как у эллинов. Здесь она хочет быть госпожою своих поступков и сама надеется выбрать себе достойного мужа.

— Ты хорошо сделала, что соблюла свою непорочность, — отвечал ей уклончиво Зенон.

Она промолчала.

Зенон взглянул на нее и удивился, как изменчивый цвет ее глаз то разгорался, то гас, обозначая быстроту душевных движений.

Она еще колебалась, но страсть одолела и стыд и рассудок.

— Да, — сказала она, — но этих похвал я вперед не желаю, я молода и не хочу быть «богиней», как ты меня назвал: теперь я хочу быть любима так просто, как смертную женщину может любить простой, смертный мужчина. Да, я полюблю в тот же миг, как только увижу того, который может быть мил мне.

— Что же, ты, верно, его и найдешь.

Нефора опять замолчала; ноздри ее изящно выгнутого носа быстро двигались, а уста открывали белые зубы, но, наконец, она не выдержала и сказала:

— Я уже нашла его, Зенон.

— Вот и прекрасно: если он любит тебя, ты вступишь в супружество, и я желаю тебе быть счастливой.

— Благодарю за желание, — живо сказала Нефора, — но я слишком много страдала и слишком долго ждала этого, чтобы теперь ожидать еще дольше. Я томлюсь желанием скорее, в мгновенье, забыть мое горе в объятиях того, чьих лобзаний уста мои жаждут.

Она встала и с детскою, избалованною улыбкой бросилась к Зенону и закричала:

— К тебе, Зенон, к тебе, мой художник, влечет меня сердце и страшная сила рокочущей крови... Для чего ты встаешь? Куда ты отходишь? Дай мне любви, дай мне лобзаний, забвенья и счастья, или я потеряю рассудок.

Но Зенон ее не слушал; он отступил от нее и даже самый звук ее слов удалял от своего слуха, устраняя рукой и повторяя:

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Опомнись! опомнись!..

— Я и знать не хочу ничего, кроме того, что я тебя полюбила!

Зенон вздвинул плечами и, сжав на груди свои руки, сказал:

— Несчастная женщина! ты в себе разум и стыд женский затмила!

— Возврати же скорее мне мой разум! — прошептала Нефора и, положив на плечи ему свои обнаженные руки, судорожно вздрогнула и замерла в поцелуе.

Зенон хотел ее отстранить, но в очах его помутилось, сердце упало, и он едва простонал:

— Нефора! Нефора!

А она меж поцелуев ему отвечала:

— Я не богиня, Зенон... Я страстная смертная женщина, Зенон... Лобзай же меня и дай мне скорей миг блаженства!

— Миг! — воскликнул Зенон. — Миг вместо союза на целую жизнь — это нечестное дело, Нефора... Отбрось этот миг и не дай мне несчастья унизить себя и тебя с собой вместе!

Нефора взглянула на него с гневом и сказала:

— Что это! ты оскорбляешь меня!

— Нет, я тебя возвышаю. Я чту в тебе женщину больше, чем эллин и сын Мицраима.

— Я не хочу слушать ничьих рассуждений, когда мне их не надо!

— Нельзя жить без рассуждения.

— Отчего?

— Ты не поймешь.

— Нет, я уже все поняла... Ты любишь другую.

— Ты ошибаешься: я не люблю никого так, как ты хочешь.

— Так ты, значит, глупец!

— Нет, я — христианин.

— Христианин!.. Ах, ты христианин! Так вот что!.. Христиане это те, которых все презирают и гонят!.. Это те, которых учитель хотел, чтобы люди отрекались от счастья любить; но ведь это, Зенон, безрассудно — бороться с природой. Ее одолеть невозможно, да и зачем это нужно?.. Ты мой, Зенон, да? Ты пылаешь любовью ко

мне, ты не в силах противиться мне, я люблю тебя, Зенон, я тебя призываю! — и с этим она рванулась к нему, и уста ее соединились с его устами.

Зенон почувствовал, словно море зашумело в его ушах и будто пламя блеснуло у него перед глазами: его клонило в ее объятиях, как клонит трость под дыханием бури, но вдруг на корме пробудился повелевающий волнам и буре. Зенон увидал его, отстранил от себя страстные руки Нефоры, рванулся к столу, и теперь Нефоре как будто блеснуло между нею и Зеноном... что-то как нож и кровавое пламя, а Зенон уже стоял и шатался, держась сзади руками за стол. По лицу его струилась кровь, а в глазу его стремила рукоятка ножа. Лезвие было в глазе, а другой глаз глядел на Нефору с тихим укором, а уста, бледнея, шептали кому-то, но только не ей:

— Благодарю тебя, что ты не погнушался мной и явил свою власть над моей страстной природой. Мой глаз едва не соблазнил меня, но я сделал то, что ты повелел, и... теперь нет этого глаза.

Проговорив это, Зенон зашатался и упал, и нож вывалился из его раны, а кровь орошала его лицо и струилась на пол.

Нефора не издала ни одного звука: глаза ее, устремленные на Зенона, остолбенели в безмолвном ужасе, и она выбежала отсюда, оставив здесь и свое покрывало и все свои драгоценности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вышеописанное происшествие было делом самого короткого времени и случилось так неожиданно и было столь противоположно настроению Нефоры, что она совершенно растерялась и обезумела. Когда она опомнилась на воздухе, то увидела, что теперешнее собственное ее положение было очень затруднительно. О своих драгоценностях Нефора не вспомнила, но к ужасу, который охватил ее при виде того, что с ужасною твердостью сделал над собою Зенон, сейчас же присоединилась забота: как бы ей скрыться отсюда и возвратиться домой

незамеченною? Она была далеко от своего дома, а проводник и мул были отпущены; слуги Зенона не было дома; пешком к себе Нефора не могла возвращаться потому, что ноги ее дрожали и подкашивались; кроме того, она стыдилась идти по улицам без покрывала в своем слишком красивом уборе.

Безотчетно, или, может быть, только с одним желанием избежать встреч на улицах, она бросилась через сад к берегу Нила, где стояла у пристани барка Зенона.

Здесь была полная тишина и безлюдье, но, окинувши глазом берег, Нефора заметила невдалеке низкую хижину, сбитую из топтанного тростника, смешанного с нильскою глиной. Она направилась к этому убогому жилищу и постучала рукой в окно. Оттуда выглянул человек, весь измаранный в угольной пыли. Он был египтянин.

Нефора дала ему золотой браслет с своей руки и сказала, чтоб он нашел какое-нибудь средство отвезти ее незаметно в город.

— Пожалуй, я могу это сделать, — отвечал египтянин, принимая ее дар, — если только ты согласишься плыть со мною в моей угольной барке.

— Хорошо, если нет другого способа, я согласна плыть в угольной барке, но я не хочу, чтобы меня в ней видели, а я потеряла мое покрывало.

— Там есть угольный мешок: я тебя прикрою.

— Но это ужасно.

— Да, он грязненек, и если ты его боишься, я положу на дно барки пустую кадку, и ты можешь согнуться и скрыть под нею свою голову.

Нефора на это согласилась.

Угольщик исполнил все, за что взялся, и Нефора совершила продолжительное и неудобное передвижение по Нилу в тяжелой и грязной угольной толстодонной барке, лежа под угольною кадкой. Едва лишь к вечеру достигла она своего жилища, куда взошла, дождавшись темноты, вся перемаранная грязью и угольною пылью. Нефора, разумеется, удивила всех рабов и рабынь своим возвращением в таком плачевно-бедственном виде и была в ужасном расстройстве; она сейчас же вымылась и слегла в постель, а ночью у нее началась горячка: она срывалась с кровати и начинала неистово бегать и

плакать, рвала на себе свои прекрасные черные кудри, царапала щеки и, забыв осторожность, кричала:

— Мщенье Зенону! мщенье всем христианам!

Испуганные рабыни сочли ее за одержимую злым духом и призвали к ней знатную египетскую вспомогательную бабу Бубасту, которая долго смотрела в лицо ей и слушала ее безумные крики, а потом сказала Нефоре:

— Я вижу, какой-то змей уязвил твое сердце... Скажи мне, кто смел пренебречь твоею красотой!

— О да, я пренебрежена, — отвечала Нефора, — и я должна раздавить этого змея.

— Так и будет. Царь Амазис мудро изрек, что яд обиженной женщины острее змеиного яда. Кому хочешь мстить?

— Христианскому богу и всем христианам в Египте.

— Хорошо. Я сама горю мщением ко всем пришельцам в Египте. Мое имя — баба Бубаста, я нынче старуха, лекарка; но я была молода и любила; мой муж томится давно в каменоломнях Пилака, и сердце мое каждый день слышит, как он двигает гранитные глыбы, в цепях, которые наложил на него жестокий правитель... О, я ненавижу пришельцев и новую веру, я рада им мстить: я пойду искать яд и приду к тебе, госпожа, когда яд мой поспеет.

Происшествие с Зеноном имело последствием то, что ни одна из женщин, для которых он спешил окончить заказы, не получила ожидаемых уборов к палестре. Это была первая неисправность с его стороны, и служитель Зенона, перс, отнес щеголихам их камни и золото, объявив, что его господин, славный художник Зенон, имел большое несчастье потерять глаз и теперь долго не надеется возвратить себе способность к работе. Потом перс явился также к Нефоре и доставил ей ее покрывало и ларец с ее драгоценностями.

Нефора была не рада возвращению своих вещей, потому что это заставляло ее опасаться: не откроется ли ее участие в ослеплении глаза Зенона, но перс не сказал ей ни слова, и она больше ниоткуда не слыхала ничего о Зеноне.

И художник и слуга его хранили о всем происшедшем молчание. Слуга, по всей вероятности, и вовсе не знал, как это несчастье случилось с Зеноном. Нефора никуда не выходила из своего дома, но в душе ее по-прежнему горели в темном смешении обида отвергнутой страсти и жажда отомстить за себя Зенону. Она не знала только, какое бы измыслить ему самое жестокое мщение. Она не раз вспоминала о той египетской знахарке, бабе Бубасте, которая обещала ей дать страшное средство отмстить ненавистным для них христианам, но думала, что Бубаста сказала это слово ей просто в утеху и потом позабыла о своем обещании. Но это было не так: старая египтянка ждала только времени и не упустила случая воспользоваться им, как только к тому представилась возможность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Прошел год. В это время много людей родилось и много умерло; одни дела людские вновь замышлялись, другие были окончены и позабыты. Было забыто и то, как к прошлым палестрам некстати и неизвестно от какого несчастья окривел всем в Александрии известный красавец художник Зенон златокузнец. Он долго болел, но потом поправился и теперь носил через голову на одном глазе голубую повязку, которая не только не безобразила его лица, но, казалось, придавала ему еще новую привлекательность. Зенон и при одном глазе работал так же изящно, как прежде, и опять все с тою же неизменною добросовестностью, которою дорожил ранее. Теперь он бы мог успеть сделать желанный убор для Нефоры, но антиохийка, разумеется, не обращалась ни с каким заказом к Зенону.

С нею с тех пор тоже кое-что случилось. Красота и богатство Нефоры не оставляли ее в затмении, и старый правитель Александрии, человек жадный и исполненный многих низких страстей, пожелал соединить Нефору браком с своим старшим сыном, который имел столь малый ум, что, побывав во многих отдаленных странах и истратив на это путешествие большое богатство, по возвра-

щении своем не умел рассказать ни о чем им виденном, кроме как о величине яйца птицы строфокомила. Отец, не желая второй раз награждать глупого сына, искал обеспечить его огромным богатством Нефоры посредством брака с нею, и Нефора, к совершенному удивлению многих, отвечала согласием на это искательство; но вскоре за тем, когда дала уже слово, она начала откладывать свадьбу день за день и не только сказывалась нездоровою, но и в самом деле сильно разнемоглась, и ни один из лекарей, которых присылал к ней правитель, не мог узнать, что у нее за болезнь и какими лекарствами можно помочь ей. Она ни на что особенно в своем здоровье не жаловалась, но вся изнемогала, лицо ее худело, глаза блекли, — она не занималась ни нарядами, ни плетением волос, ни надевала драгоценностей и не посещала знакомых и даже мало была в своих комнатах. Ей было несносно под крышей, и она искала уединения в саду, где все под стать ее расположению было грустно и как бы дремало: фонтан бил лениво, пестрые бабочки перелетали с одного цветка на другой тоже лениво; но скоро и это начало беспокоить Нефору. Но вот настала еще иная пора. Садовые акантусы и желтые мимозы, живые ограды из разноцветной сирени, жасмина и роз, высокие пальмы, акации и бальзамовые деревья — все цвело, благоухало и жужжало, наполненное кипучею жизнью насекомых. Этот прилив жизни стал иначе смущать и тревожить Нефору; ей казалось даже, что золотые рыбки в каменном бассейне фонтана слишком живо и громко плескались. Нефора удалялась к обширному огороду и там, часто останавливаясь над грядами махрового мака, срывала с него пышные цветы и, обрывая лепестки их, клала их на ладонь, дула на них и ударяла другою ладонью, шепча тихо устами: «полюбит» или «нет»? И если маковый лепесток разрывался с треском, она улыбалась и расцветала душою, была весела, ела, спала и дарила наряды служанкам, но жениха своего к себе не впускала; если же лепесток вяло сжимался у ней между ладоней, она его сбрасывала с рук и тут же сама садилась на землю и долго и горько плакала навзрыд, как ребенок. Служанки не раз находили Нефору лежащею на черной земле между больших янтарных шаров, какими казались созревшие ароматные дыни, и отсюда служанки приносили

свою госпожу домой в бесчувственном состоянии. Сначала они давали знать о тяжких припадках Нефоры правителю, и тот тотчас же присылал врачей и своего сына, но как искусство врачей оказывалось бессильным, а сына правителя Нефора совсем не желала видеть и даже тяготилась его приближением к ней издалека, то женщины, по суеверию своему, при новом жестоком припадке Нефоры опять призвали к ней бородатую бабу Бубасту с плоским лбом и большими ушами.

Баба омыла лицо ей нильскою водой и сказала:

— Яд, который змей излил в твое сердце, жесток, но ты должна быть сильна, чтоб отмстить и ему и всем христианам. Приближается время отмщения: старые боги Египта приходят нам на помощь, чтобы сгубить ненавистную новую веру. Мщение пришельцам пришло, близок конец для всех христиан в Александрии.

— Всех? — задумчиво переспросила Нефора.

— О да, всех или как можно больше, в том числе ведь будет раздавлен и змей, который отравил твою жизнь.

Нефора посмотрела на плоский лоб и на уши бабы Бубасты, и вспомнила другие лица старых египтян, ненавидевших христианскую веру, и, содрогнувшись, сказала:

— Я желаю отомстить за себя; но когда ты говоришь со мной об отомщении, мне страшно слушать. Ты стара — за что тебе их так ненавидеть?

— Ого!.. Я стара!.. Это правда, — отвечала, покачав головой, Бубаста, причем длинные и широкие серьги в ее ушах запрыгали. — Я стара, но я сказала тебе, мой старый муж томится в каменоломнях, я ем хлеб, который зарабатываю себе моими руками, и мои сыновья и сыновья моих дочерей тоже трудятся — из них есть ткачи, и канатчики, и кожевенники, и все они едва питались своими трудами, а христиане теперь завели у себя мастерские в особых огражденных местах, где они молятся, а другие их за это кормят, и они на даровом хлебе берут работу дешевле нашего... Наши руки не могут более доставать работою столько, сколько нужно на пропитание... Проклятие им, пора с ними расчесться... Старый Пеох видел, как черный ибис плясал на берегу, глядясь в воду. Запляшут они — скоро запляшут! Время отомщения близко. Цари Египта проснутся и встанут в своих пирамидах, скрепленных кровавым пóтом своих прежних рабов... За-

мечай... скоро уж водная ночь, а наш Нил не хочет поднять своих вод, чтобы оросить в этот год нивы Египта.[1] Глаза всех людей напрасно следят на раскаленном небе за полетом голубя с радостною вестью с верховьев, что вода начинает подниматься в Мемфисе...

— Да, — продолжала Бубаста, схватывая нежную руку Нефорис своей сильною и грубою рукой, — да, вода не поднимается. Цари Египта, которые спят в пирамидах Гизеха, не пускают к нам Нил за то, что мы дали волю жить у нас пришельцам, людям разных вер и особенно христианам, у которых ленивые люди находят себе пропитание в их общинах... Им хорошо, и они мешают нам делать работу за настоящую цену. Смерть им — смерть без пощады всем им, спускающим цену! Они слишком усилились, они завели здесь старейшин, — называют одного патриархом, другого епископом, — вера их входит в моду, и скоро, быть может, все знатные люди станут держаться их веры... но ты меня вовсе не слушаешь — тебе все равно, какие боги управляют Египтом, но народу нужно, чтобы с ним в добром согласии жил старый Нил. Когда Нил разольется и оросит нивы Египта, тогда исчезнет унылость народа: тогда все пристани в устьях заблещут яркими флагами чужих кораблей; войдут большие египетские суда с отрадными изображениями ибисовых голов, и понесутся далеко песни звонкоголосых певцов с Дельты; для наших красавиц привезут роскошные ткани из Мальты, из Сардинии камни, с Кипра мед и вино, от эллинов масло, мастику и изделия из бронзы, и пестрые паруса из веселого Тира, и ливанские кедры, без которых нет материала для строек в безлесном Египте; а от нас купят дорогою ценой хлеб и тонкий папирус, и кружева из Саиса, и мемфисские колесницы, которых нет прочнее и легче на свете... Но не разливается Нил, и вот, вместо всего этого оживления, нынче все охватило сном смерти: река что день больше мелеет, — начинается общий страх голода, и люди уже стали болеть за Мемфисом. Вчера еще прилетел голубь с известием, что за Сауном и в Фивах пошли темные пятна на людях — страшное бедствие близится; через три дня настанет водная ночь, и если в эти три дня и три ночи не захочет священный наш Нил подниматься,

---

[1] «Водная ночь» 27 июня. *(Прим. автора.)*

то мы поднимем народ и все пойдем к правителю, чтобы он повелел выйти от нас христианам, или мы бросим их в Нил, и тогда это будет для всех для них отмщение. Но ведь ты, может быть, не хотела бы, чтобы они все до одного потонули? Ты одного, может быть, хотела бы оставить на свете?

— Да, — отвечала Нефора, — я бы хотела оставить одного из христиан дольше других на земле, но для того только, чтобы он видел посрамление и гибель других и только тогда бы погиб, когда я наслажусь над ним моим мщением.

— Расскажи мне, чем он оскорбил тебя, и я пойду к тайным жрецам, и мы тогда изберем ему страшное мщение, а твоим словом дорожит правитель; ты изукрась себя лучшим убором, пойди к нему, плачь за народ наш и проси его сделать, что́ мы тебе скажем, и мщение твое совершится над тем, кто тебя оскорбил, и над всеми людьми его веры.

Нефора же находилась в таком страшном расстройстве, что как бы в забытьи рассказала бабе Бубасте все, что было у ней год назад в жилище Зенона.

Баба Бубаста, выслушав повесть, всплеснула руками, и серьги у ней опять зазвенели, болтаясь по щекам.

— Боги! — воскликнула баба, — виданное ли дело, чтобы человек чужеверец смел бы так дерзко отвергнуть квитовое яблоко, которое подала ему такая красивая женщина? Отказаться от этого для какого-то учителя, который отнимает у людей лучшие сладости жизни! Это безумие! Ты отмщена будешь страшно, Нефора, и едва только три дня пройдет, как это случится. Будь дома и верь мне, что́ как я сказала, так и будет.

С этим баба Бубаста покрылась темным коричневым платом и удалилась.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Баба Бубаста простилась с Нефорой и, опираясь на палку, прошла через Ворота Луны и Хептастаду на остров Фаррос, где на северном берегу у пристани Морских Разбойников жили звездочеты — любители всякой мудрости,

о которых говорили, что они знают тайные науки и могут видеть то, что от прочих обыкновенных людей сокрыто в природе. Здесь, на этом Фарросе, ближе к молу Александра, жили те, которые переводили на греческий язык священные книги евреев, и здесь же ближе к пристани разбойников жили те, которые считали библейские книги за собрание недостойных жидовских выдумок. И вот тут-то, в отдалении, у самого северного берега жил одиноко, в просторной пещере, темнолицый мемфит, по имени Пеох. Это был старый, типический египтянин — старый потомок старых понтифов, человек с плоским лбом, выдающимися скулами и очень большими ушами. Он был больной человек: его сводил в комок ревматизм и безобразил катар век; глаза его слезились и впали, а ресницы растопырились, и беловатый круг отделял яблоко глаза от век. Современные египтяне из черни считали Пеоха за большого ревнителя веры и ходили к нему за советами, как к человеку, наделенному остротою проницательного ума, изощренного непримиримою ненавистью ко всему, что несогласно со стариною. Пеох одинаково непримиримо ненавидел все веры, которые были несогласны с верой древних египтян, и готов был вредить каждому иноверцу; но как в то время, о котором идет наш рассказ, охотнее всех прочих преследовали христиан, то Пеох изощрил себя и на то, как можно на всяком шагу и на всякий раз сделать досаду и зло христианам. Это же тогда было и нетрудно, ибо поводы к тому, чтобы нападать на христиан и грабить их, находились ежечасно. Какие бы где ни случились общественные бедствия: пожары или землетрясения, потопление судов и обвалы путей, неурожаи или повальные болезни — всё это считали случившимся по вине христиан. К их обвинению равно удобно служили и сильные разливы Тибра в Риме и недостаточный подъем вод в Ниле в Египте; равно к их же винам относили и всякие иные редкие и необыкновенные явления в природе. Всё неблагоприятное принимали как знак неудовольствия богов, обижавшихся будто на то, что теперь среди их давних поклонников живут иноверные люди, которые не воздают старым богам поклонения, а молятся как-то иначе, по-своему, — почитают какого-то распятого Назареянина и совершают что-то таинственное его кровью. На что нужна им эта кровь? Они говорят, будто они ею спасаются от

своих врагов. Тогда кто враги их? Очевидно, это те, кто не разделяет их странной веры. Следовательно, вот кого они и хотят пересилить и погублять кровью распятого. И им это удается: говорят, что они брызгают кровь по ветру, и оттого на людях выступают прыщи и сыпи, гноятся глаза, пухнут подшейные железы и гниет в глотках; они капнут каплю крови на землю, и подымется мошкара, которая точит все огурцы и дыни и набивается детям во рты и в глаза, и все огурцы и дыни пропадают и тлеют, и цыплята, которые их наклюются, — шелудивеют, теряют перья и зачичкаются, а у людей глаза заслезятся и станут слепнуть...

И когда только случались обычные здесь несчастья в таком роде, сейчас всех охватывал суеверный страх и все искали причины несчастия на христианах и затевали на них погромы — людей били, а имущество расхищали и разбрасывали. Правители знали, что христиане только терпимы, но никому не желанны, и потому смотрели на бесчинства над ними сквозь пальцы; они не только не защищали горячо людей христианской веры, но даже нередко радовались, что нищие и раздраженные невежды, вместо того чтоб негодовать на безучастное правительство, срывали на христианах свой гнев и тем утоляли свое раздражение. Если же случалось, что христиан успевали сильно побить и разорить, тогда правители унимали победителей и ссылали их зачинщиков в каменоломни, а от награбленного ими имущества сами пользовались доброю частью. От высших же и далеких властей местные правители строгой ответственности за христиан не опасались, потому что люди эти были в презрении. Если и были случаи, что за обиды, сделанные христианам, спрашивали объяснений, то областные правители всегда находили много причин для оправдания, а чаще всего представляли, что христиане сами виноваты, что они имеют какие-то таинственные обряды, особятся от всех прочих и возбуждают тем против себя всеобщую ненависть. Таким образом, снисхождение к народным бесчинствам над христианами часто принималось за благоразумную государственную терпимость, которою областной наместник предотвращал будто бо́льшее бедствие, способное, пожалуй, перейти в угрожающее политическое восстание.

Христиане не считались столь драгоценными, чтобы из-за них строго взыскивать, и потому погромы, случавшиеся в общинах отдаленных христиан, нередко с тяжкими мучительствами, убийствами и с самым обидным издевательством над их верою, проходили без всяких наказаний или с наказаниями столь легкими, что над ними смеялись. Чаще же погромы даже совсем оставались неизвестными в Византии и в Риме.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Бунты и восстания всего легче затеваются при унынии и страхе.

Когда вода в Ниле стояла низко в ту пору года, когда ей уже было время разлиться, тогда по всей стране египетской от Филэ до Александрии ощущалось повсеместное терзательное беспокойство: все страшились бесхлебья и ходили унылые и раздраженные, многие надевали печальные одежды с неподрубленными краями, передвигали пояса с чресл высоко на грудь — к месту вздохов, нетерпеливые женщины рвали на себе волосы, а задумчивые мужчины безмолвно смотрели унылыми глазами с повисшими на ресницах слезами.

При мрачном настроении египетских характеров все это облекало страну в ужас. То самое было и теперь, в пору нашей повести. К тому же положение, как рассказала Бубаста, осложнялось появлением множества болезней. Почтовые голуби, пущенные с верховьев течения реки из Гелиополя, Мемфиса и Фив, приносили в Александрию самые удручающие известия: вся Фиваида, и Гептаноммида, и Нижний Египет слились в одну скорбь и в один стон — люди голодали, слепли, боялись друг друга и искали, кого бы сделать ответственным за претерпеваемое бедствие.

Наконец, к удовольствию многих, виновные были найдены, и это, как всегда, были христиане. Правоверные египтяне уже побили в Гелиополе христианских ткачей, и то же досталось колесникам и стекольным выдувальщикам в Мемфисе. И они этого заслужили за то, что они испортили цены ткачам и колесникам, взявшись работать

дешевле, чем работают все вольные люди в Египте. Им было можно дешевить, потому что они живут общинами и получают приношения от богатых людей одной с ними веры, но кто живет своим трудом и приношений не получает, тому по такой дешевой цене ни прясть, ни ткать, ни ободья гнуть невозможно. А потому этого терпеть нельзя, это надо остановить, а для того, чтобы остановить, самое простое дело — избить христиан, отнять их имущество, поломать их станки и самих их бросить в воду. Священный Нил, кстати, принимает это за жертвоприношение, и у старых людей есть приметы, что вода в Ниле тогда начинает подниматься.

Теперь было прекрасное время играть на этих страстях.

Баба Бубаста пошла к мемфиту Пеоху за тем, чтобы возвестить ему, что народ в негодовании и что у нее есть лицо, которое пылает местью против христианина и может поставить правителя в такое благоприятное положение, что тот вынужден будет мирволить народным бесчинствам. Пеох сидел в тени, прислонясь спиною к скале, и выслушивал то, что, стоя перед ним, говорила ему Бубаста. Он, впрочем, и сам уже знал о всеобщем унынии оттого, что долго не начинается разлив Нила, но его обрадовало, что Бубаста заручилась содействием Нефоры, которая может обезоружить правителя, и всякие издевки над христианами сойдут у египтян с рук, не причиняя им никаких жестоких возмездий.

— Ты умная женщина, — отвечал Пеох. — Эти люди должны пострадать за наши несчастия.

— Да; но как это начать? Ты ведь повсюду славен, мудрый Пеох; ты за своею лампадой прочел все священные свитки; ты знаешь и свет нашей истинной веры, и знаешь тоже всю ложь всех прочих учений, а мы чужих вер не знаем — мы только от чистого сердца их ненавидим. Будь головой на плечах, под которыми трепещет и поет народное сердце священного Кемми: научи нас, что надобно делать, чтобы христиане получили всесветный позор и безвозвратную гибель? Скажи нам, что такое мы могли бы требовать от христиан, чтобы это было в их же законе и что бы могло показать всем бессилье их веры и посрамить их?

Пеох улыбнулся, погладил грязною рукой прирученного ихневмона и сказал:

— Хорошо, я вам покажу, как посадить лягушку на дерево; но смотрите вы: уже долой с дерева ее не спустите!

— О, мы ее не спустим!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Старый Пеох посмотрел в молчании в свою лампаду и сказал бабе Бубасте:

— Ты не ложно сказала, Бубаста: я действительно знаю и свою правую веру, и все суеверия чужие, и всех богов суеверных. Я могу судить и о эллинском Зевсе, и об Ормузде и Оримане фарсийских, и о Егове, мстительном боге бывших рабов наших — евреев, а также и о том бедняке, который был распят и которого почитают за бога себе христиане. Мы их уловим на его же словах: он говорил, что кто будет верить, как он учил, то такой человек если скажет горе: «сдвинься», то будто гора тронется с места и бросится в воду. С кровли правителя вашего по направлению к закату видна гора Адер. Если христиане добры, то пусть они для спасения всех умолят своего бога, чтобы Адер сошла с своего места и, погрузившись в Нил, стала плотиной течению. Тогда воды Нила подымутся вверх и оросят изгоревшие нивы. Если же христиане не сделают так, чтобы стронулась гора Адер и загородила течение Нила, это им будет вина. Тогда всякому видно станет, что или вера их — ложь, или они не хотят отвратить общего бедствия, и тогда пусть пронесутся в Александрии римские крики: «Christianos ad leones!»[1]

— Ты мудрый, ты очень мудрый, Пеох, — отвечала, простерши к Пеоху руки и опять зазвонивши серьгами, баба Бубаста. — Народ наш завтра же пойдет к правителю требовать, чтобы он заставил христиан сдвинуть гору.

И с этими словами баба Бубаста простилась с мемфитом Пеохом и побежала к тем из египтян, кого знала

[1] Христиан ко львам! *(лат.)*.

за самых больших коноводов народных, и подбивала их, чтобы они внушали народу, что в неразлитии Нила виновны христиане.

Скоро от этого сделалось всеобщее волнение, о котором тотчас же узнал правитель, и оно его очень обеспокоило, так как он не знал, чем его утишить. Баба же Бубаста побежала к Нефоре и, распалив в ней хитрыми словами оскорбление и ревность, убедила ее идти к правителю и просить его, чтобы он снизошел к горю народа и к его надежде получить облегчение через молитву христиан, которая может двинуть гору и запрудить ею Нил, чтобы вода поднялась и оросила пажити.

Нефора, в которой быстро воспламенялись страсти и сменялись движения, легко поддалась этим словам и, скоро одевшись с большою пышностью, поспешила в дом правителя, чтобы исполнить то, чему ее научила баба Бубаста.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Правитель в это время находился в смущении от дошедших до него слухов о волнении в народе. Бубаста успела взбунтовать всю александрийскую чернь рассказами о вине христиан, и многие, по ее научению, побежали на Фаррос к мемфиту Пеоху, чтобы услыхать от него подтверждение слов Бубасты, а другие собрались в огромном числе и двинулись к дому правителя.

Когда Нефора приблизилась к дому этого вельможи, она увидела густую толпу людей, окруживших плотною массой его палаты. Огромная толпа поражала своею массой и своею пестротой: она состояла из купцов в белых одеждах с разноцветною бахромой и страшного множества полунагих кирпичников, горшечников, рыбаков, лодочников, ткачей, шерстобитов, благовонщиков, листопродавцев, рогожников, зерночистителей, масленников, мусорщиков, омывателей ног, опахальщиков и стекольных выдувальщиков. У большинства этих людей все одеяние состояло из одних коротких фартуков или кое-каких лохмотков, подвешенных на узеньких поясочках. Это были люди, страшные своею решимостью и тем, что им терять нечего. С ними здесь было

их *все,* — при них находились и их жены, пряхи, в коротких накидках, и совсем голые дети, и собаки, и кошки. Особенно много было детей. Из них одних, которые меньше, женщины несли на своих плечах или у груди, а других, постарше, тащили за собою за руки. Между маленькими детьми у многих глаза были залиты гноем, и все эти дети жалобно кричали и плакали, а те, которые были постарше, беспрестанно толкались, ссорились и дрались между собою за объедки. Множество собак и кошек, которые не отставали от своих хозяев, делали то же самое: они шнырили под ногами и ощетинивались друг на друга, то завывая, то фыркая и заводя между собою ожесточенные схватки. Но и этого было мало: как бы нарочно для увеличения шума и усиления тревожности в нескольких местах из толпы раздавались призывные звуки: здесь храпела бактрийская боевая труба, на нее откликался гудением сирийский бубен, а в третьем месте колотил арийский барабан. Все это и перекликалось и сзывало еще большее скопление народа. Биченосцы правителя в желтых туниках и в высоких колпаках напрасно махали своими раскрашенными в клетку палками. Сильные шерстобиты или не обращали на них никакого внимания, или даже переламывали их палки и швыряли обломки в лицо биченосцам.

Все это волнение покрывалось общим воплем, в котором только иногда можно было уловить отдельные слова:

— Нил не поднимает вод!.. Мы погибаем от голода... Христиане перебивают работы... Хорошо им дешевить, когда они живут подаянием!.. Пускай же они за нас молятся... Пошли их сдвинуть в Нил гору, чтобы река разлилась!

Нефора с величайшим трудом едва могла проникнуть в своих носилках через эту толпу. Главный вход в дом был закрыт, и она вошла в чертоги правителя через известную ей потаенную дверь, которую открыл ей хорошо знавший ее привратник, после чего и эта дверь опять тотчас же была заперта. Стража со всех сторон охраняла все входы.

Правитель находился в большом смущении и перепуге. Он не знал, что ему делать: отражать народ силою он не мог, а снизойти к неблагоразумному требованию черни считал за недостойное. Правителя окружала вся его

семья, и тут же в среднем покое был его глупый сын, толстоносый Дуназ, и его ближайшие подначальные лица: все они подавали ему различные советы, но он все их мнения слушал, но ни на что не решался. Увидев же входящую Нефору, он обрадовался ее приходу и живо воскликнул:

— Вот дорогая нежданная гостья, чей приятный приход приносит мне радость! О, как я тебе благодарен, Нефора, что ты решилась навестить дом мой в такую тревожную и досадительную минуту! Этим ты доказала мне свою дружбу, и я прошу тебя сказать мне: что ты думаешь обо всем происходящем среди глупой и презренной черни? Я знаю, что тебе дан острый ум, и я хочу на него полагаться: я даю тебе при всех мое слово, что я решусь только на то, что ты мне присоветуешь.

Нефора отвечала, что ей известно все, что происходит, и что она не находит в этом положении ничего безысходного.

— Что же бы ты сделала на моем месте?

— Я бы их всех обманула.

— Прекрасно; но как это сделать?

— Исполни их желание: вопроси христиан, могут ли они своею верой сдвинуть гору и положить ее в Нил, пока он разольется от Филэ и до моря?

— Полно, Нефора, кто ж может заставить двигаться горы?

— Христиане, правитель, могут. Старый Пеох, который знает все веры, сам это читал в их христианском учении.

— Старый Пеох!.. Он это все и наделал в глупом народе, и, клянусь, он достоин настоящего египетского удара деревянным колом в упрямый затылок.

— Тебе что за дело? Пускай и Пеох получит свое в свое время.

— А если христиане не сдвинут горы?

— Что ж за беда? Народ над ними слегка посмеется, может быть их даже немножко и поколотит. Им это будет урок, чтобы они не кичились... Они станут скромнее, а ни в Византии, ни в Риме за них не станут сильно вступаться. Народ в огорчении своем ищет, на ком бы сорвать это горе, и на мысль ему пришли христиане. Их ведь пока

здесь немного, и они не в великом почете... Дай их народу! Ты даже должен так сделать, чтобы не вызвать бунт повсеместно, потому что теперь почтовые голуби, конечно, полетели уже в Он, в Мемфис, и в Аканф, и в Гермополь, и в Абид, и в Фивы. Поверь мне, что вскоре восстание охватит целый Египет, и тогда будут большие несчастия, которых тебе не простит император, и ты будешь смещен. Предотврати же малою уступкой и малою жертвой очень великие беды. А если ты этого не хочешь, то и я не хочу исполнять данного слова и не пойду за твоего сына Дуназа.

Рассуждение Нефоры было согласно с тем, что думал и сам правитель. Он и сам не видал никакого другого выхода и готов был на уступку, но еще продолжал немножко колебаться, как вдруг случилось новое обстоятельство, которое понудило правителя подчиниться внушениям Нефоры. В то самое время, как Нефора с ним говорила, на площади, со стороны Игл Клеопатры, показались три замечательные фигуры, которых и вид и движения — все было необыкновенно.

Это были три человека, из которых двое очень высокого роста, а третий толстяк. Все они были в длинных и тонких белых одеждах, в широких шейных украшениях и головных повязках, гладко прилегающих ко лбу, к вискам и к пышным черным фальшивым локонам, достигавшим до самых их спин. Темные лица их были спокойны и серьезны, а походка их тверда и величественна. В руках у каждого из трех были длинные посохи, у двух, которые шли по краям, посохи были из пахучего дерева с неочищенною корой, и на каждом посохе наверху белый и голубой цветок лотоса; но у того, который шел в середине, посох был из серебра, а наверху из золота изображение нильского крокодила с раскрытою пастью и с перьями страуса. Кроме того, на груди у него сиял священный амулет из сафира. От их длинных одежд, фальшивых волос и от всего, что было при них, распространялся чрезмерно сильный запах мускуса.

Это были жрецы, «столпы нерушимой веры народной», над которой отовсюду надвигались давления чужеземной образованности. Вавилоняне и римляне им были ненавистны почти вровне так же, как греки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Толпа, увидев жрецов, тотчас же расступилась перед ними, и они прошли через нее совершенно свободно. Чего никакими усилиями не могли достичь правительские биченосцы, то вдруг сделалось само собою при появлении длинноволосых париков и костыля с разинутою пастью крокодила. Жрецы шли через толпу как по улице, ни до кого не касаясь; они даже не поднимали кверху своих опущенных и полуприкрытых веками глаз. Движения их были сурово сдержанны и исполнены удивительной плавности: жрецы точно не входили, а вплыли на широкое мраморное крыльцо правителевых палат и прямо приткнулись вплотную телом и лицами к его тяжелым бронзовым дверям. Все трое враз они ударили в эти двери своими посохами и остановились, не шевелясь и не повторяя удара. Они точно влипли в медь и как будто знали, что они должны вскоре ее проникнуть на какой-то всенизвергающей волне. Волна эта неслась за ними и несла их. Народ хлынул за своими жрецами и напер так сильно, что мгновенно сдавил и себя и жрецов. Раздались страшные крики одних, которые наступали, и других, которых в толпе давили.

Этот крик не то ужаснул, не то ободрил бывших в доме правителя. Глупый сын правителя, толстолобый Дуназ, даже широко оскалил зубы и, смеясь, сказал:

— Ага! Вот им и конец!

— Кому? — спросила Нефора.

— Тем, от которых так сильно пахнет мускусом, что я даже здесь слышу через окна этот запах. Где мускус, там всегда недалека колесница смерти.

— Да, это правда, — отвечала Нефора и указала рукою в окно, из которого теперь можно было видеть, что в том конце площади, между Игл Клеопатры, где за минуту стояли жрецы, теперь показался стенобойный таран на колесах, и народ бросился, чтобы подпрягаться к канатам и тащить стенобой к правительским бронзовым дверям.

Дуназ, и его отец, и все остолбенели, а Нефора махнула из окна своим голубым покрывалом, и когда после этого знака крик на мгновенье затих, она сказала народу:

— Отступите с крыльца!.. Правитель сейчас примет ваших жрецов и сделает все, что можно сделать, чтобы Нил скорее разлился.

Народ отступил от крыльца, а жрецы вошли в открытые для них двери и через малое время вышли из дома правителя и объявили собравшимся людям, что правитель сейчас же пошлет к христианскому патриарху и повелит ему исполнить то, о чем просит встревоженный народ, то есть сделать общее моление о том, чтобы сдвинуть гору.

Люди послушались жрецов: опять на иной лад захрапела труба, загудел бубен и залопотал барабан, и бунтовщики стали расходиться. Площадь опустела, и толпы отодвинулись к окраинам, за Некропольские ворота и к Лохиасу, но возбуждение в духе оставалось по-прежнему и ежеминутно снова готово было ожесточиться и проявить себя. Люди сидели кучками за ристалищем и по берегам канала и ожидали вестей, что будет сделано по их просьбе. Почтовые голуби действительно были пущены жрецами, как предполагала Нефора, и несли возбудительные полоски тонкого папируса в Он, Мемфис, Абид и Фивы, до Карнака и Луксора. Александрийские вести быстро долетели до ушей вещей статуи Мемнона, и Амгиготеп заговорил на рассвете.

Возбуждение в Александрии только временно было сдержано уступчивостью правителя, но оно не было угашено, и правитель теперь находил за самое лучшее действовать не прямо, а с хитростью: он в одно и то же время послал императору донесение о беспорядках, которые произвела чернь, и просил поддержать его присылкою вспомогательной военной силы, а в ожидании этого пособия решился мирволить народным требованиям настолько, чтобы пожертвовать им спокойствием и, может быть, жизнью нескольких христиан. Он знал, что христиане не пользовались особым расположением у правительства, которое еще склонно было почитать их за людей, вредных общественному благоустройству; сам же правитель ненавидел александрийского патриарха, который был очень умный и ловкий человек, имел в столице могущественных друзей и крепко удерживал их расположение посредством таких александрийских пурпуровых ковров, о которых еще Феокрит писал, что они «нежнее сна и легче пуха».

Эти ковры делались руками христиан, живших в общине на общественные приношения, и потому обходились патриарху гораздо дешевле, чем мог иметь их от вольных мастеров правитель. Поэтому им было трудно равняться в приношениях и в жертвах.

Вообще правитель давно опасался возраставших средств патриарха и, завидуя ему, досадовал, что в его руках не было никаких средств превзойти патриарха, располагавшего такими дарами, которые высоко ценили завоеватели Египта.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Чтобы дать удовлетворение взбунтовавшейся черни и сделать затруднительным положение патриарха, правитель тотчас же позвал одного из своих приближенных, велел ему взять в руки букет цветов и идти к христианскому патриарху с поручением рассказать ему все, что случилось, и вопросить его: действительно ли есть в учении христиан такое уверение, что по вере их гора может сдвинуться и идти в воду? Если же патриарх скажет, что это есть, то просить патриарха, чтобы он для всеобщего блага всех жителей египетской страны повелел своим пресвитерам начать об этом общее моление и сам принял в том участие.

Патриарх же еще ранее знал обо всем, что происходит в городе, и, имея в свите правителя подкупных людей, которые тоже любили ковры «нежнее сна и легче пуха», постоянно был ими обо всем извещаем. Так известился он также заранее и о наряженном к нему посольстве и, в ожидании посла с букетом, удалился в свою пышную баню и, раздевшись, сел в широкую круглую ванну, над которою в потолке пестрым мрамором были выложены слова: «Мы веруем в единое божество Иисуса Христа и в воскресение тела».

Правительский посол застал его в ванне, окруженного аколуфами и отроками, которые держали в руках небольшие сосуды с ароматным нардом и большие легкие опахала из павлиновых перьев, и потому посол был принят не скоро, а ждал долго, стоя в приемной с своим букетом.

Когда же это показалось послу слишком продолжительным, то он просил доложить патриарху, что прислан наспех, и угрожал возвратиться к правителю, не дождавшись ответа.

Патриарх тогда вышел из ванны, вытерся нардом, надел золотые сандалии и, покрывшись белым хитоном, принял посланного, сидя на диване и освежая лицо прохладною водой с ароматом фиалки. Вокруг патриарха стояли его аколуфы и отроки, махавшие опахалами. От посла взяли принесенный им по обычаю букет «говорящих цветов», в знак миролюбивости посольства, и писание, в котором правитель изъяснял ему, в чем заключается дело, и потом тут же укорял его за то, что христиане ткачи и коверщики раздражают рабочих, принимая в свои общины всяких ленивых и ничтожных людей, которые приходят просить крещения без всяких убеждений, единственно из-за одного того, чтобы жить в общине на счет верующих, и потом, пользуясь общественными приношениями в виде хлеба, и мяса, и рыб, эти даром накормленные люди могут работать дешевле, чем прочие трудолюбивые мастера, имеющие на своем содержании целые семейства. Из этого правитель выводил всю народную ненависть к христианам, которую он хотя и осуждал в лице бунтовщиков, но не находил у себя средств теперь твердою рукой подавить этот бунт, прежде чем к нему придет подкрепление. А потому, пока обстоятельства изменятся, он просил патриарха, если вера христианская дает средство сдвинуть гору, то назначить для успокоения волнующихся людей общественное моление у подножия горы Адер, чтобы она пошла с места и, став поперек течения Нила, сделала запруду, от которой бы образовался повсеместный разлив.

Патриарх же еще раньше обмыслил, что затею, которую выдумал хитрый Пеох, прямо отклонить невозможно; а пока он сидел в своей ванне, на дворе его слуги все приготовили к тому, чтобы он мог сейчас же уехать из города. Послу же он отвечал, что хотя и сам Гомер ошибался, но что для веры нет ничего невозможного, он же, патриарх, имеет только общее, высшее попечение, а в Александрии им поставлен отдельный епископ и потому пусть к тому и идут и ему пусть скажут, чтобы он сделал все, что нужно.

Аколуф скоро написал от патриарха правителю грамоту в этом смысле и вручил это писание послу вместе с букетом из белых роз и персидской сирени из патриаршего сада. Посол взял ответ и цветы и отправился с тем ответом к правителю, а патриарх сию же минуту оделся, взял свои драгоценности и свою свиту и поскакал на быстрых мулах вон из города через Ворота Солнца, а за стеною повернул к востоку, надеясь в каком-либо из семи нильских гирл найти греческую трирему или быстроходный чужеземный корабль и бежать на нем от возмущенной страны и от коварного правителя, с надеждою отплатить ему издали за его издевательство.

Правитель почти немедленно же узнал об отбытии патриарха и страшно разгневался; он послал за ним погоню, но это было бесполезно, потому что никто не знал, куда патриарх повернул за Воротами Солнца. Тогда правитель вскричал:

— Он недаром привел в ответе своем, что «и Гомер ошибался»; я никак не ожидал того, что он сделал, и ошибся не хуже Гомера.

И затем он позвал воинов и велел им взять епископа и привести его к себе.

Епископ жил далеко на окраине и не знал, что сделал патриарх.

Когда воины пришли за епископом, то он спокойно играл в шахматы с одной знатной прихожанкой и удивился всему, что услыхал, и начал говорить, что он лицо подчиненное и ничего не смеет без патриарха; но когда ему сказали, что патриарх выставил его лицом самостоятельным в Александрии, а сам неизвестно куда уехал, то епископ заплакал.

Послы же не дали ему долго сокрушаться; они взяли и повезли его в закрытой колеснице к правителю, который прямо и бесцеремонно вопросил его, действительно ли в учении христианском сказано, что с христианскою верой возможно сдвинуть гору? И когда правитель получил в ответ, что упоминание об этом действительно есть, то он не захотел ничего больше слушать, а сказал:

— Вот я тебе назначаю сроку три дня. В эти три дня я дам всем неимущим работу и буду платить им за то, что они станут строить скамьи для сидений и лавки для продавцов вокруг горы Адер, а для вас, христиан, я оставлю

свободное место среди всех скамей от горы и до самого Нила. Собери всех своих самых лучших людей, у которых ты знаешь самую крепкую веру, и явитесь там рано утром отныне на третий день. Смотрите. Молитесь, как вам по вере вашей надо молиться, но чтобы гора непременно сошла с своего места и опустилась в воду; а если вы этого не сделаете, вам будет худо. Весь народ из Александрии выйдет, чтобы смотреть на вас, и ваше дело — сделать так, чтобы от этого вышло торжество вашей веры или стыд. Если гора пойдет и река поднимется, народ оценит помощь, какую вы окажете всей стране этою услугой. Если же вы гору Адер не сдвинете, то всем ясно будет, что вы не хотели сделать добра, которое можете сделать, и, стало быть, вы не друзья людям, среди которых живете. Тогда я вас защищать не могу, и пусть с вами будет то, чего вы в глазах народа достойны. Теперь я велю тебя и других старейших ваших до времени строго стеречь, и если вы сами добровольно не пойдете делать моление к горе, то я прикажу вас привести туда подневольно. За ослушание вы испытаете на себе силу гнева скорбящих людей, которых вы раздражили, а я приложу на вас всю строгость кары законной: я возьму все, что вы имеете, в казну императора, а самих вас всех взрослых пошлю в цепях и с колесами на шеях на вечные работы в каменоломни. Да, из вас ни один не будет забыт — вы все без исключения пойдете с связанными руками на юг, ближе к земле глупого народа Куш, и за поясом у каждого из вас будет заткнут приговор, которым будет определено, по скольку ударов воловьею жилой этого человека будут бить эфиопы каждый день трижды — поутру, в полдень и на ночь. Итак, все вы останетесь там в каменоломнях, пока каменистая пыль сотлит ваше тело.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Окончив эту обидную речь, правитель велел подать в руки епископа очиненную для писания трость и приказал ему написать ею имена всех известных ему христиан, живущих в Александрии, причем пригрозил, что если хотя

одно имя будет утаено, то он поступит с епископом так, как будто он был уже узник в каменоломнях.

Епископ оробел, принял дрожащею рукой трость и в испуге начертал имена всех, кого имел основание почитать христианами, но, несмотря на то, что он старался не позабыть ни одного надежного человека, правитель ему не поверил и заставил его поклясться, что он никого не укрыл. Опасаясь ответственности, епископ еще вспоминал и еще много дописывал, но боялся поклясться, не надеясь на свою старую память, и стал плакать. Имени Зенона не было в епископском списке.

Правитель сжалился над епископом и отпустил его, строго сказав:

— Не рыдай. Если ты ошибся и не всех записал, то я тебе это прощу: и Гомер ошибался. Оставь здесь списанье имен твоих христиан и иди собирай этих и других, которых ты мог позабыть; я по три раза на день буду присылать к тебе на двор узнавать, сколько вас соберется, чтобы идти сдвинуть гору. А сейчас пошлю во все концы города глашатых с трещотками объявить всему народу, что общее желание будет исполнено и пусть никто не унывает, а все пусть собираются идти к горе Адер смотреть, как она сойдет с своего места и запрудит Нил.

Правитель понял свою выгоду и заботился только о поддержании веселых надежд в умах встревоженного и упавшего духом населения, но положение епископа было другое.

Епископ поклонился, сложив в знак покорности на груди свои руки, и вышел, обливаясь слезами. Он не в состоянии был и думать о том, что ему задано и что надо начать делать. Как ему выходить самому и как выводить всех записанных в список на такое испытание, которое коварный и мстивый Пеох выдумал, конечно, только затем, чтобы получить возможность осмеять христианскую веру всенародно в глазах тысячей зрителей?

Волею и неволею прежде всего ему приходило на мысль то, что почел за самое лучшее выше над ним стоящий патриарх, и это притом казалось самым благоразумным и легким; но ведь тот же самый патриарх всем советовал помнить, что «и Гомер ошибался».

Епископ решился искать совета самых преданных ему людей и, возвратясь домой, сейчас же рассказал ужасную

новость ожидавшей его знатной прихожанке. Эта именитая женщина очень встревожилась и сейчас же разослала рабов к другим знатным прихожанам просить их прийти немедленно в дом ее на необходимый совет. Знатные прихожане скоро собрались и, выслушав рассказ, все пришли в большой ужас, но, вместо того чтобы ободрить епископа благоразумными и острыми советами, они стали укорять его, для чего он написал имена их. Он же отвечал им:

— Неужто вы лучше хотели бы, чтобы я лгал или явился ослушником власти?

Они на это коротко ответили, что это не их дело, и все были унылы и толковали только о том, что коварная выдумка Пеоха грозит ущербом и разорением для всех их имущественных дел и даже самую жизнь их ставит в опасность от разъяренного народа. Кончили же они тем, что стали укорять епископа:

— С какой стати ты переписал одних нас — людей именитых, и теперь одних нас сюда собрал? Это противно вере: перед богом все люди равны, как знатные, так и незнатные. Мы не хотим гордиться перед незнатными и бедными и ослушаться божьей воли. Оставь решение до завтрего утра, и когда у тебя завтра утром на заре ударят в медную доску, мы хотим собраться все вместе с простолюдинами христианской веры — может быть, в их простых умах найдется больше, чем у нас, и веры, и разума, и смелости.

Епископ на это согласился, и когда, после тревожно проведенной засим ночи, ударил утром в доску, то увидел, что двор его стал наполняться чернородьем из Малой Гавани и других отдаленных предместий, но из вчерашней знати, которая хотела здесь сойтись с чернородьем, теперь не было ни одного человека.

Епископ узнал в толпе рабов некоторых из этих отсутствующих и спросил, скоро ли господа их прибудут, — но рабы только качали головами и тихо шептали:

— Не жди их напрасно; они не придут. Они теперь уже далеко.

Но епископ все-таки ждал, пока люди на его дворе стали томиться голодом и, подтягивая туже и выше свои пояса, начали щелкать зубами, и, уныло глядя на епископа, все стали просить хлеба. Епископ разослал всех своих аколуфов и опахальщиков, чтобы торопить знатных, но

аколуфы и опахальщики возвратились и сказали, что знатных нет никого в городе. Тогда при таком ужасном известии и при виде томлений народа от голода епископ послал самого любимого своего опахальщика к знатной прихожанке просить ее, чтобы она приходила сама и прислала как можно скорее корзины с хлебом для простонародья, но опахальщик вернулся назад с пустыми руками и сказал, что не застал в доме знатной прихожанки никого, кроме одного болезненного раба, который сообщил ему, что госпожа его минувшею ночью, как только осталась одна, сейчас же собралась и со всеми лучшими из слуг своих выехала ночью на шести колесницах по Канопской улице.

Епископ сдвинул плат, покрывавший его голову, себе на лицо и, всплеснув руками, воскликнул:

— О, какое коварство! Я так ошибся, как и Гомер не мог ошибаться!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Скорбь епископа о побеге всех именитых друзей была велика, но он не мог предаваться ей долго в отчаянии: собранный на его дворе черный народ настойчиво требовал пищи, и епископ поспешил немедленно распустить со двора народ, пригласив всех опять прийти завтра и обещаясь всем, что с утра на дворе будут для всех изготовлены в изобилии пища и питье с растворенным вином. Сам же епископ спешно вышел другим выходом, которым двор его соединялся с домом знатной прихожанки, и обошел все ее покои, но нигде не находил никого живого, а везде замечал в покинутых вещах беспорядок и следы торопливых сборов к побегу. Наконец на ларце, в котором лежали шахматы, епископ нашел связанный лентой папирус, а в нем извещение, что госпожа, опасаясь тревожных событий, отбывает на время в Пелузу и увозит с собою свои удобоподвижные драгоценности; а все запасы житниц своих и дома оставляет епископу в его полную власть и употребление.

Тут же в шахматном ларце были положены и ключи от скарбниц и житниц с надписями на слоновых дощечках, под каким ключом что сохраняется.

Это теперь было кстати, потому что отпущенный народ по особым причинам не мог оставить епископский двор. Епископ взял ключи и отослал их домой с опахальщиком, а сам пошел к другим из тех знатных прихожан, которые вчера вечером обиделись, зачем епископ их записал, и разошлись, обещаясь собраться поутру вместе с простолюдинами, но не собрались. Но из них тоже никого не было дома: все они побросали дома и ключи от скарбниц и от житниц на волю епископа, а сами извещали оставленными записками, что отбывали к портам, кто в Каноп, кто в Саис, кто в Мендес, кто в Пелузу, куда всех раньше устремилась прихожанка.

Обойдя все дома людей знатных, епископ везде заставал одно и то же и набрал такое множество ключей, что едва мог нести их, а опахальщики не спешили к нему на помощь, и когда епископ пришел домой, то уже не мог нигде отыскать ни одного ни аколуфа, ни опахальщика. Так заразительно и быстро распространялся страх и влечение к побегу, начатое знатными, имевшими наготове мулов и колесницы, и дома за городом, и друзей, и родственников в Саисе и Пелузе, и свои корабли во всех семи нильских гирлах. Зато черный народ: все ткачи, шерстобиты, кирпичники и стекольные выдувальщики были по-прежнему на дворе и кричали, что они голодны и не могут выйти, потому что ворота с улицы заперты и к ним приставлена стража.

Епископ вдруг становился богатым обладателем всего, что покинули ему бежавшие знатные люди; но на что теперь ему было все это богатство, когда оставалось всего лишь два дня до того, когда надо идти сдвигать гору Адер и заграждать ею Нил?

Епископ бросил ткачам и шерстобитам ключи от съестных амбаров и показал потаенный ход на соседний двор, а когда народ устремился туда, чтобы утолять свой голод, епископ швырнул и другие ключи от других скарбниц и житниц на каменный пол и оттолкнул их ногою.

«На что, — думал он, — мне теперь все это изобилие, когда я оставлен всеми именитыми людьми и скоро должен буду претерпеть муку с одними невеждами рыбаками, ткачами и шерстобитами?»

Но вскоре он оправился, встал и быстро пошел в свою конюшню посмотреть, напоен ли и не стоит ли без пищи его мул и крепки ли у его копыт медные подковы?

Стойло было пусто.

Епископ только развел руками... Мул ведь, конечно, не сам своею волей бросил спокойное стойло и ясли, полные сочного корма... Кто ему наложил и епископское седло с бахромой и уздечку с кистями и не позабыл даже шелковой плетки?

Епископ, однако, недолго оставался в этом состоянии, потому что кто-то неожиданно коснулся рукою до его плеча и чей-то беспечный и насмешливый голос сказал ему:

— Ты, верно, пришел сюда посмотреть, крепки ли подковы у твоего мула?

— А тебе что за дело? — отозвался епископ.

— Мне до тебя есть дело, потому что я прислан за тобою от правителя, и при мне здесь есть воины и биченосцы. Правитель разгневан, что ты не доставил ему в течение дня донесений о том, как идет у вас приготовление к тому, чтобы передвинуть верою гору.

Епископ же отвечал:

— Я не имею о чем доносить, потому что от меня все бегут, и, мне кажется, я скоро останусь совершенно один.

— Это не наше дело, — отвечал правительский посол. — Мы пришли за тобой, иди объясняться с правителем.

Сказав это, посол указал мановением глаз на епископа биченосцам, и те сейчас же положили шнуры на запястья его рук и повели его под охраною к правителю.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Правитель, согласившись дозволить сделать зрелище из того, как христиане выйдут сдвигать гору, был сам недоволен, что он уступил волнению взбунтовавшейся черни, и искал средства заглушить в себе досаду. Он старался веселиться в сообществе своих приятелей, и в то время, когда к нему повели епископа, правитель вкушал вечернюю трапезу с своею семьей и с именитыми гостями, в числе которых была и Нефора. Все они помещались в

большой столовой комнате, которая представляла собою соединение эллинской красоты формы с египетскою пестротой и яркостью красок. Стены были выложены изразцами, разделанными живописью по греческой моде. Краски были изумительно живы. Столовая была совсем без потолка. Он заменялся подвижною шелковою тканью, которая сдвигалась и раздвигалась на кольцах, ходивших на бронзовых прутьях. Днем, когда солнце горело на небе, это полотно было задернуто, а к вечерней трапезе его открывали. Теперь, после знойного дня, ткань была отдернута, и над головами людей, вкушавших яства в этой роскошной столовой, величественно синело высокое небо с множеством звезд. Свет луны заходил сюда только откосом, серебря один угол покоя.

От канделябров и ламп, горевших на столе, далекое бесконечное пространство вверху казалось черною бездной, в которой звезды висели как огненные шары. Внизу на столе были разнообразные яства и питья: тут стояли и, дымясь, распространяли аппетитный запах огромнейшие жаркие из верблюжьего мяса, красноперые рыбы, драгоценные хиосские подносы и вазы, на которых были красиво уложены отборные фрукты: винные ягоды, финики, виноград и янтарные дыни, нежный сыр на фигурных тарелках из поливанной глины, два превосходно исполненные серебряные улья работы Зенона, наполненные медом, и посередине этих двух ульев работы того же Зенона высокое серебряное украшение, похожее на жертвенник греческих храмов, — все обвитое миртами и розами. Наверху жертвенника дымилась ароматная курильница, и тут же стояла большая серебряная чаша с вином, растворенным водою. Вокруг этой чаши стояли кубки в виде звериных и птичьих голов. Общество было веселое. Были изящные женщины и молодые мужчины; все находились в веселом, остроумном настроении и шутили насчет того празднества, которое так неожиданно устраивается послезавтра; оно послужит и для успокоения народа и для их развлечения. Христиане, которые осуждены принять страдательную роль, могут себя чувствовать, как им придется. Один кто-то сказал:

— Кто бы какое мнение ни имел о презренных людях, к которым принадлежат наши ткачи и шерстобиты, но должно признаться, что они должны будут доставить для

нас самое необыкновенное увеселение. Ристалища, без сомнения, представляют много изящества и грациозной отваги, но все мы это уже много раз видели, и это утратило новизну. Между тем сдвинуть гору одною верой — это совершенно ново и необыкновенно, и я поднимаю фиал за остроумных ткачей и шерстобитов.

Другой отвечал:

— Чернь всегда останется чернью, и похвалы, которые сейчас сказаны, принадлежат не ей, а старому Пеоху, который живет на Фарросе.

— И это еще не так, — вмешался сын правителя, толстый Дуназ, — всем удовольствием, которое ожидает нас, мы обязаны прекрасной невесте моей Нефоре, потому что это она уговорила моего отца согласиться сделать уступку требованиям черни и вывести христиан к горе Адер. Какая счастливая мысль! Два дня назад чернь была без работы, а теперь тысячи рук строят там наскоро прекрасный амфитеатр для зрителей, и в городе оживление: все мулы наняты, все пирожники и фруктовщики, рыбаки и продавцы вина в городе готовят в страшном изобилии свои произведения для публики. Завтра туда собираются цветочницы, певцы и фокусники — там будет множество веселых шатров с цветами, питьем и едою, а послезавтра, утром на ранней заре, там будет все население Александрии, чтобы смотреть, как эти смешные люди с их верою в распятого бога будут сдвигать с места гору и поведут ее в Нил.

— Да, сын мой Дуназ в своих словах приблизился к правде, — отозвался правитель, — но Дуназ еще недостаточно оценил все, что сделала прекрасная Нефора, которую я нетерпеливо жду назвать моею дочерью. Ее ум поистине равен ее чрезвычайной красоте и потому только не превосходит ее, что это уж невозможно. Мы обязаны прелестной Нефоре не только тем, что она доставляет нам и всему народу веселое препровождение времени на счет христиан, но мы ей обязаны и нашею безопасностью. До сих пор у нас был бы всеобщий бунт, которому я не мог бы воспрепятствовать с тем малым числом воинов и биченосцев, которых имею в моем распоряжении. Они едва в состоянии сдерживать порядок только при обыкновенных обстоятельствах, а при таком народном волнении, какое вдруг обнаружилось третьего дня и, без сомнения, с

быстротою развилось бы повсеместно, эти силы оказались бы ничтожными. К тому же мои расстилатели ковров сегодня утром перехватили голубей, на которых нашли извещения, что огромные толпы рабочего народа двинулись к Александрии из Гермополя, и завтра, без сомнения, мы уже увидим их толстодонные барки. Толпы эти выйдут на берег и ринутся к моим палатам, но скамьи, которые строят теперь амфитеатром у Адера, остановят их и изменят их направление. Гермопольцы не увидят того, что ожидают: в городе нашем нет ни уныния, ни воплей. Люди работают топорами и обойными инструментами; всем им дается высокая плата; ковры и все обойные материи вздорожали вдвое против своей цены; все люди оживились, веселы и работают, а впереди ожидают еще большего веселья, и оно для них будет если не в том, что христиане в самом деле сдвинут для них гору и положат ее поперек Нила, то по крайней мере всем будет весело смотреть, как эти самохвалы будут напрасно молиться по своему обычаю и потом к вечеру должны будут сознаться в своем бессилии...

— Но тогда народ может броситься на этих людей и произведет кровопролитие, а после опять начнется волнение, которое будет угрожать гибелью всем нам, состоятельным людям, — перебил один из гостей.

— Нет, — отвечал спокойно правитель, — это могло бы случиться в таком разе, если бы к мудрости и богатой жертве великодушной Нефоры не было присоединено частицы и моей старческой опытности в управлении народом. Я не хочу скрыть здесь от вас, что Нефора сделала более, чем вы знаете: она не только убедила меня в благоразумии этой меры, но и дала средства для ее исполнения: казна моя была пуста, и я не мог бы предпринять всех расходов, которые потребовались на то, чтобы дать щедрый заработок всем занятым теперь перестройками людям, но Нефора дала на это средства.

— Возможно ли? Мы этого не знали! — воскликнули гости, обращаясь к Нефоре, которая сидела меж ними в задумчивости и хранила молчание.

— Да, вы этого не знали, — продолжал правитель, — но я вам теперь выдаю ее тайну и вместе с тем открываю мою собственную тайну, которая должна успокоить вас

за вашу безопасность и великодушную Нефору за целость истраченных ею на общую пользу значительных денег.

— Я не забочусь об их возвращении, — проронила Нефора.

— Да, ты об этом не думаешь, я верю тебе, но я, к удивлению моему, замечаю однако, что ты сегодня печальна.

— Мое настроение не зависит от денег.

— Верю тебе, но ты скоро будешь моею семьянкой, и я ни за что не допустил бы тебя изнурять свое богатство, если бы не имел твердой надежды возвратить тебе с лихвою все, что ты дала мне за эти издержки. Посрамление, которому подвергнутся у Адера христиане, не принесет гибели никому, кроме самих этих ненавистных суеверов. Народ не будет иметь никакой возможности грабить богатых людей, потому что мною потребован флот с вспомогательным войском, и десять судов в полдень сегодня прошли уже в виду Балбетинского гирла. Паруса их велики, и им ветер попутен, — они идут скоро, и завтра они будут у Канопа, а в то время, когда весь народ из города выйдет смотреть, как христиане пойдут двигать гору, войска обогнут Лохиас и войдут в город. Возвращающиеся толпы, — каков бы ни был исход дела с горою, — будут остановлены и обезоружены; на другой день над ними будет произведен суд, все главные виновники восстания будут выведены с смертными приговорами за поясом на Гепту и преданы казни, а их имущество взято в казну, и от него отделится то, что нужно, чтобы возвратить издержанные сегодня деньги Нефоры.

— Это прекрасно! Ты мудрый и справедливый правитель, — воскликнули многие разом, — и нам теперь ничто более не мешает предаваться безмятежному веселию в твоем доме, в этой прекрасной столовой, в которую с высоты неба смотрят звезды и, верно, завидуют ясным очам прекрасной Нефоры. Поднимаем фиалы за очи Нефоры и за счастье Дуназа.

Когда же тост был выпит, правитель, улыбнувшись, сказал:

— Веселитесь и пейте, славьте красу и разум Нефоры: никому никакой опасности нет, а смешное для общей забавы уже началось: патриарх и все сколько-нибудь богатые люди из содержавших христианскую веру бежали,

ловкий предатель из епископских слуг известил моего жезлоносца, что и епископ сейчас сам приходил на свою конюшню, чтобы осмотреть подковы у своего мула... Конечно, и он хотел потребовать наступающею ночью услуг от этого животного, но я этого не допустил, потому что это угрожало опасностью — оставить зрителей без актеров. Я послал людей, чтоб епископа привели сюда, а из города не велел выпускать ни одного христианина, но всех их собирать на епископский двор, откуда все они разом должны будут идти совершать моление у Адера.

В это время жезлоносец доложил правителю о приходе епископа, которого все пировавшие пожелали видеть, и он был введен в столовую и оставлен стоять на ногах перед пирующими за столом гостями, в числе которых была и Нефора. Молодая женщина быстро устремила на старика острые и проницающие взгляды, как будто она хотела прочесть по его лицу что-то такое, на что не давали ответа обстоятельные объяснения правителя.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Епископ чувствовал свое унизительное положение и отвечал коротко и неохотно, что и было понятно, так как все вопросы, которые ему предлагали сам правитель и его гости, очевидно клонились к тому, чтобы усилить и без того затруднительное положение вопрошаемого и сделать предметом насмешек и шуток как его самого, так и тех людей, за веру и упование которых он был здесь представителем. Особенно в этом отличался Дуназ, искавший возможности понравиться Нефоре своею наглостью над беззащитным и потерявшимся стариком; но Дуназ достиг этим совершенно противоположного: Нефоре не нравились его издевательства, может быть, особенно потому, что в них старался отличиться противный ей жених, и она сказала:

— У этого человека на руках строгое дело, и он должен иметь в сборе все свои силы, а потому если я смею просить, то я бы просила отпустить его к его месту, так как его вид и воображение об участи, ожидающей людей его веры, совсем не располагают меня к веселью.

Епископ услыхал эти слова, взглянул на Нефору и произнес с достоинством:

— Благодарю тебя, сострадательная госпожа, и молюсь, чтобы бог милосердия совершил для тебя самое благое из твоих желаний.

А Нефора встала с места, позвала свою рабыню, опустила руку в висевший у ее пояса длинный желтый шелковый кисет и, достав оттуда горсть золота, подала ее епископу с словами:

— Возьми от меня для своих бедных.

— Не беспокойся, — отвечал благодарно, отстраняя ее руку, епископ, — те, которые идут со мною, все приготовились скоро умереть, и нам теперь не надо золота.

— Значит, вы не надеетесь сдвинуть гору? — спросил Дуназ.

Епископ молчал.

— Ты, однако, еще не отчаивайся, — вмешался правитель. — Ты помни слова, что «иногда и Гомер ошибался».

— Я ни в чем не отчаиваюсь.

— Вот это прекрасно, но прослушай, пожалуйста, список, в который ты сам записал всех лучших людей вашей веры, и скажи мне: неужто они все до одного так единомысленны, что разом успели оставить Александрию? Где все они делись?

— Я их не видел и знаю только одно, что дома их пусты.

— Иди же и береги тех остальных, кто остался; ты мне за них отвечаешь. Завтра я пришлю к твоему дому отряд биченосцев, чтобы сопровождать вас к горе Адер. Иди!

Епископ поклонился и вышел, но Нефора, дав ему отдалиться от прочих, нагнала его у двери и сказала:

— Старик! я должна тебя предупредить: ты ошибся.

— В чем?

— Ты поименовал не всех надежных и достойных внимания людей твоей веры!

Епископ подумал, стараясь припомнить, и ответил:

— Ручаюсь тебе, что я никого с умыслом не скрывал и других христиан не помню.

— Нет, я вижу, что ты одного укрываешь!

— Скажи мне, как его имя?

— Его имя Зенон.

— Зенон!

— Да!.. Он знаменитый художник... Его всякий знает в Александрии, и не знать его невозможно.

— Ах, это кривой Зенон, златокузнец?

— Ты как будто насилу вспомнил его?

— Конечно, так это и есть: я его едва знаю.

— Как! ты едва знаешь Зенона, которого знает вся Александрия?

— Языческая Александрия!

— Почему же только одна «языческая»?

— Он делает ваятельные изображения.

— Но разве это дурно?

— Христианину непристойно этим заниматься.

— Почему же? Разве искусство унижает христианина?

— Так постановил отец Агапит.

— Но ведь это безумно!

— Так постановил отец Агапит.

— Однако все ж Зенон вашей веры?

— Нет, мы его своим не считаем.

— Как нет? Разве он не верит учению распятого?

— Ты, госпожа, не можешь об этом судить.

— Я сужу по тому, что видела, а я видела большое доказательство тому, что Зенон — христианин. Посылай скорее за Зеноном, спеши за ним сам, зови его с собою.

— Он не пойдет.

— Нет, он пойдет, и если только гора может сдвинуться и пойти, то один Зенон ее и сдвинет. Но чтобы тебя убедить, жди меня: я приду к тебе и расскажу тебе больше.

Епископ ушел и не послал за Зеноном, а знатные гости продолжали пировать, пока в темном небе начали бледнеть звезды и посеребренный луною угол пропал, слившись в один полумрак с остальными частями верхнего карниза. Гости хотя пили хиосское и фалернское вино в смешении с водой, но чувства их быстро отяжелели. Дуназу показалось раз, что луна исчезла. Он об этом сказал, и над ним посмеялись. Правителю тоже показалось, будто на его лысый череп, разгоряченный вином, капнула холодная капля, но он только посмотрел на небо и, боясь быть смешным, никому не сказал об этом.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утро следующего дня, который предшествовал сдвиганию горы христианами и вступлению войск для усмирения жителей, было пасмурное, что редко случается в эту пору года в Египте. Дул ветерок, и по небу слегка обозначались зачатки перистых облачков. Людям, которые собирались к Адеру, было легко и удобно отправляться туда и там устраиваться.

От города до Адера, по направлению к Канопскому гирлу Нила, было день пути. Путь этот совершали как прогулку для большого удовольствия. В огромной толпе чисто египетского народа было множество заезжих разностранцев и оседлых чужеземных нашельцев. По дороге люди подвигались бесконечною вереницей; одни ехали на ослах, другие на верблюдах, третьи в колесницах, запряженных мулами, но всего более было пешеходов. Шли старцы и взрослые мужчины и женщины. Последние тащили с собою нагих детей. Торговцы несли или везли на ручных тележках тяжелые корзины с рыбами, с пряным испеченным мясом, с душистыми пряничными орехами и с овощами, состоявшими большею частью из огромнейших огурцов до фута длиною и из громадных дынь, достигавших до пуда весом. Плоды эти были переложены листьями крапивы величиною в две человеческие ладони. Другие несли на головах огромные поливные сосуды почти в рост человека. Узкие горла этих сосудов были заткнуты тоже свежими листьями крапивы и обвязаны пузырем. В этих сосудах содержалось сирийское вино, которое хотя было и грубо, но на простой вкус нравилось не хуже, чем людям высшего класса нравилось вино из Хиоса или от подошвы Везувия. Пекари двигали перед собою длинные ручные тележки с хлебами, у иных наверху были привязаны таганы и котлы и мешки с риссом и чесноком, чтобы варить на месте похлебку. Все собиралось пить и веселиться и торопилось на место, чтобы занять лучшую позицию. С некоторыми были легкие переносные шатры. Для богачей шатры были уже устроены ранее высланною к Адеру прислугой, а большинство тащило свои легкие шатры на ослах за собою. Особенно выделялись группы, состоявшие из полунагих плясунов на канате и фокусников, которые тут же на ходу глотали живых змей и делали

мимоходом другие удобные представления, но всех больше интересовали собою нарядные цветочницы, вокруг которых неотступно вилась резвая молодежь, увлекаясь прелестями и весельем этих нестрогих и прелестных красавиц. Самые знатные юноши, вырвавшись из города, где их стесняли приличия, здесь чувствовали себя на свободе и не хотели уже ничем стесняться, а, напротив, предавались самым необузданным увлечениям своего возраста и темперамента. Цветочницы все были молодые женщины египетского типа, с плосковатыми лбами, но живые, веселые, иногда остроумные, красивые, с стройным станом, приятно округленными формами и замечательно упругим телом. Все они, как жрицы одного сладострастного культа, были в белых полупрозрачных одеждах с яркими цветными каймами, и одежды эти держались у них только на одном левом плече, оставляя все руки и правую грудь вовсе открытыми. Но, впрочем, и все остальное их тело сквозило из-под легкой прозрачной материи и раздражало взгляд молодежи, рыскавшей среди них на своих панонских конях, украшенных перьями. Когда приближались к ним эти блестящие молодые люди, цветочницы им улыбались и предлагали им купить у них венки и букеты из апельсинных цветов и фиалок и вместе с тем подбрасывали перед ними квитовое яблоко, служившее символом любви. Юноши плескали от восторга руками, и покупали цветы, и старались поймать и разломить брошенное им квитовое яблоко. Цветочницы подвигались вперед не спеша, останавливались, разбивали наскоро маленькие и очень легкие шелковые шатры, из которых каждый мог укрыть только двух человек. Под этими шатрами оставались на столько времени, сколько нужно было, чтобы съесть вдвоем квитовое яблоко.

Потом маленький шатер снова свертывали и клали на спину осла, юноша отъезжал в сторону на своем панонском коне с остриженною гривой, а цветочница присоединялась к своему табору, где подруги ее встречали рукоплесканиями и снабжали ее новыми цветами и новым целым квитовым яблоком.

Так весело шли, подвигаясь к горе Адер, несметные толпы всякого рода жителей Александрии, поспешавшие стать у Канопского гирла Нила накануне дня, за которым должна наступить последняя водная ночь. Эти люди

хотели прийти заблаговременно, устроиться табором и пропировать долгий вечер в свежей атмосфере реки и вкусить здесь все, что им могли предоставить свобода и покров темной ночи.

Знатные люди, которым их положение не дозволяло смешаться с толпою в этом веселом кануне, должны были выехать сюда только вечером, чтобы прибыть на заре и прямо занять места на огромном амфитеатре, построенном из бревен и досок, обитых пестрыми тканями и коврами. Христиан же предположено было выслать под прикрытием воинов и биченосцев в полдень, так, чтоб они прибыли к горе Адер ранее правителя и знатных особ и не имели возможности устроить какой-нибудь фальши, а равно не имели бы основания и жаловаться на то, что им недостаточно дано времени помолиться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

По возвращении домой после пира у правителя, где Нефора виделась и говорила с епископом, она бросилась в постель, но, несмотря на поздний час ночи, не могла заснуть: известие о том, что отвергшего ее художника Зенона нет в числе христиан, которые должны явиться передвигателями горы и подвергнуться, по всем вероятиям, всеобщему посмеянию, поразило Нефору и отогнало от нее покой. Значит, все, что она затеяла и устроила для отмщения Зенону, сделано напрасно; Зенона это ничто не коснется, а причинит тревогу и гибель только другим людям, совсем посторонним, которые лично перед Нефорою ни в чем не виноваты, а художник Зенон останется жить в прежнем покое!.. И Пеох и Бубаста своего достигнут, но Нефора ничего не достигнет — она кругом обманута, и все через свою собственную необстоятельность. Проклятие! Могла ли она этого ожидать? И что это у них за различия, которых невозможно понять?.. Рабыня-христианка, которая была нянькой Нефоры, много говорила ей в детстве о своем боге, который распят в Иерусалиме. Нефора любила слушать, как он *всех* сожалел и *всем* завещал, чтобы никто не делал другому зла. Нефора плакала вместе с рабыней, когда та говорила, как его выгоняли, много

раз хотели убить и, наконец-таки, убили. Он был целомудрен и добр и завещал, чтобы все любили друг друга и прощали обиды. Она думала, что в том все и дело. Кажется, так живет и Зенон: что тот сказал, этот его завета слушается. То же, о чем говорил епископ, ей совсем ново и непонятно. Это как будто что-то другое, и между тем это портит весь план Нефоры. Зенон ускользает... Завтра последний день. Завтра под вечер надо ехать к Адеру. Нефора отдала уже приказание своему домоправителю изготовить ей колесницы, и ее рабыни разостлали на широких коврах роскошный наряд, который будет украшать ее на одном из передних мест амфитеатра. Нефора хотела перехитрить всех: и Пеоха, и Дуназа, и Бубасту, и самого правителя. Уверенная в том, что гора не сойдет с своего места и не пойдет в воду, она была, несомненно, уверена и в том, что когда вера христиан будет этим унижена, то раздраженный и отчаянный народ бросится на христиан и станет бросать их в Нил. Пеох и Бубаста дадут к этому знак, и дело будет сделано, а в то самое время, как эти погибнут умилостивительною жертвой, Зенон будет спасен, потому что Нефора купила для него тайную охрану и помощь главы биченосцев. Его увезут к ней в ее имение, дальше Пелузы, и она его найдет там. Ведь она его любит, она хочет только унизить его веру, для которой он оскорбил ее, отвергнув предложенную ему любовь. У нее никто не отыщет Зенона; она его утаит от всех, он будет ее невольник, ее раб и... ее любовник... Или она будет его томить, терзать, мучить и... Она не знает сама, чем это кончится, но это даст цену всей ее жизни... И вот вдруг и совершенно неожиданно после того, что она узнала от епископа, все это выйдет не так. Напрасно утопят много людей, а Зенон останется с своею особенною верой, которая, по уверению епископа, совсем даже и не то, что их настоящая христианская вера. И эта ошибка непоправима — времени нет... Теперь и природа и люди уснули, и Нефора должна тоже уснуть, чтобы завтра тело ее было бодро и сильно, а лицо ее ясно... Она должна скрыть от всех свою досадную ошибку, и... она будет спать. Она обняла рукой любимую кошку, закрыла глаза и перестала обо всем думать. В мыслях Нефоры наступила минута бездеятельности и пустоты, но сейчас же опять прорезалось определенное понятие: ей жарко — кошка слишком

сильно согрела ей грудь. Нефора отстранила рукой кошку, и из пушистой шерсти зверка сверкнули и тихо щелкнули две маленькие красные искры. Молодая женщина переложила кошку к своим ногам, и искры снова блеснули. Нефора обернулась лицом к стене и снова старалась заснуть, но в стене под ковром что-то шуршало. Духота увеличивалась; откуда-то доносилось докучное блеяние верблюжонка, и в ответ ему слышались трескучие крики старого верблюда. Не то, так другое постоянно мешало Нефоре заснуть. Едва умолкли верблюды, раздался противный голос павлина. Нефора протянула руку к шелковому шнуру и отдернула занавес; серебряные колокольчики, подшитые на бахроме, мелодически пророкотали и открыли широкое окно с каменною рамой. На небе уже рассветало. Утренний воздух сообщил Нефоре бодрость, и у нее явилась смелая мысль еще раз попытаться сделать Зенона причастным к тому, что ожидалось. Она позвала служанку, быстро оделась и велела как можно скорее подвести ей к крыльцу оседланного мула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда Нефора вышла и села в седло, было еще серо и в городе не слышно было никакого движения, только глинистые голуби оправлялись спросонья на пестрой голубятне и тоскливо ворковали, как будто они были чем-то недовольны.

Нефора покрылась темным покрывалом и велела проводнику вести мула по дороге к Мареотидскому озеру, где на берегу, в известной ей местности, жил христианский епископ.

На одном повороте мимо глаз Нефоры что-то мелькнуло, и в то же время проводник на нее оглянулся значительным взглядом.

— Что это? — спросила Нефора.

— Это нильские ласточки.

— Так что же?

— Они поспешают... и держатся близко к земле...

— Что ж это значит?

— Это бывает, когда... Но позволь, госпожа, я слышу большое движение... Позволь переждать здесь минуту... Народ нынче ночью принес в жертву черного ягненка у фаросской пещеры Пеоха и теперь провожает старца... Смотри, вон уже видно — там из-за угла выступает высокий белый верблюд под роскошным ковром, на нем едет темный старик — это Пеох. Смотри, как он видимо свят, как изнеможденно его тело. Обрати внимание: лоскуты у его препоясья подвязаны тростником и осокой, но и этот утлый пояс на нем не порвется. Пеох много лет уже не выходил из своей фаросской пещеры и теперь едет, конечно, к Канопскому гирлу, куда удаляется вся Александрия, чтобы смотреть, как суеверные люди, верующие в распятого бога, будут сдвигать гору Адер. Народ ночевал у пещеры Пеоха и теперь сопровождает его толпою: тебя могут обидеть, если ты не повелишь мне остановиться и подождать, чтобы не переходить дороги святому человеку.

— Остановись и пропусти их.

И Нефора видела, как перед нею проследовал на белом верблюде темнолицый, исхудалый, лобастый мемфит, окруженный несметною толпой самой набожной черни. Здесь были люди, которые не искали легкомысленных увеселений в ранее вышедшем таборе. В этой суровой толпе не было ни назойливых продавцов рыбы, ни веселых канатных плясунов, ни фокусников, ни красивых цветочниц с их легкими ширмами на маленьких осликах. Пеоха провожала фанатическая толпа мрачно глядевших полунагих мужчин и женщин, которые беспрестанно поднимали над своими головами грудных детей, чтобы они могли видеть Пеоха. Через это дети должны исцелиться от боли глаз и от грыж, которыми многие из них страдали от крика.

Нефора видела и изнеможденное темное тело нагого мемфита и страшный взгляд его глаз с больными веками и сверкавшими белками.

В этой толпе опять тоже было много собак и кошек, а сзади всех, верхом на старом верблюде, сидела баба Бубаста, перед нею на седле был взвязан еще живой черный баран с вызолоченными рогами, среди которых сверкал привязанный жертвенный нож.

Это было животное для второй, благодарственной жертвы, когда месть совершится у Канопского гирла.

Баба Бубаста узнала Нефору, показала ей рукою на нож и сказала:

— Мсти за себя, а в каменоломне услышат о мщенье Бубасты.

Глядя на бабу Бубасту, всякий мог бы признать справедливое замечание египетского царя Амазиса: «Жены Египта мстивы и смелы: легче иметь дело с раздраженною львицей, чем с обиженной египтянкой».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Нефора, пропустив шествие, достигла жилища епископа, которое охраняли воины, имевшие приказание от правителя: впускать только тех, кто сам назовет себя христианином, или же тех, кого доставят сюда под надзором полицейские бичеиосцы, которым приказано было везде разыскать христиан, чтобы у Адера кружок их не был мал и незаметен. И биченосцы исполняли данное им повеление. Хотя добровольно объявляться христианами никто не приходил, но двор епископский был полон насильно согнанных людей обоего пола, которые страшно сетовали, и плакали, и бранили епископа. Он же сидел, склонив голову, и не только не отвечал на обиды, но даже, казалось, и не замечал, что́ вокруг него происходит. Лицо его было пасмурно и горько. Он так же, как Нефора, совсем не спал минувшую ночь, и нервы его после сильного возбуждения пришли в состояние притупленности. В таком же приблизительно состоянии были и сидевшие близ него пресвитеры и диаконы, из которых последние беспрестанно отлучались, чтобы давать людям пищу.

Чтобы пройти на двор епископа, Нефоре оставалось одно средство —назвать себя христианкой, что она и сделала, и воины, сторожившие вход во двор, тотчас же ее пропустили, оставив снаружи под деревом ее мула и провожатого.

Пробиваясь через толпу людей, теснившихся в неопределенном и раздраженном состоянии на дворе, Нефора видела множество плачущих женщин и детей, и сердце ее сжалось; но когда она с усилием достигла в покои епископа и увидала его окаменелое равнодушие, это ее даже

удивило. Увидев Нефору, он не выразил никакого особенного движения и тотчас же перевел глаза на другой предмет и стал потирать одну о другую свои старческие руки.

— Я пришла к тебе по важному делу, — заговорила, несколько поспешая и оглядываясь по сторонам, Нефора.

Епископ молчал.

— Я хотела бы сказать тебе что-то наедине.

— Разве ты христианка?

— Да, я христианка.

— Но... мне кажется... я видел тебя вчера на пиру у правителя... Ты была его гостьей.

— Да, ты меня видел. Я там была... я хотела все знать, что они думают сделать.

— Что же ты хочешь?

— Я страшусь за то, что с вами случится, если вы не сдвинете гору.

Окружавшие епископа пресвитеры, услыхав такие сердобольные слова, тихо толкнули друг друга и прошептали:

— Ее надо выслушать.

— Говори же при них; они все хотят тебя слушать! — отозвался епископ.

Нефора, увидав, что епископ не избегает присутствующих, и сама не стала таиться и заговорила открыто:

— Я удивляюсь тому, что не вижу между вами человека, который вам мог бы оказать всего более пользы в эту пору.

— Кто же он такой? Вероятно, он не наш или он теперь отрекся?

— Нет, он предан христианскому учению, и он не таков, чтобы отречься.

— Назови же скорей его имя.

— Художник Зенон.

И едва лишь Нефора произнесла это имя, как все заговорили наперебой:

— Как! знаменитый Зенон — златокузнец!

— Зенон, приятель знатных людей!

— Первый мастер в Египте! Зенон, в котором живет душа Феодора, скульптора царя Амазиса!

— Зенон, кривой, с повязкой на левом глазу, который он потерял вдруг от неизвестной причины.

— Да, да, да; это он, тот самый Зенон — Зенон златокузнец, которого знает и привечает вся знать, в котором

воскресло искусство скульптора царя Амазиса, это Зенон с голубою повязкой на левом глазу, который он утратил вдруг и от никому не известной причины. Он скрывает эту причину...

— Да, да; он не говорит о ней никому!

— Вот в том-то и дело! Он должен ее скрывать... А я ее знаю! — сказала Нефора.

— Она знает причину, которую от всех скрывает Зенон! Слушайте!

— Это любопытно.

— Но это не идет теперь к нашему положению и к нашему делу.

— Нет, именно это идет теперь к вашему делу. Зенон тот человек, который вам нужен... Зенон вас может спасти!

— Что она говорит? Что говорит вам госпожа? — закричали на дворе люди, толпившиеся у веранды, на которой Нефора говорила с епископом и пресвитерами, и многие стали всходить на ступени.

— Не толпитесь сюда, иначе вы всех нас собьете с места! — закричал один из пресвитеров. — Стойте смирно, и я расскажу вам, в чем дело. Эта госпожа христианка; она пришла сюда к нам сама, без принуждения, и говорит, что знает человека, который может сделать, чтобы гора сдвинулась с места и пошла в воду...

Но едва лишь пресвитер сказал это, послышался гул голосов, и все люди бросились на террасу и закричали:

— Пусть она всем нам говорит!.. Мы не хотим погибать, мы все хотим слышать, что она скажет!

Терраса покрылась людьми, пресвитеры были смяты, а епископ, покинув свое кресло с высокой спинкой, поспешно скрылся в двери внутренних комнат. Нефора же мгновенно встала на его опустевшее кресло и, взявшись одною рукой за верхнее украшение его спинки, подняла другую свою руку кверху и громко сказала:

— Молчите!

Гул народа утих, и все замолчали.

— Хороша я? — спросила Нефора.

Ей никто ничего не ответил.

— Я не прельщать вас пришла, но хочу рассказывать вам о деле.

— Ты прекрасна!

— Ты прельстишь кого хочешь! — раздались голоса из народа.

— Ты даже можешь заставить забыть страх в виду неминуемой смерти, — произнес голос вблизи самого кресла, на котором стояла Нефора.

— Но все это бессильно было над тем, кого я назову вам: Зенон художник пренебрег моею красотой для слов вашего бога... Он оттолкнул меня, и чтобы не видеть моей красоты, которую я ему отдавала, он вонзил при мне нож себе в глаз. Вот отчего окривел ваш великий Зенон златокузнец, вот как сильна его вера. Зовите скорее его, и если не ложно, что человек с верою может сдвинуть гору, то Зенон сдвинет гору.

— Да, да, кто так тверд, как Зенон, тот сдвинет гору!.. Где же он, где? Мы призываем Зенона!

Тогда Нефора сказала диакону:

— Напиши поскорее известие Зенону и брось свиток со стены моему рабу, который стоит с оседланным мулом под деревом по ту сторону запертых ворот. Пусть он спешит к Зенону, не жалея мула, и вы увидите, что, прежде чем придут биченосцы, чтобы гнать вас оцепленными веревкою к Адеру, Зенон будет здесь и сердца ваши утешатся, а я остаюсь с вами залогом моего обещания.

Все так и сделалось, как сказала Нефора. Волнение народа было так велико, что ни епископ, ни пресвитеры уже ни во что не вступались, и над всем положением царила Нефора, на которую все хотели смотреть и ее слушали. Диакон нашел трость и папирус и написал дрожащею рукой: «Зенон! Люди в смертной беде тебя призывают. Приди, облегчи или раздели с ними их участь». Раб Нефоры с этою запиской поехал к Зенону, и все стали ждать: придет ли художник и будет ли приход его вовремя, прежде чем прибудет отряд биченосцев, которые выгонят их к горе Адер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Встревоженные люди беспрестанно меняли свое настроение, переходя от надежды к отчаянию: то они верили, что Зенон придет и при нем, как при человеке, который хорошо знаком всем знатным людям, суровость

правителя изменится: то говорили: «Что может заставить Зенона покинуть спокойную жизнь и отдать себя добровольно нашей печальной судьбе?» Епископ и его приближенные люди тоже считали это совсем невозможным, тем более что они и не считали Зенона за христианина.

— Он, — рассуждали они, — знает, что мы с ним не согласны. Ему нет дела до чуда, которого от нас требуют. Он не пойдет с нами на муки.

В этих сомнениях прошло довольно времени, и уныние усиливалось, а за час до полудня люди, глядевшие в город со стены, замахали руками и закричали:

— Идут биченосцы!.. — и многие упали в страхе на землю.

Но один человек, который не успел соскочить вместе с другими, заметил, что с другой стороны во весь скок несся верхом на красно-гнедом коне молодой статный всадник с непокрытою головой, остриженною по греческой моде, и с повязкой через левое око.

— Братья! — воскликнул увидевший всадника человек, — мы спасены: к нам скачет Зенон златокузнец.

И Зенон в самом деле опередил биченосцев, бросил поводья коня, соскочил и вскричал громко страже:

— Откройте двери и впустите меня: я христианин; я хочу быть с теми, которые будут страдать!

Ворота раскрылись, и стража впустила Зенона.

Толпа христиан мгновенно его окружила, и все старались ему наперерыв говорить, а он не мог никому отвечать и шел между ними спокойно и тихо всем повторял:

— Не бойтесь!.. Христос среди нас... Почтим слова его послушаньем... Умрем за нашего Учителя!

— Умрем, если нужно, умрем! — прокатилось в народе.

Зенон стал обнимать и целовать людей направо и налево.

Нефора смотрела на Зенона с высоты террасы и любовалась спокойствием его походки и движений его рук, которыми он то обнимал, то ласкал людей, бросавшихся к нему со стенаньем и воплями.

Душа этого человека точно не знала страха, и Нефоре казалось, что она видит не мученика, который готовится встретить скоро унижение и смерть, а актера — так вся-

кое движение Зенона было красиво и нежно, а в то же время исполнено достоинства и силы.

Увидев Нефору, Зенон на мгновенье остановился. Присутствие ее здесь удивило его, но он тотчас же оправился, поднял руку к своему выколотому глазу, поправил повязку и пошел безостановочно дальше в покои, где был епископ. Там Зенон оставался минуту и, снова выйдя на террасу, сказал:

— Братья и сестры! если силен и бодр дух, в вас живущий, пусть нас не ведут — пойдем лучше сами. Я известен правителю и сейчас пойду к нему и упрошу его, чтобы он дозволил нам идти к горе Адеру одним, без надзора его биченосцев.

— Это зачем же? — проговорило несколько голосов.

— Для того, чтобы все видели, что мы идем доброю волей, а не по принуждению.

Люди молчали, но из толпы вышел один шерстобит, по имени Малафей, и, лукаво взглянувши в лицо Зенона, сказал:

— Я тебя понимаю. Иди и проси. Поклянись, что мы пойдем сами.

— Я не знаю, как ты меня понимаешь, но я клясться не стану. Нам не дозволено клясться, но я скажу, что мы не унизим имени Христова.

Тогда все закричали:

— Да, да! прекрасно! Иди, брат наш Зенон, иди и давай за нас слово, что мы не посрамим имени Христова.

— Но только вернешься ли ты сам к нам? — спросил Малафей шерстобит.

Зенон побледнел и отвечал:

— У меня нет ни жены, ни детей, которых бы я мог вам оставить заложниками; но я не лгу: я — христианин.

— Страх действует на всякого, и было бы лучше, если бы ты оставил заложника.

— Я остаюсь залогом, что Зенон вернется! — вскричала Нефора.

Зенон на нее оглянулся и молвил:

— Благодарю тебя. Мне нужен всего только один час времени. Но если случится...

— Если ты через час не вернешься, пусть они растерзают меня на этом помосте, — досказала Нефора.

Зенон протянул ей руку и пожал ее сердечным пожатием.

Стража выпустила Зенона с одним из биченосцев, но еще до истечения часа художник вернулся один, имея в руках папирус, на котором для христиан написан был пропуск к горе без всякого караула.

Биченосцы перед ним раскрыли ворота, и они вышли свободно. Впереди шел больной епископ, а его под руки поддерживали Зенон и женщина в темном покрове.

Это была Нефора.

Пока они шли городом, она не поднимала с головы своего покрывала, и многие спрашивали: кто это такая? Христиане же, проходя, отвечали: это новая христианка! Но потом сами себя вопрошали: где и когда эта женщина крестилась? Как ее христианское имя? Зенон должен знать о ней все, но неизвестно и то, где принял веру Зенон... Только теперь неудобно было их расспрашивать, так как они идут впереди бодрее всех и на их плечи опирается ослабевший епископ...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Меж тем как свободно вышедшие христиане пошли к Адеру, перед вечером из Александрии выступала в том же направлении к Канопскому гирлу третья группа путешественников. Эта опять представляла собою совсем не то, что шумный табор ткачей, и шерстобитов, и веселых зрителей с фокусниками, плясунами и цветочницами, и не то, что представляла собою вышедшая вторая кучка приунывших христиан. Теперешняя группа отличалась важностью: это были знатные лица и их свита.

Впереди всех показались из ворот на канопской дороге египетские и греческие воины, взаимно ненавидевшие друг друга; за ними купцы в однообразных одеждах с пестрою бахромой. За купцами египетские жрецы, в более длинных, но тоже однообразных белых одеждах, с драгоценными перевязями, в однообразных же широких шейных украшениях, в повязках и с фальшивыми черными локонами, ниспадавшими на их шеи и на спины. За длинноволосыми жрецами, также в строгом порядке, шли другие

жрецы, у которых головы были тщательно выбриты. За этими, отступя, шел старший жрец, у которого сиял на груди сапфирный амулет.

У всех жрецов в руках были длинные серебряные посохи с белыми цветами лотоса в набалдашнике; у старшего жреца посох был золотой и серебряный цветок лотоса окружен был пуком страусовых перьев. От их одежд и париков далеко разносился запах мускуса. За жрецами шли чиновники, а потом факелоносцы, биченосцы, расстилатели ковров, жезлоносцы, виночерпии и хлебодары, а за этими следовали на мулах однообразно раскрашенные двухколески, на которых помещались ярко расцвеченные корзины и бочонки; за хлебодарами выступали в огромных высоких колпаках родовспомогатели и глазные врачи, за ними — одеватели и раздеватели, потом торжественные певцы и народные танцовщицы, более скромные, чем цветочницы, но одетые, впрочем, без лифов, в одних лишь прозрачных и легких коротеньких юбках; потом сотрапезники вместе обоего пола, в свободных и разнообразных нарядах и с иною свободой движений, но с однообразием веявшей около них атмосферы мускуса. За этою чрезвычайно большою вереницей пеших людей следовал сам правитель на прекрасном низейском коне, у которого хвост и грива были подстрижены, а сам конь весь искусно выкрашен голубою краской.

Сам правитель был в красном с золотом широком и длинном плаще, а седло, и узда, и поводья его коня все тиснены золотом и с золотою бахромой.

За ним следовала его колесница из черного дерева с слоновою костью, с серебряным дышлом и такою же серебряною оковкой колес. В эту колесницу была впряжена четверка вороных коней — прямых и чистокровных потомков коней фараонов. Их сбруя была из золотистого шелка, а их остриженные гривы и челки покрыты тончайшими золотыми сетками работы Зенона. Эта колесница была пуста, потому что она была приготовлена для Нефоры, но Нефоры никто не мог отыскать перед выездом, и ее внезапное исчезновение смущало правителя и было предметом толков у знати. За пустою колесницей Нефоры следовало множество других, также парадных закрытых колесниц, в которых ехали женщины, и потом музыканты и барабанщики, и сзади всех опять в высоких колпаках

биченосцы, которые равнодушно щелкали своими длинными палками направо и налево, где шел какой-нибудь спор или просто раздавался сколько-нибудь оживленный говор в толпе, собравшейся посмотреть на шествие знатных.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Огромный город теперь казался почти опустевшим. Многие дома совсем были заперты, в других оставались только больные да слуги, оставленные для присмотра. Огни везде рано погасли, и скоро настала повсеместная тишина. Луна светила над совершенно опустевшими улицами, в созвездии Пса ярко горел Сириус; на круглую площадь между Воротами Солнца и Воротами Луны вышли три звездочета в длинных желтых хитонах. Двое из них были глубокие старцы, а третий немного моложе. Они долго смотрели на небо, где сверкал Сириус, потом на принесенные с собою таблицы, и потом все враз хлопнули ладонями и вытянули вперед свои руки, как будто бы что-то от себя отстраняли. Так обыкновенно египтяне молились. Затем звездочеты вздохнули, произнесли слово: «поздно» и, подхватив полы своих одежд, пошли быстро к своим домам и крепко закрыли за собой свои двери.

В обширных опустелых палатах правителя отдавало теперь чем-то невыносимо жутким. Когда оставшийся при доме правителя хлебодар, старый раб из Вавилона, вошел в столовую, чтобы убирать несъеденные гостями кушанья и недопитые вина, ему показалось, что по стенам открытой столовой движутся тени. Или это луна светит нынче совсем необыкновенно.

— Да, — сказал он себе, — что-то неладно на небе. Не это ли самое и служит причиной, что я чувствую тяжесть и ощущаю во рту горький вкус хрена? Или, быть может, это оттого, что я все эти дни очень много хлопотал и сегодня встал очень рано?.. Какие ненавистные люди эти христиане! Для чего, в самом деле, они сбавляют цены на работу и делают тем неприятности нам, серьезно занятым людям? Впрочем, теперь я могу о них позабыть и попировать один на свободе: вино, особенно хорошее, цельное вино от Везувия, вкусно, только никогда бы не надобно

портить его водою по греческой моде. Хорошее вино должно помогать во всех случаях жизни. Я сяду на место моего господина и буду пробовать хорошие вина из его чаши.

И он не стал портить водою вина по греческой моде, а, усевшись в спокойное кресло своего господина, подвинул к себе сосуды с фалернским, хиосским, антильским и кипрским вином и начал лечиться от горького вкуса. Предавшись сравнению достоинства разных вин, он не заметил, как в этом занятии время быстро летело и беспорядок на небе усиливался. Серебристый свет луны все слабел и вдруг совершенно исчез, и на темя хлебодара, которое было так же голо, как темя его господина, капнула холодная капля. Хлебодар отер рукой эту каплю и шутливо подумал: «О, Ариман, Ариман, для чего ты так сердишься? Не плюй на меня, дай мне насладиться моим положением. И тоже выпусти, пожалуйста, опять луну на небо... Я еще совершу в твою честь возлияние... Вот и хорошо!..»

Луна, в самом деле, снова светила. Хлебодар это видел, но зато в голове у него стоял звон, а в воздухе что-то шумело. Чтобы поправить свое состояние, хлебодар выпил еще большой кубок вина, и это его так успокоило, что он склонил голову на руки и, зевнув крепко, уснул сразу. И хорошо ему спалось! Ему снилось веселое детство, знойное солнце долины Евфрата, Кунакай, путь десяти тысяч греков, красивые отроки с открытыми шеями и веселыми глазками, он бегал с ними, ловил их, но они смеялись над ним и от него убегали, но вдруг их игры увидала его жена египтянка и кинулась на него в неистовом безумии. Властолюбивая и ничем не сдерживаемая, как все египтянки, она совершает над ним что-то ужасное: он чувствует, как она его треплет так, что и земля колеблется под его ногами и стол дрожит под его головою, а кругом все грохочет, все полно огня и воды, огонь смешался с водою, и в таком неестественном соединении вместе наполняют открытую комнату, а мокрое небо, как гигантская тряпка, то нависнет, то вздуется, то рвется, то треплет, хлопая и по нем и по сосудам с вином, и все разбивает вдребезги, все швыряет впотьмах — и блюда и кубки, и сопровождает свое неистовство звоном колокольчиков,

пришитых к краям сдвижной занавески, и треском лопающейся мокрой шелковой материи.

К сожалению, все это не был сон; все это происходило на деле, хотя не совсем так, как казалось в опьяневшей голове хлебодара. Страшнейшая гроза и ужаснейший ливень, о каких люди не имеют понятия в Европе и которые составляют редчайшие явления в Египте, разразились над Александрией. Ужасная туча примчалась на крыльях разрушительной бури — молнии реяли во всех направлениях, а в промежутках их не было видно ни зги. Хлебодар не мог различить: была ли теперь ночь или утро; вода лилась потоком, было темно, и ветер хлестал по всей комнате сорванною с прутьев потолочною занавесой. На плитах пола бушевала вода по колено, и в ней плавали подушки с сидений и разная домашняя утварь. Под мокрою занавесой можно было задохнуться. Хлебодар взвыл отчаянным голосом и бросился искать спасения под крытым порталом.

Здесь он спрятался за колонны и замер, снова утратив сознание от страха.

Недаром, значит, вчера в пьяных глазах Дуназа исчезала луна, недаром капнула капля воды на голову пировавшего правителя; недаром беспокойно перекликались ночью верблюды, мешавшие спать спокойно Нефоре; не без причины ее проводник обратил внимание на низко летевших нильских ласточек. Все они чувствовали приближение могущественного явления, которого не ожидали люди и которое звездочеты отметили «поздно» и поспешили запереть свои двери.

Когда пронесся ужасный ураган и ливень стал утихать, хлебодар очнулся, вышел на двор и стал, прислонясь на колеблющихся ногах к стене, и так оставался долгое время, глядя вокруг помутившимися глазами и оттопырив вперед толстые губы.

Ничего он не узнавал из того, что привык видеть, выходя по утрам обозревать домовитый двор своего именитого господина: всегда обыкновенно стройное хозяйство представляло теперь полный хаос. На дворе плавали скамьи, двери, запасные колесницы и разная рухлядь, а также забитые дождем и утонувшие куры и павлины, и в числе этих разных плавающих мертвых птиц хлебодар заметил тоже утонувшего письмоносного голубя.

Хлебодар по вдохновению почувствовал что-то недоброе: он сейчас же спустился по колено в воду, взял птицу в руки, отыскал у нее под шейкою слюдяную трубку и, достав из нее крошечную полоску папируса, прочитал ее и, закричав благим матом, кинулся бежать к домику, где было его жилище.

Здесь он нашел помощь у своей жены, которая с перепуга и радости, что видит мужа живого, изо всей силы ударила его по голове и, вырвав из его рук слюдяную цидулку, прочла в ней очень короткое, но роковое известие: «Суда разбиты в виду Лохиаса».

Теперь и жена оттопырила губы точно так же, как муж, и точно так же, как он, села против него на скамейку, и оба шептали друг другу:

— Что теперь будет?

Наконец на хлебодара нашло осенение, он встал, приложил ко лбу палец и, подумав, ответил:

— Я не знаю, что будет, но я догадался, что это было!

— А что именно было? — спросила жена.

— Было то, что христиане сдвинули гору!

— Ты, верно, до сих пор еще пьян?

— Да. Ты в этом совершенно так же не ошибаешься, как я не ошибаюсь в том, что они сдвинули гору.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Толпы народа, выступившие раньше, чем вышел великолепный двор правителя, пришли к назначенной горе не одновременно и расположились различно. Веселая толпа, имевшая среди себя цветочниц, музыкантов, продавцов рыбы и фокусников, пришла не первая. Ее опередили люди, приплывшие сюда на судах, которые стояли уже на реке в виду горы Адер. Богатые люди, приплывшие на ярко раскрашенных судах, с крокодилами на носах и под парусами пурпурного и голубого цвета, разместились в амфитеатре; а бедные люди, приплывшие на толстодонных ладьях под парусами из серого или коричневого полотна, расположились прямо на земле. Это был огромный чернорабочий лагерь, в стороне от обитых коврами деревянных скамей и навесов, устроенных для ожидаемой

большой публики. Чернь и гуляки, которые дошли сюда табором, не искали сближения со знатью. Они находили в самих себе довольно всего, что нужно было для их забавы и радости. Табор их теперь представлял чрезвычайно большое оживление: здесь пылали костры, кипели котлы с рыбой, пили вино и плясали; фокусники лили из одного сосуда воду и кровь, пускали из рукава лебедей, а когда народ слишком надвигал на них и стеснял их арену, они бросали на землю вишневые жезлы, собранные из мелких штучек, искусно нанизанных на тонкую струну, и когда брали эти жезлы искусною рукой за конец, то жезлы изгибались и вертелись, как змеи. Народ разбегался с криком и хохотом. Два или три эфиопа из «дрянного народа Куш» водили красивых и проворных верблюдов из породы «мегари» и заставляли их танцевать. На тех, кто не умел оценить искусства верблюдов, эти ученые животные умели плюнуть, и это тоже возбуждало всеобщий хохот. Но танцы мегари больше всего привлекали только детей и женщин. Мужчины всякого возраста наперебой рвались к палаткам цветочниц. В широко раскинувшемся таборе слышались самые разнообразные музыкальные звуки: здесь гудели сильные мидийские трубы, там раздавалась нежная фригийская флейта; в третьем месте брящали иудейские кимвалы и рокотали арфы; можно было отличать также звуки пафлагонских тамбуринов, сирийских бубнов, индийских раковин и арийских барабанов. Среди пришлых горожан ходили крестьяне из ближних мест: эти были одеты в неподпоясанные длинные рубашки и носили в кувшинах на продажу свежую воду. Появились так же, как на ристалище, закладчики: они тихо разъезжали на старых ослах с мешками монет и с табличками, на которых спорщики, державшие пари за ту или за другую сторону, записывали предлагаемые заклады. Между закладчиками были эллины, персы и евреи; все они были совершенно равнодушны к тому, что случится, и предлагали идти об заклад и за то, что гора двинется, и за то, что она не двинется. Записывали и другие заклады, за то, например, разрешит ли правитель избить всех христиан, когда гора не пойдет, или он велит бросить в Нил только одного из них — самого главного, а остальных всех пошлет с приговорами за поясами в гранитные каменоломни Ассуна. Одни держали заклады за одно, а другие —

за другое. Портовый международный город выдвинул весь свой пестрый сброд, и все это, вместе с сверканием огней, конским ржанием и с криками разгулявшегося на просторе народа, производило опьяняющее впечатление. Все это поднималось и рдело, как воспаленный нарыв, которому нужно где-то прорваться. Ночь улетала в диком разгуле; многие, упившись вином, спали у догоравших костров, другие еще не спали, но и не замечали, как на небе несколько раз скралась луна. Надо было еще что-нибудь, чтобы совсем отвести глаза в темный угол. И вот это случилось. Под шелковою палаткой одной из цветочниц послышался раздирающий вопль, и вслед за тем что-то тяжелое рухнуло между палаток. Это один человек могучею рукой убил другого и выбросил на землю его мертвое тело. Послышался крик: «Убивают эллины!» — другим показалось, будто «убивают эллинов». Мгновенно призывные крики покрыли все музыкальные звуки, сверкнули ножи, люди бросились друг на друга, биченосцы спросонья напрасно старались восстановить покой и порядок. Беспощадно убиваемые люди падали под ударами эллинских ножей и еще больше под ударами тупых египетских кольев. И все это произошло в густой тьме, при сильном шуме налетевшей внезапно бури и при ужасном, необыкновенном треске, который раздался с реки, где стояли прибывшие плоскодонные суда с ибисовыми носами и длинными рыбьими хвостами вместо кормы. Страшный ветер развел большое волнение, и суда взметались, ударяясь одно о другое: их ибисовые носы и рыбьи хвосты ломались, а высокие мачты, качаясь, махали неубранными парусами, как сражающиеся великаны. Наконец зареяли молоньи, загремел гром и ударил ливень, как будто целый океан упал с неба на землю. С гор помчались сокрушительные потоки, в долинах все обхватило и залило водою.

Пеох и его изуверы, которые обошли общее место и удалились в ров, где хотели быть скрыты до времени, когда христиане примут тот срам, для которого Пеох научил их вывести, подверглись самой большой опасности. Их черный ягненок с жертвенным ножом между рогами был у них отнят мутными волнами, и самим им угрожала смерть в тех же волнах, хлынувших со всей горы Адер.

Знатные путники еще не достигли горы, когда разразилась буря. Ливень застал их на открытом поле, где они были облиты и лежали в воде, не чая конца наводнению.

В положении христиан было нечто гораздо более сложное.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Отряд христиан шел, так сказать, истаивая. От самых Канопских ворот, через которые они вышли из города, число следующих за епископом все уменьшалось, а число отстающих увеличивалось. Одни падали на землю и говорили, что не могут дальше идти от болей в ногах или от рези в желудке, а другие просто садились и плакали. Не было никакой возможности заставить их идти далее. Шерстобит Малафей подал мнение, чтобы для страха другим пришибить притворщиков камнем, но Зенон за них заступался и говорил, что никого не надо неволить. Он говорил, что дело не во множестве людей, а в силе духа, который движет ими, приводил в пример, как Гедеон оставил всех пивших пригоршнями, а взял с собой только одних лакавших воду по-песьи.

Тогда Малафей шерстобит повернулся и пошел назад, а с ним вместе то же самое сделали и другие, незадолго перед этим стремившиеся побивать камнями тех, которые, ослабевая от страха, отставали ранее. В числе возвратившихся с Малафеем были также некоторые пресвитеры. Остальные же христиане в небольшом числе шли целый день и к ночи достигли Канопского гирла. Тут и стоит гора Адер. Она с одной стороны возвышается холмистым плоскогорьем, а с другой, обращенной к реке, у нее крутой гребень, выступы, рвы и обрывы. Точно как будто она когда-то уже ползла в реку, но остановилась. С пологой стороны она покрыта редкой порослью по супеску, а сторона, обращенная к реке, вся совершенно безжизненна. Здесь пластами лежат плитняк, глина, мелкий кремень и черная галька, а местами есть также прослойки и других землистых пород, то темные, то иссера-желтые, то совсем беловатые. Местами изнутри выпирает крошистый камень, а местами будто как ребра рядами наставились гранитные глыбы. Их основания

утонули в темно-красной глине, а верхи их присыпаны песком и в щепы распавшимся камнем. Здесь, без сомнения, когда-то происходило какое-то сильное передвижение веществ — все куда-то ползло и остановилось.

Когда христиане пришли, Зенон спросил епископа, что он посоветует делать, — но епископ ему отвечал:

— Ага! Какой ты почтительный, Зенон! ты обращаешься ко мне как к пастырю. Жалко, что я избегал тебя ранее, но теперь я сам, сын мой, похож на овцу, и вдобавок еще на такую, которую посередине зимы взяли и остригли. Одни меня оставили, а другие кое-как еще идут с нами, но совсем не за мною, а за тобою. Я дрожу от изнеможения и ужаса; в груди моей холод, а голова моя горит, как у пекаря, который стоит перед печкой. Что ты меня спрашиваешь?.. Я так слаб, что ребенок может меня свалить с ног... Ты считай так, что я уже умер, и делай что знаешь, и если окажутся люди, которые захотят тебя слушать, то пусть они тебя и слушают, а я буду как мертвый.

— Ты позабудь обо мне и ради этих унылых людей дай им скорей вразумление, как укрепить себя в духе и что начать делать. Иначе ты можешь увидеть, что и они разбегутся.

Но епископ ответил:

— Ты напрасно меня пугаешь тем, что я могу увидеть. Я уже умер. Малафей шерстобит мне шептал, что я мог увидеть тебя мертвым, но я не такой — я не захотел это видеть и теперь всего охотнее закрою мои глаза, чтобы совсем ничего не видеть. Я уже умер: я отойду в сторону и буду молиться.

Три оставшиеся пресвитера хотели подражать епископу: они тоже чувствовали себя умершими и намеревались удалиться для молитвы, но народ окружил их и в смятении требовал, чтобы они молились при всех и научили бы всех остальных, как лучше молиться, чтобы гора непременно сдвинулась и пошла, а если она не пойдет, так чтобы были налицо виноватые. Тут и пошли разномыслы и споры: одни люди говорили, что всего лучше стоять распростерши руки в воздухе, изображая собою распятых, а другие утверждали, что лучше всего петь молитвенные слова нараспев и стоять по греческой, языческой привычке, воздев руки кверху, в готовности

принять с неба просимую милость. Но и тут опять нашлись несогласия: были такие, которым казалось, что надо воздевать вверх обе ладони, а другим казалось, что вверх надо воздевать только одну правую ладонь, а левую надо преклонять вниз, к земле, в знак того, что полученное с небес в правую руку будет передано земле левою; но иным память изменяла или они были нехорошо научены, и эти вводили совсем противное и настаивали, что правую руку надо преклонять к земле, а левую — воздевать к небу. Увидав, что в такую роковую минуту людьми овладел беспокойный и неразрешимый спор, Зенон поспешил поскорее к епископу в ту сторону, куда тот отдалился, и хотел просить его разрешить все недоумения, но ночь была темна, и он не нашел молившегося в темноте епископа, а когда шел назад, то спорившие и ссорившиеся люди окружили его и стали кричать:

— Ну, если ты свят, то скажи нам, как надо молиться.

— Кто вам сказал, что я свят? Я вовсе не свят, и даже, наоборот, я очень грешен.

— Нет, мы тебе в этом не верим: ты себе выколол глаз, и теперь ты один среди всех здесь спокоен. Ты не пугаешься смерти. Скажи-ка нам, как молиться? Если нужно враспев, то мы все станем петь, а если говором выговаривать, то будем говором читать молитвы. Говори скорее, ждать некогда, мало уж времени осталось, чтоб молиться.

Тогда Зенон, не желая ничем прибавлять розни, коротко ответил ближе стоявшим, что он имеет обычай молиться в благоговейном молчании, но не осуждает и тех, которые любят поднимать к небу и глаза и руки, нужно только, чтобы руки молящихся были чисты от корысти, а душа — свободна от всякого зла и возносилась бы к небу с мыслью о вечности. Тогда в ней исчезает страх за утрату кратковременной земной жизни и... гора начинает двигаться...

— Вот нам теперь это и надо, чтобы не было страха, пока гора двинется с места.

Сам же Зенон тихо отделился от толпы и, скрываемый темнотою египетской ночи, пошел к вершине горы.

Отойдя так далеко, как можно сильною рукой два раза перебросить швырковый камень, он сел на землю и, обняв руками колена, стал призывать в свою душу необ-

ходимое в решительную минуту спокойствие. Он вспоминал Христа, Петра, Стефана и своего учителя, как они проводили свои предсмертные минуты, и укреплял себя в решимости завтра ранее всех взойти одному на гребень горы, призвать мужество в душу свою, стать на виду собравшегося народа и ожидать, что будет.

«Пусть меня поразит стрела, — подумал Зенон, — и, может быть, тогда им довольно будет моей смерти, и другие будут свободны, а я буду счастлив; я совершу свое дело».

От того места, где сидел теперь Зенон, до самого верха горы, откуда был виден табор, амфитеатр и река Нил, осталось тоже не больше, как два переброса.

Оттуда доносился до слуха его звук музыкальных инструментов, и трещоток, и пиршественные нетрезвые клики, а с другой стороны, оттуда, где остались христиане, ветерок наносил греческий напев молитв, которые тянули пресвитеры.

Вдруг Зенон, погруженный в глубокую думу, вздрогнул от неожиданного прикосновения нежной руки к его волосам.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Зенон поднял голову и увидал возле себя Нефору.

— Что тебе опять от меня нужно? — спросил ее Зенон.

— Раньше мне нужна была твоя любовь, а с той поры, когда ты отверг меня, мне стала нужна твоя гибель.

— Да простит тебе небо злое желание; но если тебе нужна была моя гибель, для чего ты губишь не меня одного, а такое множество других людей?

— Я ненавижу всех людей твоей веры: я хочу, чтобы все вы сразу были осмеяны в том, во что вы верите, и это уже достигнуто.

— Может быть, ты еще ошибешься.

— Ну, оставь вздор! Разве все самые лучшие люди ваши не сомневаются; разве они не разбежались, а остальные не ищут возможности скрыться? И ты сам теперь отдалился разве не с тою же целью, чтобы скрыться от прочих и спасти свою жизнь? Я тебя понимаю — ты должен сильно страдать, видя свою ошибку и слабость своих

единоверцев, и я рада, что дождалась этого и могу спасти тебя: следуй скорее за мною. Я приготовила все, чтобы спасти тебя от позора и смерти.

— А тебе разве известно, что нас непременно ждет смерть и позор?

— Без сомнения! — отвечала Нефора, — ведь гора не пойдет с своего места и не загородит Нила, чтобы поднять его воды, а разгневанный народ побьет вас камнями или побросает в реку. Бежим, следуй за мною: любовь моя скроет тебя и будет твоим утешением!

И она сильно тянула за руку Зенона.

— Я не намерен бежать! — ответил Зенон, отстраняя руку Нефоры.

Она остановилась.

— Что же ты хочешь делать?

— Я исполню мой долг и умру, если нужно.

Нефора опустилась и села возле него на землю и проговорила:

— Тогда и я здесь останусь с тобою.

— Для чего?

— Для того, что я люблю тебя, — жизнь без тебя мне несносна. Знай: я в отчаянии обещала правителю выйти замуж за его сына, а между тем я не в силах исполнить это обещание. Умереть с тобою мне отраднее, чем жить с ненавистным Дуназом. Пусть берут мое богатство, но себя я не отдам и умру вместе с тобою.

Зенон взял ее руку и тихо сказал:

— Я должен бы благодарить тебя за такие чувства; но если ты любишь меня, то я стану просить тебя сделать другое.

— Говори, я все для тебя сделаю!

В голосе Нефоры стали слышаться слезы.

— Если небу угодно, чтобы через час мы погибли, то умоляю тебя, не губи себя вместе со мною и не выходи замуж за человека, в котором нет ни рассудка, ни доброго сердца. Сделай другое.

— Что же я должна сделать?

— После нас останется много сирот и старцев, которых пошлют в цепях в каменоломни, — останься жить и живи долго для них. Подай мне эту милостыню... обещай мне это, Нефора, и я счастливо умру, передав тебе любовь мою к страдающим людям!

При слове «любовь» Нефора вздрогнула и прошептала:

— Повтори.

— Что?

— Еще раз повтори это слово. О Зенон! Если б ты знал, как для меня сильно слово «любовь»!

— Конечно, я это знаю, Нефора. Любовь обнимает всех в одном сердце.

— Отчего же ты не любил меня, Зенон?

— Я не мог принять той любви, которая принуждала меня пренебречь послушанием к словам моего учителя и забыть его просьбы для удовольствий плоти, но теперь, когда ты не та, какою была, а иная, когда ты укрепляешь, а не расслабляешь дух мой и обещаешь отдать себя делам любви, — теперь я люблю тебя, сострадательная Нефора.

Нефора схватила обеими руками руки Зенона и вскричала:

— Ты взял мое сердце... Я сделаю все, чего ты желаешь, я стану жить с тобой для добра, но лучше всего... все-таки бежим отсюда: в толпе есть люди, которые нас укроют, мы уйдем, и я буду твоею рабой.

— Рабой? Для чего же, Нефора? Ты теперь любишь людей без различия их породы и веры; ты готова служить им, ты одного со мной духа, ты сестра мне, мой друг... Если хочешь, будь моя невеста... Я счастлив, я не боюсь ничего и умру, благословляя тебя за то, что ты восхитила меня твоим чудным порывом, но я не побегу, я не скроюсь от тех, кто несчастлив, и... я скажу тебе больше: я не дам унизить насмешкой его... того, кого я зову моим учителем и моим господином... Довольно его унижали! Если я даже останусь один — что, быть может, случится, — я один взойду на гребень горы: пусть видят, что кто его любит, тот ему верит.

— Но для чего это нужно?

— Это нужно *для счастья людей,* потому что в учении его сокрыт путь ко всеобщему счастию, но чтобы идти этим путем... надо верить, Нефора, — надо сдвинуть в жизни что тяжелее и крепче горы, и для того надо быть готовым на все, не считая, сколько нас: один или много.

— Ты не будешь один, — отвечала Нефора, и в ее голосе почувствовалось волнение и слезы.

Зенон опять взял ее за руку и сказал ей:

— Но отчего ты смутна, и зачем грусть в твоем голосе?

— Я боюсь отвечать тебе правду.

— Не бойся, ответь.

— Он... этот твой учитель стал и стоит между мною и тобою... Ты его любишь больше меня... Он меня от тебя отстраняет...

Зенон покачал головою.

— Нет, Нефора, — сказал он, — тот, кого я люблю, тот, кто мог быть знатен и предпочел быть нищим, мог уничтожить своих врагов, и вместо того молился за них, — никого не разлучает, — он соединит нас и научит любви, возвышающей душу и сердце!

— Я не хочу такой любви.

— Отчего?

— Она никогда не может удовлетворить сердце женщины.

— Ты ошибаешься. Слушай меня терпеливо. Мы с тобою в земле фараонов. Ночь сокрывает от нас места, на которые я мог бы тебе указать и сказать: там го́род Он, там пирамиды Гизеха, которые видели Юзуф и Зулейка. [1] Зулейка любила Юзуфа мятежною страстью, такою же, какой ты дала над собою волю однажды. Она не боялась уронить себя и своего мужа этою любовью. Юзуф был прекрасен. Он был, конечно, красивей меня. Об этом дошла до нас их чудесная повесть. Когда знатные женщины укоряли Зулейку за то, что она любит Юзуфа, она дала этим женщинам по ножу и по апельсину, и когда они стали чистить свои апельсины, Зулейка кликнула своего «раба». Юзуф вошел, и все женщины обрезали себе руки и уронили свои апельсины... Но Юзуф тогда не любил прекрасную Зулейку, и его не влекло к ней потому, что Юзуф не любил лжи и обмана. Зулейка отомстила ему и погубила его. Ему это стоило более глаза. Юзуфа сокрыла темница, а Зулейка стала томиться и плакать, и когда умер ее муж, она бросила дом свой и жила в шалаше, оплакивая свою жестокость и повторяя имя Юзуфа... И когда об этом услышал Юзуф, тогда согрелось сердце его и он пришел к Зулейке в ее тростнико-

---

[1] Зенон рассказывает историю Иосифа и жены Понтифара так, как она передается в египетских преданиях и в Коране Магомета (Коран, гл. XII, стр. 21—111). *(Прим. автора.)*

вый шалаш и сказал: «Ты добра, голубица моя, и будь мне женой». Неужто такая любовь, по-твоему, хуже угарного чада туманящей страсти, которая быстро пройдет и оставит одно сожаление? Любовь же того, кто может сказать: «всем ты добра, моя голубица», — обещает разумную жизнь, а не пыл... Суди же, что лучше? Вот и ты теперь... кротка и добра... ты не мятешься о том, чтобы всех превзойти на собрании убором; ты меня слушаешь тихо и, может быть... скажешь: «Друг мой, Зенон! я в себе чувствую новое сердце. Будь силен и ничем не смущайся. Пусть будет что будет: иди, куда тебя повлекут — на смерть или в каменоломни, — Нефора твой друг: она останется жить, она будет матерью всех несчастных сирот, которых оставят погубленные христиане»...

— Оставь! о, оставь! я все это сделаю, и все для тебя.

— Нет, для того, кого я люблю больше себя и кому я хочу быть послушен во всем, что мне ясно и что непонятно.

— Пусть будет и так! Твой друг я и раба твоего господина!

Зенон приестал, тихо поцеловал Нефору в голову и сказал:

— Теперь все совершилось, гора тронулась с места.

— Да, — отвечала Нефора, — и мне показалось, что земля под ногами как будто качнулась...

— Ты очень устала, нам время расстаться. Рассвет должен быть близко. Сереет, и я замечаю вдали крестьянина в спаржевом поле. Прощай, друг мой Нефора, — возвратись скорей в город и обо мне не заботься: я делаю то, что я должен делать; я не боюсь каменоломен: я художник, и меня не заставят катать гранит, а я буду выделывать гаторовы головы... и я буду счастлив там, далеко в изгнании, я буду вспоминать о тебе и буду радоваться, что ты стала не та, какою была, что ты любишь людей и живешь для того, чтобы делать добро людям. Еще раз прощай и не следуй за мною... Но что это такое?.. Теперь вдруг и мне показалось, что вправду земля под ногами вогнулась и опять поднялась!

— Да, да! трясется земля!

— И я слышу гул... что-то трещит в глубине под горою... И когда собрались эти тучи! Огонь и вода падают с неба!..

Это была гроза — столь редкое явление под безоблачным небом Египта, что Нефора ее даже не могла представить, но Зенон читал Страбона и сейчас же узнал это явление и вспомнил, как оно при своей редкости в Египте бывает сильно и страшно. Да и размышлять ни о чем не оставалось времени, потому что на них полил такой сплошной ливень, под которым только и осталось скорее упасть ниц. Вода лилась не каплями и не ручьями, а цельным, сплошным потоком, молнии реяли, гром грохотал, и земля содрогалась, пухла и вновь вздымалась и гудела.

Кричавший верблюд, и ночные капли в доме правителя, и танцевавший на берегу черный ибис — все оправдали свои приметы: над землей Мицраима повторилась гроза и ливень Страбона...

Зенон, поверженный ниц, помышлял только о том: если таково здесь на горе, что нельзя встать и нельзя сделать шага, то что же теперь должно происходить в долинах, куда должны устремиться сбегающие с гор воды!..

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Более часа водный океан из воздуха переливался страшным потоком на землю; но едва стало тише, Зенон встал, поднял под локти бесчувственную Нефору, прислонил ее к камню и сам бросился на гребень горы. Он опасался, чтобы не опоздать и не прийти последними туда, где всем было должно собраться; но когда он взбежал, то увидал, что никого из христиан еще не было, а сам он не узнал внизу знакомой картины: земля вся исчезла, а Нил был необъятен, как безбрежное море. По мутным волнам неслись опрокинутые челноки, плыли хижины и целые пальмы, вывороченные с корнями, а у самой подошвы горы множество человеческих существ боролись и лезли один на плечи другого, как раки в глиняном горшке...

Зенон упал на колени и вскрикнул:

— Небесный отец! пощади всех живущих! Ты дал им понять, что тебе все возможно, низведи же в сердца их любовь к другим людям!

И когда он молился, он почувствовал, что гора взбухала, как губка, кремнистые ребра ее впадали, а мягкая осыпь выпячивалась, и покрывавшие ее плиты лопались и крошились... И вдруг все всколебалось, оскретки мелких камней брызнули, как из пращи, и сыпучие оползни сунулись и поползли вниз целыми пластами.

— Зенон, гора движется! — услыхал Зенон у себя за плечами, и на руки его с высоты упала Нефора.

Зенон оглянулся и увидал, что огромный отломок горы, на котором стоял он, отделился и летит по скользкому склону в воду.

— Будь твоя воля над нами! — прошептал Зенон и прижал к своей груди сомлевшую Нефору.

И глыба с обоими с ними катилась, а из волн и из расщелин горы люди кричали:

— Гора идет!.. Гора идет!! Велик бог христианский! Сдвинул гору художник Зенон златокузнец!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Как только ударил гром и полил страшный ливень, все расположившиеся у горы люди, чувства которых не были совсем омрачены пьянством, мгновенно вскочили и бросились бежать в обход горы и здесь на ее тыловой стороне встретили кучку христиан, мимо которых потоки сбегали обширным рвом. Правитель убегал впереди всех, несясь вскачь на своей колеснице, в которую был впряжен один конь его, а другой неизвестно чей. У одной из расщелин он увидал вылезавшего из оврага Пеоха и закричал ему:

— Ты видишь — гора идет!

— Вижу, — мрачно ответил Пеох.

— Говори же скорее: как в христианском учении сказано, что́ надо сделать, чтобы остановить гору?

— Увы, в их учении сказано только, как «сдвинуть гору», но ничего не сказано, как ее остановить.

— Зачем же ты этого не сказал нам ранее?

Все подхватили слово правителя и закричали:

— Да, зачем ты не сказал нам об этом? Проклятый мудрец! ты погубил нас!

Пеох засверкал воспаленными глазами и поднял руку, чтобы швырнуть в оскорбителей своею палкой, но в то же мгновение покатился к ногам правителя, пораженный ударом кола в затылок...

Правитель испугался и погнал скорее своих разномастных коней к христианскому стану и закричал им:

— Друзья мои! молитесь, чтобы гора стала!

Христиане же были в растерянности и, оставаясь до сих пор с другой стороны горы, противоположной той, где появились Зенон и Нефора, не видали ничего того, что произошло у обрывов, и отвечали:

— Ах, господин, для чего ты к нам все придираешься? Мы еще не совсем согласились, как молиться, чтобы гора двинулась, а ты уже требуешь новое, чтобы мы остановили гору.

Правитель махнул на них рукою и поехал далее, сказав им:

— Гора уже идет, бегите скорее вверх, и вы увидите оттуда, что совершилось.

Тогда все христиане устремились на верх горы, откуда раньше спустились Зенон и Нефора, и увидели удивительную и совершенно новую картину, вовсе не ту, которую видел правитель, а иную: гора с водой встретились... глинистый оползень, на котором спустились Зенон и Нефора, стал над самою поверхностью воды... К ним подплыла барка с шелковым парусом, на которой стоял персианин, служитель Зенона. Он взял в барку Зенона и Нефору, и барка снова отплыла. Поверхность воды более уже не бурлила, а была спокойна и гладка. Кроме барки Зенона, по реке плавали голубые и белые цветы лотоса, а над водою, ближе к берегам, носились стаи птиц, чайки и морские вороны и жадно выхватывали во множестве нагнанных рыб; ближе к берегам плыли и толкались золотые шары огромнейших дынь... и вдруг все сразу заметили продолговатый плес, в средине которого казалось что-то похожее на ивовое бревно в кожуре... Крокодил!..

Появление крокодила было верною приметой, что Нил полон, крокодил всегда приходил вестником от болот Филэ и Сиуна.

И действительно, навстречу правителю скакал из города вестник с письмом, которое еще до грозы принес

голубь из Мемфиса: Нил разлился, и жители Фив уже вышли на кровли.

Оставалось веселиться и радоваться: урожай обеспечен, и вина христиан была позабыта на время. Стан весь снимался. Слуги в топкой грязи, как могли, ловили и запрягали коней и седлали ослов и верблюдов. Все перемокшие и измученные люди при взошедшем ярком солнце ободрились и стали снова шутить и смеяться и потянулись к городу...

Все остатки погибших шатров, и людей, и животных убирал Нил... Зенона и Нефоры здесь уже не было, и о них не вспоминал и не справлялся никто. Все спешили домой... Христиане были успокоены и, к довершению радости, по возвращении в Александрию нашли своего патриарха, который еще ранее их успел возвратиться в свои палаты. Правитель захотел его увидеть и послал за ним колесницу, но патриарх отвечал:

— Колесница так же удобно может доставить ко мне правителя, как и меня к нему, а дорога от меня до него так же длинна, как от него до меня. Пусть он придет ко мне, если хочет.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Правитель тотчас же сел на колесницу, приехал к патриарху и сказал ему:

— Извини меня, я не был уверен, что твоя святость уже дома.

— Наше смирение всегда близко и всегда далеко от того, кто чего заслуживает, — ответил патриарх.

— Знает, конечно, твоя святость, какой все приняло оборот? Вера ваша теперь здесь у всех в почтении.

— Воскрес бог, и враги его тают.

— Да, коварный Пеох убит тупым колом от руки своих же единоверцев, бабу Бубасту задушили.

Патриарх промолчал: его слова не стоила баба Бубаста, но правитель о ней продолжал, что ей забили рот и нос глиною и что теперь много разноверных людей просятся к сдвинувшим гору.

— Я этого ожидал, — сказал патриарх.

— А я не ожидал этого и сознаюсь со стыдом, что я очень ошибся.

Патриарх улыбнулся и тихо заметил:

— Что делать? и Гомер ошибался.

— Да, я ошибся, и теперь прошу твою святость — давай помиримся: мы можем быть очень полезны друг другу.

— Ну, мне кажется, что нашему смирению теперь уже никто не нужен.

— А пусть твое всеблаженство вспомнит, что и Гомер ошибался.

Патриарх это вспомнил.

И они остались вдвоем изрядное время, беседуя без аколуфов и опахальщиков.

В этот же день к пресвитерам приходило много людей, желавших креститься, и епископ не знал, как ему поступить: ждать ли, когда их, по обыкновенному порядку, наставят катехизаторы, или, в виду необыкновенных обстоятельств, крестить, нимало не медля, всех, кто пожелает.

— В этом я предоставляю тебе избирать то, что полезнее, — отвечал патриарх.

Народ толпами шел к пресвитерам, прося их крестить. Крепкие же суеверы, настоящие «Рем-ен-Кеми», смотрели на это сумрачно и тихо шептали друг другу, что «это должно быть... Распятый бог победит всех богов Кеми,[1] и имя пророка Палестины пронесется по волнам священного Яро...[2] Это слышали птицы, которые ночуют в гнездах, устроенных ими в ушах говорящей статуи Аменготепа»...[3]

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ошибся в своих расчетах и толстый Дуназ. Нефора изменила свое решение и не пошла за него замуж, да она и не была ему больше желанна, потому что богатство ее истощилось: она отпустила всех своих рабов на волю, и

---

[1] Кеми — древнее название Египта. Рем-ен-Кеми — человек из Египта. *(Прим. автора.)*

[2] Яро — Нил. *(Прим. автора.)*

[3] Аменготеп — Мемнон. *(Прим. автора.)*

все свое состояние, которое было нужно Дуназу, она раздала тем, которые обедняли и не могли содержать свои семьи. Дуназ стал искать другую невесту с большим состоянием и нашел ее. Нефора же жила в скромной доле, благотворя бедным и учреждая школы для детей, где их учили полезным наукам и ремеслам. Слух о поступках ее скоро достиг до Зенона, и тогда художник снова пришел к ней и сказал:

— С тобою мир божий, который превыше всего: ты возлюбила добро; зачем нам быть розно? Иди в дом мой, и будем вместе жить для пользы тех, кому можем оказать помощь. Будь женою моей, Нефора!

И это так сделалось. Зенон и Нефора стали супругами и жили долго и были людям полезны и богу любезны. Зенон по-прежнему занимался своим художеством и никогда не порицал ничьей веры и своею верою не возносился. Однажды, когда он был призван для некоторых работ в патриархию, — патриарх, сделав ему заказы, спросил его:

— Кем ты, Зенон, наставлен и утвержден в твоей вере?

— Я в ней еще совсем не наставлен, — ответил Зенон.

— Как это так?

— Она мне открывается мало-помалу и не всегда во мне равномерна: порою она едва брезжит — как мерцание рассвета, а порою ярко горит и тогда все мне осветит.

— Значит, ты слаб еще в вере.

— О, весьма слаб.

— Что же ты не стараешься сделать ее постоянно крепкою?

Зенон задумался.

— Скажи: о чем ты думаешь? — вопросил его патриарх.

— Я вспомнил слова Амазиса: тетива на луке слаба, пока на нее не наложат стрелу и рукой ее не натянут. Когда же нужно, чтобы она напряглась, она напряжется и сильно ударит; но если ее постоянно тянуть и держать в напряжении, она истончает, и сила ее ослабеет. Я боюсь, чтобы мне не утратить и то, что хоть порою мне дается от неба.

КОЛЫВАНСКИЙ МУЖ

(ИЗ ОСТЗЕЙСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)

Пошел по канун
И сам потонул.

Русск. пословица.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Из городов балтийского побережья я жил четыре сезона в Ревеле, четыре в окрестностях Риги и три в Аренсбурге, на острове Эзеле. В одну из моих побывок в Ревеле, — помнится, в первый год, когда там губернаторствовал М. Н. Галкин-Врасский, — я нанял себе домик в аллее «Под каштанами». Это в самом Екатеринентале, близко парка, близко купален, близко «салона» и недалеко от дома губернатора, к которому я тогда был вхож.

На дворе у моих дачных хозяев стояли три домика — все небольшие, деревянные, выкрашенные серенькою краскою и очень чисто содержанные. В домике, выходившем на улицу, жила сестра бывшего петербургского генерал-губернатора, князя Суворова, — престарелая княгиня Горчакова, а двухэтажный домик, выходивший одною стороною на двор, а другою — в сад, был занят двумя семействами: бельэтаж принадлежал мне, а нижний этаж, еще до моего приезда, был сдан другим жильцам, имени которых мне не называли, а сказали просто:

— Тут живут немки.

Все мы были жильцы тихие и, что называется, «обстоятельные». Важнее всех между нами была, разумеется, княгиня Варвара Аркадьевна Горчакова, влиятельное значение которой было, может быть, даже немножко преувеличено. О ней говорили, будто она «может сделать все через брата». Она, кажется, знала, что о ней так говорят,

и не тяготилась этим. Впрочем, для некоторых она что-то и делала. Постоянное занятие ее состояло в том, что она принимала визиты знатных соотечественников и молилась богу в русском соборе. Там тогда дьяконствовал нынешний настоятель русской церкви в Вене, о. Николаевский, который отличался изяществом в священнослужении и почитался национальным борцом и «истинно русским человеком», так как он корреспондировал в московскую газету покойного Аксакова.

У княгини Горчаковой можно было встретить всю местную и наездную знать, начиная с М. Н. Галкина и Ланских до вице-губернатора Поливанова, которого не знали, на какое место ставить в числе «истинно русских людей». Княгиня также принимала, разумеется, и духовенство, особенно священника Феодора Знаменского и диакона Николаевского. В «фамилиях» у духовенства княгиня имела крестников и фаворитов, которым она понемножку «благодетельствовала» — впрочем, только «малыми» и «средними» дарами. До настоящих, «больших», она не доходила и имела, кажется, на то достаточные причины. Вообще же среди всего, что было в тот год знатного в Ревеле, княгиня Варвара Аркадьевна имела самое первое и почетное положение, и ее серенький домик ежедневно посещался как немецкими баронами, имевшими основание особенно любить и уважать ее брата, так и всеми более или менее достопримечательными «истинно русскими людьми».

Все здесь наперебой старались быть искательнее один другого, но отнюдь не все знали, на что им это годится и вообще может ли это хоть на что-нибудь годиться.

И дом и круг были прелюбопытные и обещали много интереса.

Я бо́льшую часть своего времени проводил за столом у окна, выходившего в сад, которым, по условиям найма, имели равное право пользоваться жильцы верхнего и нижнего этажей, то есть мои семейные и занимавшие нижний этаж «немки». Но немки, нанявшие квартиру несколько раньше меня, не хотели признавать нашего права на совместное пользование садом; они всё спорили с хозяйкою и утверждали, что та им будто бы об этом ни слова не сказала и что это не могло быть иначе, потому что они ни за что бы не согласились жить на таких

условиях, чтобы их дети должны были играть в одном саду вместе с русскими детьми.

Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом сначала через донесение прислуги, для которой хозяйские контры на самых первых порах при занятии дачи представляли много захватывающего интереса, а потом я сам услыхал распрю в фазе ее наивысшего развития, когда спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это было в полдень. В сад вышли три немки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями; дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая с первою, и третья — наша хозяйка, онемеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользование садом.

Все были в большом волнении — особенно хозяйка и старшая из двух «нижних дам», как их называла моя прислуга.

Хозяйка возвышенным голосом говорила:

— Я вас предупреждала... я говорила, что наверху будут жильцы, и сад всем вместе.

А старшая дама на все кротко отвечала: «Nein!» [1] и встряхивала буклями и краснела. Младшая дама трогала обеих этих за руки и упрашивала их «не разбудить малютку».

Сама же эта дама держала за руки двух хорошо одетых мальчиков — одного лет пяти и другого лет трех. Оба они не спали. Значит, кроме этих двух детей, было еще третье, которое спало. Может быть, это слабое и больное дитя. Бедная мать так за него беспокоится.

Мне стало жаль ее, и, чтобы положить конец тяжелой сцене, я решился отказаться от сада и кликнул домой своих племянников.

Дети вышли, за ними удалилась хозяйка, и садик остался в обладании двух немок. Они успокоились, вышли и повесили на дверце садовой решетки замок.

Хозяйка при встрече со мною жаловалась на возложение замка, называла это «дерзостью» и советовала мне где-то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрасно прозвала обеих дам «язвительными немками».

---

[1] Нет! *(нем.).*

Я не поддавался этому злому внушению и находил в обеих дамах много симпатичного. Я на них не жаловался, оставался вежлив, спокоен и не предъявлял более на сад никаких требований. Садик оставался постоянно запертым, но мы от этого не чувствовали ни малейшего лишения, так как деревья своими зелеными вершинами прямо лезли в окна, а роскошный екатеринентальский парк начинался сейчас же у нашего домика.

Немки выжили нас из садика не по надобности, а как будто больше по какому-то принципу. Впрочем, он был им нужнее, чем нам. Они почти постоянно были в саду обе и с двумя детьми и непременно запирались на замок. Это им было не совсем ловко делать — надо было перевешиваться за решетку и вдевать замок в пробой с наружной стороны, но они все это выполняли тщательно и аккуратно. Я думал, что они опасаются, как бы мы не ворвались в садик насильно, и тогда им придется нас выбивать вон. При этом им, вероятно, представлялась война, а судьбы всякой войны неразгаданны, и потому лучше запереться и держаться в своем укреплении.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так это и шло. Победа была за немками, и никто не покушался у них ее оспаривать. Дети наши были совершенно равнодушны к маленькому домашнему садику ввиду свободы и простора, которые открывал им берег моря, и только кухарка с горничною немножко дулись, так как они рассчитывали на даче пить кофе в «присадничке»; но когда это не удалось, я позаботился успокоить их претензию предоставлением им других выгод, и дело уладилось. Притом же обе эти девушки отличались столь добрыми и незлопамятными сердцами, что удовольствовались возможностью пить свой кофе у растворенного окна и не порывались в садик, а я был даже доволен, что немки никого не пускали в сад, где благодаря этому была постоянная тишина, представлявшая значительные удобства для моих литературных занятий.

Вставая из-за своего рабочего стола и подходя к окну, чтобы покурить папироску, я всегда видел двух этих

дам, всегда с работою в руках, и около них двух изящно одетых мальчиков, которых звали «Фридэ» и «Воля». Мальчики играли и пели «Anku dranku dri-li-dru, seter faber fiber-fu». Мне это нравилось. Вскоре появился и третий, только недавно еще увидавший свет малютка. Его вывозили в хорошую пору дня в крытой колясочке.

Обе женщины жили, по-видимому, в большой дружбе и в таком полном согласии, что почему-то чувствовалось, как будто у них есть какая-то важная тайна, которую обе они берегут и обе за нее боятся.

Образ жизни их был самый тихий и безупречный. Овладев безраздельно садиком при даче, они им одним и довольствовались и не показывались ни на музыке, ни в парке. Об их общественном положении я не знал ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая из дам называется «баронесса» и что обе они так горды, что никогда не отвечают на поклоны и не знают ни одного слова по-русски.

Только один раз тишина, царствовавшая в их доме, была нарушена посещением трех лиц, из которых первое можно было принять за какое-то явление.

Я первый подстерег, как оно нас осветило, — именно я не могу подобрать другого слова, как *осветило*.

Хлопнула входная серая калитка, и в ней показалось легкое, грациозное и все сияющее светлое создание — молодая белокурая девушка с красивым саквояжем в одной руке и с зонтиком в другой. Платьице на ней было легкое, из бледно-голубого ситца, а на голове простая соломенная шляпа с коричневою лентою и с широкими полями, отенявшими ее прелестное полудетское лицо.

Навстречу ей из окна нижнего этажа раздался возглас:

— Aurora!

Она отвечала:

— Tante!

И вдруг и баронесса и ее дочь выбежали к Авроре, а Аврора бросилась к ним, и, как говорится, «не было конца поцелуям».

Через час Аврора и младшая из дам вышли в сад. Они долго щебетали и целовались, — потом сели. Аврора теперь была без шляпы, но в очень ловко сшитом платьице, а на голове имела какой-то розовый колпачок, при-

дававший ее легкой и грациозной фигуре что-то фригийское.

Аврора ласкала даму по голове и несколько раз принималась целовать ее руки и называла ее Лина.

Вышедшая к ним в сад баронесса обнимала и целовала их обеих.

Из их разговора я понял, что Аврора и Лина — кузины.

Вечером в этот же день к ним приехали два почтенные гостя: пастор и вице-адмирал, которого называли «Onkel».[1] Они оставались недолго и уехали. А вслед за ними, в сумерки, пронеслась опять со своим саквояжем Аврора, и ее больше не стало.

Мои девушки узнали, что старая баронесса проводила «эту зажигу» на пароход, и при этом они также расследовали, что «у немок были крестины», и именно окрестили того малютку, который выезжал в сад в своей детской колясочке.

Мне до этого не было никакого дела, и я надеялся, что и позже это никогда меня нимало не коснется; но вышло, что я ошибался.

Завтра и послезавтра и в целый ряд последующих дней у нас все шло по-прежнему: все наслаждались прекрасными днями погожего лета, два старшие мальчика пели под моими окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный пеленашка спал в своей коляске, как вдруг совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набежавшею с моря страшною бурею.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В один прекрасный день, перед вечером, когда удлинялись тени деревьев и вся дачная публика выбиралась на promenade,[2] — в калитке нашего серого дома показался молодой и очень красивый морской офицер. Значительно растрепанный и перепачканный, он вошел порывисто и спешною походкою направился прямо в поме-

---

[1] Дядя *(нем.)*.

[2] Гулянье *(франц.)*.

щение, занимаемое немками, где по этому поводу сейчас же обнаружилось некоторое двусмысленное волнение.

Прежде молодая немка прокричала:

— Er ist gekommen... ah! [1]

А потом старшая повторила:

— Ah! Er ist gekommen! [2]

И вдруг обе суетливо забегали, чего никогда до сих пор не делали.

При открытых окнах у меня вверху и у них внизу, на несчастие, все было слышно из одного помещения в другое. Ночами при общей тишине даже бывало слышно, как пеленашка иногда плачет и как мать его берет и баюкает.

И теперь мне показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мне казалось так потому, что вслед за возгласами «Er ist gekommen!» старшая немка с буклями вылетела в сад с пеленашкою на руках и, прижимая к себе дитя, тревожно, острым взглядом смотрела в окна своего покинутого жилища, где теперь растрепанный моряк остался вдвоем с ее дочерью.

Я сообразил, что, вероятно, пеленашка составляет неожиданный сюрприз для гостя, находящегося в каких-нибудь особенных отношениях к матери и дочери, живущим со мною в соседстве. И вскоре мои подозрения еще увеличились.

Через минуту я увидел, как мать вывела в садик старших мальчиков и, оставив их бабушке, сказала каждому по наставлению, из которого я уловил только:

— Still, Papa, [3] — и сама убежала.

Бабушка охватила внучков руками, как наседка покрывает цыплят крыльями, и тоже внушала:

— Still, Friede, Papa: er ist gekommen! Still, Wolia, Papa! [4]

Дети слушались бабушку и робко к ней жались. Каждый из них одною ручонкою обхватывал ее руку, а в другой держал по новой игрушке.

---

[1] Он пришел... ах! *(нем.)*.

[2] Ах! Он пришел! *(нем.)*.

[3] Тише, папа *(нем.)*.

[4] Тише, Фриде, папа: он пришел! Тише, Воля, папа! *(нем.)*.

«Что же это может значить? — думалось мне. — Неужто и оба старшие мальчики тоже составляют секрет для гостя, точно так же, как и маленький пеленашка?»

Насчет пеленашки у меня уже утвердилось такое понятие, что «рыцарь ездил в Палестину», а в это время старая баронесса плохо смотрела за своей дочкой, и явился пеленашка, которого теперь прячут при возвращении супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытие.

Какая у них, должно быть, теперь происходит тяжелая сцена! Бедный мореходец; бедная белокурая дама; бедная баронесса; бедный и ты, маленький пеленашка!

Чтобы быть дальше от горя, которому ничем нельзя пособить, я взял в руки трость, надел шляпу и ушел к морю.

Но все, что я сообразил насчет причины беспокойства в нижнем семействе, было не совсем так, как я думал. Дело было гораздо сложнее и носило отчасти политический или национальный характер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда я возвращался домой при сгустившихся сумерках, меня еще за воротами дома встретила моя служанка и в большом волнении рассказала, что приехавший муж молодой немки — «страшный варвар и ужасно бунтует».

— Когда вы ушли, — говорит, — он начал грозно ходить по всем комнатам и кричать разные русские слова, которых повторить невозможно.

— Как, — говорю, — русские?

— Да так разные слова, самые обидные, и все по-русски, а потом стал швырять вещи и стулья и начал кричать: «вон, вон из дома — вы мне не по ндраву!» и, наконец, прибил и жену и баронессу и, выгнав их вон из квартиры, выкинул им в окна подушки, и одеяла, и детскую колыбель, а сам с старшими мальчиками заперся и плачет над ними.

— О чем же плачет?

— Не знаю, верно пьян напился.

— Почему же вы так обстоятельно все это знаете?

— Шум был, княгиней его пугали, а он и на нее не обращает внимания, а от нас все слышно: и русские слова и как он их пихнул за дверь и подушки выкинул... Я говорила хозяйке, чтобы она послала за полицией, но они, и мать и дочь, говорят: «не надо», говорят: «у него это пройдет», а мне, разумеется, — не мое дело.

— Конечно, не ваше дело.

— Да я только перепугалась, что убьет он их, и за наших детей боялась, чтобы они русских слов не слыхали. А вас дома нет; я давно смотрела вас, чтобы вы скорее шли, потому что обе дамы с пеленашкой сидят в моей комнате.

— Зачем же они у вас?

— Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на дворе туман, как же можно оставаться на ночь в саду с грудным ребенком! Вы извините, я не могла.

— Нечего, — говорю, — и извиняться: вы прекрасно сделали, что их приютили.

— Они уже дитя уложили, а сами уселись перед лампочкой и достали вязанье.

«Что за странность! — думаю себе, — этих бедных дам только что вытолкали вон из их собственного жилища, а они, как будто ничего с ними и не случалось, присели в чужой квартире и сейчас за вязанье».

Я не выдержал и высказал это мое удивление девушке, а та отвечает:

— Да, уж и не говорите: удивительные! Этакие слова выслушать, и будто как ничего... Наша бы русская крышу с дома скопала.

— Ну, слова́, — говорю, — еще ничего: они наших русских слов не знают.

— Понимают все.

— Вы почему знаете?

— А как же я с ними говорила? Ведь по-русски.

Я еще подивился. Такие были твердые немецкие дамы, что ни на одно русское слово не отзывались, а тут вдруг низошел на них дар нашего языка, и они заговорили.

«Так, — думаю себе, — мы преодолеем и все другие их вредные дикости и упорства и доведем их до той полноты, что они у нас уверуют и в чох, и в сон, и в птичий грай, а теперь пока надо хорошенько приютить изгнанниц».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Это и было исполнено. Баронесса и ее дочь с грудным младенцем ночевали на диванах в моей гостиной, а я тихонько прошел к себе в спальню через кухню. В начале ночи пеленашка немножко попищал за тонкой стеною, но мать и бабушка следили за его поведением и тотчас же его успокоивали. Гораздо больше беспокойства причинял мне его отец, который все ходил и метался внизу по своей квартире и хлопал окнами, то открывая их, то опять закрывая.

Утром, когда я встал, немок в моей квартире уже не было: они ушли; но зато их обидчик ожидал меня в саду, да еще вместе с отцом Федором.

Отец Федор всем в Ревеле был известен как самый добродетельный человек и как трус: он и сам себя всегда рекомендовал человеком робким.

— Я робок, — говорил он. — Я боюсь, всего боюсь и всех боюсь. Детей крестить — и тех боюсь: держать их страшно; и покойников боюсь: на них глядеть страшно.

Отец Федор сам рассказывал, что он «первый был прислан сюда бороться с немцами» и «очень бы рад был их всех побороть, но не мог, потому что он *всех их боится»*.

Робость этого первого виденного мною «борца» была замечательная, и ее нельзя и не нужно чем-нибудь приукрашивать; да это и неудобно, потому что на свете еще живы коллеги отца Федора и множество частных людей, которые хорошо его знали.

Он боялся всего на свете: неодушевленной природы, всех людей и всех животных и даже насекомых. И сам он, как выше замечено, над этою своею слабостью смеялся и шутил, но побороть ее в себе не мог.

Он не мог войти без провожатого в темную комнату, хотя бы она была ему как нельзя более известна;

убегал из-за стола, если падала соль; замирал, если в комнате появлялись три свечки; обходил далеко кругом каждую корову, потому что она «может боднуть», обходил лошадь, потому что она «может брыкнуть»; обходил даже и овцу и свинью и рассказывал, что все-таки с ним был раз такой случай, что свинья остановилась перед ним и завизжала. По счастью, он убежал, но после все-таки у него долго сердце билось. Собак, кошек, крыс и мышей он боялся еще более. Он был уверен, что один раз даже мышь укусила его сонного за пятку. О собаках уже и говорить нечего, а кошки представляли в его глазах двойную опасность: во-первых, они царапаются, а потом они могут переесть сонному горло.

И этот-то великий трус расхаживал по саду и разговаривал самым приятельским образом с драчуном, причем один только драчун обнаруживал некоторое внутреннее волнение и обрывал губами листочки с ветки сирени, которую держал в руке, а отец Федор даже похохатывал и, приседая на ходу, хлопал себя длинными руками по коленам.

При одном из оборотов он увидал меня у окна и, совсем развеселившись, закричал:

— Пожалуйте сюда к нам поскорее! Пожалуйте! Мы вас ждем.

Драчун был человек в цветущей поре: он по виду мог иметь немного за тридцать. Он был с открытым, довольно приятным и даже, можно сказать, привлекательным русским лицом, выражавшим присутствие здравого смысла, добродушной доверчивости и большой терпеливости. По общему выражению больших и в своем роде прекрасных темно-карих глаз и всей его физиономии и движениям головы он напоминал бычка — молодого, смирного и добронравного заводского бычка. Он все потихоньку отматывал головою в одну сторону и, очевидно, мог так мотать долго, но потом мог и боднуть, не разбирая, во что попадет и во что ему самому это обойдется. Теперь в больших карих глазах у бычка как раз светилось отражение большой, свежеперенесенной и тяжкой обиды, после которой он только боднул и еще не совсем успокоился. Довольно полное лицо его то бледнело, то покрывалось краскою гнева, внезапно набегавшею и

разливавшеюся под загорелою и огрубевшею от морского ветра кожею.

Все это отчетливо и ясно бросилось мне в глаза, когда я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас же схватил за руки и, весело смеясь, закричал:

— Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте скорее сюда, сюда... Вот вам рекомендую — Иван Никитич Сипачев.[1] Отличный, образованный человек, говорит на трех языках, и мой духовный сын, и музыкант, и певец, и все что хотите... Ха-ха-ха!.. Любите меня — полюбите и его... Ха-ха-ха!.. Вы думаете, что Иван Никитич буян и разбойник?.. Ха-ха-ха! Он смирный, как самый смирный теленок.

Мне Иван Никитич казался бычком, а отец Федор его почитал теленочком: разница выходила небольшая, и если он даже отцу Федору кажется не страшным, то уже, верно, он в самом деле не страшен.

А отец Федор продолжает свою рекомендацию и говорит:

— Ивану Никитичу с вами надо объясниться... Это не он придумал, а я, я. Вы меня за это простите. Вы меня за это простите. Он растерялся и придумывал бог знает что... Хотел на себя руки наложить, а я его удержал. Я говорю: «Этот человек мне знаком, пойдите к нему и объяснитесь...» Он — «Ни за что! — говорит. — Я так себя вел». А я говорю: «Что же теперь делать! Надо все объяснить... Объяснить с русской точки зрения, а не стреляться и не сваливать себя в гроб собственною рукою». Иван Никитич прибегает сегодня чем свет, будит меня и что говорит... Вы только подумайте, вы подумайте, вы вспомните, что вы мне говорили! — обратился он к офицеру. — Ай-ай-ай! Ай, нехорошо!.. Ай, нехорошо!.. А я утешать словами никого не умею... Что, братцы, делать — не умею. Отец Михаил или отец Константин — те умеют, а я не умею. Я только сказал: «Отложи попечение! Все это еще, может быть, обомнется». Так это или нет?

Офицер тихо качнул головой и сказал:

---

[1] Имя, отчество и фамилия этого с натуры воспроизводимого мною лица в действительности были иные. Имена лиц, которые будут выведены далее, я все заменяю *вымышленными* названиями в соответственном роде. *(Прим. автора.)*

— Так!

— Да, я так его от себя и не пустил и вот так его сюда и привел, — и пусть он сам все расскажет.

— Зачем же это? — говорю.

— Нет, отчего же? Ему легче будет, чтобы о нем не думали дурно. Он сам желает...

В это время и сам моряк отозвался.

— Да, — говорит, — извините: я себя поставил в такое недостойное положение, что мне нельзя оставить без объяснения то, что я наделал. Мне это необходимо... Потребность души... потребность души...

— Вы теперь очень взволнованы, а после можете пожалеть.

— Нет, я не буду жалеть. Я действительно взволнован, но жалеть не буду.

— Вот видите! — поддержал отец Федор. — Пусть он все говорит, — ему будет легче.

— Да, мне будет легче, — подсказал офицер и бросил на скамейку свою фуражку. — Я не хочу, чтобы обо мне думали, что я негодяй и буян и оскорбляю женщин. Довольно того, что это было и что причины этого я столько лет таил, нося в моем сердце; но тут я больше не выдержал, я не мог выдержать — прорвало. Подло, но надо знать, за что. Вы должны выслушать мою повесть.

Отец Федор сблизил мою руку с рукой офицера и подсказал:

— Да, голубчики, — это повесть.

Что же мне оставалось делать? Я, разумеется, согласился слушать оправдание о том, за что были выгнаны воспитанные и милые дамы, из которых одна была жена рассказчика, а другая — ее мать, самая внушающая почтение старушка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Бычок махнул головою в сторону и начал:

— Вы и всякий имеет полнейшее право презирать меня после того, что я наделал, и если бы я был на вашем месте, а в моей сегодняшней роли подвизался другой, то я, может быть, даже не стал бы с ним говорить.

Что тут уж и рассказывать! Человек поступил совсем как мерзавец, но поверьте... (у него задрожало все лицо и грудь) поверьте, я совсем не мерзавец, и я не был пьян. Да, я моряк, но я вина не люблю и никогда не пью вина.

— Не пьет, никогда не пьет, — поддержал отец Федор.

Священник ручается. Надо верить. А он, оказывается, так наблюдателен, что как будто читает на лице все отражения мыслей.

— Мне это стыдно, — говорит он, — стыдно взрослому человеку уверять, что я совсем не пью вина. Ведь я совершеннолетний мужчина и моряк, а не институтка. Отчего бы я и не смел пить вино? Но я его действительно не пью, потому что оно мне не нравится, мне все вина противны. И это, может быть, тем хуже, что я был совершенно трезв, когда обидел и выгнал мою жену и тещу... Да, я был трезв точно так же, как теперь, когда я не знаю, как мне вас благодарить за то, что вы дали им у себя приют, иначе они должны бы были ночевать с детьми в парке или в гостинице, и теперь об этом моем тиранстве знал бы уже целый город. Здесь ведь кишит сплетня. Подняли бы такой вой... «Русский офицер как обращается с своею женою! Мужик, невежа. Женился на баронессе». И все это правда: я русский офицер, и действительно, если вам угодно, по образованию я мужик в сравнении с моею женою, особенно с ее матерью; но ведь они обе знали, что я русский человек, воспитывался в морском училище на казенный счет, но по-французски и по-немецки я, однако, говорю и благодаря родительским заботам кое-что знаю, но над общим уровнем я, конечно, не возвышаюсь и имею свои привязанности. Я каким себя предъявлял им, таков я и есть, так и живу. Я ни в чем их не обманул, ни жену, ни всеми уважаемую мою тещу, между тем как они сделали из моей семьи мой позор и терзание.

Всякий, услышав то, что я говорю, вероятно подумал бы, что, конечно, моя жена мне не верна, что она изменяет своим супружеским обетам; но это неправда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всем своим семейным обязанностям чрезвычайно добросовестно и строго. В этом отношении я счастливей великого

множества женатых смертных; но у меня есть горе хуже этого, больнее.

— Да, гораздо хуже, — вздохнул отец Федор. — Больнее.

Я недоумевал: что же может быть «хуже этого и больнее»?

А мореход продолжал:

— Измена тяжела, но ее можно простить. Трудно, но можно. Женщины же нам прощают наши измены, отчего же и мы им простить не можем? Я знаю, что на этот счет говорят, но ведь это предрассудок. «Чужое дитя!» Ну и что же такое? Ну и покорми чужое дитя. Ведь это не грех, а мы ведь считаем, что мы умнее и справедливее женщин и во всех отношениях их совершеннее. Покорми! И если женщина увлеклась и потом сожалеет о своем увлечении, прости ее и не обличай. Она может перемениться и исправиться. Тоже и они ведь недаром живут на свете и приобретают опыт. Я таких убеждений, и я чувствую, что я все это мог бы исполнить, но этого в моей жизни нет. Этим я не наказан; но то, что я переношу и что уже два раза перенес, да, вероятно, и третий перенесу — этому нет сравнения, потому что это уязвляет меня в самый корень. Это поражает меня до недр моего духа; это убивало моего отца и мать, отторгало меня от самых священных уз с моею родней, с моим народом. Это, наконец, делает меня смешным и жалким шутом, которому тычут в нос шиши. Однако я и это сносил, но когда это повторяется без конца — этого снесть невозможно.

— Извините, — говорю, — я не понимаю, в чем дело.

— Я поясню. У меня был отец старик, и уважаемый старик. Он жил в своем именьице в Калужской губернии, и матушка тоже достойная всякого уважения: они жили мирно, покойно, и их уважали. Я у них один-единственный сын. Есть сестра, но она далеко, замужем за доктором-немцем, на Амуре. У нее уже другая фамилия, а мужского поколения только один и есть — это я. Дядюшка в Москве, отцов брат, старый холостяк, весь век все славянской археологией занимался и забыл жениться. И отец мой и мать, разумеется, были насквозь русские люди, а о московском дяде уж и говорить нечего. Он с Киреевскими, с Аксаковыми — со всеми знаком. Словом, всё самые настоящие родовитые и истинно русские

люди, а из меня вышла какая-то «игра природы». Моя жизнь — это какой-то глупый роман. Но это говорить надо по пунктам.

— И прекрасно! — воскликнул отец Федор, — теперь я вижу, что вы разговоритесь и дело будет хорошо, а я уйду — мне есть дело.

Мы его не удерживали и остались вдвоем в беседке из купы сирени.

Рассказчик продолжал свою страстную и странную повесть.

— Это мой третий брак — на Лине N. Первый раз я был женат в Москве, по общему семейному избранию, на «девице из благословенного дома». Это должно было принести мне большое счастие. Мне тогда было двадцать четыре года, а ей двадцать шесть лет. Она была красива и порочна, как будто она была настоящая теремница, искусившаяся во всех видах скрытности. Один год жизни с нею — это была целая эпопея, которой я рассказывать не стану. Кончилось тем, что она попала, во что не метила, и я ее увидел однажды в литерной ложе, в которую она поехала с родственною нам княгиней Марьей Алексеевной. Я хотел войти, а княгиня говорит: «Это нельзя — твоя жена там не одна». — «Это что?!» — «Это, — говорит, — этикет». Я плюнул и сейчас же ушел из дома и хотел застрелиться или кого-то застрелить. Такое было возбуждение!

Я вам говорил, как я терпимо отношусь к ошибкам женщины; но это там, где есть увлечение, а не там, где этикет. Я не из таких. Я ударился в противный лагерь, где не было этикета. Именно — противный! В душе моей клокотала ненависть, и я попал к ненавистникам. По-моему, они были не то, за что слыли. Впрочем, я дел с ними не наделал, а два года из своей жизни за них вычеркнул. Жена из «благословенного семейства» в это время жила за границею и проигралась в рулетку. Вслед за тем дифтерит и ее печальный конец, а мое освобождение. Я никак не могу уйти от внутреннего чувства, которое говорит мне, что эти два события находились в какой-то причинной связи. Я мчался куда-то — черт меня знает куда, и с разбега попал в «общежитие», где одна барышня, представлявшая из себя помесь нигилистки и жандарма, отхватала меня в два приема так, что я опять

ни к черту. Сначала она прозвала меня для чего-то псевдонимом «Левель-вдовец», а потом «во имя принципа» потребовала, чтобы я вступил с нею в фиктивный брак для того, чтобы она могла жить свободно, с кем захочет. Я имел честь всю эту глупость проделать, а она исполняла то, что жила, как хотела, но требовала с меня половину моего жалованья, которого мне самому на себя недоставало. Я вооружился против такой неожиданности. Она явилась к начальству, — меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувствовал унижение сверх меры и, дождавшись вечера, взял пистолет и пошел опять к частоколу у Таврического сада. Мне почему-то казалось, что я непременно там должен застрелиться, чтобы упасть в канаву. Я и упал в канаву, но только с такой раной, от которой скоро поправился. Мой строгий начальник был тронут моим положением и послал меня в отпуск к родным. «Здесь, в Петербурге, скверный воздух, — сказал он. — Поезжайте *домой*. Подумайте там общим семейным судом, как вам облегчить свою участь». Я приехал к отцу и к матери, но что же я им мог рассказать? Разве они, добрые помещики и славяне, могли понять, что такое я наделал? Дяде при конце отпуска я, однако, все открыл. Он говорит:

«Очень скверно; но постой, мне одна мысль приходит. Тебе от этой курносой надо куда-нибудь уйти».

Он поднялся из-за своего письменного стола, походил взад и вперед по комнате в своем синем шелковом халате, подпоясанном красным мужичьим кушаком, и стал соображать:

«Есть какая-то морская служба в Ревеле. Там теперь живет баронесса Генриета Васильевна. У себя в Москве мы ее звали Венигретой. Она замечательно умная, очень образованная и очень добрая женщина, с прямым и честным характером. Я ее знал, когда она еще была воспитательницею и без всяких интриг пользовалась большим весом, но не злоупотребляла этим, а напротив — делала много добра. Она должна быть и там, в своей стороне, с большими связями. Немцы ведь всегда со связями, а Венигрета Васильевна в свое время много своих немцев вывела. У нее непременно должны быть и в вашем ведомстве люди, ей обязанные. Я ей напишу, и знаю как напишу — совершенно откровенно и правду.

Я говорю:

— Всего-то лучше не пишите, — совестно.

— Нет, отчего же?

— Да что уж такую глупость без нужды рассказывать!

— А-а, нет, ты этого не говори. «Быль молодцу не укор», а немки ведь, братец, сентиментальны и на всех ступенях развития сохраняют чувствительность. Они любят о чем-нибудь повздыхать и взахаться! Ah, Gott! Ah, Herr Jesu! Ah, Himmel! [1] Вот до этого-то и надо возогреть Венигрету! Тогда дело и пойдет, а без этого им неповадно.

Написал дядя в Ревель баронессе Венигрете, и враз дней через десять оттуда письмо, и самое задушевное и удачное, и как раз начинается со слов: «Ah, mein Gott!..» [2] Пишет: «Как я была потрясена и взволнована, читая письмо ваше, уважаемый друг. Бедный вы, бедный молодой человек, и еще сто раз более достойны сожаления его несчастные родители! Как я о них сожалею. Schreckliche Geschichte! [3] Я думала, что такие истории только сочиняют. Бедный ваш племянник! Я прочитала ваше письмо сама, а потом местами прочитала его моей дочери Лине и племяннице Авроре, которую мать прислала ко мне из Курляндии для того, чтобы я прошла с нею высший курс английского языка и вообще закончила образование, полученное ею в пансионе. Понятно, что я передала девочкам только то, что может быть доступно их юным понятиям об ужасных характерах тех русских женщин, которые утратили жар в сердце и любовь к всевышнему. Бедные дети были глубоко тронуты страданиями вашего молодого Вертера и отнеслись ко всему этому каждая сообразно своим наклонностям и характерам. Дочь моя Лина, которой теперь семнадцать лет, тихо плакала и сказала: «Ah, mein Gott! Я бы не пожалела себя, чтобы спасти жизнь и счастие этому несчастному молодому человеку»; а маленькая Аврора, которой еще нет и шестнадцати лет, но которая хороша, как ангел на Каульбаховской фреске, вся исполнилась гневом и, насу-

[1] Ах, боже! Ах, господи Иисусе! Ах, небо! *(нем.)*.

[2] Ах, боже мой! *(нем.)*.

[3] Страшная история! *(нем.)*.

пив свои прямые брови, заметила: «А я бы гораздо больше хотела наказать таких женщин своим примером». У вашего претерпевшего юноши здесь теперь есть друзья — не одна я, старуха, а еще два молодые существа, которые его очень жалеют, — и когда он будет с нами, они своим чистым участием помогут ему если не забыть, то с достоинством терпеть муки от ран, нанесенных грубыми и бесчеловечными руками его сердцу».

Это так именно было написано. Я привожу вам это письмо хотя и на память, но совершенно дословно, как будто я его сейчас читаю. Оно было получено мною в такой момент моей жизни, когда я был в пух и прах разбит и растрепан, и эти теплые, умные и полные участия строки баронессы Венигреты были для меня как послание с неба. Я уже не добивался того, есть ли какая-нибудь возможность устранить меня от Петербурга и убрать в спокойный Ревель; но меня теперь оживило и согрело одно сознание, что есть где-то такая милая и добрая образованная пожилая женщина и при ней такие прекрасные девушки. С направленскими дамами, с которыми я обращался, в моей душе угасло чувство ютливости, — меня уже даже не тянуло к женщине, а теперь вдруг во мне опять разлилось чувство благодарности и чувство приязни, которые манили меня к какой-то сладостной покорности всем этим существам, молодым особенно. А между тем в письме баронессы было полное удовлетворение и на главный, на самый существенный вопрос для моего спасения от скандализовавших меня в Петербурге нападок. Она извещала, что просила за меня своего брата, барона Андрея Васильевича Z., начальствующего над известною частью морского ведомства в Ревеле, и что я непременно получу здесь место. А вслед за тем последовал надлежащий служебный запрос и состоялся мой перевод.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я, разумеется, был так рад, что себя не помнил от радости и сейчас же навалял баронессе Венигрете самое нелепое благодарственное письмо, полное разной чувствительной чепухи, которой вскоре же после отправления

письма мне самому стало стыдно. Но в Ревеле это письмо понравилось. Баронесса ответила мне в нежном, почти материнском тоне, и в ее конверте оказалась иллюминованная карточка, на которой, среди гирлянды цветов, два белые голубка или, быть может, две голубки держали в розовых клювах голубую ленту с подписью: «Willkommen».[1] Детское это было что-то такое, точно или меня привечали, как дитя, или это было от детей: «Милому Ване от Лины и Авроры». Надписано это не было, но так мне чувствовалось. Я был уверен, что этот листочек всунули в конвертик или ручки мечтательной Лины, или маленькая лапка энергической и гневной Авроры, которая хочет всем пример задать. И я унес этот листок в свою комнату, поцеловал его и положил в бумажник, который всегда носил у своего сердца. Во мне не только шевелилась, но уже жила самая поэтическая и дружественная расположенность к обеим девушкам. Я ожил и даже начал мечтать, хотя очень хорошо знал, что мне мечтать не о чем, что для меня все кончено, потому что я погубил свою жизнь и мне остается только заботиться о том, чтобы избегать дрянных скандалов и как-нибудь легче влачить свое существование.

Словом, я сюда рвался и летел и, не зная лично ни баронессу, ни девиц, уже любил их от всего сердца и был в уверенности, что могу броситься в их объятия, обнимать их колени и целовать их руки. А пока я только обнимал и целовал дядю, который устроил мне это совершенное благополучие.

Но родители мои, к которым я вернулся, чтобы проститься, отнеслись к этому холоднее и с предосторожностями, которые мне казались даже обидными. Они меня всё предостерегали. Отец говорил:

— Это хорошо, — я ни слова не возражаю. Между немцами есть даже очень честные и хорошие люди, но все-таки они немцы.

— Да уж это, — говорю, — конечно, как водится.

— Нет, но мы обезьяны, — мы очень любим подражать. Вот и скверность.

— Но если хорошему?

— Хоть и хорошему. Вспомни «Любушин суд». Не-

---

[1] Добро пожаловать (*нем.*).

хорошо, коли искать правду в немцах. У нас правда по закону святу, которую принесли наши деды через три реки.

— Пышно, — говорю, — это как-то чрез меру.

— Да, это пышно, а у них, у немцев, хороша экономия и опрятность. В старину тоже было довольно и справедливости: в Берлине раз суд в пользу простого мельника против короля решил. Очень справедливо, но все-таки они немцы и нашего брата русака любят переделывать. Вот ты и смотри, чтобы никак над собою этого не допустить.

— Да с какой же, — говорю, — стати!

— Нет, это бывает. У них система или, пожалуй, даже две системы и чертовская выдумка. Ты это помни и веру отцов уважай. Живи, хлеб-соль води и даже, пожалуй, дружи, во всяком случае будь благодарен, потому что «ласковое телятко две матки сосет» и неблагодарный человек — это не человек, а какая-то скверность, но похаживай почаще к священнику и эту суть-то свою, — нашу-то настоящую русскую суть не позволяй из себя немцам выкуривать.

— Да уж за это, — говорю, — будьте покойны, — и привел ему шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути из нас ничем не выкуришь».

А отец поморщился:

— Твой Тургенев-то, — говорит, — сам, братец, западник. Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море, так своей сути и лишился.

— Да и Некрасов тоже, — хотел было я продолжать, но при этом имени отец меня перебил и погрозился.

— Этого, — говорит, — уж и совсем не трожь, — этот чего еще ненадежнее. Сам и зуд зудит, сам и расчес расчесывает, и взман манит, и казнить велит; сам просит: «Виновных не щади!» Нет, нам надо чистые руки... Вот как Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы — вот с кого нам надо пример брать. Самарин-то — ведь он был в этом, в их Колыванском краю, но они небось его не завертели. Думали завертеть, да он им шиш показал. И ты будь таков же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шиш. Помни это и чаще к духовенству похаживай и мне пиши. Я тебе буду отвечать и укреплять тебя в направлении, а по воскресеньям непременно к священнику похаживай. Какой ни есть поп — он не тут, так там, не в

церкви, так за пирогом, а все патриотическое слово скажет. А проездом через Москву появись Аксакову. Скажи, что я тебе говорил, и послушай, что он еще тебе скажет. Он мужик вещий!

Матушка наказала только в Москве у Иверской покропиться.

— А за прочее, — сказала она, — я за тебя уж не боюсь — ты уже так себя погубил, что теперь тебя от женщин предостерегать нечего: самая хитрая немка тебя больше спутать не может; но об опрятности их говорят много лишнего: я их тоже знаю, — у нас акушерка была Катерина Христофоровна; бывало, в котором тазу осенью варенье варит, в том же сама целый год воротнички подсинивает.

Дядя повел меня в Москве к Аксакову.

— Нельзя, — говорит, — без этого. А когда станешь с ним разговаривать, то помни, какого ты роду и племени, и пускай что-нибудь от глаголов. Сипачевы, братец, издавна были стояльцы, а теперь и ты уже созрел — и давай понимать, что отправляешься для борьбы.

Я, признаться, совсем этого не думал, но промолчал и был представлен Аксакову, который, узнав о моей «миссии», долго смотрел мне в глаза и сказал:

— Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой. Мы должны быть хозяевами на Колыванском побережье. Ревель — ведь это наша старая Колывань!

И дядя тоже вспомнил про «Колывань». Когда мы «шествовали» от Аксакова домой, дядя меня поучал:

— Если встретишь добрый привет в *колыванском семействе* (так именовал он семью Венигреты), будь им благодарен, но не увлекайся до безрассудства, дабы не ощутить в себе измены русским обычаям. Лучше старайся сам получить влияние на них.

Я чувствовал, как будто все это что-то фальшивое. Какая Колывань? Какая моя там «миссия»? На кого я мог влиять и кому стану показывать «шиш», когда я сам какая-то чертова кукла и нуждаюсь в спасении бегством!

Было в этом во всем даже нечто детски-эгоистическое: никакого внимания к душевному состоянию человека, а только *свой вкус* и баста! Можно было думать, что и этим, как и другим, до *личного счастья* человека нет никакого дела!

Все, к чему я сам стремился, заключалось именно только в том, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это были настроены все мои помыслы, в этом, на мой взгляд, состояла вся моя «миссия» на Колыванском море. Но тем более я спешил на эту Колывань, к своим колыванским «друзьям», и действительно встретил друзей прелестных.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Баронесса Венигрета Васильевна жила в своем домике в новой части города. Она была небогата. Муж, которого она, по всем вероятностям, очень любила, умер очень рано и ничего ей не оставил, кроме честного имени и дочки Лины. Баронесса была красавица и отлично образована, что, впрочем, не редкость между женщинами из остзейской аристократии — даже и в захудалых родах. Благодаря этому образованию, а также, конечно, хорошим связям, Венигрета Васильевна попала в воспитательницы. Она окончила свое дело с честию и пять лет перед этим отпущена с пенсиею, которой ей было довольно на то, чтобы жить с дочерью в своем городке безбедно. Она имела полную возможность остаться и в Петербурге, но свет ей прискучил, и она предпочла возвратиться под свой отчий кров, где у них еще была жива бабушка. Смешного в баронессе не было ровно ничего: напротив, она всегда была препочтенная и всем внушала к себе уважение. Прозвать ее «Венигретой» могло только наше русское пустосмешество.

Домик, где жила семья баронессы, был небольшой, но прехорошенький, с флигельком в три комнаты, где жила бабушка, которую и я застал еще в живых, и при доме прелестнейший садик. Словом, настоящее жилище честной немецкой образованной семьи.

Когда я сюда первый раз пришел, мне показалось, что я вступил в рай и встретил ангелов. О баронессе нечего и говорить: вы и теперь еще видите, какая это женщина, — она всем внушает почтение. И она его стоит, и больше того стоит. Лина... вы тоже видите... Ангел. Кузина Аврора — эта вся блеск и аромат; даже старая бабушка, которой тогда было восемьдесят лет, и та была очарова-

ние: беленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Приняли они меня — я хотел бы сказать: как родные, но я никогда не видал, чтобы у нас самые лучшие родные умели так принять человека, так тихо и просто, а в то же время ласково и деликатно.

Я тут и привился. Меня пригласили приходить всякий день, и я это буквально исполнял. Прекрасный, тихий и всегда приятный образ жизни «кольванского семейства» охватил меня со всею душою. Мы сошлись во всех вкусах. Я любил домашнюю жизнь — и они тоже. Я любил литературу — они, кажется, еще более. Не было образованного языка, который им был бы недоступен. Я немножко музыкант, а они все артистки. Лина с матерью играли в четыре руки на фортепиано, я на флейте, а Аврора на скрипке. Да, эта миниатюрная фея играла на скрипке твердо и сильно, как бравый скрипач в оркестре. Кроме того, обе девушки занимались живописью на материи и на фарфоре, и произведения их в обоих этих родах были так замечательны, что их покупали за границу. Было кем и чем залюбоваться и не скучать домоседством, а даже забывать свое горе. Мой здешний начальник, брат баронессы, барон Андрей Васильич, тоже был их ежедневный гость и очень одобрял установившуюся у нас дружбу. Он был гернгутер и чудак, но человек глубокой честности и благородства. Терпеть не мог кутежей и разгула и очень утешался моим поведением.

— Что может быть этого лучше, — говорил он, — как встретить утро молитвою к богу, днем послужить царю, а вечер провести в образованном и честном семейном доме. Вас, мой юный друг, сюда привел божий перст, а я всегда рад это видеть и позаботиться о таком благонравном молодом человеке.

Я уж не знаю, было ли ему известно все, что я натворил до этого времени, но он был ко мне неимоверно милостив и действительно позаботился обо мне, как никто из русских, а баронесса и вообще все женское поколение знали все мои бедствия. И это их престранно занимало, особенно баронессу, которая имела общие понятия о тогдашних наших русских «сеяниях и веяниях», но интересовалась подробностями. Она, впрочем, и вообще любила говорить о нравах, причем обнаруживала удивительную и привлекательную терпимость, свойственную только боль-

шому уму, доброму сердцу и большой опытности. Так, например, поговорив раз со мною наедине о тех и других «дикостях», она умолкла, потом сложила в корзинку свою работу и, поднявшись с места, сказала с каким-то возвышенным чувством:

— Да! Спаси боже нас от них, но спаси и их от нас. Они ужасны, а мы слишком мало делаем или ничего не делаем для того, чтобы они стали иными.

Я вскочил и поцеловал ее руку, а она поцеловала меня в голову и добавила:

— Да будет прощен и пощажен и от века наказанный.

Я понял ее религиозное настроение и ответил:

— Аминь.

К беседам такого рода мы возвращались, бывало, не раз. Часто, как усядемся у лампы, они с работою, а я начну читать для них французскую или немецкую книжку, так разговор незаметно опять и свернем на эти «ужасные сердца и противные вкусы». И смотришь — опять я уже, как оный венецианский мавр, рассказываю что-то, а они слушают, бабушка тихонько посвистывает носом и спит, баронесса слушает и изредка покачивает головою, а девушки опустят руки с работой и смотрят в глаза мне: Лина с снисходительным состраданием, а Аврора с затаенным гневом.

Так мы достигли одного вечера ранней весною, когда «наша бабушка» один раз, по обыкновению, уснула в своем кресле и более не проснулась. Мы ее хоронили очень для меня памятным образом. Может ли что-нибудь нравиться в погребальном обряде? Одни только русские репортеры пишут про «красивые» гроба и «прекрасные» похороны; однако обычай, как хоронили бабушку, и мне понравился. Старушка лежала в белом гробе, и вокруг нее не было ни пустоты, ни суеты, ни бормотанья: днем было светло, а вечером на столе горели обыкновенные свечи, в обыкновенных подсвечниках, а вокруг были расставлены старинные желтые кресла, на которых сидели свои и посторонние и вели вполголоса тихую беседу о *ней* — припоминали ее жизнь, ее хорошие, честные поступки, о которых у всех оказались воспоминания. Она любила, была несчастлива — муж ее, французский выходец, был ревнивец, мот и игрок, он ее бросал и опять находил, когда ему не за кого было, кроме нее, взяться, и вдруг

оказался женатым, раньше ее, на польке из Плоцка. Когда эта жена явилась с тем, чтобы донести на него, — его ударил паралич, бабушка сейчас же отдала претендентке свое именьице в Курляндии и осталась при разбитом и была его ангелом, а потом удивительно воспитала сына Андрея и дочерей — Генриету и Августу, которая была матерью кузины Авроры и жила за Митавой.

Этот рассказ так расположил слушателей к лежавшей во гробе бабушке, что многие попеременно вставали и подходили, чтобы посмотреть ей в лицо. И как это было уже вечером, когда все сидевшие здесь сторонние люди удалялись, то вскоре остались только мы вдвоем — я и Лина. Но и нам пора было выйти к баронессе, и я встал и подошел ко гробу старушки с одной стороны, а Лина — с другой. Оба мы долго смотрели в тихое лицо усопшей, потом оба разом взглянули друг на друга и оба враз произнесли:

— Какой благородный характер!

С этим я протянул свою руку, чтобы коснуться руки доброй старушки, и вздрогнул: рука моя возле самой руки мертвой бабушки прикоснулась и сжала руку Лины, а в это же самое мгновение тихий голос из глубины комнаты произнес:

— Тот же самый характер есть у живой Лины.

Мы оглянулись и увидали Аврору, которая сидела за трельяжем, где мы ее ранее не заметили.

Это не был повод сконфузиться, но и я и Лина — оба сконфузились.

Лина отошла и тихо сказала:

— Друг мой Аврора, к несчастью — это не так.

А Аврора ей отвечала:

— Нет, друг мой Лина, *для меня* — это так.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После этого происшествия у гроба я не спал целую ночь, и с этого случая меня не оставляло чувство необъяснимой и страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я, по приглашению баронессы и по совету барона Андрея

Васильевича, перешел жить во флигель старушки. Барон говорил:

— Это перст божий! (Он везде видел перст божий.) Вы должны быть как сын и как брат у ваших достойных друзей.

— О, я очень рад, — отвечал я.

— Да, да; я верю, что вы их любите.

— Конечно, барон: они показали мне так много добра.

— Прекрасно, прекрасно! Вы благородный молодой человек, — сказал мне барон и, пожав мою руку, тихо заплакал от умиления.

Я поселился и стал жить еще ближе к ним и совсем слился душою с этими женщинами. Меня приглашали приехать повидаться в Москву и в Калужскую губернию, — я не ехал и чувствовал, что это не надо. Станут расспрашивать, а я не хотел, чтобы меня расспрашивали и как-нибудь называли — или шутливо, или обидно-снисходительно. Я даже мучился, когда в получаемых письмах отца были напоминания: смотреть — не онемечиться с немками. «Держи ухо востро. Дружи, а камень за пазухой носи, — чтобы шиш взяли». Все это меня мучило и казалось мне напрасно, неделикатно и нечестно. Как я мог говорить или слушать о них что-нибудь, кроме похвал и восторгов? Я никогда и во всю мою жизнь не жил так мирно и хорошо, как теперь. Всегдашний мир, всегдашняя целомудренная простота, доведенная до пределов в нашем обществе невероятных. Моя квартира — это был рай, и я знал, я не мог не знать, что эти букеты цветов на столе переменяет не толстая эстонка-служанка, с которою я мог говорить только одно слово «еймуста», то есть «не понимаю». Мое белье — и то было осмотрено, и это меня сначала мучило. Я не мог спросить и не мог не догадываться, что за этим смотрят такие образованные женщины, которые в другой среде гнушались бы подобными занятиями — нашли бы их с своим положением несовместными, даже, пожалуй, шокирующими и унизительными. Английская литература, поэзия, классическая музыка, живопись на фарфоре — и мои полотенца! Но у них все это мирилось вместе.

Лето проходило. Аврора ездила к матери в Курляндию и возвратилась. Мы ее нетерпеливо ждали и разучили ко встрече ее новый вальс Шопена. Аврора приехала несколькими днями раньше, чем обещала, но нимало не по-

правилась, а даже как будто похудела и имела вид «грозный». Мы так над нею шутили, и она шутила и улыбалась, но потом через минуту ее очаровательное детское лицо опять становилось «грозно». Она стала как будто уединяться и осенью, когда уже с деревьев сыпались листья, не позволяла снять качель и своего гамака, в котором она всегда любила лежать и качаться, как индианка. На участливые вопросы Лины, отчего она стала держать себя несколько странно, Аврора долго не отвечала, а потом один раз сказала:

— Не спрашивай меня: у меня есть предчувствия.

— Какие?

— Ах, вот ты как любопытна! Я боюсь, что дождь повредил шнурки моего гамака, и он оборвется.

И она с этим так сильно повернулась в гамаке, что выпала из него на землю и до слез больно подвихнула себе ногу.

Это произвело в доме тревогу, и мы целые сутки клали лед к больной ноге Авроры; а через несколько дней она стала ходить с палочкой, причем в ее фигуре и походке обнаружилось чрезвычайно большое сходство с покойной бабушкой. Оно было так велико, что сначала всех нас удивило и заставило улыбаться, а потом показалось и поразительным.

— Вот видишь, — говорила Авроре Лина, — не я, а ты будешь похожа на бабушку.

— Да, я похожа, но только наружно, а ты внутренно: у тебя прекрасное сердце, а у меня — злое. Ты вестник жизни и свободы, — я вестник смерти и неволи. Я деспот.

Лина и я рассмеялись, Аврора же продолжала быть веселою и в самый этот день действительно сделалась «вестником смерти».

Я никогда не забуду этого важнейшего дня в моей жизни. Он был день свежий и ясный. Солнце ярко обливало своим сверканьем деревья, на полуобнаженных ветвях которых слабо качались пожелтевшие и озолотившиеся листья, в гроздах красной рябины тяжело шевелились ожиревшие дрозды. Баронессы и Лины не было дома, служанка работала на кухне, Аврора качалась с книгою в руках в своем гамаке, а я составлял служебный отчет в своей комнате. Ради прекрасного дня окна в сад у меня были открыты.

Сильно занятый вычислениями, я слышал среди работы, что как будто стукнул молоток у запертой входной двери, а потом как будто мимо окон промелькнула стройная фигурка Авроры. Я подумал, что, вероятно, некому отпереть двери, и Аврора сама пошла это сделать. Конечно, было бы вежливее, если бы я ее предупредил, но мне было некогда, я сводил сложное вычисление и сейчас же опять в него погрузился.

Однако мне в этот раз не суждено было кончить мою работу, потому что в окно ко мне влетело и прямо упало на стол письмо в траурном конверте, с очень резкими и, как мне показалось, чрезмерно широкими черными каймами по краям и крест-накрест.

Я вздрогнул и взглянул в окно, — от него тихо и молча отходила Аврора.

«Вестник смерти»! — промелькнули у меня в памяти ее слова.

Женщины, которая так предательски меня обманула и опошлила мою жизнь, не было больше на свете. Моя жена умерла так же гадко и скандалезно, как жила. О ее смерти меня извещала ее сестра, шедшая с нею некогда тем же беспорядочным путем, но более ловко воспользовавшаяся случаем, чтобы свернуть на торную дорогу приличий. Я с нею едва был знаком, но знал, что она притворщица и лицемерка. Как все неискренние люди, желающие казаться не тем, что они есть на самом деле, она пересаливала и была несносна в своем новом направлении точно так же, как была противна в прежнем. От этого, может быть, и траур на ее конверте был слишком жирен для обозначения горя. Известительное письмо носило те же следы неумеренности: она писала, что ее сестра «довела себя до крайних положений и сама прекратила свою жизнь бестрепетною рукою». Затем шло описание самого этого происшествия и потом выражение участия ко мне: «Вы свободны, и да благословит вас бог бóльшим счастием, чем вы имели».

Я, как гоголевский городничий, мог тоже сказать: «Боже благослови, а я не виноват». Но, как бы там ни было, — я свободен, во второй раз свободен, и теперь я уже умею ценить свободу и ее не процыганю.

И первая мысль, которая явилась в моей голове вслед за сознанием моей свободы, была мысль о том, как я дол-

жен повести себя с этим известием перед «колыванским семейством».

Скрывать это от них я бы не хотел, но мне казалось неловко и сообщать об этом баронессе. Печаль в моем лице была неуместна, равнодушие — глупо, а радость — противна. Другое дело девицы: они молоды, и я с ними короче.

Аврора проходила с книгою со своего гамака. Я ее позвал. Она остановилась.

— Не поставьте себе в труд пробежать это письмо.

Она посмотрела на листок и не приняла его, а спросила:

— В чем дело?

Я неловко и застенчиво сообщил ей новость. Аврора выслушала ее так спокойно, как будто она это знала, и отошла, не сказав мне ни одного слова. Непосредственно затем она вошла в дом, и через минуту оттуда, из залы, послышались трудные упражнения на скрипке. За ними служанке не слыхать было, как снова ударил дверной молоток. Я пошел и открыл двери.

Это возвратились баронесса и Лина. У Лины развязалась и упала одна из ее покупок. Я ее поднял и стал завязывать. Баронесса тем временем вошла в дом, а мы остались вдвоем на дворе.

Стоя на одном колене и на другом обвязывая развязавшийся узел, я почти безотчетно достал из кармана полученное письмо и сказал: «Пожалуйста, прочтите», а сам опять опустил глаза к узлу и когда поднял их, то увидал, что за минуту перед этим свежее и спокойное лицо Лины было покрыто слезами.

Она поспешно сунула мне назад письмо, воскликнула: «Gott! O Gott!»[1] и скрылась в доме. Аврора теперь стояла у окна, и я видел ее белую маленькую руку и тонкие пальцы, красиво державшие смычок, выводивший фугу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я никогда не желал никому зла. Да; никому, и потому не желал и смерти моей мучительнице и не ожидал, что это случится. Еще более, я считал бы за отвратительную гадость мечтать о свободе, пока эта женщина была жива;

[1] Боже! О боже! *(нем.)*.

но «ведь воля дорога и птичке», а тем более молодому человеку, каким я был тогда, семь лет тому назад. Я чувствовал, что у меня опять есть перья в крыльях, есть шанс на долю счастья в жизни, но мне было странно, что вместе с этим оживляющим меня сознанием я чувствовал мертвящую немощь перед тем, что мне надо объявить свою новость баронессе.

Как? в каких выражениях я ей скажу это?

Я ее так уважал и так дорожил ее мнением, что не мог придумать, каким образом это выразить так, чтобы не вышло ни непристойной радости, ни неуместного и притворного сокрушения. Но я над этим напрасно ломал голову: мне вовсе и не пришлось говорить об этом баронессе; но у меня также и не оставалось места ни для подозрения, что она этого не знает, ни для недоумения, как она к этому относится.

За столом у нас был такой обычай, что, прежде чем сесть на свои места, все становились на минуту за своими стульями и брались руками за их спинки. Баронесса на короткое мгновение поникала головою. Все мы знали, что она в это мгновение произносила мысленно короткую молитву. Лина тоже следовала примеру матери. Я и Аврора не наклонялись. Это никого не раздражало и не обижало. Здесь понимали, что верить и не верить — это не во власти человека, и о вере не спорили, а прямую искренность умели уважать выше притворства. Потом Лина снимала крышку с суповой вазы, и мы садились, а баронесса начинала нам раздавать налитые ее рукою тарелки.

Ныне это произошло не так. После того как баронесса нагнула в молчании свою голову, она ее подняла и, не отодвигая, по обыкновению, своего стула, взглянула вверх и произнесла вслух:

— Прости всех и убели их грехи твоею кровию.

Лина сказала «Аминь», и они все — мать, дочь и Аврора — взглянули на меня и сели.

Обед прошел своим чередом. Я все понял. Порою мне думалось: зачем они, протестантки, молились за умершую? Потом мне подумалось, что это они молились и за меня и за других, «за всех». Мне припомнились первые дни и первые разговоры в этом дорогом мне колыванском семействе, и тогдашний вздох баронессы, и ее слова:

«Спаси нас от них, но и их спаси от нас, потому что и мы слишком мало делаем или ничего не делаем».

Какая гармония чувств и ощущений! Какая во всем этом деликатность, и грация, и теплота, и ширь, и свобода! Кто мог бы устоять против тихого, но неодолимого обаяния этого круга, исполненного благодати! Конечно, не я. Если бы я в ту пору, несмотря на мою молодость, в двадцать пять лет не был уже нравственным калекою, с изломанной и исковерканной прошедшею жизнью, — я бы, конечно, занесся мечтами и, может быть, возмнил бы себя вправе претендовать на более тесное сближение с этим семейством. Но провидение дало мне каплю рассудка и каплю честности; я знал всю разделяющую нас бездну, я понимал их недосягаемую для меня чистоту и свою омраченность. Что бы там ни заговорил за меня какой-нибудь софизм, я все-таки был виноват, я путался в недостойных историях, водился с безнравственными людьми, и волей-неволей ко мне все-таки прилипла грязь моего прошедшего. Я знал, что я ни о чем не смею думать и что мне нет, да и не нужно поправки; но тем не менее я вспомнил теперь, что я здесь не крепок, что я тут чужой, что эти прекрасные, достойные девушки непременно найдут себе достойных мужей, и наш теперешний милый кружок разлетится, и я останусь один... один...

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»

Окончив обед, я подошел к баронессе, чтобы поблагодарить ее, и, целуя ее руку, тихо сказал ей:

— Не прогоняйте меня никогда от себя!

Она мне отвечала рукопожатием.

Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то, о чем я не смел и думать, как о высшем и никогда для меня недосягаемом счастье. Следующей весной я был мужем Лины — счастливейшим и недостойным мужем самой святой и самой высокой женщины, какую бог послал на землю, чтобы осчастливить лучшего человека. И это божие благословение выпало на мою горькую долю... и я... я... его теперь утратил, как неразумный зверь или как каторжник. Я не могу жить... я должен себя убить... Я не могу... Но я вам доскажу все, чтобы вы знали, что я наделал и что во мне происходит.

Возвращаюсь к порядку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Все это произошло радением кузины Авроры, в которой, бог ее знает, какое биение пульса и какое кровообращение. Глядя на нее, иногда можно зафантазироваться над теориями метампсихоза и подумать, что в ней живет душа какой-то тевтобургской векши. Прыг туда, прыг сюда! Ей все нипочем. У нас так долго живут в общении с немцами и так мало знают характеры немецких женщин. То есть, я говорю, знают только одну заурядность. У этой же все горит: одна рука строит, другая — ломает, а первая уже опять возводит что-то заново. Ходит по залу с своею скрипкою и всё фуги и фуги... Всем надоела! Случилась надобность ее о чем-то спросить. Вхожу и спрашиваю. Видит — и ни слова не отвечает: идет прямо, прямо на меня, как лунатик, и вырабатывает свою фугу. Пришлось то же самое во второй раз — и опять результат тот же самый. Зато в третий раз нечто совсем особенное: шла, шла, играла, вела фугу, и вдруг у самого моего уха струна хлоп — и завизжала по грифу.

— Лопнуло терпение! — говорю.

— Да! — отвечает. — Когда же вы, наконец, соберетесь?

— Что?

— Сделать Лине предложение!

— Я?!. делать предложение!!. Лине!!!

— Да, я думаю, — *вы,* а не я, и никто другой за вас.

— Да вы вспомните, что вы это говорите!

— О, я все помню и все знаю.

— Разве я смею думать... разве я стою внимания Лины!

— Говоря по совести, как надо между друзьями, конечно, нет, но... произошла роковая неосторожность: мы, сентиментальные немки, мы иногда бываем излишне чувствительны к человеческому несчастию... Если вы честный человек, в чем я не сомневаюсь, вы должны уехать из этого города или... я ведь вам не позволю, чтобы Лина страдала. Она вас любит, и *поэтому* вы ее стоите. А я вас спрашиваю: когда вы хотите уехать?

— Никогда!

— В таком случае... Лина!

— Бога ради! Дайте время!.. Дайте подумать!

— Лина! Лина! — позвала она еще громче.

— А-а! — отозвался из соседней гостиной голос Лины.

— Иди скорей, или я разобью мою скрипку.

Вошла, как всегда, милая, красивая и спокойная Лина.

— Этот господин просит твоей руки.

И, повернувшись на каблучке, Аврора добавила:

— Извини за неожиданность, но из долгого раздумья тоже ничего лучшего бы не вышло. Я иду к Tante!

— Лина! — прошептал я, оставшись вдвоем.

Она на меня взглянула и остановилась.

— Разве я смею... разве могу...

Она тихо ответила:

— Да.

Через неделю Аврора уехала к матери в Курляндию. Мы всё перед баронессой молчали. Наконец Лина сама взялась сказать, что между нами было объяснение. Я непременно ждал, что мне откажут, и вслед за тем придется убираться, как говорят рижские раскольники, «к себе в Москву, под толстые звóны». Вышло совсем не то. Мы с баронессой гуляли вдвоем, и она мне сказала:

— Я не против избрания Лины, хотя я не совсем ему рада. Вы не знаете, почему?

— Знаю. Мое прошлое...

— Совсем нет. Это слишком глупо и жестоко тянуть за человеком весь век его ошибки, но... вы русский!..

— Вы так терпимы, баронесса!.. Так долго жили в России.

— Да, это я.

— А Лина тем более.

— Нет — *вы??*

— Я — все, что вы хотите!

— Просите благословения у ваших родителей.

Я попросил.

Тут и загудели из Москвы «толстые звóны».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Матушка сокрушалась. Она находила, что я уже два раза бог весь что с собою наделал, а теперь еще *немка.* Она не будет почтительна. Но отец и дядя радовались — только с какой стороны! Они находили, что наши стали все

очень верченые, — такие затейницы, что никакого покоя с ними нет, и притом очень требовательны и так дорого стоят, что мужу остается для их угождения либо красть, либо взятки брать.

«Немки лучше», — возвещал отцу дядя из Москвы в Калугу и привел примеры «от иных родов», таких же «столповых», как и наш род Сипачевых. Успокоили отец с дядею и матушку, что «немки хозяйственны и *для заводу добры»*. Так все это мне и было изъяснено в пространных отписках с изъяснением, кто что думал и что сказал и чем один другого пересилил. Матушка, кажется, больше всего была тем утешена, что они «для заводу добры», но отец брал примеры и «от больших родов, где много ведомо с немками браков, и все хорошие жены, и между поэтами и писателями тоже многие, которые судьбу свою с немецкою женщиною связали, получили весь нужный для правильной деятельности покой души и на избрание свое не жаловались». Низводилось это до самых столпов славянофильства. Стало быть, мне и бог простит. Отец писал: «Это твое дело. Тебе жить с женою, а не нам, ты и выбирай. Дай только бог счастия, и не изменяй вере отцов твоих, а нам желательно, наконец, иметь внука Никитку. Помни, что имя Никиты в нашем сипачевском роду никогда прекращаться не должно, а если первая случится дочь, то она должна быть, в честь бабушки, Марфа». Я, разумеется, обрадовался и говорю баронессе, что отец и мать согласны. Она захотела видеть письмо, и я подал это письмо баронессе, а она Лине. Лина покраснела, а уважаемая баронесса не сделала никакого замечания. Я их обнял и расцеловал: «Друзья мои! — говорю, — истинно, нет лучше, как немецкие женщины». И я действительно тогда так думал — и женился. Жена моим старикам письма написала по-русски. Живем прекрасно: Москва и Калуга спокойны и рады — только всё осведомляются: «в походе ль Никитка?» Наконец напророчили! Я пишу: «Лина, кажется, чувствует себя не одною».

Сейчас же и дядя и отец сразу с обеих колоколен зазвонили. «Благословение непраздной и имущей во чреве; да разверзет ее ложесна отрок» и проч. и проч. У дяди всегда все выходило так хорошо и выспренно, как будто он Аксакову в газету передовицу пишет, а отец не был так

литературен и на живчака прихватывал: «Только смотри — доставь мне Никитку!.. Или разве в самом крайнем случае прощается на один раз Марфа». Более же одного раза не прощалось.

Матушка мало умела писать; лучше всего она внушала: «Береги жену — время тяготно», а отец с дядею с этих пор пошли жарить про Никиту. Дядя даже прислал серебряный ковшик, из чего Никиту поить. А отец все будто сны видит, как к нему в сад вскочил от немецкой коровки русский теленочек, а он его будто поманил: тпрюси́-тпрюси́, — а теленочек ему детским языком отвечает: «я не тпруси́-тпруси́, а я Никитушка, свет Иванович по изотчеству, Сипачев по прозва́нию».

Сделался этот Никита Иванович Сипачев моим нравственным или долговым обязательством, которого мне никак избыть нельзя. Итак, жена моя что-то заводское, и я заводский, и наша любовь и счастливый брак наш — все это рассматривается, оценивается только с племенной, заводской точки зрения

— «Никитка! Никитка!»—«Подай Никитку!»—«В походе ли Никитка!» Да что же это, наконец, за родственная глупость и даже унижающее бесстыдство! Ну, а если нет и не будет «в походе» не только Никиты, а даже и Марфы, то что же тогда? Неужто об этом плакать, что ли, или считать это за несчастие и укорять Лину, как это бывало у евреев ветхого завета и у русской знати московского периода? Но, к счастию, мне было чего ожидать, и раздражение на своих было напрасно. Только очень они с этим льнут. Отец пишет, что мать теперь все молится Спорушнице «об имущей во чреве». Писали, что в поминанье Лина у них за здравие записана Катериной, потому что Каролину священник находил неудобным поминать, так как это имя неправославное. Лина — «еретица». Давали мне совет «наклонять жену к вере моих отцов», но надеялись, что «когда будет Никитушка, то она, вероятно, и сама поймет, что это неизбежно. Когда же он родится и станем его крестить, то чтобы поп крестил его непременно настоящим троекратным погружением в купели, а не облил с блюдечка, как будто канарейку». Мать же извещала, что она шьет Никите распашоночки и делает пеленки из старенького, чтобы ему не резало рубцами тельце под шейкой и под мышечками.

Словом, покой мой замутился с этим Никитою. И чем дальше, тем все неотступнее.

Пришли и распашонки и пеленочки, а от дяди из Москвы старинный серебряный крест с четырьмя жемчужинами, а от отца новые наставления. Пишет: «Когда же придет уреченное время — поставь к купели вместо меня стоять дьячка или пономаря. Они, каковы бы ни были, — все-таки верные русские люди, ибо ничем иным и быть не способны».

Все ведь это надо как-нибудь выполнить, а здесь такие приемы не приняты. Непременно придется что-нибудь лгать старикам, а я их так люблю и никогда их не обманывал.

Ожидание Никиты стало меня нервировать и мучить. Зачем они чересчур все это раздувают и о чем хлопочут? Все делалось бы само собою несравненно спокойнее и лучше, если бы они не гнали такой суеты и горячки. Кто родится, того бы и окрестили, и назвали бы Никитою или Марфой, а то я уже стал тревожиться: как, в самом деле, это будет? Или, может быть, и совсем ничего не будет — так пройдет?

Высказался даже в этом духе теще. Баронесса, вязавшая в это время одеяльце, покачала головою и, тихо улыбнувшись, отвечала:

— Нет, это *так* не проходит. А они напрасно так много беспокоятся, и ты стал беспокоен. Тебе бы пока лучше проехаться.

— Куда же, — говорю, — и как мне теперь отлучаться?

— Отчего же? Это даже хорошо. Еще числа Лины далеко, а я попрошу барона — он тебе даст командировку. Проезжайся. Числа далеко.

И я получил командировку, и в самом деле рад был проехаться. Ведь «числа далеко», а Лину оставить с нежно любящею ее матерью нимало не страшно. Да и мой беспокойный вид и нервозность, по словам баронессы, даже нехорошо влияли на настроение духа жены, а ей в ее положении нужно спокойствие.

А заботы родных всё не унимаются: перед самым моим отъездом дядя пишет, что он намерен завещать свой дом, в переулке близ Арбата, Никите, а отец пишет,

что «все наше принадлежит тебе и сыну твоему, первенцу Никите Иванычу Сипачеву».

Я уехал в командировку на особом катере.

Прекрасно! Море, свободная стихия, маяки, запасы, поверки знаков — все это меня развлекло и заняло; но — черт возьми, — чуть только я удалился от своего берега, в моей душе вдруг зародилось какое-то беспокойство, что я обманут, что со мной сыграли какую-то штуку, что я выгнан из дома нарочно, как какой-то дурачок, и вообще со мною играют какую-то комедию.

Кто?.. Кто мог со мною играть комедию? Неужто моя милая, преданная жена, моя кроткая, верная Лина? Или неужто моя теща, баронесса, просвещенная, истинно честная и всеми уважаемая женщина, сочувствующая всему высокому и презирающая все недостойное истинного благородства?.. Невозможно! Не верю наветам коварным.

А какой-то черт шепчет на ухо: «Э, милый друг, все на свете возможно. Стерн, английский великий юморист, больше тебя понимал, и он сказал: «Tout est possible dans la nature» — все возможно в природе. И русская пословица говорит: «Из одного человека идет и горячий дух и холодный». Все твои домашние дамы в своем роде прелестные существа и достойны твоего почтения, и другие их тоже не напрасно уважают, а в чем-нибудь таком, в чем они никому уступить не хотят, — и они не уступят, и они по-своему обработают.

Засыпаю под плащом на палубе и вижу фигуры баронессы и Лины на берегу, как они меня провожали и махали мне своими платками. Лина плакала. Она, наверно, и теперь иногда плачет, а я все-таки представляю себе, будто я нахожусь в положении сказочного царя Салтана, а моя теща Венигрета Васильевна — «сватья баба Бабариха», и что она непременно сделает мне страшное зло: Никитку моего изведет, как Бабариха извела Гвидона, а меня чем-нибудь на всю жизнь одурачит.

Идем под свежим ветерком, катерок кренится и бортом захватывает, а я ни на что внимания не обращаю, и в груди у меня слезы. В душе самые теплые чувства, а на уме какая-то гадость, будто отнимают у меня что-то самое драгоценное, самое родное. И чуть я позабудусь,

сейчас в уме толкутся стихи: «А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой». «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку». Я зарыдал во сне. «Никита мой милый! Никитушка! Что с тобою делают!»

Боцман меня разбудил.

— Вы, — говорит, — ваше благородие, ужасно колобродите и руками брылявитесь! Перекреститесь.

Я перекрестился и успокоился.

В самом деле, что за глупость: ведь я не царь Салтан, и Никитушка не Гвидон Салтанович; не посадят же его с матерью в бочку и не бросят в море!

Так и странствую в таком душевном расположении от одного берегового пункта к другому, водворяю порядки и снабжаю людей продовольствием. И вдруг на одном из дальних островков получаю депешу: совершенно благополучно родился сын, — «sehr kräftiger Knabe».[1] Все тревоги минули: таким именно kräftiger Knabe и должен был появиться Никита! «Sehr kräftiger». Молодец! Знай наших комаринских!

Сами можете себе вообразить, как я после известия о рождении сына нетерпеливо кончал свои визиты к остальным маякам и с каким чувством через две недели выскочил с катера на родной берег этого города, где меня ждали жена и ребенок.

На самой пристани матрос передает приказание моего начальника явиться к нему прямо сию минуту.

Досадно, а делать нечего: еду.

Добрейший барон Андрей Васильевич прямо заключает меня в свои объятия, смотрит на меня своими ласковыми синими глазами и, пожимая руки, говорит:

— Ну, поздравляю, молодой отец, поздравляю! Извините, что я вас задержал и не пустил прямо домой, но это необходимо. Лина еще слаба, ведь она немножко обсчиталась числом, но зато Фриде — славный мальчик.

Я сначала не понял, что такое. Какой Фриде!

— Кто это, — говорю, — Фриде?

— А этот ваш славный мальчик! Мы его вчера окрестили и всё думали: какое ему дать имя, чтобы оно понравилось...

[1] Очень сильный мальчик *(нем.)*.

Я перебил:

— И как же, — говорю, — вы его назвали?

— Готфрид, мой милый, Готфрид! Это всем нам понравилось, и пастор назвал его Готфрид.

— Пастор! — закричал я.

— Да, конечно, пастор, наш добрый и ученый пастор. Я нарочно позвал его. Я другого не хотел, потому что это ведь он, который открыл, что надо перенесть двоеточие после слова «Глас вопиет в пустыне: приготовьте путь богу». Старое чтение не годится.

— Позвольте, — говорю, — но ведь я его задушу моими руками!

— Кого это?

— Этого пастора!

— За то, что он перенес двоеточие?

— Нет, за то, что он смел окрестить моего сына!

Барон выразил лицом полнейшее недоумение.

— Как зачем окрестил сына? Как душить нашего пастора? Разве можно не крестить?

— Его должен был крестить русский священник!

— А!.. Я этого не знал, не знал. Я думал, вы так хотите! Но ведь лютеране очень хорошие христиане.

— Все это верно, но я сам русский, и мои родные русские, и дети мои должны принадлежать к русской вере.

— Не знал, не знал!

— Зачем же мои семейные, жена, теща не подождали моего возвращения?

— Не знаю — судьба, перст...

— Какая, ваше превосходительство, судьба! Судьба вот была в чем, вот чего хотели все мои русские родные!

Рассказал ему все и прибавил:

— Вот какова должна была быть настоящая судьба и имя и вера этого ребенка, а теперь все это вывернули вон. — Я этого не могу снесть.

— В таком случае вы здесь прежде успокойтесь.

— Нечем мне успокоиться! Это останется навсегда, что у меня первый сын — немец.

— Но ведь немцы также очень хорошие люди.

— Хорошие, да я-то этого не ожидал.

— А перст божий показал.

Ну что еще с ним говорить! Бегу домой.

Отворила сама теща, — как всегда, в буклях, в чепце и в кожаном поясе, во всем своем добром здоровье и в полном наряде, — и говорит мне:

— Тссс! Потише... Фриде спит...

— Покажите мне его.

— Подожди, это сейчас нельзя.

— Нет, покажите, а то я сойду с ума! Я лопну с досады.

Показали мне мальчишку. Славный! Я его обнял и зарыдал.

— Ах ты, — говорю, — Никитка, Никитка! За что только тебя, беднягу, оборотили в Готфрида!

Выплакался досыта и ничего не стал говорить до тех пор, пока жена оправилась.

Потом раз выбрал время и говорю:

— Что же это вы сделали, Лина? Как я напишу об этом на Арбат и в Калужскую губернию! Как я его когда-нибудь повезу к деду и бабушке или в Москву к дяде, русскому археологу и историку!

Она будто не понимает этого и ласкается: но я-то ведь понимаю, какое мое положение с новорожденным немцем. Встанут отец и мать: показывай, мол, нам колыванское производство, а что такое я им могу сказать, что я покажу? Вот, мол, я вам оттуда своего производства немца привез!.. Потрудитесь получить — называется Готфрид Бульонович, в ласкательной форме Фриде, в уничижительной — Фридька. Имя не трудное, а довольно потешное. Меня засмеют и со двора с немцем сгонят. Или, еще вернее, мне не поверят, потому что этому и нельзя поверить, чтоб я, калужанин, истинно русский человек, борец за право русской народности в здешнем крае, сам себе первенца немца родил! Ад и смерть.

Прыгал я, прыгал — разные глупости выдумывал, хотел дело поднимать, донос писать, перекрещивать, да на кого доносить станешь? На свою семью, на любимую жену, на добрую и всеми уважаемую тещу Венигрету, которую я и люблю и уважаю!.. Черт знает, что за положение!

Так ничего иного и не мог придумать, как признать «совершившийся факт», а в нем участие «перста», и затем начал врать моим старикам, что случилось несчастие: Никитки, пишу, нет, а вышел фос-куш.

Ничего другого в этом положении не выдумал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Живем наново и опять так же невозмутимо хорошо, как жили. Мой немчик растет, и я его, разумеется, люблю. Мое ведь дитя! Мое рожденье! Лина — превосходная мать, а баронесса Венигрета — превосходная бабушка. Фридька молодец и красавец. Барон Андрей Васильевич носит ему конфекты и со слезами слушает, когда Лина ему рассказывает, как я люблю дитя. Оботрет шелковым платочком свои слезливые голубые глазки, приложит ко лбу мальчика свой белый палец и шепчет:

— Перст божий! перст! Мы все сами по себе не значим ничего. — И прочитает в немецком переводе из Гафиза:

Тщетно, художник, ты мнишь,
Что творений своих — ты создатель.

Меня повысили в должности и дали мне новый чин. Это поправило наши достатки. Прошло три года. Детей более не было. Лина прихварывала. Андрей Васильевич дал мне командировку в Англию для приема портовых заказов. Лине советовали полечиться в Дубельне у Нордштрема, в его гидропатической лечебнице. Я их завез туда и устроил в Майоренгофе, на самом берегу моря. Слагалось прекрасно: я пробуду месяца два за границей, а они у Нордштрема. Чудесный старик-немец и терпеть не мог остзейских немцев, все их ругал по-русски «прохвостами». Больных заставлял ходить по берегу то босиком, то совсем нагишом. В аптечное лечение не верил нисколько и над всеми докторами смеялся. Исключение делал только для одного московского Захарьина.

— Этот, — говорил, — один чисто действует: он понял дело и напал на свою роль.

А похвала эта, впрочем, в простом изъяснении сводилась к тому, что он почитал знаменитого московского врача «объюродевшим», но уверял, что «в Москве такие люди необходимы» и что она потому и крепка, что держится «credo quia absurdum». [1]

Любопытный был человек! Жил холостяком, брак считал недостойным и запоздалым учреждением, остающимся пока еще только потому, что люди не могут найти,

[1] «Верю, потому что абсурд» (*лат.*).

чем бы его заменить; ходил часто без шапки, с толстой дубиной в руке, ел мало, вина не пил и не курил и был очень умен.

Моя теща пользовалась его расположением «как умная немка». Жена моя должна была у него лечиться. После она хотела съездить к Tante Августе в Поланген, где море гораздо солонее.

Я сказал:

— Прекрасно.

— И Фриде с собою возьмем, надо его показать танте и Авроре: она ведь его еще не видала.

— Пожалуйста, возьмите; его только и остается показывать танте Августе да Авроре.

Лина укоризненно покачала головою.

— Какой ты, — говорит, — злой!

— Да, я злой, а вы с своей мамой очень добрые: вы так устроили, что мне своим родным сына показывать стыдно.

— Почему же стыдно?

— Немец!.. лютеранин!

— Ну так что же такое?

— Ничего больше.

— Будто не все равно? Все христиане.

— То-то и есть, верно не все равно. И я так думаю: не все ли равно, а вот по-вашему, видно, не все равно: вы взяли да и переправили его из Никитки на Готфрида.

А жене уж нечего сказать, так она отвечает:

— Ты придираешься. Лишнюю комнату, которая у нас наверху, мы отдадим дяде барону (то есть Андрею Васильевичу).

— Чудесно.

— Ведь мы ему много обязаны.

— Конечно.

— Он очень любит Нордштрема.

— И Нордштрем его любит.

— Правда?

— Да.

— Он тебе говорил это?

— Как же. Он мне говорил, что барон — гороховый шут.

Лина обиделась.

— Я, — говорит, — думаю, что ты шутишь.

— Нет, не шучу; но, впрочем, Нордштрем хотел свести барона с каким-то пастором, который одну ночь говорит во сне по-еврейски, а другую — по-гречески.

Лина заметила мне, что я дерзок и неблагодарен.

В ней была какая-то нервность. Так мы расстались и почти три месяца не видались. В разлуке, в моем настроении, разумеется, произошла перемена: огорчения потеряли свою остроту, а хорошие, радостные минуты жизни всплывали и манили к жене. Я ведь ее любил и теперь люблю.

Андрей Васильевич встретил меня в Риге на самом вокзале, повел завтракать в парк и в первую стать рассказал свою радость. Пастор, с которым познакомил его Нордштрем и который «во сне говорил одну ночь по-еврейски, а другую — по-гречески», принес ему «обновление смысла».

— Что же такое он открыл?

— А, друг мой, — это благословенная, это великая вещь! Я теперь могу молиться так, как до этой поры никогда не молился. Сомненья больше нет!

— Это большая радость.

— Да, это радость. Впрочем, я всегда думал и подозревал, что здесь нечто должно быть не так, что здесь что-то должно быть иначе. Я говорю о «Молитве господней».

— Я ничего не понимаю.

— Но ведь вы ее знаете?

— «Отче наш»-то? — Ну, конечно, знаю.

— И помните прошение: «Хлеб наш *насущный* дай нам сегодня»?

— Да, это так.

— А вот то-то и есть, что это не так.

— Позвольте...

— Да не так, не так! Я и прежде задумывался: как это странно!.. «Не о хлебе человек жив», и «не беспокойтеся, что будете есть или пить», а тут вдруг прошение о хлебе... Но теперь он мне открыл глаза.

— А мне хочется сперва в Дубельн, к жене... боюсь, как бы не пропустить поезда.

— Нет, не пропустим. Вы понимаете по-гречески слово: «επιυσιος»?

— Не понимаю.

— Это значит: *«надсущный»*, а не насущный, — хлеб не вещественный, а духовный... Все ясно!

Я перебил.

— Позвольте, — говорю, — вы мне это что-то еретическое внушаете. Мне это нельзя.

— Почему?

— Я человек истинно русский и православный — мне нужен «хлеб насущный», а не *надсущный!*

— Ах, да! А я теперь в восторге читаю эту молитву и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно и хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленького Волю, и он это сделал...

— Какого Волю?

— А второй сын ваш, Освальд!

— Ничего не понимаю!.. Какой сын?.. У меня один сын, Готфрид!

— Это первый, а второй-то, второй, который месяц назад родился!

— Что?.. Месяц назад?.. Что же он, тоже «επιούσιος», что ли, необыкновенный, *надсущный?* Откуда он взялся?

— Его мать — Лина.

— Но она не была беременна.

— А, этого я не знаю.

Я вне себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе на дачу, и первое, что встречаю, — теща, «всеми уважаемая баронесса». Не могу здороваться и прямо спрашиваю:

— Что случилось?

— Ничего особенного.

— У Лины родился ребенок?

— Да.

— Как же это так?.. Отчего же...

— Что за вопрос!

— Нет, позвольте!.. Как же три месяца тому назад, когда я уезжал... я ничего не знал? В три месяца это не могло сделаться!

— Конечно... Это надо девять месяцев. Зачем же ты это не знал!

— Почему же я мог знать, когда мне ничего не говорили?

— Ты сам мог знать по числам.

— Черт вы, — говорю, — черт, а не женщина! Черт! черт!

Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баронессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней относился!

Ну, дальше что же рассказывать! Разумеется, хоть лопни с досады — ничего не поделаешь! Опять все кончилось, как и в первом случае. Только я уже не истеричничал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил объяснение в мажорном тоне.

Я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло и что я в моих отношениях к семье переменяюсь.

— Как? Зачем переменяться?

— А так, — говорю, — что совсем переменюсь, — вы ведь еще не знаете, какой у меня неизвестный характер.

— А какой неизвестный характер?

— Я вам говорю — «неизвестный». Я и сам не знаю, что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это имейте в виду, если еще раз захотите мне сделать сюрприз по числам.

— Какая глупость!

— Ну вот, смотрите!

У меня явился какой-то дьявольский порыв — схватить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его в море. Слава богу, что это прошло. Я ходил-ходил, — и по горе и по берегу, а при восходе луны сел на песчаной дюне и все еще ничего не мог придумать: как же мне теперь быть, что написать в Москву и в Калугу и как дальше держать себя в своем собственном, некогда мне столь милом семействе, которое теперь как будто взбесилось и стало самым упрямым и самым строптивым.

Вдруг, на счастье мое, — вижу, по бережку моря идет мой благодетель, Андрей Васильевич, один, с своей верной собачкой и с книгой, с библией. Кортик мотается, а сам, как петушок, распевает безмятежным старческим выкриком:

Я устал — иду к покою;
Отче! очи мне закрой,
И с любовью надо мною
Будь хранитель верный мой!

И каким молодцом идет на своих тоненьких ножках и все выше и выше задувает высоким фальцетом:

И сегодня, без сомненья,
Я виновен пред тобой;
Дай мне всех грехов прощенье,
Телу — сон, душе — покой!

Мне стало завидно его бодрости и спокойствию, да и к жизни, к общенью с людьми опять меня поманило, и на ум пришла шутка.

«Нет, постой ты, — думаю, — старый певун: пока ты дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сон и покой, которого просишь, — я тебя пораставлю за то, в чем, кажется, и ты «виновен без сомненья».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея Васильевича.

Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнял.

— Здравствуйте, — говорит, — мой друг, здравствуйте! Какая после чудесного дня становится чудесная ночь! Я в упоенье, — гуляю и молюсь, все повторяю «Отче наш» в новом разночтенье, — благодарю за «хлеб *надсущный»,* и моему сердцу легко. «Сердце полно — будем богу благодарны». А вы как себя чувствуете?.. Вы тоже гуляли?

— Да, гулял.

— Прекрасный вечер. Теперь домой?

— Домой.

— Вот и чудесно, и пойдем вместе. Я не скучаю и один, но с сердечным, с сочувственным и благородно мыслящим человеком вдвоем еще веселей... А вы, верно, узнали все, как это случилось, и тоже спокойны?

— Нет, — отвечаю, — я ничего не узнал, да и не хочу узнавать!

— Да, это перст божий.

— Ну, позвольте... уж вы хоть перст-то оставьте.

— Отчего же? Когда нельзя понять, — надо признать перст.

— А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш, а не перст.

Он остановился, как будто долго не мог понять, а потом помотал перед собою пальцем и произнес:

— Ни-ни-ни! Это перст!.. И вы никогда больше не говорите «шиш», потому что «шиш» это русский нигилизм.

— Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста не вижу. Перст не указывает, как обманывать человека, а здесь обман, и потому я принимаю это за шиш, показанный всему моему дальнейшему семейному благополучию. Семейное счастье мое расстроено...

— Почему?

«Ах ты, — думаю, — тупица этакий! Еще извольте ему разъяснять «почему»!»

— Я не могу больше верить самым близким людям.

— То-то: почему?

«Фу, черт тебя возьми! — думаю. — Ишь в чем у них, между прочим, сила кроется. Чего они не хотят понять, того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этот благочестивый певунок. А я же вас разочарую по-русски, откровенно».

И говорю:

— Я, ваше превосходительство, вам скажу только одно: я вам скажу, до каких острых объяснений у нас дошло с баронессою, которую, как вы знаете, я любил и уважал, как родную мать.

— Знаю, знаю! И она этого стоит.

— Да, а теперь я ей пригрозил.

— Чем?.. Как можно пригрожать!

— Так... сказал, что я больше ничего не потерплю и что у меня есть ужасные черты в характере, которых я сам боюсь.

— Вы это пошутили?

— Нет — совершенно серьезно.

— А что вы, например, можете сделать?

— Не знаю...

— Как же не знаете?

— В том-то для меня и есть самый большой ужас, что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя... как воспитанный человек, как европеец; а потом, если меня станут очень сильно скребсти, — я и освирепею, как бык.

— Как бык!.. Гм!.. Это скверно.

— И я вперед вам говорю, что это может кончиться скверно.

— Например как?

— А например так, что я сегодня было вздумал швырнуть за ноги это дитя.

— Ой, какая гадость!

— Да, это гадость, но ведь и со мною делают нехорошее. Пословица говорит: «против жару и котел треснет».

— Ага! Хорошая пословица. Я очень люблю русские пословицы. Но это не годится. Дитя ничем не виновато.

— Ну, я донос на собственную семью напишу и пошлю.

— Офицер!.. Донос!

— Да, сам на себя.

— Этого никто не делает.

— Нет, делают; в бракоразводных делах даже очень часто делают.

— Нет, уж вы этого не делайте.

— Ну, так вот вы меня, ваше превосходительство, научите, что же мне делать-то, чего держаться и как из себя не выйти?

— Держитесь русской пословицы.

— Которой прикажете?

— «Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты говоришь с генерал-губернатором».

— Такой пословицы нет.

— Есть.

— Да уж позвольте мне, как русскому, лучше знать, что такой пословицы нет.

— Я ее от князя Суворова в Риге слышал.

— Про рижского князя Суворова про самого-то стоит пословицу сложить.

— Это правда, правда. Он фантазер, но добряк. Многое, что было невозможно, он сделал возможным. Его, бывало, попросят — он скажет: «это возможно». Очень жаль, что его больше нет, — и вам было бы хорошо.

— Мне все равно, меня мучит только, как своим родным написать, что у меня всё немцы родятся.

— Да!.. в самом деле: как бы им это написать?

— Я им чистосердечно во всем признаюсь, что я их по вашей милости обманывал и что у меня сына Никиты нет, а есть даже два сына, и оба немца. Пусть и отец и дядя это узнают, и они меня пожалеют и отпишут свое

наследство, находящееся в России, детям моей сестры, русским и православным, а не моим детям-немцам, Роберту и Бертраму.

— Фуй!

— Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой и напишу: мне будет легче.

— Чем же легче?

— Тем, что я не буду больше моих честных стариков обманывать.

Адмирал задумался и прошептал:

— Это тоже правда.

— Конечно, правда.

— А вы первый раз им... о первом ребенке как написали?

— Я тогда солгал.

— А-а! Как жаль!

— Да, я нагло и гнусно солгал.

— Что же именно?

— Свалил все дело на fausse couche.[1]

— Недурно! Очень хорошо! Теперь свалите на фос-кушку!

— Нет, ваше превосходительство, я попробую придумать что-нибудь другое.

— Зачем? Лучше этого не придумаете.

Расстались. Я вернулся домой и в самом деле сел писать чистосердечное признание... Как-то не пишется... Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня всё рождаются немцы, и я не могу этого прекратить.

Черт возьми нашу телегу и все четыре колеса! При случае написал про фос-кушку.

Опять живем. Получил крест, и денег дали.

К жизни охладел, и к тем вопросам, которые приходят из России, охладел. Семья-немцы растут, живу хорошо и очень тихо. Ну их совсем все вопросы! Это надо иметь к ним охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься. И то не здесь и не в колыванской семье. Никитки от меня больше не ждут и не требуют. Все замерло там и приутихло, и во мне, казалось бы, конец. Но только, как пуганая ворона сучка боится, так и я: из дому отлучаться боюсь. Думаю: кажется, безопасно, кажется, ничего нет,

---

[1] Преждевременные роды *(франц.)*.

а между тем бог их знает, какая у них... природа какая-то *«надсущная»*: неравно вернешься, а у них уже и поет в пеленках новый немец.

Этого я не хотел больше ни за что и, признаюсь вам в своей низости, более для этого и с отцом Федором Знаменским познакомился, когда его назначили благочинным. Пошел к нему исповедоваться и говорю:

— Вот что в моем семействе два раза было. Я сам вам об этом объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этим смотреть, чтобы закон не обходили. Я часто бываю в отлучках, а вы смотрите... А то я сам после на вас донесу.

Он испугался и денег за исповедь не взял и вместо отпуска сказал мне «мое почтенье», а доноса не подал.

Трус неописанный. Но зато и без его помощи нечего стало бояться. Одно горе прошло — стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастию угрожало неожиданное бедствие с другой стороны: всегда пользовавшаяся превосходным здоровьем Лина начала хворать. Изменяется в лице, цвет делается сероватый, зловещий.

Я себя не помню от отчаяния. Кляну себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказал, плачу как безумный.

Она меня ободряет и утешает.

— Успокойся, — говорит, — я буду жить.

Мать, баронесса, являет безмерную силу любви и самообладания.

Здешние врачи нашли у нее что-то непонятное. Лина и баронесса отправились в Ригу. Там им сказали, что нужна скорая операция. Рассуждаем: в Петербург или в Берлин? Разумеется, в Берлин: лучше и дешевле. Я не спорю; где больная хочет, пусть там и будет. Детей, чтобы они не оставались одни при моих отлучках по службе, решили завезти по дороге к танте Августе и к кузине Авроре. Так я по необходимой служебной надобности ушел в море тотчас с началом навигации, а они должны были выехать через неделю, когда Лина будет себя немножко крепче чувствовать. Я жду от них в условленных местах известий об отъезде; но сначала писем нет, а потом извещают, что «еще не выехали», после — что «на Лину прекрасно действует покой и воздух», еще позже — что, «к удивлению, можно сказать,

что врачи в Риге, кажется, ошибались и что операции вовсе, может быть, не нужно», и, наконец, — что «Лина поправляется, и они переезжают из города на дачу в Екатериненталь».

Это последнее известие шло долго, и я получил его только две недели тому назад, вместе с другим известием, что дядя из Москвы пишет, что отец мой умер и завещал именьице мне и «моим детям».

Я и обрадовался благоприятной ошибке врачей и очень поскорбел и поплакал об отце, которого давно не видал, а теперь совсем его лишился. И вот вчерашний день, расстроенный всем этим, возвращаюсь домой, влетаю в комнаты, стремлюсь обнять жену — и вижу у нее на руках грудное дитя!

Боже мой! Я ударил себя ладонью в лоб и спросил только:

— Как его имя?

— Гуня.

— Что это значит?

— Гунтер!

— Значит, я и в третий раз обманут!

Выходит баронесса и тихо говорит:

— Никакого обмана нет — это ошибкой подкралось.

Остальное вы сами знаете. Слово «подкралось» так вдруг лишило меня рассудка, что я наделал все, что вы знаете. Я их прогнал, как грубиян. И вот теперь, когда я все это сделал — открыл в себе татарина и разбил навсегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою борьбу, и всю возню из-за Никитки: теперь я хочу одного — умереть! Отец Федор думает, что у меня это прошло, но он ошибается: я не стану жить.

— Вы хотите довольно дешево отделаться, — произнес по-немецки молодой и сильный женский голос, впадающий в контральто.

Мы оба оглянулись и увидели на дорожке, у самой дверцы, стройную молодую девушку, изо всего лица которой, отененного широкими полями соломенной шляпы, был виден один нежный, но сильный подбородок.

Я узнал, что это была Аврора, и почувствовал в душе большую радость. Я здесь становился совершенно излишним, и притом этот разбитый человек теперь будет управлен хорошим кормчим.

Кузина Аврора, конечно, за этим предстала, и, посмотрев на нее, можно было сказать, что она знает, что надо сделать, и что надо, то и будет сделано.

— Умереть легко; надо не умереть и оставить семью без опоры... а *возвратить себе расположение жены и уважение людей* — вот что должно быть достигнуто! — услыхал я через открытое окно своей комнаты и тотчас же поспешил взять шляпу и уйти из дома, чтобы не быть нескромным свидетелем щекотливого и важного семейного разговора. Но живое любопытство и особенное внимание, какое возбуждала к себе эта, так театрально, как будто по пьесе для развязки назначенная, эфирная Аврора, — побуждали меня узнать: что тут случится, что эта оригинальная и смелая девушка выдумает и что устроит. Как она поможет этому бедняку достичь исполнения очень трудной, но в самом деле необходимой и единственно достойной в его положении задачи: «не оставить семью без своей опоры и возвратить себе расположение жены и уважение людей».

Это совсем не песенка из московского песенника на голос: «Когда сын у нас родится — мы Никитой назовем», а это трудная, серьезно задуманная фуга, развить которую есть серьезная цель для всего предстоящего, но зато сколько надо иметь смысла и терпения, чтобы всю эту фугу вывесть одною рукою!

Фуга, как стройный ряд повторяемостей, берется сначала одним голосом без всякого аккомпанемента, и ее основная тема называется «вождем» (Führer), а когда он окончит — другие повторяют то же в ладе доминанты главного тона (Antwort). [1]

Иначе это не идет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В семье, потрясенной описанными событиями, все стало тихо: весь беспорядок прекратился, и как будто ничего особенного и не случилось. Было опять утро, и был вечер в день второй. Я, кажется, больше всех был обеспокоен и боялся взглянуть в сад, а по двору прохо-

[1] Ответ *(нем.)*.

дил не иначе как после обозрения, что путь свободен. На третий день был праздник «Johannes»,[1] соответствующий нашему Купале. Все уезжали in's Grüne[2] на мызу. Там пили, ели, пели и танцевали, а девушки плели венки и украшались ими. И я был там. Много ходил, устал и за небольшую плату, внесенную какому-то рабочему при мызе, поместился отдохнуть на сеносушке. Это была деревянная постройка, сделанная таким образом: внизу сруб небольшой, на нем балки, превосходящие величиною этот сруб, и на них второй, верхний сруб, обширнее нижнего. В этом верхнем срубе — кладовая и сушильня. Выше ее, под самою крышею, оригинальный карниз, состоящий из целого ряда совершенно однообразных и правильно размещенных скворечниц. Здесь свежо, сухо, нет никаких досадительных насекомых, а только скворцы то тихо копошатся в своих скворечнях, то торопливо рокочут, ведя друг с другом торопливые и жаркие беседы на трех огромнейших липах.

Вся площадка, где построена эта сушильня, обнесена высоким частоколом, образовавшим дворик, на котором стояли под навесом два плуга, тележка и омет соломы. Под липами был круглый стол, утвержденный на столбе, две скамейки и самодельный тяжелый стул из карельской березы. В нижнем этаже сушильни было жилое помещение для того работника, который дал мне отрадный приют на сене.

Я спал довольно долго и крепко и проснулся как будто от оживленного говора, который слышался снизу.

Это и в самом деле было так.

При пробуждении своем я услыхал три раза и твердо повторенное:

— Nain! nain! nain!

Это произносил молодой, сильный голос и произносил именно «nain», а не «nein», и притом с усиленною твердостью и с энергией. Голос мне показался знакомым.

Другой, более густой, но тихий голос отвечал:

---

[1] Иоганны *(нем.)*.
[2] На лоно природы *(нем.)*.

— Но ведь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если неправ и даже много виноват я в своей непростительной несдержанности и грубости, для которой я и не ищу оправданий, то ведь неправы и они.

Это был голос моряка Сипачева.

В ответ на его слова опять послышалось то же самое упорное:

— Nain, nain!

— Какое возмутительное упорство!

— Nain, это не упорство. Упорство в тебе.

— Ну, в таком случае это — дикость.

— О да, да! Непременно! Но тебе, может быть, неудобно говорить о дикости! Ведь ты сегодня именинник, мы сегодня пируем здесь твой день, и я тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошлом, а для того, чтобы сказать тебе наедине радость, что открывается в настоящем и будущем.

— Ты всегда живешь в будущем.

— Nain! Я живу *только в настоящем,* но для будущего.

— Слушаю.

— Onkel барон сейчас мне шепнул, что он получил от Литке ответную депешу: тебя назначают на корабль, который вышел в кругосветное плавание. Он теперь уже в Плимуте, и ты должен его догнать; тебе послезавтра надо выехать.

— Гм!.. Прекрасно. Это барон Андрей Васильевич все исполнил по вашей команде, милая Аврора?

— Аврора никем не командует.

— Я готов... готов, и я даже рад, что ты это исхлопотала, Аврора.

— Еще бы не радоваться! Это единственный способ дать всему успокоиться. Ты после возвратишься домой с успокоенным сердцем.

— Да, но только это ведь я возвращусь не ближе как через два года, Аврора.

— Да, это будет *всего* через два года; но если сильно над собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы переделать в себе, что не годится.

— Это все один я должен в себе все переделывать?

— Конечно, ты; но вовсе не все, а только то, что мешает твоему семейному благополучию.

— А два года из жизни вон?

— Почему «вон»? Что употреблено на исправление себя, то не потеряно. Дело не в *долгой* жизни, а в *достойной* жизни.

— А другие в это время ничего не будут в себе ни исправлять, ни переделывать?

— Им нечего переделывать. Разве постараться сделать себя хуже.

Аврора захохотала и шутливо добавила:

— Может быть, ты думаешь, что это и стоило бы для тебя сделать?

— Я думаю, не это, а я думаю, что я вспыльчивый и дурно воспитанный человек, но что и те, кто привел меня в состояние безумного гнева, тоже не правы.

— Nain! — перебила Аврора.

— Вы поступали со мною непростительно дурно.

— Nain!

— Вы поступили зло, упрямо, узко...

— Nain!

— И наконец, бесчестно!..

— Nain!

— Вы отравили мое спокойствие, вы лишили меня возможности откровенных отношений с моими родными, сделали всех детей лютеранами, когда они должны были быть русскими.

— Nain!

Очевидно, ей теперь хоть кол на голове теши — она все будет твердить свое «nain».

Я приложил глаз к одной из резных продушин сушильной стены, чтобы посмотреть на ее лицо. Я хотел видеть, какое оно теперь имеет выражение, — и оно меня неприятно поразило. Это лицо ясно говорило, что Аврора не желает знать никаких доводов и что к справедливости или к рассудку в разговоре с нею теперь взывать напрасно. Она видела только то, что хотела видеть, и шла к тому, чего хотела достигать. Все это можно бы принять за тупость, но такому заключению противоречил быстрый и умный взгляд ее изящ-

ных серых глаз и чертовски твердое выражение подбородка.

Произнося слово «nain», она точно что-то отгрызала и, откусив, даже не смыкала губ, а оставляла их открывши, чтобы опять еще и еще раз что-то перекусить и бросить. Ее белые, правильные зубы были оскалены, как у рассерженного зверька.

Она говорила стоя, поворотясь к собеседнику спиною, и судорожно копала и расшвыривала землю палкою своего серого кружевного зонтика с коричневой лентой.

Моряк сидел на одной из скамеек; но когда Аврора на все его доводы ответила «найн», он порывисто встал и сказал:

— Ну, хорошо. Довольно. Я не буду с тобою более спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое упрямство послужит мне в пользу... Когда я буду от вас далеко... и один... и когда мне станет о вас скучно... я вспомню тебя вот такою, какой вижу теперь... и мне будет легче.

— Nain!

— Как это «найн»?.. Я тебе сказал: мне будет легче.

— Nain!

— Почему «найн»?

Аврора полуоборотилась к нему и, топнув ногою, произнесла придыханием:

— Потому, что ты меня будешь вспоминать не такою!

Офицер улыбнулся и, тихо встав с места, взял и поцеловал руку Авроры.

— Ты права, — проговорил он, поцеловал ту же руку вторично и добавил: — но знай, Аврора, что ты сегодня самая противная, самая упрямая немка.

— О, я думаю! — отвечала, так же улыбаясь и пожав плечами, Аврора. — Ведь это только мы, упрямые немки, и имеем дурную привычку доделывать до конца свое дело. Не-немка наделала бы совсем другое, — у нее тут были бы и слезы, и угрозы, и sacrifice[1] или примирение ни на чем, до первого нового случая ни из-за

---

[1] Жертва *(франц.)*.

чего. Да, я немка, мой милый Johann!..[1] я упрямая немка.

— И очень красивая, черт возьми, немка!

— Да, да, да! «Черт кого-нибудь возьми» — я и довольно красивая немка.

Он опять взял ее руку и проговорил:

— Но уступи же мне хоть что-нибудь.

— Ничего!

— Ну так и я же поставлю на своем: я буду звать вашего Гунтера — Никиткой.

— Что-о?!

— Вот этого третьего мальчишку я буду звать Никиткой.

Аврора громко рассмеялась.

— Можешь, можешь... Это будет очень забавно!

А в это время из-за частокола показался барон Андрей Васильевич и ласково заговорил:

— Что это могло так рассмешить нашу милую крошку Аврору?

Аврора показала пальцем на офицера и проговорила:

— Он будет называть своего третьего сына Никиткой!

— И прекрасно! — воскликнул барон. — А ты, Аврора, в самом деле остаешься здесь, с нами, с кузиной и с тантой?

— Да, Onkel, я буду жить с Tante и с Линой.

— И пробудешь все время, пока он возвратится?

— Да, Onkel.

— Милое дитя! А ты сама... Думаешь ли ты когда-нибудь о себе?

— Что думать, Onkel! — это вредно.

— Ты разве до сих пор никого особенно не любишь?

— Ай-ай! к чему вам знать это, Onkel?

— Прости. Я думал, ведь и тебе пора. Года идут.

— О, не беспокойтесь, Onkel! Моя пора любить уже настала, и я с нее собираю плоды.

— Ага! Что же дает тебе эта любовь?

— Удовольствие видеть счастие тех, кого я люблю, Onkel!

— И этого с тебя разве довольно?

---

[1] Иоганн *(нем.)*.

— Этого?.. Этого много, Onkel. Это только стоит начать — и потом это никогда не окончишь!

Старик покачал головой и сказал:

— Да, ты найдешь себе роль в жизни, Аврора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

И она действительно ее нашла.

Со времени описанного происшествия минуло пятнадцать лет. Я заехал в Дрезден навестить поселившееся там дружественное мне русское семейство и однажды неожиданно встретил у них слабенького, но благообразнейшего старичка, которого мне назвали бароном Андреем Васильевичем. Мы друг друга насилу узнали и заговорили про Ревель, где виделись, и про людей, которых видели. Я спросил о Сипачеве.

— Ну да, да, да!.. Как же!.. Он здесь, был здесь... здесь.

Андрей Васильевич говорил так же ласково и мягко или даже еще мягче, и теперь он даже одет был во все самое мякенькое.

— «Был», — а где же он теперь?

— Он умер, но умер здесь. Ведь здесь его семейство, и здесь его похоронили. Перст божий! Аврора ему поставила очень хороший памятник на большом кладбище. Вы можете видеть. У них реестр. Спросите: «где контр-адмирал Сипачев», — сейчас укажут.

— А он уже был контр-адмирал?

— Как же! Как же!.. Разумеется, чин дали к отставке. Прекрасно сделал кругосветное плавание и прекрасно кончил весь круг своей жизни. Аврора получает пенсию и много пишет сама на фарфоре. «W» и «R» внутри буквы «A» — это ее монограмма. Ей очень хорошо платят, но у нее ведь немало детей. Старшая дочь уже помогает Авроре.

— Позвольте, — говорю, — я не все понимаю: сколько помню, имя его жены — Лина.

— Ах, вы еще про ту старину! Лина давно умерла, и мать ее, баронесса, сестра моя, тоже умерла. А когда Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала: «Ты не плачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя

и детей. А чтобы я не боялась отойти к богу с покойной душой, дай мне слово непременно жениться на Авроре». И он, чтобы не огорчать кроткую Лину, дал ей это слово. Тогда она позвала Аврору и сказала: «Облегчи мне уход мой отсюда: подай ему руку и сохрани его и моих детей». И Аврора подала ему руку. Все так и сделалось, как просила Лина. Но вы знаете, там... у нас это было нельзя, потому что, когда он еще не был христианином, он был два раза женат, Лина была его третья жена, и хотя один брак его совсем не был браком, но тем не менее ему жениться на Авроре было невозможно. Тогда Аврора сказала: «Пойдем отсюда», и они продали все там, и пришли сюда, и купили все здесь. Их благословил пастор, у них миленький дом, сад, и мастерская, и печь для фарфора. Перевели сюда его пенсию, и после того, когда Аврора стала его женою, у них было три дочери, и все одна другой лучше. Они прожили в счастье одиннадцать лет. Мне стало скучно, и Аврора мне написала: «Onkel, приезжай и ты», и я у них жил и живу. Теперь я и совсем остался здесь, при них, потому что один я только мужчина. Надо всегда быть готовым в помощь друг другу, и перст божий мне так указал.

— А где же его сыновья? Ведь им, я думаю, надо отбывать воинскую повинность в России?

Барон покривился и сказал:

— Нет, им, я думаю, это не надо. Они ведь совсем... Все ихнее теперь здесь... И мать — эта Tante Aurora. Она ведь их воспитала и очень их любит, и они ее любят, а Аврора Россию не любит.

— Да за что она ее так — не любит?

Адмирал пожал недоуменно плечами и молвил:

— Наверно не знаю, но думаю так, что... Аврора ведь очень определенная... и она боится всего неопределенного. Мать... и детей любит, а там выходит все... что-то неопределенное.

Иван Никитич погребен в Дрездене не на русском кладбище; он, как бычок, окончательно отмахнул головою и от Москвы и от Калуги и кончил свой курс немцем.

УМЕРШЕЕ СОСЛОВИЕ

(ИЗ ЮНОШЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

В 1884 году было напечатано в газетах, что в Нижнем Новгороде один торговец и один чиновник, сидя в трактире, бранили местного губернатора Баранова. Полиция арестовала этих господ, но губернатор Баранов приказал их освободить и указал полиции впредь не обращать внимания на такие ничтожные вещи.

Этот случай, не заслуживающий, кажется, ничего другого, кроме сочувствия должностному лицу, которое так распорядилось, — вызвал, однако, у кривотолков осуждение.

— Во всяком случае (доводилось слышать) — это своего рода рисовка, гарун-аль-рашидство; все это только разводит дикие фантазии.

Во дни нашей юности мы тоже видали «дикие фантазии», но только в другом роде. Нижегородские «дикие фантазии» напоминают мне другой город и другой губернаторский характер, который считали типическим в прошлую, хотя и не очень отдаленную от нас пору. Кто любит вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее с нынешним временем, для тех, может статься, это будет не лишено интереса.

Во время моей юности, проходившей в Орле, там жил «на высылке» Афанасий Васильевич Маркович,

впоследствии муж талантливой русской писательницы, известной под псевдонимом «Марко Вовчок».

Афанасий Васильевич в очень молодых годах был выслан в Орел из Киева по случившейся в Киеве «истории», которую тогда считали «политическою» и называли «костомаровскою историей».

Маркович должен был жить в Орле и находиться под непосредственным наблюдением местного губернатора, а дабы наблюдение за ним было удобнее, Маркович был зачислен на службу в губернаторскую канцелярию. Тут он занимал должность делопроизводителя, или помощника правителя, — не помню уже теперь, по какому отделу.

Имущественные средства Марковича были не очень свободны — он нуждался в подспорье, которым ему и служило маленькое жалованье, присвоенное его канцелярской должности (помнится, что-то около двадцати пяти рублей в месяц). Занятия службою Марковича не тяготили, но не могла его не тяготить подчиненность лицу, от которого он зависел.

Орловскою губернией во время ссылки Марковича правил не раз упоминавшийся в литературе князь Петр Иванович Трубецкой.

Уверяли, будто он был человек не злой, но невоспитанный и какой-то, — как его звали орловцы, — «невразумительный». Князь знал и понимал в делах очень мало, или, вернее сказать, — почти ничего, а правительственного искусства он не имел вовсе, но безмерно любил власть и страдал охотою вмешиваться во все.

Такая склонность побудила его, между прочим, вмешаться даже в дела церковного управления, что и было причиною возникновения много раз описанной непримиримой «войны» между ним и покойным орловским архиепископом Смарагдом Крыжановским, который ранее, по случаю болезни Павского, дал несколько уроков покойному государю Александру Николаевичу во время его детства. Поэтому Смарагд слыл в Орле «царским законоучителем» и очень этим кичился. Вообще же он имел характер гордый и неуступчивый.

Его «война» с Трубецким есть своего рода орловская эпопея. Она не раз изображалась и в прозе, и в стихах, и даже в произведениях пластического искус-

ства. (В Орле тогда были карикатуристы: майор Шульц и В. Черепов.) Интереснее истории этой «войны» в старом Орле, кажется, никогда ничего не происходило, и все, о чем ни доведется говорить из тогдашних орловских событий, непременно немножко соприкасается как-нибудь с этой «войной».

Я хочу рассказать об одном покушении князя Трубецкого вторгнуться в область истории и о том, кто его на это навел и кто его от этого отвел... Все это относится к тому же боевому времени.

Кто-то из охотников вмешиваться не в свое дело сообщил письмом князю Петру Ивановичу, что в Орловской гимназии происходят будто бы непозволительные вещи, — а именно — будто учитель истории (кажется) Вас. Ив. Фортунатов (тогда уже почтенный старик) излагает ученикам «революционные экзерсисы», а почетный попечитель гимназии, флота капитан 2-го ранга Мордарий Васильевич Милюков (на дочери которого впоследствии был женат В. Якушкин), будто бы оказывает этому вредному делу потворство.

Наблюдатель, желающий оставаться сам в неизвестности, представлял в подкрепление своих слов доказательства, состоявшие в том, что подозреваемый им в неблагонадежности учитель истории, в присутствии попечителя Милюкова, разъяснял ученикам «о правах третьего сословия во Франции», а капитан 2-го ранга Милюков учителя не остановил и тем выразил ему как бы свое одобрение.

Можно было предполагать, что извет этот прислал князю кто-нибудь из родителей какого-нибудь воспитанника — человек, может быть, ничего не знавший в истории и имевший какой-то сумасшедший взгляд на позволительное и непозволительное в преподавании.

Более важного в доносе ничего не указывалось, но князь никогда не давал себе труда различать важное от неважного. Ему главное было, чтобы имелся предлог «пошуметь». Это был в его время такой служебный термин. О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: «Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя

хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал».

Таких начальников одобряли: «брань на вороту не виснет».

Таков был отчасти и князь Петр Иванович, и так же поступил он и в том случае, о котором будем беседовать, вспоминая его славное время.

Князю Трубецкому письмо показалось вполне достаточным поводом для того, чтобы вмешаться не в свое дело и кому-нибудь «надерзить». (О нем так и говорили в Орле, что он «любит дерзить».)

Князь сейчас же призвал правителя или исправлявшего его должность и велел немедленно написать «хороший напрягай и указание». Сноситься с попечителем, который тогда жил в Харькове, князю казалось излишним, — он хотел сам исправлять все непосредственно, — да и дело не терпело отлагательства.

Правитель канцелярии не мог возражать князю, а извернулся иначе. Он сослался на незнакомство с учебным делом и указал на Марковича как на человека «университетского», который должен все это хорошо знать и потому может написать и «напрягай указание».

Приказание сейчас же было передано Марковичу и поставило того в очень неприятное затруднение. Он не мог усмотреть решительно никакой вины со стороны учителя в том, что тот упоминал про «третье сословие», и не знал, какой и за что давать напрягай. А потому он явился к князю и осмелился ему доложить, что это не губернаторское дело, а дело попечителя учебного округа, а притом, что учитель имел основание упоминать о «третьем сословии», так как это, очевидно, не что иное, как tiers-état, то есть сословие граждан и крестьян, составлявшее в феодальные времена во Франции часть генеральных штатов (États généraux) и существовавшее до революции рядом с аристократиею и с духовенством.

Князь рассердился, и хотя он обращался с Марковичем всегда деликатнее, чем с другими, но тут и на него зашумел вовсю. Обрезонить его не было никакой возможности, ибо он был ужаснейший крикун и ругатель.

Вообще как гражданский правитель Трубецкой походил, пожалуй, на Альберта Брольи, о котором Реклю говорит, что «по мере того, как он приходил в волнение, он начинал пыхтеть, свистать, харкать, кричать и трещать, гнев его походил на гнев восточного евнуха, который не знает, чем излить досаду». Но Трубецкой имел еще перевес перед Брольи, потому что знал такие слова, которых Брольи, конечно, не знал, да, без сомнения, и не посмел бы употребить с французами.

Таким Трубецкой явился и на сей раз. Он ничего не желал слушать и настойчиво велел как можно скорее написать «напрягай» и подать его к подписи.

Он был очень скор и любил действовать по-военному.

Маркович дерзнул только спросить, как он прикажет вперед называть людей третьего сословия?

— Называть их так, в каких он нынче чинах.

— Они все уже умерли.

— А это еще лучше: если они умерли, то пусть учитель и говорит о правах «умершего сословия».

Приходилось писать об умершем сословии и напрягай Милюкову и наставление учителю, а также и сообщение окружному учебному начальству.

Но что человек предполагает, то бог располагает.

Представлять резоны князю Трубецкому было невозможно, тем более что и те краткие замечания, которые осмелился представить ему Маркович, уже привели легко возбуждавшуюся натуру губернатора в кипячение. Князь в таких случаях не переносил даже себя самого и нетерпеливо рвался на воздух. Ему надо было выгуляться и выпустить из себя неукротимый жар.

В губернаторском доме все это знали, и чуть князь начинал шуметь, сейчас же готовили для него лошадей «на выскочку». Так в городе и говорили: «вот князь едет на выскочку» — и все по возможности прятались, чтобы не попадаться ему на глаза.

И теперь он тоже резко встал из-за стола, порывисто отбросил ногою прочь свое кресло и велел как можно скорее подать открытую пролетку. Он очень спешил на кого-нибудь покричать на вольном воздухе, потому что в таких случаях он любил кричать громко,

во все свое удовольствие, но дома, при княгине, он не всегда смел доставить себе такое удовольствие.[1]

Чиновник ушел, а князь поехал по городу, чтобы как-нибудь перетерпеть, пока ему изготовят и подадут подписывать «напрягай»; а тем временем, по усмотрению судеб, мысли его получили другое направление, и напрягай оказался совсем ненужным.

У князя Петра Ивановича в Орле был знаменитый кучер. Он разве малым чем-нибудь уступал оставившему по себе в Москве историческую память кучеру обер-полицеймейстера Беринга. Орловский наездник был так же утробист, так же горласт и краснорож, имел такие же выпяченные рачьи глаза и так же неистово хрипло орал и очертя голову несся на всех встречных и поперечных, ни за что не ожидая, пока те успеют очистить ему дорогу. На душе этого христианина, говорят, считалось уже несколько смертных грехов, и во всяком случае он по справедливости мог почитаться в свое время очень опасным человеком в городе.

Лихая езда как на пожар тогда была, впрочем, в моде у многих больших лиц, и это почиталось даже необходимым признаком «твердой власти». Особенно шибко ездили губернаторы и полицеймейстеры: они всюду скакали, и кучера их всегда особенно кричали. Это придавало городам оживление.

Князь Трубецкой по преимуществу любил такого рода всенародную помпу, и горожанам она нравилась. Все видели, что губернатор едет как губернатор, а не трюх-трюх, как ездил тогда в Орле приснопамятный инспектор гимназии Азбукин.

А ездил князь большею частию по-русски, то есть парой, с пристяжкой — рысак в корне и залихватский в кольцо изогнувшийся скакун в пристяжке.

---

[1] Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, рожденная Витгенштейн, была сама очень грозного характера и любила властвовать без раздела. Ее гневность и силу знали не только в городе, но и на почтовых станциях, где ее боялись все ямщики... Необыкновенное воспитание этой знатной дамы составляло для всех неразъяснимую загадку. *(Прим. автора.)*

Летит, бывало, как вихорь, кони мчатся, подковы лязгают о широкие каменья отвратительной орловской мостовой, кучер выпрет глаза и орет, как будто его снизу огнем жарит, а князь сидит руки в боки, во все стороны поворачивает свое маленькое незначительное лицо, которому не даровано было от природы никакого величия, но, однако, дозволено было производить некоторый испуг. Для этого князю стоило только поднять к носу стоячие усы и пустить в ход свое прискорбное сквернословие. Рот у него тогда становился черный и круглый, как у сжатого за жабры окуня, а из-под усов рвались и текли эти звуки, которые по справедливости требовали увещаний по тексту известного поучения, приписываемого Иоанну Златоусту.

Прибавьте к этому, что человек, о котором говорим, по верному местному определению, был «невразумителен», груб и самовластен, — и тогда вам станет понятно, что он мог внушать и ужас и желание избегать всякой с ним встречи. Но простой народ с удовольствием любил глядеть, когда «ён садит». Мужики, побывавшие в Орле и имевшие счастье видеть ехавшего князя, бывало, долго рассказывают:

— И-и-их, как ён садит! Ажно быдто весь город тарахтит.

Особенно сильное впечатление производило, когда князь поворачивал на углу из одной улицы в другую. Тут его кони, экипаж, кучер и сам он неслись, совсем накренясь, и на поворотах летели в наклонном положении, пока опять выравнивались и, приняв прямое положение, мчались еще быстрее. Это никогда не обещало благополучия ни пешему, ни конному, кто бы тут ни подвернулся.

Так Трубецкой понесся и теперь, раздраженный почтительными представлениями Марковича о третьем сословии во Франции.

Губернатор ехал от себя с горы, по Болховской улице вниз. Он имел, вероятно, намерение пронестись мимо окон гимназии, чтобы там его увидали и заранее уже содрогнулись.

Он благополучно обскакал «дом дворянства» и без всякого для себя вреда повернул вниз за угол, но здесь случилось с ним несчастье: кони его сшибли с ног одного приказного. Тот, однако, с божиею помощью встал и выпутался из своей разодранной шинелишки и даже старался успокоить начальство, что его приказной спине не больно. Но князь еще больше осердился и обругал подьячего за неловкость, — а затем вдруг встретил новый, еще больший беспорядок.

В то время, как князь подъехал к Введенскому девичьему монастырю (нынче, кажется, простая приходская церковь), ему, против магазина тогдашнего великосветского портного Жильберта, попался навстречу местный купец П. Купец был старик и плохо видел, а притом он ехал в маленькой беговой купеческой тележке и сам правил дорогим кровным рысаком.

Купец этот был большой храмоздатель и с этой стороны был известен архиерею Смарагду, а кроме того, он был охотник до лошадей и с этой стороны был известен князю, у которого не было ни одной такой хорошей лошади, какою правил теперь купец. Это уже само по себе было непорядок.

Ехал купец шагом, чинно и степенно, что называется «в свое удовольствие», а рядом с ним, под левым локтем, помещался мальчик лет четырнадцати, его фаворит-внучек; но, встретясь с губернатором, купец ни сам не снял картуза, ни поучил этому внука. Это уже было совсем непозволительно.

Всего вероятнее, что купец, правя горячею лошадью, не успел снять перед князем Петром Ивановичем свой картуз, а о внуке не вспомнил. Но князь не любил входить в такие мелочи. Он видел в этом один оскорбительный для него факт. Он заколотился руками и ногами и поднял такой шум и крик, что купец оробел и бросил вожжи. Лошадь рванула и понесла, выбросив старика у дверей Жильберта, а внучка у столбов Георгиевской церкви.

Мальчик, более легкий телом, отделался счастливо, а грузный старик очень расшибся. Старый француз Жильберт имел столько независимости, что поднял его и посадил у себя на крылечке — и тем, может быть, вызвал на мягкость самого князя.

Трубецкой велел посадить старика на извозчика и отправить его на гауптвахту, где того и продержали, пока князь успокоился, а он в это время все ждал, не станет ли заступаться за купца Смарагд, и за этою новою заботою позабыл о полученном им извете насчет третьего сословия. Маркович же слукавил и не напоминал ему о его намерении вмешаться не в свое дело. Так опасность от вредного направления в гимназии миновала, и губернаторское распоряжение именовать tiers-état «умершим сословием» не получило дальнейшего хода. За все французское tiers-état в Орле оттерпелся один купец, едва умевший выводить каракулями «церикофнии старта».

В Трубецком была прелестна и достойна самого любовного наблюдения искренность его губернаторского величия: он его словно нес с собою повсеместно, как бы некий алавастр мирры, с постоянною заботливостью, чтобы кто-нибудь не подтолкнул его под локоть, чтобы сосуд не колыхнулся и не расплескалось бы его содержимое. Это был «губернатор со всех сторон»; такой губернатор, какие теперь перевелись за «неблагоприятными обстоятельствами». Но в то время, к которому относятся мои воспоминания, в числе современников Трубецкого было несколько таких губернаторов, которых не позабудет история. Над ними над всеми яркой звездою сиял Александр Алексеевич Панчулидзев в Пензе, на которого дерзкою рукою «навел следствие» немножко известный в литературе своими «стансами» Евфим Федорович Зарин («Библиотека для чтения» — «стансы Зарина» и т. д.). Печатной гласности тогда у нас и в заведении еще не было, а функции ее исполняла «молва»: «земля слухом полнилась». Между Орловскою губерниею, где процветал князь Трубецкой, и Пензенскою, которая была осчастливлена переводом туда из Саратова А. А. Панчулидзева, находится Тамбовская губерния, сродная Орловской по особенной чистоте плутовских типов. (Ни в той, ни в другой даже «жид долго не мог привиться» — потому что «свои были жида ядовитее».) Через Тамбовскую губернию орловцы с пензяками перекликались: пензяки

хвалились орловцам, а орловцы пензякам — какие молодецкие у них водворились правители. «Наш жесток». — «А наш еще жестче». — «Наш ругается на всякие манеры». — «А наш даже из своих рук не спущает». Так друг друга и превосходили. Но пришло какое-то изменчивое время, и Смарагд с предводителем как-то «подвели» Трубецкому какую-то хитрую механику. Почувствовалась надобность «убрать его в сенаторы». Убрали. Он уехал начисто, так что после его отъезда в губернаторском доме не нашли даже некоторых паркетов. В Пензе между тем А. Панчулидзев продолжал процветать. Предводитель А. А. Арапов был ему друг и собрат по «заводчеству» (оба были «винокуры и бедокуры»), а Е. Зарин еще был в юности, и сразительный яд еще не созрел под его семинарским языком. Приставленный к сенату, Трубецкой был и польщен и в то же время обижен: в сенате его решительно никто не боялся, да и на стогнах столицы он совсем не производил никакого внушающего впечатления. При появлении его самые обыкновенные люди так же шли и ехали, как будто его и нет, — и «не ломали шапок» и не уступали дороги, между тем как это столько лет кряду согревало и вдохновляло князя... Он заскучал в столице о добрых и простых нравах провинции и поехал летом прокатиться — навестить свои и витгенштейновские родовые маетности. Орел он «промигнул мимо»... Не в гостинице же ему было тут останавливаться и слушать, как «другої» правит!.. Но в Киеве он остановился для советов с врачами и ради каких-то духовных потребностей княгини, которой тоже были свойственны и религиозные порывы. Остановились они incognito,[1] в молитвенном смирении, не в гостинице «Англетер», а у самого православного купца Ивантия Михайловича Батухина, и вечерком, когда все кошки становятся серы, князь отправлялся подышать чистым воздухом. Дело это было по осени. На дворе, после погожего дня, проморосил дождичек и смочил киевские кирпичные тротуары, — гуляющих было мало, и князь мог «растопыриться». Это было самое любимое его устроение своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он

---

[1] Под чужим именем *(франц.)*.

брал руки «в боки», или «фертом», отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что идет губернатор. (Сенаторства князь не ровнял с губернаторством и любил быть вечно губернатором.)

Так шел он и теперь по лучшей улице Киева, Крещатику, от «Англетера» к Александровскому спуску, и вдруг на самом углу Институтской горы с ним случилось странное, но в то же время досадительное происшествие.

В Киеве был тогда гражданским губернатором знаменитый в своем роде богач и добрый, кроткий человек Иван Иванович Фундуклей, иждивением которого сделано много прекрасных описательных изданий. Он был одинокий, довольно скучный человек, тучного телосложения и страдал неизлечимыми и отвратительными лишаями. Его лечили многие медицинские знаменитости и не вылечили: лишаи немножко успокаивались, но потом опять разыгрывались — пузырились, пухли, чесались и не давали богачу нигде ни малейшего покоя. Тогда потаенно был призван который-то из известных в свое время киевских самоучек — не то Потапенко, не то Корней (Столпчевский) — и стал лечить расчесавшегося вельможу «травкою и *выпотнением*». Травки шли больше «для успокоения больного», но главное, на что рассчитывал знахарь, — это было «выпотнение», столь известное по своим последствиям ветеринарам и спортсменам. Лошадям для этого покрывают подлежащую выпотнению часть тела войлочным потником и гоняют их на корде, а для Фундуклея было устроено так, что он покрывал стеганым набрюшником пораженное лишаем место, надевал на себя длинное ватное пальто, сшитое «английским сюртуком», брал зонтик и шел гулять с своею любимою пегою левреткою. Таким образом производилось «выпотнение», и производилось оно в течение довольно долгого времени неотложно и аккуратно при всякой погоде. А так как губернаторам в то время днем среди толпы гулять было неудобно, потому что все будут кланяться и надо

будет откланиваться, а Фундуклей был человек застенчивый и скромный, то он делал свою гигиеническую прогулку через час после обеда, вечером, когда — думалось ему — его не всякий узнает, для чего он еще тщательно закрывался зонтиком.

Разумеется, все эти старания скромного губернатора не вполне достигали того, чего он желал: киевляне узнавали Фундуклея и, по любви к этому тихому человеку, давали ему честь и место. Образованные люди, заметив его большую фигуру, закрытую зонтиком, говорили: «Вот идет прекрасная *испанка»,* а простолюдины поверяли по нем время, сказывая: «Седьмой час — вон уже *дьяк* с горы спускается».

«Дьяком» называли Фундуклея потому, что в своем длинном английском ватошнике он очень напоминал известную киевлянам фигуру златоустовского дьячка «Котина», который в таком же длинном ватошнике сидел на скамеечке с тарелочкою и кропильницей у деревянной церкви Иоанна Златоуста и «перeймал богомулов», уговаривая их «не ходить на Подол до братчиков, бо они дуже учени и переучени, а класти упрост жертву Ивану». Издали дьяк Котин и губернатор Фундуклей в английском капоте имели по фигуре много сходства.

Чтобы выпотнение шло сильнее, губернатор делал свои вечерние прогулки не по ровной местности, в верхней плоскости города, где стоит губернаторский дом на «Липках», а, спускаясь вниз по Институтской горе, шел Крещатиком и потом опять поднимался в Липки, по крутой Лютеранской горе, где присаживался для кратковременного отдыха на лавочке у дома портного Червяковского, а потом, отдохнув, шел домой.

Такой курс держал он и в тот теплый и темноватый вечер, когда шел случившийся проездом в Киеве князь Петр Иванович Трубецкой.

Фундуклей шел, понурив голову и закрывая лицо распущенным без надобности зонтиком, а Трубецкой «пер» своей гордой растопыркой, задрав лицо кверху. Они столкнулись. Трубецкой получил легкое прикосновение к локтю, но сам вышиб этим локтем у Фундуклея зонтик и шнурок, на котором шла собачка.

Грузный Иван Иванович ничего не сказал и стал делать очень тяжелое для него усилие, чтобы поймать и поднять покатившийся зонтик, а в это время от него побежала его собачка, шнурок которой ему было еще труднее схватить, чем зонтик.

Трубецкой же рассердился, затопотал и закричал:

— Знаешь ли, кто я? знаешь ли, кто я?

— Не знаю, — отвечал Фундуклей.

— Я губернатор!

— Ну так что же делать, — рассеянно произнес Иван Иванович, — я и сам тоже губернатор!

В это время на небе блеснула луна, и случившийся на улице квартальный, узнав Фундуклея, поймал и подвел к нему на шнурке его собачку.

Тут Трубецкой воочию убедился, что перед ним в самом деле, должно быть, губернатор, и поспешил возвратиться в свою гостиницу в гневе и досаде, которые и излил перед покойным медицинским профессором Алекс. Павл. Матвеевым. Акушер Матвеев происходил из дворян Орловской губернии и имел родных, знакомых Трубецкому, вследствие чего и был приглашен для бесплатного медицинского совета. Ему Трубецкой рассказал свою «неприятную встречу», а тот по нескромности развез ее во всю свою акушерскую практику.

Теперь все эти лица уже сами составляют «умершее сословие»; но когда случится вспомнить о их времени, то даже как будто не верится, что все это было в действительности, и притом еще сравнительно так недавно.

ФИГУРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей — старушки, их тетки, — тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него

были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивйв з морды — як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов — как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместии Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гáрбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», — то есть лучше его ни у кого не достанешь, — но он не любил продавать перекупкам «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у Фигуры, — он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем копá» — отвечает:

— По деньгам, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует «для се́бе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:

— Эге! ну, не юлы — бо не покуришь! — и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того — почему он так «опростывся» — не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую — крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка́», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

— Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, — а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче — нехай так и личе: як моя — то нехай моя, — мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

— А вам хиба за́видно?

Зато же и Фигура и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб — словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

— Дуры!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину — и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» — ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать — красавица.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, — но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел — «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось — не до шмыги» (то есть не идет ему).

— Бог их церковный знае: они вже може яки асессоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите — из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого — дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами — Михайловским и Софийским, — и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

— И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас каде-

тами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите — это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего — хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя», — и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите... это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, — тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще всё акафисты читает.[1] Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет — все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел... Которые умели — хорошо выходило... И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Полк наш стоял на юге, в городе, — тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное, и драгоценнейшее мати... мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати — предобрая и пренепорочная — добром окрытая

[1] Сакен тогда еще был жив. *(Прим. автора.)*

и в добре повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «этих, — говорила, — я живых видела: они мне знакомые, — не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, — говорит, — с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо, — отвечала она, — як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это всё делают какие-нибудь «поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащеся и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно, — непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных, — всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет... Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Чтó мы такое караулим?.. Все для смертного бою... А впрочем, что я так очень скучаю... — Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат — он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, — ему куда для сравнения тяжелее... а ведь живет же, терпит и не куксится... Бодрости себе надо поддать — все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»... Ну вот, солдатам хуже, чем мне...

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, — разговеюсь с ними на мои гроши!

Понравилось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на всё, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар — и очень занялся тем: по скольку кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — с ними никто не нежничает, — им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь — скажу: «Ребята! Христос воскресе!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты и я, — часовые наружи, а казаки — трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится — скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся... Я — туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да — настоящую пощечину, и трах — с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело — темно.

— Ребята! — кричу, — братцы! Что это делается?

Солдаты узнали мой голос и отвечают:

— Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть — в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «*Тебя* ударили — так это бесчестие, а если *ты* побьешь на отместку, — тогда ничего — тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь — заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! — Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что́ мне с ним делать? Что́ сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил... а я что пред тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть *твой:* я простил! я *твой*...

Вот только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже — понимаете... я уже совсем не от обиды...

Солдаты говорят:

— Мы его убьем!

— Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!

Спрашиваю старшего: куда его дели?

— Мы, — говорит, — ему руки связали и в погреб его бросили.

— Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

— Ваше благородие!.. я несчастный человек!..

— Конечно, — говорю, — несчастный.

— Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

— Встань! — говорю.

— Не могу встать, я еще в исступлении...

— Отчего ты в исступлении?

— Я непитущий, а меня напоили... У меня дома жена молодая и детки... и отцы старички старые... Что я наделал?..

— Кто тебя упоил?

— Товарищи, ваше благородие, — заставили за живых и за мертвых в перезвон пить... Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить — выпить для светлого Христова воскресения, в самый первый звон, — чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося», — один товарищ поднес ему чару, а другой — другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел... Стонет:

— Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка бессчастная!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и — вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь

он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался — сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример...

И вдруг это слово опять меня спасительно улавляет... какой такой нам подан *первый пример?* Я ведь не могу же это забыть... я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать...

«Нет, — думаю, — этого нельзя: я спутался — лучше я отстраню от себя это пока... хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» — но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не *его* — я *ему* уж чужой стал... Я этого не хочу... не желаю от *него* увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с *ним* тяжело было... который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без *него*-то, конечно, полегче... Без *него,* пожалуй, со всеми уживешься... ко всем подделаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил... Я его не попрошу уйти, а еще позову... Приди — ближе! и зачитал: «Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякого человека, грядущего в мир...»

Между солдатами вдруг внимание... кто-то и повторил:

— «Всякого человека!»

— Да, — говорю, — «всякого человека, грядущего в мир», — и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к *миру.* И еще сильнее голосом воззвал: — «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

— «Да знаменуется!.. да знаменуется!» — враз, одним дыханием продохнули солдаты... Все содрогнулись... все всхлипывают... все неприступный свет узрели и к нему сунулись...

— Братцы! — говорю, — будем молчать!

Враз все поняли.

— Язык пусть нам отсохнет,— отвечают,— ничего не скажем.

— Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес! — и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду богу молить... священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

— Бог с тобой, — говорю, — еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

— Нет,— плачет, — я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к батюшке...

— Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так однако, что секрет наш вышел наружу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

— Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

— Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

— Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания... и вы это считаете благополучным? Да у вас что же — нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

— Господин полковник, — говорю, — казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

— Пьянство — не оправдание!

— Я, — говорю, — не считаю за оправдание, — пьянство — пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

— Вы не имели права прощать!

— Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

— Вы после этого не можете более оставаться на службе.

— Я готов выйти.

— Да; подавайте в отставку.

— Слушаю-с.

— Мне вас жалко, — но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Что,— говорит,— вы мне с христианством! — ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит — ему и рассказывайте про христианство: он церковное писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-с, — говорю, — господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

— Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает — это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела — когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским — киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое — самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение... Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения... Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет — я молчу и чувствую, что сон меня клонит, — совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно

каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось — боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему — все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, — иные и сами тоже были богомолы — другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я полюбопытствовал:

— Почему это заметно?

Опытный отвечает:

— Разве не видите — у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки... как будто свет сияет... Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну, — думаю, — тут будет развязка». И сон прошел.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

— Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит — говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

— Вы горды!

— Никак нет.

— Почему же вы так говорите — «о невозможном?» Французский дух! гордость! У бога все возможно! Гордость!

— Во мне нет гордости.

— Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

— Казак, — говорю, — по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

— А вы ему это простили?

— Да, я не мог не простить!..

— На каком же основании?

— Так, по влиянию сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце... Вы по крайней мере раскаиваетесь?

— Я не мог иначе.

— Значит, даже и не каетесь?

— Нет.

— И не жалеете?

— О нем я жалею, а о себе нет.

— И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

— Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

— Вон как!.. вон как у нас!.. солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» — и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

— А где же у вас гордость?

— Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

— Вы дворянин?

— Я из дворян.

— И что же, этой... noblesse oblige[1]... дворянской гордости у вас тоже нет?

— Тоже нет.

— Дворянин без всякой гордости?

Я молчал, а сам думал:

«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, — ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает — говорит:

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой — о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

— Я вас спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»...

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще раз!

Я опять перекрестился.

— И еще... до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

— Не надо про сатану! Вы ведь православный?

— Православный.

— За вас восприемники у купели отреклись от сатаны... и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

---

[1] Благородное происхождение обязывает *(франц.)*.

— И еще!

Я еще плюнул.

— Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

— Вот так!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете с собой делать в отставке?

— Не знаю еще.

— У вас есть состояние?

— Нет.

— Нехорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нет.

— Скверно! На кого же вы надеетесь?

— Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

— Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

— Никак нет — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентию.

— Я не чувствую призвания в монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто...

— Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

— Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

— Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали... А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

— Нет, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить... я туда неспособен.

— Ну, в провианты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, в цейхвартеры! — там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я

просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною — и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

— В писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

— Никак нет, — говорю, — я ни в кого не влюблен.

— Жениться не намерены?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слабый характер.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы, — вы боитесь женщин... да?

— Некоторых боюсь.

— И хорошо делаете! Женщины суетны и... есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

— Я сам боюсь быть обманщиком.

— То есть... Как?.. Для чего?

— Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеров?

— Да, — говорю, — женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

— А вы ей докажите.

— Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

— А вы и споров не любите?

— Терпеть не могу.

— Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призвания нет.

— А вот вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго...

— Я мяса совсем никогда не ем.

— А зато у них прекрасные рыбы.
— Я и рыбы не ем.
— Как, и рыб не едите? Отчего?
— Мне неприятно.
— Отчего же это может быть неприятно — рыб есть?
— Должно быть, врожденное — моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.
— Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
— Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!
— Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!
— Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!
— Нет, пойдете, — таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.
— Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. — Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сакен наморщился.
— Это, — говорит, — вы библии начитались, — а вы библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна — это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.
«Фу ты господи! — думаю. — Что же это за мучитель такой!»
И говорю ему:
— Ваше сиятельство! я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.
— Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!
Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать.
А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:
— Милый друг! вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..
— Да, — отвечаю, — непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно, — что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, — и потому инстинктивно ответил:

— Непонятно.

— Ну так помолимся, — говорит, — вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае... Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал — мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон... Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая тебе»...

А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра, — так и пошел свайкой спускаться вниз, куда-то все глубже, к самому центру земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, — клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? — заспал и запамятовал.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется...» Потрогал его... ничего — парной, теплый, и смотрю — и он просыпается и шевелится... И тоже сел на ковре и на меня смотрит... Потом говорит:

— Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

— Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы с вами вместе были?

— Да-с.

— Каково!

Я промолчал.

— Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:

— Видели, какая святыня!
— Где?
— В раю!
— В раю? Нет, — говорю, — я в раю не был и ничего не видал.
— Как не видал! Ведь мы вместе летали... Туда... вверх!
Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.
— Как вниз!
— Точно так.
— Вниз?
— Точно так.
— Внизу ад!
— Не видал.
— И ада не видал?
— Не видал.
— Так какой же дурак тебя сюда пустил?
— Граф Остен-Сакен.
— Это я граф Остен-Сакен.
— Теперь, — говорю, — вижу.
— А до сих пор и этого не видал?
— Прошу прощения, — говорю, — мне кажется, будто я спал.
— Ты спал!
— Точно так.
— Ну так пошел вон!
— Слушаю, — говорю, — но только здесь темно — я не знаю, как выйти.
Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:
— Zum Teufel! [1]
Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не

[1] К черту! *(нем.)*.

явлено свыше, — и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да и не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою... я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое... Перебирал я, перебирал, — что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе. Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

— Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

— Как же, — отвечаю, — мы молились.

— Вместе в блаженные селения парили?..

— То есть... как это вам доложить...

— Да, вы — большой политик! Знаете, вы и достигли, — вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

— Я, — говорю, — пенсии не выслужил.

— Ну, уж это теперь расчислять поздно, — уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, — говорили, — мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил... Невелика господка, да дóбра... Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты... Бидна

Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел... Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:

— Чи ты с самаго роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ подиялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от бога показано, — а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала — подобрала Катрю в тряпочки и пишла — каже:

— Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем — бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

ГЛАВЫ ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В начале истекающего девятнадцатого столетия в одной семье германского происхождения родился мальчик необыкновенной красоты. Он был так хорош, что в семье его не звали его крестным именем, а называли его Фебо-фис или Фебуфис, то есть сын Феба. Это имя так ему пристало, что он удержал его за собою в школе, а потом оно осталось при нем во всю его жизнь. С возрастом оказалось, что при телесной красоте ребенок был осчастливлен замечательными способностями: он прекрасно учился наукам и рано обнаружил дар и страсть к живописи.

Отец Фебуфиса занимался крупными торговыми операциями и имел обеспеченное состояние. Он хотел, чтобы сын шел по его же дороге, и потому не был обрадован его художественными наклонностями, но мать ребенка, женщина очень чувствительная и поэтическая, не любила прозаических торговых занятий мужа и настояла, чтобы Фебуфис получил возможность следовать своим художественным влечениям.

Мать питала несомненную уверенность, что сына ее ожидает слава, и она отчасти не ошиблась.

Отец уступил желаниям сына, поддерживаемым настойчивостью матери, и Фебуфис поступил в высшую художественную школу, сначала в том городе, где жили его родители, а потом перешел для усовершенствования

в Рим, где на него вскоре же стали указывать как на самого замечательного из современных живописцев.

С течением времени на него обращали внимания больше и больше, и он вскоре стал пользоваться такою известностью, которая уже довольно близко граничила со славою. Были основания верить, что невдалеке его ожидает и настоящая слава. Характер у него был веселый, немножко заносчивый и дерзкий со старшими, но беспечный и общительный в сношениях с сверстниками, между которыми молодой человек имел друзей. Особенно дружны были с ним два молодых живописца, прозванные в своем кружке Пиком и Маком. Оба эти молодые люди были разных национальностей и несходного нрава, но находились в теснейшей приязни и никогда почти не разлучались. За то их и прозвали Пик и Мак — по детской игре: «где Пик, там Мак, — Пик здесь — Мак здесь, — Пика нет, и Мака нет». Мак был крупный брюнет с серьезным, даже несколько суровым и задумчивым лицом, а Пик — розовая белокурая крошка, с личиком из тех, которых зовут «овечьею мордочкой». Мак был мыслитель — его занимали общественные вопросы: он скорбел о человеческих бедствиях и задумывался над служебными целями искусства, а Пик смотрел на жизнь в розовые стекла и отрицал в искусстве все посторонние цели, кроме самой красоты; притом Пик любил и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, он почти никогда не имел удачи, а Мак был само целомудрие и обладал всеми шансами на успехи, но он их не добивался. Пик находил почти всех женщин очень милыми, а Мак смотрел на всех равнодушно и все надеялся когда-нибудь увидеть одну заповедную женщину по своим мыслям. Она должна была обладать красотою духовной более, чем телесною, — во всяком случае она непременно должна была иметь над ним многие нравственные превосходства, особенно в деликатности чувств, в тонком ощущении благородства, чести и добра. Она должна была не отделять его от мира, как любят делать многие женщины, а роднить его с высшим миром. Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, то оно непременно нравилось им с разных сторон. Им, например, обоим нравился Дон-Жуан, и они оба оправдывали байроновского героя, но совершенно с различных сторон: Пик находил, что переменять привя-

занности очень весело, а Мак любил Жуана за то, что он открывал во всех любивших его женщинах обман и не хотел довольствоваться фальсификациею чувства. Несмотря на такое несходство во взглядах, Пик и Мак были, однако, очень дружны: Пик уважал в Маке его думы и даже заботы о служебных задачах искусства, а Мак любил в Пике искренность, с какою он восхищался каждым дарованием, кроме своего собственного. Оба они жили вместе, не богато и не бедно, как жило в то время множество людей их среды.

Фебуфиса отыскал Пик и сказал нелюдимому Маку:

— Пойдем посмотрим человека с большим дарованием.

— В чем же он проявил свои дарования?

— Прекрасно пишет.

— Что же он пишет? — спросил Мак.

— Все.

— Все?.. Это много. Пойдем и посмотрим *все*.

— Да, а вот ты можешь научить его выбирать лучшее.

Они пошли и подружились сразу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У Фебуфиса не было недостатка в фантазии, он прекрасно сочинял большие и очень сложные картины, рисунок его отличался правильностью и смелостью, а кисть его блистала яркою колоритностью. Ему почти в одинаковой степени давались сюжеты религиозные и исторические, пейзаж и жанр, но особенно пленяли вкус и чувство фигуры в его любовных сценах, которых он писал много и которые часто заходили у него за пределы скромности.

В последнем роде он позволял себе большие вольности, но грация его рисунка и живая прелесть колоритного письма отнимали у этих произведений впечатление скабрезности, и на выставках появлялись такие сюжеты Фебуфиса, какие от художника меньших дарований ни за что не были бы приняты. С другой же стороны, соблазнительная прелесть картин этого рода привлекала к ним внимание самой разнообразной публики и находила ему щедрых покупателей, которые не скупились на деньги.

Таким образом росло его имя, и он получал такой значительный заработок, что уже не только не требовал никакой поддержки от родителей, но когда отец его умер и дела их пошатнулись, то Фебуфис уступил свою долю отцовского наследства брату и сестре и стал присылать значительные суммы нежно любимой матери.

Пик всему этому шумно радовался, а Мак серьезно молчал, или, когда Пик очень надоедал ему своими восторгами и восклицал:

— О, до чего он может достичь!

Мак отвечал:

— До всего; я боюсь, что он до чего хочешь достигнет.

— Нет, с кем его можно сравнить?

— С Ван-дер-Пуфом, — отвечал Мак.

Ван-дер-Пуф было шуточное прозвание для тех, кто подавал большие надежды с сомнительными последствиями.

Пик за это сердился и находил, что Фебуфис похож на Луку Кранаха, которого он очень любит и имеет некоторые его свойства.

— В чем же это проявляется? — спрашивал Мак.

— В даровании, в смелом характере и в уменье гордо держать себя с великими мира.

Мак отвечал, что лучшее уменье держать себя с теми, кто почитает себя великими мира, — это стараться не входить с ними ни в какие сношения.

— А если это нельзя?

— Ну, тогда быть от них как можно дальше.

— Э, брат, это сочтут за робость и унижение.

— Поверь, что в этом только и есть настоящее величие, которое и они сами чувствуют и которое одно может уязвлять их пустую надменность.

— Ну, ты, Мак, ведь аскет. Этак жить, так нельзя будет сделать ничего достойного в мире.

А Мак, наоборот, думал, что так только и можно что-нибудь сделать самое достойное.

— А именно что?

— Прежде всего сберечь *свое достоинство.*

— Ты все о *своем* достоинстве — все только о том, что для себя.

— Нет, сохранение «достоинства» — это не «только для себя», а это потом пригодится и для других.

Студию Фебуфиса искали посещать самые разнообразные путешественники, но достигали этого не все, кто хотел. Он допускал к себе только или известных знатоков и ценителей искусства, или людей высокого положения, внимание которых ему льстило и которым он по преимуществу продавал свои картины для их музеев и палаццо, и всегда за дорогую цену. Но и при этом он давал еще много произвола своим художественным прихотям и капризам, очень часто доводимым им до непозволительной дерзости и пренебрежения к сану и светскому положению своих важных посетителей. Он продавал им часто не то, что они желали бы у него приобресть, а то, что он сам соглашался уступить им, всегда с затаенным и мало скрываемым намерением заставить их иметь перед собою сюжет, который мог служить им намеком, попреком или неприятным воспоминанием.

Пик находил это прекрасным и художественным, а Мак называл фиглярством.

Произведения Фебуфиса были в моде, а притом же тогда было в моде и потворство капризам художников, и потому сколько-нибудь замечательным из них много позволяли. Люди самые деспотичные и грозные, требовавшие, чтобы самые ученые и заслуженные люди в их присутствии трепетали, сносили от художников весьма часто непозволительные вольности. Художников это баловало, и не все из них умели держать себя в пределах умеренности и забывались, но, к удивлению, все это им сходило с рук в размерах, непонятных для нынешнего реального времени.

Особенно они были избалованы женщинами, но еще больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею грозностью и недоступностью для людей всех рангов и положений, а между тем даже как будто находили удовольствие в том, что художники обращались с ними бесцеремонно.

Такое было время и направление.

Фебуфис как первенствовал между собратиями в искусстве, так же отличался смелостью и в художественных фарсах и шалопайствах. У него было много любовных приключений с женщинами, принадлежавшими к самым

разнообразным слоям в Риме, но была и одна привязанность, более прочная и глубокая, чем другие. Эта любовь была замечательно красивая бедная девушка-римлянка, по имени Марчелла. Она любила красавца иностранца без памяти и без всякого расчета, а он и ее ценил мало. Он был больше всего занят тем, что с успехом соперничал с модным кардиналом в благорасположении великосветских римлянок и высокорожденных путешественниц или, наскучив этим, охотно пил и дрался кулаками в тавернах за мимолетное обладание тою или другою из тамошних посетительниц. По первой категории подвиги его восходили до дуэлей, угрожавших ему высылкою из тогдашней папской столицы, а по второй дела кончались потасовками или полицейским призывом к порядку, что тоже тогда в художественном мире не почиталось за дурное и служило не в укор, а, наоборот, слыло за молодечество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сказано, что между любовными историями Фебуфиса была одна, которая могла его кое к чему обязывать. Это то самое, что касалось красивой и простосердечной римской девушки, по имени Марчеллы. Она была безвестного происхождения и имела престарелую мать, которую с большим трудом содержала своею работой, но замечательная красота Марчеллы сделала ей большую известность. Не один Фебуфис был пленен этою красотой — молодой, тогда еще малоизвестный патриот Гарибальди на одном из римских празднеств тоже подал Марчелле цветок, сняв его со своей шляпы, но Марчелла взяла цветок Гарибальди и весело перебросила его Фебуфису, который поймал его и, поцеловав, приколол к своей шляпе. Гарибальди видел это, послал им обоим поцелуй и крикнул: «Счастливого успеха влюбленным!» Сближение их было очень быстро и оригинально. Расположения Марчеллы искали многие, и в числе претендентов на ее руку были и богатые люди: в числе таких был один пармезанец. Марчелла его не любила, но мать ее указывала на свое нездоровье и преклонные годы, требовала от дочери «маленькой жертвы». Марчелла согласилась на жертву и сде-

лалась невестой, но под самый день свадьбы пошла помолиться Мадонне и безотчетно постучалась в дверь Фебуфиса. Сюда привела ее нестерпимая любовь, с которою она напрасно боролась, и она вышла отсюда только через несколько дней и пошла к пармезанцу сказать, что уже не может быть его женою. Но Фебуфис, как многие баловни женщин, не хотел оценить лучше других поступок Марчеллы и скоро охладел к ней, как к прочим. Эта победа только вплела новый листок в его любовные лавры, а Марчеллу познакомила с чувствами матери. Пик был этим смущен, а Мак оскорблен и разгневан: он перестал говорить с Фебуфисом и не стал давать ему руку.

— Это слишком уж строго, — говорил Пик.

Мак на это не отвечал, но, встретив однажды Марчеллу, сказал ей:

— Как ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?

— Ты меня называешь *доброю!*

— И честною.

— Спасибо; я живу не худо, — отвечала Марчелла. — С тех пор как у меня есть дитя, я работаю вдвое и, представь себе, на все чувствую новые силы.

— Но ты исхудала.

— Это скоро пройдет.

— А ты мне скажи... только скажи откровенно.

— О, все, что ты хочешь... Я знаю тебя — в тебе благородное сердце.

— Согласись быть моей женой.

— Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороден и добр... Женою!.. Нет, милый Мак, я уже никогда не буду ничьею женой.

— Почему?

— Почему? — Марчелла покачала своею красивою головой и отвечала: — Я ведь люблю! Разве ты хочешь, чтобы между нами всегда был третий в помине? Нет, милый Мак, я любила, и это останется вечно. Полюби лучше другую.

Но благородство и гордость Марчеллы были подвергнуты слишком тяжелому испытанию: мать ее беспрестанно укоряла их тяжкою бедностью, — ее престарелые годы требовали удобств и покоя, — дитя отрывало руки от занятий, — бедность всех их душила. О Марчелле пошли недобрые слухи, в которых имя доброй девушки связыва-

лось с именем богатого иностранца. К сожалению, это не было пустою басней. Марчелла скрывалась от всех и никому не показывалась. Пик и Мак о ней говорили только один раз, и очень немного. Пик сказал:

— Слышал ты, Мак, что говорят о Марчелле?

— Слышал, — отвечал Мак, сидя за мольбертом.

— И что же, ты этому веришь или не веришь?

— Верю, конечно.

— Почему же конечно? Ты ведь был о ней всегда хорошего мнения.

Мак отошел от мольберта, посмотрел на свою картину и, помедлив, сказал:

— Я о ней и теперь остаюсь хорошего мнения.

Теперь Пик помолчал и потом спросил:

— Разве она не могла поступить лучше?

— Не знаю, может быть и не могла.

— Значит, у нее нет воли, нет характера?

— Ты спроси об этом того, кто устроил испытание для ее воли и характера.

— Но она могла выйти замуж?

— Не любя?

— Хотя бы и так.

— Или... быть может, даже любивши другого?

— Ну, и все было б лучше.

— Может быть, только она тогда не была бы тою Марчеллой, которая стоила бы моего лучшего мнения.

— А теперь?

— Из двух зол она выбрала то, которое меньше.

— Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за меньшее зло?

— Не себя.

— Как не себя? Неужто этот богач ездит к ней читать с нею Петрарку или Данте?

— Нет; она продала ему свое прекрасное тело и, наверное, не обещала отдать свою душу. Ты различай между *я* и *мое*: я — это я в своей сущности, а тело мое — только моя принадлежность. Продать его — страшная жертва, но продать свою душу, свою правду, обещаться любить другого — это гораздо подлее, и потому Марчелла делает меньшее зло.

— Есть еще средство! — заметил Пик.

— Какое?

— Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.

Мак сложил руки и сказал:

— Как? убить себя?.. Женщине убить себя за то, что ее бросили, и бросить на все мучения нищеты свою мать и своего ребенка?.. И ты это называешь лучшим? Нет, это не лучше. Лучше перенести все на себе и... Впрочем, иди лучше, Пик, читай уроки о чести другому, — мы о ней больше с тобою никогда не должны говорить.

— Хорошо, — отвечал Пик, — но ты мне никогда не докажешь...

— Ах, оставь про доказательства! Я никогда тебе и не буду доказывать того, что для меня ясно, как солнце, а ты знай, что доказать можно все на свете, а в жизни верные доказательства часто стоят менее, чем верные чувства.

В отношении Марчеллы Мак имел «верные чувства» и верно отгадывал, что двигало ее поступками. Другие о ней позабыли, — Фебуфис ею не интересовался. Он с той поры имел много других успехов у женщин, которые, помимо своей красоты, льстили его самолюбию, и вообще шел на быстрых парусах при слабом руле, который не правил судном, а предавал его во власть случайным течениям. В характере его все более обозначались признаки необузданности и своеволия. Успехи его туманили. Он становился капризен.

— Я хотел бы знать, чего он хочет? — говорил Пик.

— А я не хотел бы об этом знать, но знаю, — отвечал Мак.

— Чего же он хочет?

— Своей погибели, — и она будет его уделом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Фебуфису было около тридцати лет, когда он сбыл с рук историю Марчеллы и потом в течение одного года сделал два безумные поступка: во-первых, он послал дерзкий отказ своему правительству, которое, по его мнению, недостаточно почтительно приглашало его возвратиться на родину, чтобы принять руководство художественными работами во дворце его государя; а во-вто-

рых, произвел выходку, скандализовавшую целую столицу. Жена одного из иностранных дипломатов при папе уделила Фебуфису какую-то долю какого-то своего внимания и потом, — как ему показалось, — занялась кардиналом. Фебуфис вскипел гневом и выставил у себя в мастерской самую неприличную картину, вроде известной классической Pandora. На этом полотне он изобразил упомянутую красивую даму в объятиях знаменитого в свое время кардинала, а себя поставил близ них вместо сатира, которого отводит старуха со свечкой.

Картина эта представлялась забавною и едкою всем, кроме малоразговорчивого Мака.

— Твое целомудрие оскорблено моею *Пандорой?* — спросил его однажды вечером, сидя за вином, Фебуфис.

Мак прервал свое долгое молчание и ответил ему:

— Да, с этой поры я не перестану жалеть, чем ты способен заниматься.

— Способен!.. Как это глупо! Я способен заниматься всем... и я, наконец, не понимаю, почему иногда не позволить себе шалость.

— Ты называешь это шалостью?

— Конечно. А ты?

— По-моему, это низость, это растление других и самого себя.

— Так ты видишь здесь один цинизм?

— Нет, я вижу все, что здесь есть.

— Что же, например?

— Задор и вызов на борьбу людей, которых не стоит трогать.

— Отчего? Они стоят довольно высоко и, трогать их не безопасно.

— Ага! так тебе это доставляет удовольствие?

— И очень большое.

Мак тихо двинул плечами и, улыбнувшись, сказал:

— Я предпочел бы беречь свои силы, чем их так раскидывать.

— В таком случае все те, кто желает заслужить себе одобрение властей, имеют теперь отличный случай достичь этого, — стоит только обнаруживать пренебрежение *Пандоре*. Ты это делаешь?

Мак посмотрел на него пристальным взглядом и сказал:

— Ты не задерешь меня! Я не ссорюсь из-за пустяков и не люблю, когда ссорятся. Мне нет дела до тех, которые ищут для себя расположения у властей, но мне нравятся те, которые не задираются с ними.

— Ну, не хитри, Мак, ты — скрытый аристократ.

— Пожалуй, я — аристократ в том смысле, что я не хочу подражать слугам, передразнивающим у себя на застольной своих господ. Я совсем не интересуюсь этими... господами.

— Другими словами, ты бережешь себя для чего-то лучшего.

— Очень быть может.

Фебуфис ему насмешливо поклонился.

— Можешь мне и не кланяться, — спокойно сказал ему Мак.

И Мак, заплатив свои деньги, ушел ранее других из таверны.

Обе выходки Фебуфиса, как и следовало ожидать, не прошли даром: первая оскорбила правительство его страны, и Фебуфису нельзя было возвратиться на родину, а вторая подняла против него страшную бурю в самом Риме и угрожала художнику наемным убийством.

Фебуфис отнесся к тому и к другому с полным легкомыслием и даже бравировал своим положением; он ни с того ни с сего написал своему государю, что очень рад не возвращаться, ибо из всех форм правления предпочитает республику, а насчет картины, компрометировавшей даму и кардинала, объявил, что это «мечта живописца», и позволял ее видеть посетителям.

В это самое время по Европе путешествовал один молодой герцог, о котором тогда говорили, будто он располагал несметными богатствами. О нем тогда было очень много толков; уверяли, будто он отличался необыкновенною смелостью, щедростью и непреклонностью каких-то своих совершенно особенных и твердых убеждений, с которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень многим. Это делало его интересным со стороны политической, а в то же время герцог слыл за большого знатока и ценителя разнообразных произведений искусства, и особенно живописи.

Высокий путешественник прибыл в Рим полуинкогнито из Неаполя, где все им остались очень довольны.

Папский Рим ему не понравился. Рассказывали, будто он сказал какому-то дипломату, что «дело попов — молиться, но не их дело править», и не только не хотел принимать здесь никаких официальных визитов, но даже не хотел осматривать и многих замечательностей вечного города.

Властям, которые надеялись вступить с герцогом в некоторые сношения, было крайне неприятно, что он собирался уехать отсюда ранее, чем предполагалось по маршруту.

Говорили, будто одному из наиболее любимых путешественником лиц в его свите был предложен богатый подарок за то, если оно сумеет удержать герцога на определенное по маршруту время. Это лицо, — кажется, адъютант, — любя деньги и будучи смело и находчиво, позаботилось о своих выгодах и сумело заинтересовать своего повелителя рассказом о скандалезном происшествии с картиною Фебуфиса, которая как раз о ту пору оскорбила римских монахов, и о ней шел говор в художественных кружках и в светских гостиных.

Хитрость молодого царедворца удалась вдвойне: герцог заинтересовался рассказом и пожелал посетить мастерскую Фебуфиса. Этим предпочтением он мог нанести укол властным монахам, и от этого одного у него прошла хандра, но зато она слишком резко уступила место нетерпению, составлявшему самую сильную черту характера герцога.

Фебуфис входил в круг идей, для него посторонних, и неожиданно получил новое значение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тот же самый адъютант, которому удалось произвести перемену в расположении высокого путешественника, был послан к Фебуфису известить его, что такая-то особа, путешествующая под таким-то инкогнито, желает завтра быть в его мастерской. Фебуфису показалось, что это сделано как будто надменно, и его характер нашел себе здесь пищу.

— Разве ваш герцог так любит художество? — спросил он небрежно у адъютанта.

— Да, герцог очень любит искусство.

— И что-нибудь в нем понимает?

— Как вы странно спрашиваете! Герцог — прекрасный ценитель в живописи.

— Я слыхал только, что он хороший покупатель.

— Нет, я говорю вам именно то, что и хочу сказать: герцог — хороший *ценитель.*

— Быть ценителем — это значит не только знать технику, но иметь понятия о благородных задачах искусства.

— Мм... да!.. Он их имеет.

— В таком разе вы повезите его к Маку.

— Кто этот Мак?

— Мак? Это мой славный товарищ и славный художник. У него превосходные идеи, и я когда-то пользовался его советом и даже начал было картину «Бросься вниз», но не мог справиться с этою идеей.

— *Бросься вниз?*

— Да... «Бросься вниз».

Гостю показалось, что хозяин над ним обидно шутит, и он сухо ответил:

— Я не понимаю такого сюжета.

— Позвольте усомниться.

— Я не имею привычки шутить с незнакомыми.

— «Бросься вниз» — это из евангелия.

— Я не знаю такого текста.

— Сатана говорит Христу: «Бросься вниз».

Адъютант сконфузился и сказал:

— Вы правы, я вспоминаю, — это сцена на кровле храма?

— Вы называете это «сценою»? Ну, прекрасно, будь по-вашему: станем называть евангельские события «сценами», но, впрочем, все дело в благородстве задачи. Обыкновенно ведь пишут сатану с рожками, и он приглашает Христа броситься за какие-то царства... По идее Мака выходило совсем не то: его сатана очень внушительный и практический господин, который убеждает вдохновенного правдолюбца только снизойти с высот его духовного настроения и немножко «броситься вниз», прийти от правды бога к правде герцогов и королей, войти с ним в союз... а Христос, вы знаете, этого не сделал. Мак думает, что у них шло дело об этом и что Христос на это не согласился.

— Да, конечно. Это тоже интересно... Но герцог вообще хочет видеть все ваши работы.

— Двери моей студии открыты, и ваш повелитель может в них войти, как и всякий другой.

— Он непременно желает быть у вас завтра.

— Непременно завтра?

— Да.

— В таком случае лучше пусть он придет послезавтра.

— Позвольте!.. Но почему же послезавтра, а не завтра?

— А почему именно непременно завтра, а не послезавтра?

— Нет, уж позвольте завтра!

— Нет, послезавтра!

Адъютант молча хлопнул несколько раз глазами, что составляло его привычку в минуты усиленных соображений, и проговорил:

— Что же это значит?

— Ничего, кроме того, что я вам сказал, — отвечал Фебуфис и, вспрыгнув на высокий табурет перед большим холстом, который расписывал, взял в руки кисти и палитру.

Все существо его ликовало и озарялось торжеством в самом его любимом роде: он мог глядеть свысока на стоявшего около него светского человека, присланного могущественным лицом, и, таким образом, унижал и посла и самого пославшего.

Адъютант не скрывал своего неприятного положения и сказал:

— Я не могу передать герцогу такого ответа.

— Отчего?

— Он не терпит отказов.

— Ну, нечего делать, потерпит.

— Он не согласится остаться здесь до послезавтра.

— Человек, который так любит искусство, согласится.

— Он назначил завтра вечером уехать.

— Он сам себе господин и всегда может отсрочить.

Адъютант рассмеялся и отвечал:

— Вы оригинальный человек.

— Да, я не рабская копия.

— Без сомнения, герцог может остаться везде, сколько ему угодно, но поймите же, что с ним не принято так обходиться. Ему нельзя диктовать.

— Значит, у него есть характер?

— И очень большой.

— Да, говорят, и я слышал, — это интересно! Так вот мы его испробуем: вы скажите ему, что так и быть, пущу его к себе, но только послезавтра.

— Прошу вас, оставьте это, маэстро!

— Не могу, господин адъютант, не могу, я тоже — рекомендуюсь вам — человек упрямый.

— На что вам его сердить?

— По совести сказать, ни на что, но мне теперь взошла в голову такая фантазия, и вы со мною, с позволения вашего, ни черта не поделаете, ради всех герцогов вместе и порознь.

— Вы дерзки.

— Хотите дуэль?

— Очень хотел бы, но, к сожалению, я теперь не могу принять дуэли.

— Почему?

— Конечно, не потому, что я не желаю вас убить или страшусь быть убитым, но потому, что я состою в свите такого лица, путешествие которого не должно сопровождаться никакими скандалами.

— Хорошо, не нужно дуэли, но я вам предлагаю пари.

— Какое? в чем оно состоит?

— Оно состоит вот в чем: мне кажется, будто я знаю вашего герцога больше, чем вы.

— Это интересно.

— Да, и я это утверждаю и держу пари, что если вы передадите ему то, что я вам сказал, то он останется здесь еще на день.

— Ни за что на свете!

— Вы ошибаетесь.

— Оставим этот разговор.

— А я вам ручаюсь, что я не ошибаюсь; он чудесно прождет до послезавтра, и я вам советую принять пари, которое я предлагаю.

— Я желал бы знать, в чем же будет заключаться самое пари?

— В том, что если ваш повелитель останется здесь *на три дня,* то вы без всяких отговорок должны исполнить то, что я закажу вам; а если он не останется, то я исполню

любое приказание, какое вы мне дадите. Наши шансы равны, и даже, если хотите знать, я рискую больше, чем вы.

— Чем?

— Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова.

— Я передам их в точности, но, в свою очередь, я могу принять ваше условие только в том случае, если в заказе, который вы мне намерены сделать в случае моего проигрыша, не будет ничего унизительного для моей чести.

— Без сомнения.

— В таком случае...

— Вы принимаете мое пари?

— Да.

— Это прелестно: мы заключаем пари на герцога.

— Мне неприятно, что вы над этим смеетесь...

— Я не буду смеяться. Пари идет?

— Извольте.

— Я подаю вам мою руку с самыми серьезными намерениями.

— Я с такими же ее принимаю.

Молодые люди ударили по рукам, и офицер откланялся и ушел, а Фебуфис, проводив его, отправился в кафе, где провел несколько часов с своими знакомыми и весело шутил с красивыми служанками, а когда возвратился вечером домой, то нашел у себя записку, в которой было написано:

«*Он* остается здесь с тем, чтобы быть у вас в студии послезавтра».

Фебуфис небрежно смял записку и, улыбнувшись, написал и послал такой же короткий ответ. В ответе этом значилось следующее:

«*Он* пробудет здесь *три дня*».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Следующий день Фебуфис провел, по обыкновению, за работой и принимал несколько иностранцев, которые внимательно осматривали его талантливые работы, а втайне всего более заглядывались на Messaline dans la loge de

Lisisca,[1] которая занимала большое и видное место. Картина во весь день не была задернута гобеленом, и ее видели все, кто посетил студию.

Потом Фебуфис был во всех тех местах, которые имел в обычае посещать ежедневно, но вернулся домой несколько ранее и, запершись дома с слугою, занялся приведением своей мастерской в большой порядок.

Семейство желчного, больного скульптора, обитавшее в нижнем жилье, которое находилось под ателье Фебуфиса, очень долго слышало шум и возню от передвигания тяжелых мольбертов. Можно было думать, что художник наскучил старым расположением своей мастерской или ему, может быть, пришла фантазия исполнить какую-нибудь новую затею с Messaline dans la loge de Lisisca.

Это так и было.

На следующий день догадки нижнего семейства подтвердились и разъяснились: тотчас после ранней сиесты мастерскую Фебуфиса посетил именитый путешественник в сопровождении двух лиц из своей свиты.

Один из них был престарелый, но молодящийся сановник, во фраке и с значительным количеством звезд. Он был первый советник герцога по всем делам, касающимся иностранных сношений, и занимал должность начальника этого ведомства. В числе звезд, украшавших его лацкана, были и такие, которых никто другой, кроме его, не имел. Старец носил превосходно взбитый на голове парик, блистал белейшими зубами и был подрисован и зашнурован в корсет. Лета его были неизвестны, но он держался бодро, хотя и вздрагивал точно под ударами вольтова столба. Чтобы маскировать это непроизвольное движение, он от времени до времени делал то же самое нарочно. В существе это была дипломатическая хартия, вся уже выцветшая, но еще кое-как разбираемая при случае. В нем была смесь джентльмена, маркиза и дворецкого, но утверждали, будто в делах он ловок и очень находчив. Другой при герцоге был тот самый молодой адъютант, с которым Фебуфис держал свое пари о «завтра и послезавтра».

---

[1] Мессалиной в хижине Лизиска *(франц.)*.

Сам герцог и оба его провожатые были в обыкновенном партикулярном платье, в котором, впрочем, герцог держался совсем по-военному. Он был представительный и даже красивый мужчина, имел очень широкие манеры и глядел как человек, который не боится, что его кто-нибудь остановит; он поводил плечами, как будто на нем были эполеты, и шел легко, словно только лишь из милости касался ногами земли.

Взойдя в atelier,[1] герцог окинул все помещение глазами и удивился. Он как будто увидал совсем не то, что думал найти, и остановился посреди комнаты, насупив брови, и, оборотясь к адъютанту, сказал:

— Это не то.

Адъютант покраснел.

— Это не то, — повторил громко герцог и, сделав шаг вперед, подал художнику руку.

Фебуфис ему поклонился.

— А где же это?

Фебуфис смотрел с недоумением то на герцога, то на его провожатых.

— Я спрашиваю это... то, что у вас есть...

— Здесь решительно все, что может быть достойно вашего внимания.

— Но было еще что-то?

— Кое-какой хлам... пустяки, недостойные вашего внимания.

— Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со мною чинились: не обращайте внимания, что я здесь, и продолжайте работать, — я хочу не спеша осмотреть все, что есть у вас в atelier.

И он начал скоро ходить взад и вперед и вдруг опять сказал:

— Да где же, наконец, то?

— Что вы желаете видеть? — спросил Фебуфис.

— Что?

Герцог гневно метнул глазами и не отвечал, а его адъютант стоял переконфуженный, но статский сановник шепнул:

— Герцог хочет видеть ту картину... ту вашу картину... о которой все говорят.

[1] Мастерскую *(франц.)*.

— Ах, я догадываюсь, — отвечал Фебуфис и откатил подставку, на которой стояло обернутое лицом к стене полотно с новым многоличным историческим сюжетом.

— Не то! — вскричал герцог. — Что изображает эта картина?

— Она изображает знаменитого в шестнадцатом веке живописца Луку Кранаха.

— Ну?

— Он, как известно, был почтен большою дружбой Иоанна Великодушного.

— А что далее?

— Художник умел быть благороднее всех высокорожденных льстецов и царедворцев, окружавших Иоанна, и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточение, его все бросили, кроме Луки Кранаха.

— Очень благородно, но... что еще?

— Лука Кранах один добровольно разделял неволю с Иоанном в течение пяти лет и поддерживал в нем душевную бодрость.

— Хорошо!

— Да, они не только не унывали в заточении, но даже успели многому научиться и еще более возбудить свои душевные силы. Я на своей картине представил, как они проводили свое время: вы видите здесь...

— Да, я вижу, прекрасно вижу.

— Иоанн Великодушный читает вслух книгу, а Лука Кранах слушает чтение и сам пишет этюд нынешней знаменитой венской картины «Поцелуй Иуды»...

— Ага! намек предателям!

— Да, вокруг узников мир и творческая тишина, можно думать, что книга — историческая и, может быть, говорит о нравах царедворцев.

— Дрянь! — оторвал герцог. — Вы прекрасно будете поступать, если будете всегда карать эти нравы.

Фебуфис продолжал указывать муштабелем на изображение Кранаха и говорил с оживлением:

— Я хотел выразить в лице Кранаха, что он старается проникнуть характер предателя и проникает его... Он изображает Иуду не злым, не скупцом, продающим друга за ничтожную цену, а только узким, раздраженным человеком.

— Вот, вот, вот! Это прекрасно!

— Это человек, который не может снести широты и смелости Христа, вдохновленного мыслью о любви ко всем людям без различия их породы и веры. С этой картины Кранах начал ставить внизу монограммою сухого, тощего дракона в пятой манере.

— Помню: сухой и тощий дракон.

— Есть предание, будто он растирал для этого краску с настоящею драконовою кровью...

— Да... Но все это не то! — перебил его герцог. — Где же то?! Я хочу видеть вашу голую женщину!

— Голую женщину?

— Ну да, голую женщину! — подсказал ему старый сановник.

— Ту голую женщину, которая вчера была на этом мольберте, — подсказал с другой стороны адъютант.

— Ах, вы это называете *то?*..

— Ну да!

— Да, да.

— Но вы ошибаетесь, полковник, это ведь было не вчера, а позавчера.

— Оставьте спор и покажите мне, где голая женщина? — молвил герцог.

— Я думал, что она не стоит вашего внимания, ваша светлость, и убрал ее.

— Достаньте.

— Она вынесена далеко и завалена хламом.

— Для чего же вы это сделали?

Фебуфис улыбнулся и сказал:

— Я могу быть откровенен?

— Конечно!

— Я так много слышал о вашей строгости, что проработал всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы только убрать нескромную картину в недоступное место.

— Ненаходчиво. Впрочем, меня любят представлять зверем, но... я не таков.

Фебуфис поклонился.

— Я хочу видеть вашу картину.

— Чтобы доставить вам удовольствие, я готов проработать другую ночь, но едва могу ее достать разве только к завтрашнему дню.

Посетителю понравилась веселая откровенность Фебуфиса, а также и то, что он его будто боялся. Лицо герцога приняло смягченное выражение.

— Хорошо, — сказал он, — достаньте. Я остаюсь здесь еще до завтра.

Он не стал ничего больше рассматривать и уехал с своими провожатыми, а Фебуфис обернул опять лицом к стене полотна с *Сатаной* и *Кранахом,* а *Пандору* поставил на мольберт и закрыл гобеленом, подвижно ходившим на вздержковых кольцах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Устроив у себя в мастерской все опять как было, по-старому, Фебуфис пошел, по обыкновению, вечером в кафе, где сходились художники, и застал там в числе прочих скульптора, занимавшего помещение под его мастерскою. Они повидались дружески, как всегда было прежде, но скульптор скоро начал подшучивать над демократическими убеждениями Фебуфиса и рассказал о возне, которую он слышал у него в мастерской.

— Я не мог этого понять до тех пор, — говорил скульптор, — пока не увидал сегодня входившего к тебе герцога.

— Да, и когда ты его увидал, ты тоже ничего не понял.

— Я понял, что ты тоже не прочь подделываться.

— К кому?

— К великим мира.

— Ну!

— В самом деле! Да еще к таким, как этот герцог, который, говорят, рычит, а не разговаривает с людьми по-человечески.

— Это неправда.

— Ты за него заступаешься!

— А отчего бы нет?

— Он тебя причаровал.

— Он держал себя со мною как бравый малый... немножко по-солдатски, но... он мне понравился, и я даже не хотел бы, чтобы о нем говорили неосновательно.

— Он купил чем-то твое расположение.

Фебуфис вспыхнул. Его горячий и вспыльчивый нрав не дозволил ему ни отшутиться, ни разъяснить своего поведения, — он увидел в намеке скульптора нестерпимое оскорбление и в безумной запальчивости ответил ему еще бо́льшим оскорблением. Завязался спор и дошел до того, что Фебуфис схватился за стилет. Скульптор сделал то же, и они мгновенно напали один на другого. Их розняли, но Фебуфис, однако, успел нанести скульптору легкую царапину и сам получил довольно серьезный укол в правую руку.

В дело сейчас же вмешалась полиция, — римские власти обрадовались случаю наказать художника, оскорбившего своею нескромною картиной кардинала. Фебуфис, как зачинщик схватки, ночью же получил извещение, что он должен оставить Рим до истечения трех суток.

Гнев овладел Фебуфисом в такой степени, что он не заботился о последствиях и сидел в своей мастерской, когда к нему опять вошли герцог-incognito с его молодым провожатым и старцем со звездою.

Фебуфис привстал при их входе и, держа правую руку на перевязи, левою открыл картину.

Высокий гость сразу обнял взглядом «Пандору», прищурил левый глаз и расхохотался — столько было в ней нескромного и в нескромном смешного. Картина, видимо, доставляла зрителям величайшее наслаждение и привела герцога в самое доброе расположение. Он протянул художнику руку. Тот извинился, что подает левую руку.

— Принимаю ее, — отвечал гость, — она ближе к сердцу. А кстати, я слышал, с вами случилась неприятность?

— Я не обращаю на это внимания, ваша светлость.

— Однако вас высылают из папских владений?

— Да.

— В этой истории я оказываюсь немножко причинен... Я был бы очень рад быть вам полезен.

— Я на это не рассчитывал; но вы были мой гость, и я не хотел, чтобы о вас говорили неуважительно.

— Вы поступили очень благородно. Сколько стоит «Кранах»?

Фебуфис сказал цену.

— Это дешево. Я ее покупаю и плачу вдвое.

— Это сверх меры, и я...

— Ничего не сверх меры: благородная идея дорого стоит. И, кроме того, во всяком случае я еще ваш должник. Скажите мне, куда вы теперь намерены уехать и что намерены делать?

— Я застигнут врасплох и ничего не знаю.

— Обдумайтесь скорее. Вы ведь не в ладах с вашим государем.

— Да, ваша светлость.

— Это нехорошо. Я могу просить за вас.

— Покорно вас благодарю. Я не желаю прощения.

— Дурно. Впрочем, все вы, художники, всегда с фантазиями, но я хотя и не художник, а мне тоже иногда приходят фантазии: не хотите ли вы ехать со мною?

— Как с вами? Куда?

— Куда бог понесет. Со мною вы можете уехать ранее, чем вам назначено, и мы посетим много любопытных мест... Кстати, вы мне можете пригодиться при посещении галерей; а я вам покажу дикие местности и дикий воинственный народ, быт которого может представить много интересного для вашего искусства... Другими никакими соображениями не стесняйтесь — это все дело товарища, который вас с собой приглашает.

Фебуфис стоял молча.

— Значит, едем? — продолжал гость. — Сделаем вместе путешествие, а потом вы свободны. Рука ваша пройдет, и вы опять будете в состоянии взяться за кисти и за палитру. Мы расстанемся там, где вы захотите меня оставить.

— Вы так ко мне милостивы, — перебил Фебуфис, — я опасаюсь, как бы мысль о разлуке не пришла очень поздно.

Гость улыбнулся.

— Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать расстаться со мною, когда будет «поздно»?

Фебуфис сконфузился своей неясно выраженной мысли.

— Ничего, ничего! Я люблю чистосердечие... Все, что чистосердечно, то все мне нравится. Я приглашаю вас

быть моим товарищем в путешествии, и если вы запоздаете расстаться со мною на дороге, то я приглашаю вас к себе и ручаюсь, что вам у меня будет не худо. Вы найдете у меня много дела, которое может дать простор вашей кисти, а я подыщу вам невесту, которая будет достойна вас умом и красотою и даст вам невозмутимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.

— Я это знаю, — отвечал Фебуфис.

— Только они прекрасные жены, но позировать в натуре не пойдут. Так это решено: вы мой товарищ?

— Я ваш покорнейший слуга.

— Прекрасно! И вы с этой же секунды увидите, что это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со мною. Распоряжения и сборы об устройстве вашей студии не должны вас волновать. При ране, хотя бы и не опасной, это вредно... Доверьте это ему.

Гость показал глазами на своего адъютанта и, оборотясь слегка в его сторону, добавил:

— Сказать в посольстве, что они отвечают за всякую мелочь, которая здесь есть. Все уложить и переслать на мой счет, куда потребуется. Положитесь на него и берите вашу шляпу.

Фебуфис протянул руку провожатому и сказал:

— Мы квиты.

Тот вспыхнул.

Герцог посмотрел на молодых людей и произнес:

— Что между вами было?

— Пари, — ответил Фебуфис и коротко добавил, что граф ему проиграл маленькую услугу и теперешние его заботы он принимает за сквитку.

— И прекрасно! Честный человек всегда платит свои долги! А в чем было пари?

Фебуфис опять взглянул в лицо адъютанта, и ему показалось, что этот человек умрет сию минуту.

— Извините, ваша светлость, — сказал Фебуфис, — в это замешано имя третьего лица.

— Ах, тайна! Что есть тайна, то и должно оставаться тайною. Я не хочу знать о вашем пари. Едем.

Фебуфис вышел вместе с герцогом и с ним же вместе уехал в роскошное помещение его посла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Известие о том, что Фебуфис так спешно покидает Рим, и притом в сообществе могущественного лица, мгновенно облетело все художественные кружки. Фебуфис теперь не удалялся из Рима как изгнанник, а он выступал как человек, который одержал блистательную победу над своими врагами. Никто не сомневался, что Фебуфис не испугался бы изгнания из Рима и, может быть, вышел бы отсюда еще с какою-нибудь новою дерзостью, но выйти так величественно, как он теперь выходит с могущественным покровителем, который добровольно назвался его «товарищем», — это было настоящее торжество. Все говорили: «А герцог-то, значит, совсем не такой грубый человек, как о нем рассказывают. Вон он как прост и как приветлив! Что ни говори, а он достоин симпатий!»

И вот молодые художники — все, кто знал Фебуфиса, побросали работы и веселою гурьбой отправились на первую станцию, где надлежало переменять лошадей в экипажи путешественника и его свиты. Все они хотели проводить товарища и даже приветствовать его великодушного покровителя. В числе провожатых находились и Пик и Мак.

Здесь были цветы, вино, песни и даже было сочинено наскоро величанье «покровителю художников».

Герцог был очень доволен сюрпризом: он не спешил прерывать прощание товарищей и даже сам поднял бокал за «товарищей» и за процветание «всего изящного и благородного в мире».

Это возбудило такой всеобщий восторг, что герцог уехал, сопровождаемый долго не умолкавшими кликами самого непритворного и горячего восторга.

Экипаж, в котором ехали Фебуфис и адъютант, с разрешения герцога остался здесь до утра, когда оба путешественника были уложены в коляску и, удаляясь, должны были долго слышать вслед за собою нетрезвые крики друзей, смешивавших имена Луки Кранаха с именем Фебуфиса и имя герцога с именем Иоанна Великодушного. Более всех шумел Пик.

— Нет, каков герцог! Каков этот суровый, страшный герцог! — кричал он весь в поту, с раскрасневшимся лицом.

— Смотри, будь счастлив, Фебуфис! — вторили Пику другие.

— О, он будет счастлив! Он должен быть счастлив с таким покровителем!

— Еще бы! такое покровительство хоть кого выведет к всемирной славе, тем более Фебуфиса. Но как он это обделал!

— А это штука, но что бы кто ни говорил, я ручаюсь за одно, что Фебуфис не дозволил себе ничего такого, что бы могло бросить тень униженного искательства на его поведение!

— Конечно, конечно!

— Я там не был, но я это чувствую... и я за это ручаюсь, — настаивал Пик.

— Конечно, конечно!.. Из нас никто там не был, но мы все ручаемся, что Фебуфис не сказал ни одного унизительного слова, что он не сделал перед герцогом ни одного поклона ниже, чем следует, и вообще... он... вообще...

— Да, вообще... вообще Фебуфис — благородный малый, и если скульптор имеет об этом иное мнение, то он может потребовать от каждого из нас отдельных доказательств в зале фехтовальных уроков, а Фебуфису мы пошлем общее письмо, в котором напишем, как мы ему верим, как возлагаем на него самые лучшие наши надежды и клянемся ему в товарищеской любви и преданности до гроба.

— До гроба! до гроба!

Но в это время кто-то крикнул:

— Вы поклянитесь на своих мечах!

Все обернулись туда, откуда шел этот голос, и увидали Мака.

Один Мак до сих пор упорно молчал, и это обижало Пика; теперь же, когда он прервал свое молчание фразой из Гамлета, Пик обиделся еще более.

— Я не ожидал этого от тебя, Мак, — сказал он и затем вспрыгнул на стол и, сняв с себя шляпу, вскричал:

— Друзья, здесь шутки Мака неуместны! Восторг не должно опошлять! Восходит солнце, я гляжу в его огненное лицо: я вижу восходящее светило, я кладу мою руку

на мое сердце, в которое я уместил мою горячую любовь к Фебуфису. Я призываю тебя, великий в дружбе Кранах!.. Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, и поклянемся доказать нашу дружбу Фебуфису всем и всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!

У пришедшего в восторг Пика стало истерически дергать горло, и все его поняли, схватили его со стола, подняли его, и все поклялись в чем-то на своих сердцах.

И затем опять пили и пели все, кроме Мака, который тихо встал и, выйдя в сад, нашел скрывавшуюся в густой куртине молодую женщину. Это была Марчелла. Она стояла одиноко у дерева, как бы в окаменении. Мак тронул ее за плечо и сказал ей:

— Тебе пора домой, Марчелла. Пойдем, я провожу тебя.

— Благодарю, — отвечала Марчелла и пошла с ним рядом, но, пройдя недалеко по каменистой дороге, остановилась и сказала:

— Меня покидают силы.

— Отдохнем.

Они сели. До них долетали звуки пьяных песен.

— Как они противно поют! — уронила Марчелла.

— Да, — отвечал Мак.

— Он пропадет?

— Не знаю, да и ты не можешь этого знать.

— Мое сердце это знает.

— Твое сердце и здесь его не спасало.

— Ах да, добрый Мак, не спасало.

— Что же будем делать?

— Жалей его вместе со мною!

И она братски поцеловала Мака.

А там всё еще пели.

Такого взрыва восторженных чувств друзья не видали давно, и, что всего лучше, их пированье, начатое с аффектацией и поддержанное вином, не минуло бесследно. Художники на другой день не только послали Фебуфису общее и всеми ими подписанное письмо, но продолжали интересоваться его судьбою, а его многообещавшая судьба и сама скоро начала усугублять их внимание и сразу же обещала сделаться интересною, да и в самом деле скоро таковою сделалась в действительности.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Фебуфис вскоре же прислал первые письма на имя Пика. Как в жизни и в искусстве, так и в письмах своих он стремился быть более красивым, чем натуральным и искренним, но тем не менее письма его чрезвычайно нравились Пику и тем из их товарищей, которые имели сродные свойства самодовлеющих художественных натур воспоминаемого времени. Стоило молодой буфетчице кафе, куда адресовалась корреспонденция маленького Пика, показать конверт, надписанный на его имя, как все вскричали:

— Не от Фебуфиса ли? Письмо от Фебуфиса!

И если письмо было действительно от Фебуфиса, то Пик кивал утвердительно головою, и все вдруг кричали:

— Друзья, письмо от Фебуфиса! Радость и внимание! Пишет товарищ и друг венценосца! Читай, Пик!

Пик подчинялся общему желанию, раскрывал письмо, запечатанное всем знакомою камеей Фебуфиса, и читал. Тот описывал виденные им местности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личные впечатления и особенно характер своего великодушного покровителя и свои взаимные с ним отношения. По правде сказать, это особенно всех интересовало. Их отношения часто приводили художников в такой восторг, что они все чувствовали себя как бы объединенными с высоким лицом чрез Фебуфиса. В их дружеском круге не упоминалось более официальное величание этой особы, а вместо всего громкого титула ему дали от сердца исшедшее имя: «великодушный товарищ».

Иначе его не называл никто, кроме Мака, который, впрочем, имел от природы недоверчивый характер и был наклонен к насмешке над всякими шумными и надутыми чувствами и восторгами, но на него не обращали много внимания: он в самом деле был ворчун и, может быть, портил прямую линию самодовлеющему искусству, наклоняя его к «еретическому культу служения идеям».

По поводу путевых впечатлений Фебуфиса Мак не ликовал: он не только не интересовался ими, но даже был резок и удивлялся: что в них может интересовать других? Когда все слушали, что описывает Фебуфис, Мак или лениво зевал, или следил глазами по печатным строчкам газеты, ища встретить имя Джузеппе Гарибальди, тогда

еще известное очень немногим, в числе которых, впрочем, были Марчелла и Мак (Пик звал их: «организмы из уксусного гнезда». *Уксусное гнездо* тогда было в заводе). Понятно, что человеку такого духа было мало нужды до «путешествия с герцогом».

По взглядам Мака, Фебуфис был талантливый человек, который пошел по дурной дороге, и в виду чего-нибудь более достойного им не стоит заниматься.

— Ты — «черный ворон», Мак, — говорил ему с обидою в голосе Пик. — Завещай нам, чтобы мы из тебя сделали пугало.

— А ты, мой милый Пик, настоящий теленок, и из тебя без всякого твоего завещания когда-нибудь приготовят такой же шнель-клёпс, как из твоего Фебуфиса.

— А из Фебуфиса уже готовят шнель-клёпс?

— Ну, конечно.

После таких перемолвок Пик давал себе слово ничего не говорить о Фебуфисе в присутствии Мака, но, однако, не выдерживал и при всяком новом известии спешил возвестить его при Маке. Да и трудно было удержаться, потому что известия приходили одно другого эффектнее. На шнель-клёпс не было ничего похожего, — напротив, между Фебуфисом и его покровителем образовалась такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было опасаться: нет ли тут преувеличений?

— Шнель-клёпса не будет! — говорил Пик, похлопывая Мака.

Но Мак отвечал:

— Будет!

И вдруг в самом деле запахло шнель-клёпсом: пришло письмо, в котором Фебуфис описывал, как они сделали большой переезд верхами по горам, обитаемым диким, воинственным племенем. Прекрасно были описаны виды неприступных скал, падение гремящих потоков и удивительное освещение высей и дымящихся в тумане ущелий и долин; потом описывались живописные одежды горцев, их воинственный вид, мужество, отвага и простота их патриархальных обычаев, при которой сохранилось полное равенство и в то же время дружественность и гостеприимство с ласковостью, доходящею до готовности сделать приятное гостю даже с риском собственной жизни.

«В одном месте, — описывал Фебуфис, — я был чрезвычайно тронут этою благородною чертой, и у нас даже дошло дело до маленькой неприятности с моим патроном. Впрочем, все это сейчас же было заглажено, и от неприятного не осталось ни малейшего следа, — напротив, мы еще более сблизились, и я после этого полюбил его еще более».

— Начинается что-то любопытное, — вставил слово Мак.

— Да, конечно, — отвечал Пик, — ведь ты слышишь: они «еще более сблизились»; но слушайте, я продолжаю.

«Мы еще более сблизились»... Да, вот где я остановился: «мы сблизились, — мы ехали вдоль узкой, покрытой кремнистою осыпью тропинки, которая вилась над обрывом горной речки. По обеим сторонам тропы возвышались совершенно отвесные, точно как бы обрубленные скалы гранита. Обогнув один загиб, мы стали лицом к отвесной стене, так сильно освещенной солнечным блеском, что она вся казалась нам огненною, а на ней, в страшной высоте, над свесившимися нитями зеленого диарита, мы увидали какой-то рассыпчатый огненный ком, который то разлетался искрами, то вновь собирался в кучу и становился густым. Мы все недоумевали, что это за метеор, но наши проводники сказали нам, что это просто рой диких пчел. Горцы отлично знают природу своего дикого края и имеют преострое зрение: они определили нам, что этот рой только что отроился от старого гнезда, которое живет здесь же где-нибудь в горной трещине, и что там у них должен быть мед. Герцог пошутил, что здешние пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смелых людей, они нашли себе такой приют, где их не может потревожить человек самый бесстрашный. Но старший в нашем эскорте, седоволосый горец со множеством ремешков у пояса, на которых были нанизаны засохшие носы, отрубленные у убитых им неприятелей, покачал своею красивою белою головой и сказал:

— Ты не прав, господин: в наших горах нет для нас мест недоступных.

— Ну, этому я поверю только тогда, — отвечал герцог, — если мне подадут отведать их меда.

Услыхав это, старый горец взглянул в глаза герцогу и спокойно ответил:

— Ты попробуешь этого меда.

С этим он сейчас же произнес на своем языке какое-то нам непонятное слово, и один молодой красавец наездник из отряда в ту же минуту повернул своего коня, гикнул и исчез в ущелье. А старик молчаливым жестом руки дал нам знак остановиться.

Мы остановились, и должны были это сделать, потому что все наши провожатые стали как вкопанные и не двигались с места... старец сидел на своем коне неподвижно, глядя вверх, где свивался и развивался золотистый рой. Герцог его спросил: «Что это будет?» — но он ответил: «Увидишь», и стал крутить в грязных пальцах свои седые усы.

Так прошло не более времени, чем вы, может быть, употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдруг наверху скалы, над тем самым местом, где вился рой, промелькнул отделившийся от нас всадник, а еще через мгновение мы увидали его, как он спешился около гребня скалы, и стал спускаться на тонком, совсем незаметном издали ремне, и повис в воздухе над страшною пропастью.

Герцог вздрогнул, сказал: «Это черт знает что за люди!» — и на минуту закрыл рукой глаза.

Мы все замерли и затаили дыхание, но горцы стояли спокойно, и старик спокойно продолжал крутить свои седые усы, а тот меж тем снова поднялся наверх и через пять минут был опять среди нас и подал герцогу кусок сотового меда, воткнутый на острие блестящего кинжала.

Герцог, к удивлению моему, похвалил его холодно; он приказал адъютанту взять мед и дать горцу червонец, а сам тронул повод и поехал далее. Во всем этом выражалась как будто вдруг откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность.

Это было сделано так грубо, что меня взбесило. Я не выдержал себя, торопливо снял с руки тот мой дорогой бриллиантовый перстень, который подарила мне известная вам богатая англичанка, и, сжав руку молодого смельчака, надел ему этот перстень на палец, а горец отстранил от себя протянутую к нему адъютантом руку с червонцем и подал мне мед на кинжале. И я его взял. Я *не мог* его не взять от горца, который, отстранив герцогский подарок, охотно принял мой перстень и, взяв мою руку, приложил ее к своему сердцу, но далее я соблюл

вежливость: я тотчас же подал мед герцогу, только он не взял... он ехал, отворотясь в сторону. Я подумал, что он обиделся, но это у меня промелькнуло в голове и сейчас же исчезло, вытесненное живым ощущением, которое сообщало мне вдохновляющее спокойствие горца.

Его сердце билось так же ровно, как бьется сердце человека, справляющего приятную сиесту. Ни страх минувшей опасности, ни оскорбление, которое он должен был почувствовать, когда ему хотели заплатить червонец, как за акробатское представление, ни мой дорогой подарок, стоимость которого далеко превосходила ценность трехсот червонцев, — ничто не заставило его чувствовать себя иным, чем создала его благородная природа. Я был в таком восторге, что совсем позабыл о неудовольствии герцога и, вынув из кармана мой дорожный альбом, стал наскоро срисовывать туда лицо горца и всю эту сцену. Художественное было мне дорого до той степени, что я совсем им увлекся и, когда кончил мои кроки, молча подъехал к герцогу и подал ему мою книжку, но, вообразите себе, он был так невежлив, что отстранил ее рукой и резко сказал: «Я не требовал, чтобы мне это было подано. Черт возьми, вы знаете, я к этому не привык!» Я спокойно положил мою книжку в карман и отвечал: «Я извиняюсь!» Но и это простое слово его так страшно уязвило, что он сжал в руке судорожно поводья и взгляд его засверкал бешенством, а между губ выступила свинцовая полоска.

Я помнил спокойствие горца и на все это сверкание обратил нуль внимания, и... я победил грубость герцога. Мы поехали дальше; я все прекрасно владел собою, но в нем кипела досада, и он не мог успокоиться: он оглянулся раз, оглянулся два и потом сказал мне:

— Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы кто-нибудь поправлял то, что я сделал?

— Нет, не знаю, — отвечал я и добавил, что я вовсе не для того и показывал ему мой рисунок, чтобы требовать от него замечаний, потому что я тоже не люблю посторонних поправок, и притом я уверен, что с этого наброска со временем выйдет прекрасная картина.

Тогда он сказал мне уже повелительно: «Покажите мне сейчас ваш рисунок».

Я хотел отказать, но улыбнулся и молча подал ему альбом.

Герцог долго рассматривал последний листок: он был в худо скрываемом боренье над самим собою и, по-видимому, переламывал себя, и потом взглянул мне в глаза с холодною и злою улыбкой и произнес:

— Вы хорошо рисуете, но нехорошо обдумываете ваши поступки.

— Что такое? — спросил я спокойно.

— Я чуть-чуть не уронил ваш альбом в пропасть.

— Что за беда? — отвечал я. — Этот смельчак, который сейчас достал мед, вероятно достал бы и мой альбом.

— А если бы я вырвал отсюда листок, на котором вы зачертили меня с таким особенным выражением?

— Я передал то выражение, которое у вас было.

— Все равно, кто-нибудь на моем месте очень мог пожелать уничтожить такое свое изображение.

Я был в расположении отвечать дерзко на его дерзости и сказал, что я нарисовал бы то же самое во второй раз и только прибавил бы еще одну новую сцену, как рвут доверенный альбом, — но, — добавил я, — я ведь знал, что вы не «кто-нибудь» и что вы этого не сделаете.

— Почему?

— Потому, что вы в вашем положении должны уметь владеть собою и не позволять нам, простым людям, превосходить вас в благородстве и великодушии.

Лицо герцога мгновенно изменилось: он позеленел и точно с спазмами в горле прошипел:

— Вы забылись!.. мне тоже нельзя делать и наставлений, — и на губах его опять протянулась свинцовая полоска.

Это все произошло из-за куска меду и из-за того, что он не успел как должно поблагодарить полудикого горца за его отвагу, а я это поправил... Это было для него несносное оскорбление, но я хотел, чтобы мне не было до его фантазий никакого дела. Вместо того чтобы прекратить разговор сразу, я сказал ему, что никаких наставлений не думал делать и о положении его имею такое уважительное мнение, что не желаю допускать в нем никаких понижающих сближений.

Он не отвечал мне ни слова, и, вообразите, мне показалось, что он угомонился, но — позор человечества! —

в это же время я вдруг заметил, что из всех его окружающих на меня не смотрит ни один человек и все они держат своих коней как можно плотнее к нему, чтобы оттереть меня от него или оборонить от меня. Вообще, не знаю, что такое они хотели, но во всяком случае что-то противное и глупое.

Я осадил своего коня и, поравнявшись с тем горцем, который доставал мед, поехал с ним рядом.

Только здесь теперь, в безмолвном соседстве этого отважного дикаря, я почувствовал, как я сам был потрясен и взволнован. С ним мне было несравненно приятнее, чем в важной свите, составленной из людей, которые сделались мне до того неприятны, что я не хотел дышать с ними одним воздухом и решился на первой же остановке распроститься с герцогом и уехать в Испанию или хоть в Америку...»

— Прекрасно! — перебил Мак.

— Нет, ты подожди, что будет еще далее! — вставил Пик.

— Я всему предпочел бы, чтобы он сдержал это намерение и этим кончил.

— Нет, ты услышишь!

Другие вскричали:

— Да ну вас к черту с вашими переговорами! Письмо гораздо интереснее, чем ваши реплики!.. Читай, Пик, читай!

Пик продолжал чтение.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Я был очень зол на себя, что предпринял это путешествие с герцогом, на которого, признаться сказать вам, я, однако, не питал ни гнева, ни злобы. Все это у меня ушло почему-то на долю его окружающих. Настроение было препротивное: все молчали. Так мы доехали до ночлега, где нам было приготовлено сносное для здешней дикой страны помещение. Все имели лица с самым натянутым, а некоторые с смешным и даже с жалким выражением. Если бы я не был очень недоволен собою, то я всего охотнее занялся бы занесением в мой альбом этих лиц,

рассматривая которые всякий порядочный человек, наверное, сказал бы: «Вот та компания, в которой не пожелаешь себя увидеть в серьезную минуту жизни!» Но мне было не до того, чтобы их срисовывать. Притом же это было бы уже крайне грубо. Я теперь имел твердое намерение немедленно же отстать от них и ехать в Америку.

Не понижая своего тона и способа держаться, я не старался и скрывать своего раздражения, — я отдалился от компании и не хотел ни есть, ни спать под одною с ними кровлей. Я отошел в сторону и лег на траве над откосом и вдруг захотел спать. Этим в моей счастливой организации обыкновенно выражается кризис моих волнений: я хочу спать, и сплю, и во сне мои досаждения проходят или по крайней мере смягчаются и представляются мне после в более сносном виде. Но я не успел разоспаться, как кто-то тронул меня за плечо; я открыл глаза и увидал герцога, который сидел тут же, возле меня, на траве и, не дозволяя мне встать, сказал:

— Простите меня, что я вас разбудил. Я не ожидал, чтобы вы так скоро уснули, а я отыскал вас и хочу с вами говорить.

И сейчас же вслед за этим он стал горячо извиняться в своей запальчивости. На меня это страшно подействовало, и я старался его успокоить, но он с негодованием говорил о своей «проклятой привычке» не удерживаться и о ничтожестве характеров окружающих его людей. Он был так искренен и так умен и мил, что я забыл ему все неприятное и зашел в своем порыве дальше, чем думал. Может быть, я сделал большую глупость, но это уже непоправимо. Я, наверное, удивлю вас. Да! узнайте же, мои друзья, что я себе наметил место, и теперь приспело время выслать мне мои вещи, но не на мое имя, а на имя герцога, так как я, *как друг его,* отправляюсь с ним в его страну... Да, мои друзья, да, я называю его «другом» и еду к нему. Это решено и не может быть переменено, а решено это тут же, на этом ночлеге, среди диких скал, каплющих диким медом. Не я просился к нему и набивался с моею дружбой, а *он* просил меня «не оставлять его» и ехать с ним в его страну, где я встречу для себя большое поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вместе с тем и ему. Герцог — испорченная, но крупная натура, и я хочу быть полезен ему; его стала любить моя

душа за его искренние порывы, свидетельствующие о несомненном благородстве его природы, испорченной более всего раболепною и льстивою средой. Я могу внести и, конечно, внесу в эту среду иное. А кстати, еще об этой природе и об этой среде. Среда эта удивительна, и вам трудно составить себе о ней живое понятие. Я уже писал вам, как после истории с медом на кинжале эти люди смешно от меня удалялись, но они еще смешнее опять со мною сблизились: это случилось за ужином, к которому он подвел меня под руку, а потом вскоре сказал:

— Удивительно, как сильно влияет на человека такой грубый прибор, как его желудок: усталость и голод в течение знойного дня довели меня до несправедливости перед нашим художественным другом, а теперь, когда я сыт и отдохнул, я ощущаю полное счастье от того, что умел заставить себя просить у него извинения.

Это произвело на всех действие магическое, а когда герцог добавил, что он уверен, что кто любит его, тот будет любить и меня, то усилиям показать мне любовь не стало предела: все лица на меня просияли, и все сердца, казалось, хотели выпрыгнуть ко мне на тарелку и смешаться с маленькими кусками особливым способом приготовленной молодой баранины. Мне говорили:

— Не тужите о родине, которая вас отвергла! У нас будет один отец и одна родина, и мы все будем любить вас, как брата!

Все это у них делается так примитивно и так просто, что не может быть названо хитростью и неспособно обмануть никого насчет их характеров, и мне кажется, что я буду жить по крайней мере с самыми бесхитростными людьми в целом свете».

Письмо кончалось лаконическою припиской, что следующие известия будут присланы уже из владений герцога. И Пик, дочитав лист, стал его многозначительно складывать и спросил Мака:

— Ну, как тебе это нравится?

— Недурно для начала, — процедил неохотно Мак и сейчас же добавил, что это напоминает ему рассказ об одном беспечном турке.

— Каком турке? — переспросил Пик.

— Которого однажды его падишах велел посадить на кол.

— Я ничего не понимаю.

— Все дело в том, что когда этого турка посадили на кол, он сказал: «Это недурно для начала», и стал опускаться.

— Что же тут сходного с положением нашего товарища?

— Фебуфис сел на кол и опускается.

— Ты отвратительно зол, Мак!

— Нет, я не зол.

— Ну, завистлив.

— Еще выдумай глупость!

— Тебе это письмо не нравится?

— Не нравится.

— Что же именно тебе в нем не нравится: мед, кинжал, сцена у скал, сцена с альбомом?

— Мне не нравится сцена с желудком!

— То есть?

— Я не люблю положений, в которых человек может чувствовать себя в зависимости от расположения желудка другого человека.

— Ну, вот!

— Да, и в особенности гадко зависеть от расположения желудка такого человека, по гримасам которого к тебе считают долгом оборачиваться лицом или спиною другие. Согласясь жить с ними, Фебуфис сел на кол, и тот, кто стал бы ему завидовать, был бы слепой и глупый человек.

— Ты, кажется, назвал меня глупцом?

Мак посмотрел на него и заметил:

— Кажется, ты ко мне хочешь придираться?

— А если бы и так!

Мак промолчал.

— Ты, наверное, желаешь этим пренебречь.

Мак молча повел плечами и хотел встать.

— Нет, в самом деле? — приставал к нему Пик, слегка заграждая ему путь рукой.

Мак тихо отвел его руку, но Пик стал ему на дороге и, покраснев в лице, настоятельно сказал:

— Нет, ты не должен отсюда уходить!

— Отчего я не могу уходить?

— Я вызываю тебя на дуэль!

Мак улыбнулся.

— За что на дуэль? — сказал он, тихо поднимая себе на плечо свою альмавиву.

— За все!.. за то, что ты мне надоедал своими насмешками, за то, что ты издеваешься над отсутствующим товарищем, который... которого... которому...

— Распутайся и скажи яснее...

— Мне все ясно... который поднимает имя и положение художника, которого я люблю и хочу защищать, потому что он сам здесь отсутствует, и которому ты... которому ты, Мак, положительно завидуешь.

— Теперь ты в самом деле глуп.

— Что же с этим делать?

— Не знаю, но я ухожу.

— Уходишь?

— Да.

— Так ты трус, и вот тебе оскорбление! — и с этим Пик бросил Маку в лицо бутылочную пробку.

Мак побледнел и, схватив Пика за шиворот, поднял его к открытому окну на улицу и сказал:

— Ты можешь видеть, что мне ничего не стоит вышвырнуть тебя на мостовую, но...

— Нет, идем сейчас в фехтовальный зал.

— Но ведь это глупо!

— Нет, идем! Я тебя зову... я требую тебя в фехтовальный зал! — кричал Пик.

— Хорошо, делать нечего, идем. Но ты знаешь что?

— Что?

— Я там непременно обрублю тебе нос.

Пик от бешенства не мог даже ответить, а через час друзья, бывшие в зале свидетелями неосторожного фехтовального урока, уводили его под руки, и Пик в самом деле держал носовой платок у своего носа. Мак в точности сдержал свое обещание и отрезал рапирой у Пика самый кончик носа, но не такой, как режут дикари, надевающие носы на вздержку, а только самый маленький кончик, как самая маленькая золотая монета папского чекана.

Честь обоих художников была удовлетворена, как требовали их понятия, все это повело к неожиданным и прекрасным последствиям. О событии с носом Пика никто не сообщал Фебуфису, но от него в непродолжительном же времени было получено письмо, в котором, к общему удивлению, встретилось и упоминание о носе. В этом

письме Фебуфис уже описывал столицу своего покровителя. Он очень сдержанно говорил о ее климате и населении, не распространялся и об условиях жизни, но зато очень много и напыщенно сообщал об открытой ему деятельности и о своих широких планах.

Это должно было выражать и обхватывать что-то необъятное и светлое, как в прямом, так и в иносказательном смысле: чувствовалось, что в голове у Фебуфиса как будто распустил хвост очень большой павлин, и художник уже положительно мечтал направлять герцога и при его посредстве развить вкус в его подданных и быть для них благодетелем: «расписать их небо».

Ему были нужны помощники, и он звал к себе товарищей. Он звал всех, кто не совсем доволен своим положением и хочет более широкой деятельности (деньги на дорогу можно без всяких хлопот получать от герцогова представителя в Риме).

Особенно он рекомендовал это для Пика, про которого он каким-то удивительным образом узнал его историю с носом и имел слабость рассказать о ней герцогу (герцога все интересует в художественном мире). Правда, что нос заставил его немного посмеяться, но зато самый характер доброго Пика очень расположил герцога в его пользу. При этом Фебуфис присовокуплял, что для него самого приезд Пика был бы очень большим счастием, «потому что как ему ни хорошо на чужбине, но есть минуты...»

Пик скомкал письмо и вскрикнул:

— Вот это и есть самое главное! Я его узнаю и понимаю: как ему там ни хорошо, но тем не менее он чувствует, что «есть минуты», — я понимаю эти минуты... Это когда человеку нужна родная, вполне его понимающая душа... Я ему благодарен, что он в этих размышлениях вспомнил обо мне, и я к нему еду.

Пику советовали хорошенько подумать, но он отвечал, что ему не о чем думать.

— По крайней мере дай хорошенько зажить твоему носу.

Он вздохнул и отвечал:

— Да, хотя Мак и оскоблил мне кончик носа и мне неприятно, что мы с ним в ссоре, но я с ним помирюсь перед отъездом, и он, наверное, скажет, что мне там приставят нос.

Затем Пик без дальнейших размышлений стал собираться и, прежде чем успел окончить свои несложные сборы, как предупредительно получил сумму денег на путешествие.

Этим последним вниманием Пик был так растроган, что «хотел обнять мир» и начал это с Мака.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он побежал к Маку, кинулся ему на шею и заговорил со слезами:

— Что же это, милый Мак, неужто мы всё будем в ссоре? Я пришел к тебе, чтобы помириться с тобою и прижать тебя к моему сердцу.

— Рад и я и отвечаю тебе тем же.

— Ведь я люблю тебя по-прежнему.

— И я тоже тебя люблю.

— Ты так жесток, что не хотел сделать ко мне шага, но все равно: я сам сделал этот шаг. Для меня это даже отраднее. Не правда ли? Я бегом бежал к тебе, чтобы сказать тебе, что... там... далеко... куда я еду...

— Ах, Пик, для чего ты туда едешь?

— Между прочим для того, чтобы ты мог шутить, что мне там приставят нос.

— Я вовсе не хочу теперь шутить и самым серьезным образом тебя спрашиваю: зачем ты едешь?

— Это не мудрено понять: я еду, чтобы жить вместе с нашим другом Фебуфисом и с ним вместе совершить службу искусству и вообще высоким идеям. Но ты опять улыбаешься. Не отрицай этого, я подстерег твою улыбку.

— Я улыбаюсь потому, что, во-первых, не верю в возможность служить высоким идеям, состоя на службе у герцогов...

— А во-вторых?.. Говори, говори все откровенно!

— Во-вторых, я ни тебя, ни твоего тамошнего друга не считаю способными служить таким идеям.

— Прекрасно! Благодарю за откровенность, благодарю! — лепетал Пик, — и даже не спорю с тобою: здесь мы не велики птицы, но там...

— Там вы будете еще менее, и я боюсь, что вас там ощиплют и слопают.

— Почему?

— О, черт возьми, — еще почему? Ну, потому, что у тамошних птиц и носы и перья — все здоровее вашего.

— Грубая сила не много значит.

— Ты думаешь?

— Я уверен.

— Дитя! А я тебе говорю: ощиплют и слопают. Это не может быть иначе: грач и ворона всегда разорвут мягкоклювую птичку, и вдобавок еще эта ваша разнузданная художественность... Вам ли перевернуть людей упрямых и крепких в своем невежестве, когда вы сами ежеминутно готовы свернуться на все стороны?

— Я прошу тебя, Мак, не разбивай меня: я решился.

— Ты просишь, чтобы я замолчал?

— Да.

— Хорошо, я молчу.

— А теперь еще одна просьба: ты не богат и я не богат... мы оба равны в том отношении, что оба бедны...

— Это и прекрасно, зато до сих пор мы оба были свободны и никому ничем не обязаны.

— Не обязаны!.. Ага! Тут опять есть шпилька: хорошо, я ее чувствую... Ты и остаешься свободным, но я теперь уже не свободен, — я обязан, я взял деньги и обязан тому, кто мне дал эти деньги, но я их заработаю и отдам.

— Да; по крайней мере не забывай об этом и поспеши отдать долг как можно скорее.

— Я тебе даю мое слово: я буду спешить. Фебуфис пишет, что там много дела.

— Какого?.. «Расписывать небо», или писать баталии, или голых женщин на зеркалах в чертогах герцога?

— Ну, все равно, ты всегда найдешь, чем огорчить меня и над чем посмеяться, но я к тебе с такою просьбой, в которой ты мне не должен отказать при разлуке.

— Пожалуйста, говори ее скорее.

— Нет, ты дай прежде слово, что ты мне не откажешь.

— Я не могу дать такого слова.

— Видишь, как ты упрям.

— Это не упрямство: нельзя давать слов и обещаний, не зная, в чем дело.

— Ты, как художник, любишь славу?

— Любил.

— А теперь разве уже не любишь?

— Теперь не люблю.

— Что же это значит?

— Это значит, что я узнал нечто лучшее, чем слава.

— И любишь теперь это «нечто» лучшее более, чем известность и славу?.. Прекрасно! Я понимаю, о чем ты говоришь: это все про народные страдания и прочее, в чем ты согласен с Джузеппе... А знаешь, есть мнение... Ты не обидишься?

— Бывают всякие мнения.

— Говорят, что он авантюрист.

— Это кто?

— Твой этот Гарибальди, но я знаю, что ты его любишь, и не буду его разбирать.

Мак в это время тщательно обминал рукой стеариновый оплыв около светильни горевшей перед ними свечи и ничего не ответил. Пик продолжал:

— Я не понимаю только, как это честный человек может желать и добиваться себе полной свободы действий и отрицать такое же право за другими? Если хочешь вредить другим, то не надо сердиться и на них, когда они защищаются и тоже тебе вредят...

— Говори о чем-нибудь другом! — произнес Мак.

— Да, да; правда: это не в твоем роде, и ты уже сердишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать тебе прямо: мне прислали на дорогу денег.

— Поздравляю.

— И я нахожу, что мне много присланных денег... Мак, осчастливь меня: возьми себе из них половину, чтобы иметь возможность написать свою большую картину.

— Отойди, сатана! — отвечал Мак, шутливо отстраняя от себя Пика, который вдруг выхватил из кармана бумажник и стал совать ему деньги.

— Возьми!.. Умоляю! — приставал Пик.

— Ну, перестань, оставь это.

— Отчего же? Неужто тебе весь век все откладывать произведение, которое сделает тебя славным в мире, и мазикать на скорую руку для продажи твои маленькие жанры?

— Я не вижу в этом ни малейшего горя: мои маленькие жанры делают дело, которое лучше самой большой картины.

— Ну, мой друг! что обольщаться напрасно?

— Я не обольщаюсь.

— Посмотри, сколько твоих жанров висят по тавернам: их и не видит лучшее общество.

— Лучшее общество! А черт его побери, это лучшее общество! Оно для меня ничего не делает, а мои жанры меня кормят и шевелят кое-чью совесть. Особенно радуюсь, что они есть по тавернам. Нет, мне чужих денег не нужно, а если у тебя так много денег, что они тебе в тягость, то толкнись в домик к Марчелле и спроси: нет ли ей в них надобности?

— Марчелла! Ах, добрый Мак, это правда. Я ему, однако, напомню о ней... я заставлю его о ней подумать...

— Нет, не напоминай! Найдется такой, который напомнит! Пойдем в таверну и будем лучше пить на прощанье. Ни о чем грустном больше ни слова.

Друзья надели шляпы и пошли в таверну, где собрались их другие товарищи, и всю ночь шло пированье, а на другой день Пика усадили в почтовую карету и проводили опять до той же станции, до которой провожали Фебуфиса. Карета умчалась, и Пик под звук почтальонского рожка прокричал друзьям последнее обещание: «писать все и обо всем», но сдержал свое обещание только отчасти, и то в течение очень непродолжительного времени.

Мак видел в этом дурной признак: наивный, но честный и прямодушный Пик, без сомнения, в чем-нибудь был серьезно разочарован, и, не умея лгать, он молчал. Спустя некоторое время, однако, Пик начал писать, и письма его в одно и то же время подкрепляли подозрения Мака и приносили вести сколько интересные, столько же и забавные.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Для начала он, разумеется, описывал в них только свою встречу с Фебуфисом и как они оба в первую же ночь «напились по-старинному, вспоминая всех далеких оставшихся в Риме друзей», а потом писал о столице герцога, о ее дорого стоящих, но не очень важных по мон-

тировке музеях, о состоянии искусства, о его технике и направлении и о предъявляемых к нему здесь требованиях. Все это, в настоящем художественном смысле, для людей, понимающих дело, было жалко и ничтожно, но затем содержание писем изменялось, и Пик скоро забредил о женщинах. Он неустанно распространялся о женщинах, в изучении которых вдруг обнаружил поразившие Мака разносторонние успехи. По его описаниям выходило, что в этой стране всего лучше женщины. Особенно он превозносил их милую женственность и их удивительную скромность. «Самый амур здесь совершает свой полет не иначе, как благословясь и в тихом безмолвии, на бесшумных крылышках, — писал Пик. — Кто чувствует склонность к семейной жизни и желает выбрать себе верную и достойную подругу, тот должен ехать сюда, и здесь он, наверное, найдет ее. Сам герцог — образцовый супруг, и, любя семейную жизнь, он покровительствует бракам. Это дает патриархальный тон и направление жизни. Случается, что герцог сам даже бывает сватом и после заботится о новобрачных, которых устроил. Девушки в хороших семействах здесь так тщательно оберегаются от всего, что может вредить их целомудрию, что иногда не знают самых обыкновенных вещей, — словом, они наивны и милы, как дети. Очень скромны и взрослые. Такова жизнь. Что везде считается вполне позволительным, как, например, обедать в ресторанах или ходить и ездить одной женщине по городу, — здесь все это почитают за неприличие. Ни одной сколько-нибудь порядочной женщины не встретишь в наемном экипаже и не увидишь в самом лучшем ресторане. Если бы женщина пренебрегла этим, то ее сочли бы падшею, и перед нею не только закрылись бы навсегда все двери знакомых домов, но и мужчины из прежних знакомых позволили бы себе с нею раскланяться разве только в густые сумерки. О девушках нечего и говорить: они под постоянною опекой. Я часто сравниваю все это с тем, что видел раньше среди римлянок и наезжих в ваш «вечный город» иностранок, и мне здесь и странно и нравится, я чувствую себя тут точно в девственном лесу, где все свежо, полно сил и... странная вещь! — но я вспоминаю тебя, Мак, и начинаю размышлять социально и политически. А почему? А вот почему: ты все любишь размышлять об упадке нравов и об общих бедствиях и

ищешь от них спасения... Ах, друг! может быть, спасение-то именно здесь, где стоит воле захотеть, чтобы что-нибудь сделалось, и оно сейчас же становится возможным, а не захотеть — все станет невозможно? И все это оттого, что жизнь удержана в удобной форме».

Дочитав письмо до этого места, Мак положил листок и стал собирать на него мастихином загустевшие на палитре краски. Соображения Пика его более не интересовали, а на вопросы товарищей о том, что пишет Пик, он отвечал:

— Пик пишет, что он живет в таком любопытном городе, где женщины целомудренны до того, что не знают, отчего у них рождаются дети.

— Вот так раз!

— Что же? Этим ведь, пожалуй, можно быть довольным, — заметили другие и стали делать по этому случаю различные предположения.

— Да, — отвечал Мак, — и он этим очень доволен.

— По-моему, он там может неожиданно и скоро жениться.

— А отчего и нет, если там это выгодно?

— В таких местах что больше и делать! — заключил Мак, — или учиться или жениться. Учиться трудно — жениться занятнее.

На письмо же то, о которое Мак вытер свой мастихин, он вовсе не отвечал Пику, но, вспоминая иногда о приятеле, в самом деле думал, что он может жениться.

— Отчего, в самом деле, нет? Ведь несомненно, что есть такой сорт деятелей, которые прежде начала исполнения всяких своих планов надевают себе на шею эту расписанную колодку. Почему же не сделать этого и Пику, или даже они оба там с этого начнут и, пожалуй, на этом и кончат.

И подозрение еще усиливалось тем, что в новом письме Пик писал уже не о женщинах вообще, а особенно об одной избраннице, которую он в шаловливом восторге называл именем старинной повести: «Прелестная Пеллегрина или несравненная жемчужина». Он о ней много рассказывал. Мак должен был узнать из этого письма, что «прелестная Пеллегрина» была дочь заслуженного воина, покрытого самыми почтенными сединами, ранами и орденами. Пеллегрина получила от природы милое,

исполненное невинности лицо, осененное золотыми кудрями, а герцог дал ей за заслуги отца на свой счет самое лучшее образование в монастыре, укрывавшем ее от всяких соблазнов во все годы отрочества. Пик увидал ее первый раз на выпускном экзамене, где она пела, как Пери, одетая в белое платье, и, рыдая, прощалась с подругами детства, а потом произошла вторая, по-видимому очень значительная встреча на летнем празднике в загородном герцогском замке, где Пеллегрина в скромном уборе страдала от надменности богато убранных подруг, которые как только переоделись дома, так и переменились друг к другу. Тут зато Пеллегрина показала ум и характер: она все видела и поняла, но совсем не дала заметить, что страдает от окружающей кичливости, и тем до того заинтересовала маленького Пика, что он познакомился с их домом и стал здесь как родственник. Он то играет в шахматы с воином, покрытым сединами, то ходит по лесам и полям с Пеллегриною. Отец Пеллегрины — добродушный простяк, бесконечно ему верит и только посылает с ними заслуженную и верную служанку (он сам давно вдов и на войне храбр, но дома, в недрах своего семейства, кротче агнца). Впрочем, Пик и Пеллегрина пока только собирают бабочек и букашек, причем наивность Пеллегрины доходит до того, что она иногда говорит Пику: «Послушайте, вы художник, посмотрите, пожалуйста, — вы должны знать — это букан или букашка?»

Мак не стал отвечать и на это письмо, а затем от Пика пришел только листочек с описанием маскарадов, которые ему казались верхом жизненного великолепия, и с возвещением о большом путешествии, которое он и Фебуфис намеревались сделать летом с художественною целью внутрь страны. На том переписка друзей оборвалась.

В Риме если не совсем позабыли о Фебуфисе и о Пике, то во всяком случае к ним охладели и весь случай с Фебуфисом вспоминали как странность, как каприз или аристократическую прихоть герцога.

— В самом деле, для чего этому отдаленному властителю Фебуфис? Чего он с ним возится? Неужто он в самом деле так страстно любит искусство, или он не видал лучшего художника? Не следует ли видеть в этом сна-

чала каприз и желание сделать колкость черным королям Рима? Неужто, в самом деле, в девятнадцатом веке станут повторяться Иоанн с Лукой Кранахом? Вздор! Совсем не те времена, ничто не может их долго связывать, и, без сомнения, фавор скоро отойдет, и герцог его бросит.

— А может быть, его немножко удержит трусость.

— Перед кем и перед чем?

— Перед талантливым художником, который всегда может найти средство отплатить за дурное с собою обращение.

— Какие глупости! какие наивные, детские глупости! Что вы о себе и о них думаете? Какое это средство? — спросил Мак.

— Полотно, на котором можно все увековечить. А Фебуфис всегда останется талантом.

Мак махнул рукою и сказал:

— Вы дети! Поверьте, что тому, кому вверил себя упоминаемый вами «талант», никакой стыд не страшен. Он, я думаю, почел бы за стыд знать, что такое есть боязнь стыда; а что касается «таланта», то с ним расправа коротка: ничто не помешает оставить этот талант и без полотна, и без красок, и даже без божьего света. Да и без того... этот талант выцветет... Не забывайте, что птицы с ярко-цветным оперением, перелиняв раз в клетке, утрачивают свою красивую окраску.

— Но зато они выигрывают в некоторых других отношениях.

— Да, они обыкновенно жиреют, перестают дичиться, утрачивают легкость и подвижность — вообще становятся, что называется, *ручными*.

Но нам время оставить теперь этих пессимистов и оптимистов и последовать за Фебуфисом и Пиком, с которыми, в их новой обстановке, произошли события, имевшие для них роковое значение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

По прибытии в столицу своего покровителя Фебуфис не был им покинут и позабыт. Напротив, он тотчас же был прекрасно устроен во всех отношениях и не лишался даже знаков дружбы и внимания, которыми пользовался

во время путешествия. Конечно, теперь они виделись реже и беседовали при других условиях, но все-таки положение Фебуфиса было прекрасное и возбуждало зависть в местном обществе, и особенно среди приближенных герцога. Повелитель, которого боялись и трепетали все его подданные, держал себя с привезенным художником запросто, и Фебуфис этой линии не портил. К чести его, он значительно изменился и, вкусив мало меду на кинжале, посбавил с себя заносчивости, а держался так скромно, как этого требовало положение. Участие в придворной жизни его не тяготило: сначала это ему было любопытно само по себе, а потом стало интересно и начало втягивать как в пучину... Еще позже это стало ему нравиться... Как никак, но это была жизнь: здесь все-таки шла беспрестанная борьба, и кипели страсти, и шевелились умы, созидавшие планы интриг. Все это похоже на игру живыми шашками и при пустоте жизни делает интерес. Фебуфис стал чувствовать этот интерес.

Такою вовсе не рассчитанною и не умышленною переменой в своем поведении Фебуфис чрезвычайно утешил своего покровителя, и герцог стал изливать на него еще бóльшие милости. Художнику дали отличное помещение, усвоили ему почетное звание и учредили для него особенную должность с большим содержанием и с подчинением ему прямым или косвенным образом всех художественных учреждений. Положение Фебуфиса в самом деле как будто готовилось напоминать некоторым образом положение Луки Кранаха. Правда, не все смотрели на это серьезно, но, по мнению многих, Фебуфис будто мог уже оказывать влияние на отношение своего могущественного протектора к людям разнообразных положений, и у него явились ласкатели и искатели. Когда герцог посещал его мастерскую, он в самом деле говорил не об одном искусстве, а и о многом другом, о чем не все смели надеяться иметь с ним беседы. Человека с таким положением привечали лица, занимающие самые высокие и почетные должности. Фебуфис быстро очутился в так называемом лучшем обществе и здесь тоже держал себя с большим достоинством. Для приобретения веса и значения в этом обществе ему не нужно было употреблять никаких усилий, все давалось ему даром, но все это ему скоро при-

скучило. Герцог тотчас заметил это и сказал ему: «Ты не в своей компании» — и предложил ему выписать к себе кого-нибудь из его римских друзей, причем сам же и назвал Пика.

Пик, сколь известно, был выписан и представлен герцогу, но он ему не понравился, — герцог нашел, что «он очень смешон», и велел назначить его преподавателем искусств в избранном воспитательном женском заведении, что и погубило Пика, сблизив его с златокудрою дочерью покрытого сединами воина.

С прибытием Пика Фебуфису стало веселее; они работали и понемножку предавались кутежам, в которых, впрочем, находили здесь только хмельной чад, но не веселье. Оба они чувствовали себя здесь не по себе, и оба друг от друга это скрывали. Иногда они собирались оказать какое-то большое влияние на что-то в искусстве, но всякий раз это кончалось ничем. Обо всем надо спрашиваться у герцога, а он не любил не им задуманных перемен. Фебуфис скоро понял, что шнурок, на котором он ходит, довольно короток, а Пик в пределах своей деятельности попробовал быть смелее: он дал девицам рисовать торсы, вместо рыцарей в шлемах, и за это, совершенно для него неожиданно, был посажен на военную гауптвахту «без объяснений». Это его так обидело, что он тотчас же хотел бросить все и уехать в Рим, но вместо того, отечески прощенный герцогом, тоже «без объяснений», почел эту неприятность за неважное и остался.

— Что делать, если это здесь бывает со всеми!

Работать друзья могли только по заказам герцога, и он же был и ценителем их произведений. В искусстве все зависело от него, как и во всем прочем: он осматривал все произведения учеников с мелом в руке и писал своею рукой на картине свое безапелляционное решение. Фебуфис — их главный руководитель — при этом только стоял и молчал. Пик говорил ему: «Для чего ты не возразишь?» — но тот не возражал. Без сомнения, он понимал, что находится здесь только для вида и для парада. Программы допускались только старые, совсем не отвечавшие новым живым стремлениям, обозначавшимся уже в других европейских школах. В Риме слышали об этом «академизме» и смеялись над ним. Фебуфису по-настоящему надо было сознаться, что его положение

несносно, и уйти от него, но в нем жила фальшивая гордость: он не хотел быть синицею, которая летала нагревать шилом море. Он решался лучше кое-что перенести и пошел по этой дороге уступок, чувствуя, что она вьется куда-то, все понижаясь, под гору, но раздражительно отрицал это, коль скоро то же самое замечали другие. В таких борениях ему был тяжек и Пик, и еще более некоторые умные люди из местных, и особенно главный начальник внутреннего управления, по фамилии Шер, который сам слыл за художника и в самом деле разумел в искусстве больше, чем герцог. Этот, как его называли, «внутренний Шер», был умен, пьян и бесстыден и допускал со всеми очень странное, фамильярное обращение, близко граничившее с наглостью. Фебуфиса он, по-видимому, считал ниже, чем бы тому хотелось, и называл его «величайшим мастером по утвержденному герцогом образцу».

Это приводило Фебуфиса в досаду, но тем не менее кличка плотно к нему пристала.

И директор был не один, который смотрел на привезенного герцогом фаворитного артиста как на что-то полусмешное-полужалкое, из чего, может быть, где-то, пожалуй, и сделали бы что-нибудь ценное, но из чего здесь ничего выйти не должно и не выйдет. Все это, однако, нимало не помешало Фебуфису прогреметь в стране, сделавшейся его новым отечеством, за величайшего мастера, который понял, что чистое искусство гибнет от тлетворного давления социальных тенденций, и, чтобы сохранить святую чашу неприкосновенною, он принес ее и поставил к ногам герцога. Герцог ее не оттолкнул, как он не отталкивает ничего, что можно спасти. Приезжие мастера заставляли будто завидовать столице герцога все те страны, где искусство падало, нисходя до служебной роли гражданским и социальным идеям. И за то они отблагодарят герцога, — они в угоду ему распишут небо. Пика это не испортило, потому что при ограниченности его дарования он оставался только тем, чем был, но Фебуфис скоро стал замечать свою отсталость в виду произведений художников, трудившихся без покровителей, но на свободе, и он стал ревновать их к славе, а сам поощрял в своей школе «непосредственное творчество», из которого, впрочем, выходило подряд все только одно

очень посредственное. Общий европейский восторг при появлении картины Каульбаха «Сражение гуннов с римлянами», наконец, был нестерпимым ударом для его самолюбия. Фебуфис почувствовал, что вот пришел в мир новый великий мастер, который повлечет за собою последователей в идейном служении искусству. Тогда Фебуфис решительно стал на сторону противоположного направления, а герцог это одобрил и поручил ему «произвести что-нибудь более значительное, чем картина Каульбаха».

Внутренний Шер его расцеловал и сказал ему за обедом в клубе на «ты»:

— Пришло твое время прославиться!

По герцогскому приказу Фебуфис начал записывать огромное полотно, на котором хотел воспроизвести сюжет еще более величественный и смелый, чем сюжет Каульбаха, — сюжет, «где человеческие характеры были бы выражены в борьбе с силой стихии», — поместив там и себя и других, и, вместо поражения Каульбаху, воспроизвел какое-то смешение псевдоклассицизма с псевдонатурализмом. В Европе он этим не удивил никого, но герцогу угодил как нельзя более.

— Тебе это удалось, — сказал герцог, — но всего более похвально твое усердие, и оно должно быть награждено.

Ему отпустили большие деньги и велели газетам напечатать ему похвалы. Те сделали свое дело. Была попытка поддержать его и в Риме, но она оказалась неудачною, и суждения Рима пришлось презирать.

— Они не хотят видеть ничего, что явилось не у них; чужое их не трогает, — объяснял герцогу Фебуфис.

— Ты это прекрасно говоришь: да, ты им чужой.

— С тех пор как я уехал сюда...

— Ну да!.. ты мой!

— Им кажется, что я здесь переродился.

— Это и прекрасно. Ты мой!

— Нет, они думают, что я все позабыл...

— Забыл глупости!

— Нет — разучился.

— А вот пусть они приедут и посмотрят. Это все зависть!

— Не одна зависть, — я знаю, что они мне не прощают...

— Что же это такое?

— Измену.

— Чему?

— Задачам искусства.

Герцог сел на высокий табурет против мольберта и произнес дидактически:

— Задачи искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сованья носа в общественные вопросы — вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического, но только с нашей, верной точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам нужны! Ищи таких людей, которые в этом роде могут быть полезны для искусства, и зови их. Обеспечить их — мое дело. Можно будет даже дать им чины и форму. У меня они могут творить, ничем не стесняясь, потому что у меня ведь нет никаких тревог, ни треволнений. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа сохранила настоящие, чистые художественные предания и дала тон всем прочим. Обновить искусство — это наше призвание.

Фебуфис понимал, что все это несбыточный вздор, и ничего не хотел делать, а между тем из-за границы его уязвляла критика. Один из лучших тогдашних судей искусства написал о нем, что «во всей его картине достоин похвалы только правильный и твердый рисунок, но что ее мертвый сюжет представляет что-то окаменевшее, что идея если и есть, то она рутинна и бесплодна, ибо она не поднимает выше ум и не облагораживает чувства зрителя, — она не трогает его души и не стыдит его за эгоизм и за холодность к общему страданию. Художник будто спал где-то в каком-то заколдованном царстве и не заметил, что в искусстве уже началось живое веяние, и здравый ум просвещенного человека отказывается высоко ценить художественные произведения, ласкающие одно зрение, не имеющие возвышающей или порицающей идеи. Теперь чем такие бедные смыслом произведения совершеннее в своем техническом исполнении, тем они укоризненнее и тем большее негодование должны поднимать против художника». А потому критик решительно не хотел признать никаких замечательных достоинств в про-

изведении, которым Фебуфис должен был прославить свою школу, и вдобавок унизил его тем, что стал объяснять овладевшее им направление его несвободным положением, всегда зависящим от страха и фавора; он называл дальнейшее служение искусству в таком направлении «вредным», «ставил над художником крест» и давал ему совет, как самое лучшее по степени безвредности, «изображать по-старому голых женщин, которыми он открыл себе фортуну».

Фебуфис был страшно уязвлен этим «артиклем». Он никак не ожидал видеть себя смещенным и развенчанным так скоро и так решительно. Он ощутил в себе неудержимый позыв дать горделивый отпор, в котором не намерен был вступаться за свое произведение, но хотел сказать критику, что не он может укорять в несвободности художника за то, что он не запрягает свою музу в ярмо и не заставляет ее двигать топчак на молотилке; что не им, слугам посторонних искусству идей, судить о свободе, когда они не признают свободы за каждым делать что ему угодно; что он, Фебуфис, не только вольней их, но что он совсем волен, как птица, и свободен даже от предрассудка, желающего запрячь свободное искусство в плуг и подчинить музу служению пользам того или другого порядка под полицейским надзором деспотической критики. И многое еще в этом же задорно-сконфуженном роде собрал Фебуфис, не замечая, что сквозь каждое слово его отповеди звучало сознание, что он на чем-то пойман и в споре своем желает только возбудить шумиху слов, чтобы запутать понятия ясные, как солнце. У него кстати оказался и стиль, благодаря чему в отповеди очень сносно доказывалось, что «для искусства безразличны учреждения и порядки и что оно может процветать и идти в гору при всяком положении и при всяких порядках».

Лучше написать это, как написал Фебуфис, даже не требовалось, но Пик, которому он читал свои громы, говорил, что он все это уже как будто раньше где-то читал или где-то слышал. И Фебуфис сердился, но сознавал, что это, однако, правда. Да ведь нового и нет на свете... Все уже когда-нибудь было сказано, но почему это же самое опять не повторить, когда это уместно? Впрочем, чтобы отвечать от лица школы целой страны, надо, чтобы дело

имело надлежащую санкцию, и потому автор решил представить свой труд самому герцогу. Это ему внушало спокойствие и дало всему действительно самое лучшее направление.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Выбрав удобный случай, чтобы представить свою рукопись герцогу, Фебуфис волновался в ожидании его ответа, а тот не отвечал очень долго, но, наконец, в один прекрасный день перед наступлением нового года художник получил приглашение от директора иностранных сношений — того самого искусного и ласкового дипломата, который некогда посетил вместе с герцогом его студию в Риме.

Годы не изменили мягких манер этого сановника: он встретил Фебуфиса чрезвычайно радушно и весело поздравил его с большим успехом у герцога.

— Ваш ответ вашим озлобленным завистникам привел в совершенный восторг герцога, — начал он, усаживая перед собою художника. — Его светлость изволил поручить мне выразить вам его полное сочувствие вашим прекрасным мыслям, и если при этом могут иметь какое-нибудь значение мои мнения, то я позволю себе сказать, что и я вам вполне сочувствую. Я прочитал ваше сочинение. Герцог желал этого, и я был должен прочесть и исполнился радости за вас и скорби за себя... Да, в числе моих помощников нет ни одного, который имел бы такие ясные взгляды и умел бы так хорошо их отстаивать.

Фебуфис поклонился, а сановник пожал его руку и сказал, что если бы он не был великим художником, то он ни на кого бы смелее, чем на него, не решился указать как на способнейшего дипломата.

— Значит, я теперь могу выпустить написанное в свет?

— Нет. И это не нужно. Это само по себе так светло, что не нуждается во внешнем свете. Герцог на вашей стороне. Вам сейчас предстоит удовольствие увидать, что́ именно его светлость начертал наверху ваших верноподданных слов своею собственною бестрепетною рукой.

Произнеся с горделивым достоинством эти слова, сановник взял на колени малиновый бархатный портфель с золотым выпуклым вензелем и таким же золотым замком, помещенным в поле орденской звезды. Затем он бережно ввел внутрь портфеля длинную кисть своей старческой руки и еще бережнее извлек оттуда рукопись Фебуфиса, на верхнем краю которой шли три строки, написанные карандашом, довольно красивым, кругловатым почерком, с твердыми нажимами.

Положив бумагу на папку посреди стола, сановник поднялся с своего места и попросил художника сесть в кресло, а сам стал и поднял вверх лицо, как будто он готовился слушать лично ему отдаваемое распоряжение герцога.

Фебуфис прочитал: «Одобряю и вполне согласен».

— Вот! — прошептал, придыханием и наклоняя голову, вельможа.

«Но», — продолжал Фебуфис.

Сановник опять поднял лицо и опять застыл в позе.

«Имея в виду всеобщее растление, которое теперь господствует в умах, нахожу несообразным говорить с этими людьми словами верноподданного убеждения».

Фебуфис вспыхнул и взглянул вопросительно на вельможу.

Тот тоже посмотрел на него выразительным взглядом и произнес:

— Он неотразим! — и затем протянул руку к бумаге с тем, чтобы взять и вложить ее снова бережно в малиновый портфель.

— Разве вы мне не возвратите и мою бумагу?

— Конечно, нет. С этим начертанием герцога она отныне составляет достояние истории... Она исторический документ, который переживет нас и будет храниться века в архиве, но вы, вместо этой бумаги, получите другую, и вот она.

Он дал художнику небольшой листок бристоля, на котором назначалось дать ему высокий чин и соединенные с ним потомственные права и имение в живописном уголке герцогства.

Пока Фебуфис смотрел удивленными глазами на эти строки, значение которых ему казалось и невероятно,

и непонятно, и, наконец, даже щекотливо и обидно, директор поправлял свой нос и, наконец, спросил:

— Мне кажется, что вы как будто удивляетесь.

— Да, граф, — ответил Фебуфис.

Граф качнул головою, улыбнулся и ответил:

— Да, это обыкновенно бывает с теми, кто не привык к характеру герцога. Редко кто знает, как он щедр и как он умеет награждать.

— Да, герцог щедр, но в числе его наград есть одна, которая, мне кажется, соединена с переменою подданства... Я уважаю герцога, но я никогда не просил об этом.

— Неужто?.. Впрочем, я до вещей внутреннего управления не касаюсь... на это у нас есть господин Шер. Правда, что у него в ведомстве все идет черт знает как, но зато по вдохновению... У нас это любят. Впрочем, если что неудобно, то вы сами можете говорить об этом с герцогом... вам завтра надо ему представиться и благодарить его светлость. Поцелуйте руку... Это так принято... Adieu! [1]

Граф повернулся и послал рукою поцелуй Фебуфису.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Фебуфис возвратился от обласкавшего его дипломата в самом дурном расположении духа: он переходил беспрестанно от угнетенности к бешенству и не знал, чему дать более хода. Дары, возвещенные ему маленькою записочкой на бристоле, были очень щедры, но при всем том он чувствовал, что потерял нечто более важное и существенное, чем то, что получает. Во всяком случае он трактован слишком ниже того, до чего положил себе предельною метой, и внутренний Шер имеет основание шутить над его «головным павлином», а граф внешних сношений может посылать ему на прощание детские поцелуи. Все они, в самом деле, значительные канальи, но крепче его наступают людям на ноги, меж тем как он колеблется и не умеет быть притворщиком, тогда как, в

[1] Прощайте! *(франц.)*.

сущности, это неотразимо требуется. Он все дышит и томится. А потом стекло, сквозь которое он смотрит, как будто задышится и потемнеет, и ничего не станет видно, и тогда он примет решение, какого не думал. Так и теперь: простой и ясный смысл говорит ему, что он должен поблагодарить герцога сразу за все и сразу же от всего отказаться. Недаром дух его возмущается и он чувствует в себе полный достаток сил все это сделать, но как только он начинает соображать: что́ для этого нужно разрушить и в чем повиниться, так его практический смысл угнетается целою массой представлений, для успокоения которых выходит из завешенного угла на ходулях софизм: «Не все ли равно, такой или другой деспотизм?.. И этот и те — все гнут — не парят, и сломят — не тужат... Этот по крайней мере... Да нет — все гадость, все несносно...»

Тут проходит какая-то полусонная глупость: один получает преимущество перед другим, потому что он один, а в существе потому, что с ним уже сделка сделана, а из одного закрома брать корм удобнее, чем собирать его по пустым токам. Головной павлин, дойдя досюда, складывает хвост и садится на насест.

Так это было и теперь. Фебуфис вздыхал, скреб грудь и даже, отправляясь утром другого дня в герцогский замок для принесения благодарности его светлости, еще не знал, что он сделает, но с ним был его практический гений, и органически в нем уже сложилось то, что́ надо делать.

Увидав его издали, герцог кивнул ему головою и, прервав речь с тем, с кем разговаривал, громко спросил:

— Ты доволен?

Это была пренеудобная форма для начала объяснений; художник почти столько же волею, сколько и неволею уронил тихо, что он доволен, но осмелится нечто объяснить.

Ответ показался герцогу невнятен, и он переспросил:

— Что?!

— Я благодарю вашу светлость за ваши милости, но...

— То-то!

Художник было почтительно начал о своей отповеди, которую он желал сделать гласною, но герцог нахмурился и сказал:

— Оставь это: искусство, как и все, должно быть национально. А чтобы различные толки не портили дела, я велел принять меры, чтобы сюда не доходили никакие толки. Ты очень впечатлителен. Пора тебе перестать вести одинокую жизнь. Я тебе советую выбрать хорошую, добрую девушку по сердцу и жениться.

Фебуфис благодарил за милостивое внимание и заботливость, но не выразил желания жениться.

Герцог сдвинул брови и сказал:

— А знаешь, мне это очень противно! Семейная жизнь всего лучше успокаивает, и ты это, наверное, увидишь на своем товарище, которого, кстати, поздравь от меня. Он сделал превосходный выбор и, вероятно, будет счастлив.

— Мой товарищ?.. О ком, ваша светлость, изволите говорить?

— Ну, разумеется, о маленьком Пике. Чтобы не забыть — о нем теперь надо лучше позаботиться, так как он женится, то я велю дать ему должность с двойным окладом. Его будущая жена — дочь очень достойного человека и моего верного слуги. Храбр... и глуп, как сто тысяч братьев. Будто ты ничего об этом не знаешь?

— Ничего, ваша светлость.

— Маленький Пик, значит, в любовных делах осторожен. Это, впрочем, так и следует: девушка очень молода и наивна, как настоящая монастырка, но он очень скоро победил ее застенчивость. Представь, он нашел способ разъяснить ей, чем отличается букан от букашки... За это его тюк на крюк! Это довольно смешной случай, но пусть он сам тебе о нем расскажет. Кстати, он зовет ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идет... Ты ее не видал?

— Нет.

— Очень интересна: она в миньонном роде.

Фебуфис выслушал новость о Пике как бы в забытьи: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что и с самим с ним происходило: все ему представлялось тяжелым сновидением, от которого он хотел бы отряхнуться, только это казалось невозможным. Он чувствовал, что как будто ушел далеко в какой-то дремучий лес, из которого не найти выхода. Да и куда выходить? И зачем? Здесь он все-таки значительная величина, хоть по герцогскому распоряжению, а во всяком другом месте он станет наравне со всеми судим свободным судом критики, и... он знает,

какое она отведет ему место... Тяжкое унижение! Здесь он ничего этого не испытает... Сюда ничто ему неприятное не проникнет — против этого велено принять меры. Он в этом не виноват, а между тем ему от этого спокойно, и он лег на диван, покрыл ноги пледом и сладко заснул до сумерок, когда Пик стал весело будить его к обеду.

Фебуфис встал несколько мрачный и серьезный, молчал в продолжение всего стола, но при конце обеда прямо, без всяких предисловий, спросил Пика:

— Я слышал, ты женишься?

— Кто тебе это сказал?

— Герцог.

— На ком же, смею спросить?

— Ну, что за глупость: будто ты не знаешь.

— До сих пор не знаю.

— На какой-то милой девушке, невинной монастырке, которую ты прозвал «прелестною Пеллегриной». Зачем ты покорил ее сердце и научил ее, как узнавать букана от букашки?

Пик расхохотался.

— И герцог это знает?

— Он говорил мне об этом.

— Боже мой, какая противность! Чего он только не знает? Кажется, все, кроме нужд своего народа!

— Так это правда или нет?

— Что я женюсь?.. Конечно, неправда!

И Пик опять расхохотался. Он, такая маленькая крошка, чья незаметная фигура во всех возбуждала смех и шутливость, как он мог быть любим милою девушкой, которая ему чрезвычайно нравилась? И он женится! Это самому ему только и могло казаться слишком грубою и слишком неотделанною насмешкой, но тем не менее через несколько дней он сказал Фебуфису:

— Знаешь, я в самом деле, кажется, женюсь!

— Отчего же тебе это вдруг стало казаться?

— Оттого, что я сделал Пеллегриночке предложение, и объяснился с ее отцом, и от обоих от них получил согласие.

— Вот те черт! В таком случае я поздравляю тебя, — ты, значит, наверное женишься.

— Да, вообрази, женюсь! Это случилось как-то внезапно... У нее есть кузен, молодой офицер, мерзкий шалун, который выдал мою тайну, и я был должен объяснить мои намерения... Конечно, не бог знает что: мы с нею просто ходили и гуляли, но этот достопочтенный старик, ее отец... он наивен так же, как сама Пеллегрина, и это не удивительно, потому что он женился на матери Пеллегрины, когда ему было всего двадцать лет, и его покойная жена держала его в строгих руках до самой смерти... Она умерла год тому назад.

— Он, верно, рад, что она умерла.

— М...ну — не знаю. Его племянник говорил, будто она ставила его на колени, и за то старичок теперь желает будто компенсации и, как только выдаст дочь замуж, так сам опять женится. Но этому хотят помешать.

Фебуфис уловил вполне ясно только последнее слово и повторил вяло:

— Жениться! Это значительный ресурс при большой скуке.

— Так ты против женитьбы?

— Как можно! Особенно при настоящем случае, когда кое-что может перепасть и на мою холостяцкую долю.

— Да ведь, признайся, и тебе здесь скучно... Ты скучаешь?

— Очень скучаю, мой милый Пик, и потому я был бы очень счастлив, если бы ты и твоя будущая жена не отогнали меня, старика, от своего обеденного стола и от вашей вечерней лампы. А уж потом я буду желать вам спокойной ночи.

— О, конечно, это так и будет! Это непременно так и будет! Мы с тобой не расстанемся и будем жить все вместе. Мы уже об этом говорили. Пеллегриночка тебя очень почитает. Она пренаивное дитя: она сказала, что она меня «любит», а тебя «уважает», и сейчас же вскрикнула: «Ах, боже мой! я не знаю, что больше!» Я ей сказал, что уважение значит больше, потому что оно заслуживается, и указал на ее чувства к отцу, но она пренаивно замахала руками и говорит: «Что вы, что вы, я папу и не люблю и не уважаю!» Я удивился и говорю: «За что же?» А она говорит: «Я к нему никак не могу привыкнуть». — «В каком смысле?» — «Я не могу переносить,

для чего от него бобковою мазью пахнет». — «Какие пустяки!» — «Нет, говорит, это не пустяки; мать тоже никак не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что он «не мужчина». — «Что же он такое?» — «Мама его называла: губка! Фуй!» — «Чем же это порок?» — «Да фуй!.. мне о нем стыдно думать!» Ты вообрази себе этакую своего рода быстроту и бойкость в нераздельном слитии с монастырскою наивностью... Это что-то детское, что-то как будто игрушечное и чертопхайское... и, главное, эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная от букана до мужчины и до не-мужчины... Ведь все это видеть, все это самому вызвать и наблюдать все эти переходы...

— Что и говорить! — перебил Фебуфис. — Во всем этом, без сомнения, чувствуется биение жизненного пульса.

— Да, вот именно, биение жизненного пульса.

И ему было дано вволю испытать на себе в разной степени биение жизненного пульса. Одно из высших удовольствий в этом роде он узнал в самый блаженный миг, когда после свадебных церемоний остался вдвоем с прелестною Пеллегриной. Случай был такой, что Пик совершенно потерялся, убежал в холодный зал и, прислонясь лбом к покрытому изморозью оконному стеклу, проплакал всю ночь. В этом же положении спасла его утром его молоденькая жена: она подошла к нему с своим невинным детским взглядом в утреннем капоте новобрачной дамы, положила ему на плечи свои миниатюрные ручки и, повернув к себе этими ручками его лицо, сказала:

— Мой друг, ведь я не раздевалась...

— Мне все равно! — ответил спешно Пик.

— Нет... не все равно.

У Пика кипела досада, и он ответил:

— Я говорю вам: это мне все равно!

— А я... я себе этого даже и объяснить не могу...

— *Себе!*

— Да.

— Даже *себе* не можете объяснить?!

— Вот именно!

— Это становится интересно.

— Я помню одно, что я дежурила в комнате у началь-

ницы, и *он* неслышно взошел по мягким коврам, и... он взял меня очень сильно за пояс...

— Черт бы вас взял с ним вместе!

— Но я не раздевалась и только была совсем измучена... и я больше ничего не знаю... я ничего не помню...

— Не помните!

— Да, я затрепетала...

— Затрепетала!

— Да, затрепетала... мы так воспитаны.

— Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...

— Да... не понимала, а теперь мне дурно.

Пик хотел ее оттолкнуть, но вместо того принял жену под руки, отвел ее в спальню, помог ей раздеться и сказал:

— Раз что все было так, то это предается забвению.

Она в полузабытьи, с глазами, закрытыми веками, слабо пожала его руку.

— Но только мы уедем отсюда. Здесь им везде уж слишком полно.

— Как ты хочешь, букан, — прошептали милые, детские уста Пеллегрины.

Пик улыбнулся и стал целовать их и повторял:

— Мы от него уедем, уедем, букашка!

— Да, уедем, буканчик, — отвечала Пеллегрина, — только не надо ничем тревожить папу.

Пик все позабыл и растаял в объятиях своей наивной жены.

Букан и букашка были счастливы. Равновесие в их жизни нарушалось только одним сторонним обстоятельством: отец Пеллегрины, с двадцати лет состоявший при своем семействе, с выходом дочери замуж вдруг заскучал и начал страстно молиться богу, но он совсем не обнаруживал стремления жениться, а показал другую удивительную слабость: он поддался влиянию своего племянника и с особенным удовольствием начал искать веселой компании; чего он не успел сделать в юности, то все хотел восполнить теперь: он завил на голове остаток волос, купил трубку с дамским портретом, стал пить вино и начал ездить смотреть, как танцуют веселые женщины. Спустя малое время он не выдержал и сам принял участие в танцах.

По его значению в военном мире, внутренний Шер довел об этом до сведения герцога, а герцог, встретя его в парке, спросил:

— Ты танцуешь?

— Виноват, —отвечал генерал.

— Отчего ты это вздумал?

— Рано женился и ничего не испытал в молодости, ваша светлость.

— То-то! Смотри, чтоб этого не было.

Почтенный воин дал слово своему повелителю, но не в силах был этого слова выдержать: молодая компания опять увлекла его в опасное сообщество, где он нарушил свое обещание: он пил и танцевал, и, делая ронд в фигуре, вдруг увидал перед собою внутреннего Шера... Генерал сейчас же упал и переломил себе хребет, а когда пришел на мгновение в себя и сообразил, что об этом узнает герцог, то тотчас же тут и умер на месте преступления. Внутренний Шер тихо перенес героя ночью в его жилище и утром доложил герцогу. Герцог слушал начало доклада в гневе, но потом был тронут поступком генерала и сказал:

— Он хорошо кончил!

Затем вышло распоряжение, чтобы молодых людей посадить под арест, танцорок высечь, а усопшему сделать погребальный церемониал по его заслугам и произнести над его гробом глубоко прочувствованное слово.

Все это было исполнено, и герцог сам был тут, сам окинул взором церемонию, сам выслушал слово и даже приткнулся рукою ко гробу некогда храброго человека, а потом с чувством пожал руку его дочери. Факт этот целиком перешел в историю народа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Траур, который надела по отце Пеллегрина, до того шел к ее грациозной, легкой фигурке и пепельной головке, что Фебуфис, пребывавший долгое время в тяжелой и беспросветной хандре, увидав ее, просветлел и сказал:

— Знаете ли, я очень хочу написать ваш портрет.

Пеллегрина, как женщина, с удовольствием чувствовала обаяние, которое ее красота произвела на знаменитого, по общему мнению, друга ее мужа, и ничего не имела против осуществления его артистического желания. Пик одобрял это еще более.

— Это тебе пришла счастливейшая мысль, — восклицал он, — это обоих вас займет, и тебя и ее заставит прогнать от себя тяжелые мысли.

Портрет был начат во весь рост на большом холсте, где нашли место для своего расположения все любимые вещи в будуаре Миньоны.

Фебуфис после продолжительной апатии и бездействия взялся за работу с большим рвением, и портрет Пеллегрины обещал превзойти портрет, написанный Фебуфисом с герцогини для кабинета герцога. Это обстоятельство заключало в себе даже нечто щекотливое и заставляло Фебуфиса производить работу не в мастерской, а в будуаре Пеллегрины. Он приходил к ней в своем рабочем легком костюме — в туфлях, сереньких широких панталонах и коричневой бархатной куртке. Она позировала перед ним стоя и, утомясь, отдыхала на широкой оттоманке, а он переносил ее девственные черты на полотно и нечто занес нечаянно в свое сердце, начавшее гнать кровь в присутствии жены друга с увеличенною силой. Он стал неровен и нервен, — она это, кажется, замечала, но оставалась во всегдашнем своем беспечном, младенческом настроении, и даже когда он однажды сказал ей, что не может глядеть на нее издали, она и тогда промолчала. Но уж тогда он бросил кисть и палитру и, кинувшись к ней, обнял ее колени и овладел ею так бурно, что она совсем потерялась, закрыла лицо руками и прошептала не раз, а два раза:

— Бога ради, бога ради!

Он, кажется, не разобрал, как это следовало понять, и последствия этого недоразумения совершенно не отвечали программе сеанса.

Дела могли идти таким порядком очень долго, но раз Пик вошел домой не в счастливый час и не в урочное время и услыхал это же странно произнесенное «Бога ради!» Он понял это не так, как следовало: ему показалось, что его жене дурно, и он бросился к ней на помощь, но,

спешно войдя в комнату, он застал Пеллегрину и Фебуфиса сидящими на диване, слишком тихими и в слишком далеком друг от друга расстоянии.

Он посмотрел на них, они на него, и все трое не сказали друг другу ни слова.

И Пик стоял, а те двое продолжали сидеть друг от друга слишком далеко, в противоположных концах дивана, и везде, по всей комнате, слышно было, как у них у всех у трех в груди бьются сердца, а Пик прошипел: «Как все глупо!» — и вышел вон, ошеломленный, быть может, одною мечтой своего воображения, но зато он сию минуту опомнился и, сделав два шага по ковру, покрывавшему пол соседней гостиной, остановился. Его так колыхало, что он схватился одною рукой за мебель, а другою за сердце... Вокруг была несколько минут жуткая тишина, и только потом до слуха Пика долетел тихий шепот:

— Для чего вам было садиться так далеко?

Это говорила букашка, и говорила с укоризною... Фебуфис в роли букана был сильнее потерян и молчал.

Ее это еще больше рассердило. Пик слышал, как она встала с дивана и подошла к столику и как обручальное колечко на миниатюрном пальце ее руки тихо звякнуло о граненый флакон с одеколоном. Пик узнавал ее по всем этим мелким приметам.

Она, очевидно, входила в себя и держала себя на уровне своих привычек, между тем как ее сообщник был недвижим и едва мог произнести:

— Было бы все равно.

— Совсем не равно, — отвечала наставительно Пеллегрина, уже повышая тон до полуголоса. — Люди, которые просто разговаривают, никогда так далеко не сидят.

Он тоже хотел ободриться и с улыбкою, слышною в шепоте, спросил:

— Здесь это не принято?

Но она совсем уже полным голосом повторила:

— Не принято!.. Гораздо важнее — это не то, что *здесь* «не принято», а то, что это везде *неестественно!*

И с этим она поставила на уборный стол флакон и, вероятно, хотела идти вслед за мужем в те самые двери, в которые он вышел, но Пик предупредил ее: он бросился вперед, схватил в передней свой плащ и шляпу

и выбежал на улицу. На дворе уже темнело и лил проливной дождь. Пик ничего этого не замечал; он шел и свистал, останавливался у углов, не зная, за который из них поворотить, и потом опять шел и свистал, и вдруг расхохотался.

— И это я ей говорил. Я ей объяснял, чтó букашка и чтó букан! И это она уверяла меня, как она не понимала, что с нею делают, и затрепетала! И это я писал Маку о здешних женщинах, как они наивны!.. Чтó мог я понять в этом омуте, в этой поголовной лжи?.. Что я могу понять даже теперь? Впрочем, теперь я понимаю то, что я не хочу здесь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!

И с этих пор он исчез бесследно.

Внутренний Шер доложил герцогу об исчезновении Пика в числе обыкновенных полицейских событий. Все, что предшествовало этому загадочному исчезновению и что было его настоящей причиной, осталось для всех посторонних неизвестным. Когда же все розыски Пика в пределах герцогства оказались безуспешными, герцог призвал Фебуфиса и спросил:

— Что ты знаешь о своем товарище?

— Ничего, ваша светлость.

— А в каком положении его жена? Она, может быть, уже вдова, и у нее нет права на пенсию?

— Если, ваша светлость, повелите, — вкрадчиво вставил Шер.

— Да, — отвечал герцог, — я повелеваю. И, кстати, пусть ее тоже определят воспитательницей там, где она сама училась. Это будет приятно герцогине.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Исчезновение Пика, однако, чувствительно ударило по сердцу Фебуфиса, и Пеллегрина перестала ему больше нравиться, а притом совершилось еще другое. Сопровождая герцога, он посетил один богатый торговый город, в ратуше которого им был дан роскошный бал. На этом бале, в числе многих красивых женщин, появилась моло-

дая девушка классически строгой и поразительной красоты. Ее звали Гелия. Она была дочь местного богатого негоцианта, имевшего дела со всею Европой. Красота ее бросилась всем в глаза и сразу Фебуфиса пленила. Это заметил герцог и тут же спросил его:

— Что ты о ней скажешь?

— Ваша светлость, — отвечал Фебуфис, — о ней можно сказать только, как говорят на востоке: «Глаз смертного не может видеть такое совершенство без готовности умереть за него».

Герцогу понравилась восточная фраза: он, почитавший себя покровителем веры, сам любил иногда пустить в ход что-нибудь в библейском роде, и в данном случае он тоже скомпоновал что мог: он похлопал Фебуфиса по плечу и сказал:

— Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвлен сею красою. Бойся заболеть, но, впрочем, при мне и сия болезнь может оборотиться не к смерти, а к славе... только сумей ей понравиться.

— Ваша светлость, смертный не дерзает и думать о том, чтобы понравиться такой красавице.

— Прекрасно сказано: может быть, ей даже и нельзя понравиться, потому что она, как единственная дочь богатого отца, избалована и хватила хваленой цивилизации за границею. Говорят, она холодна, как Диана.

— Вот изволите видеть!

— Да, да, — Диана, и даже ходит одна с огромным псом. И притом, она умна... и даже, кажется, что-то пишет... И вот именно об искусстве... Она тоже живописец и училась у Каульбаха. Но, главное, отец в ней не слышит души, и она очень своевольна. Но, надеюсь, я здесь хозяин и могу кое-что сделать. Хочешь, я ее за тебя посватаю?

Фебуфис, сложив руки на груди, с улыбкою поклонился герцогу и произнес:

— Пощадите, ваша светлость!

— А вот же посватаю и высватаю: это дело мое, а ты знай сам средство, как с нею обходиться, — и с этим он прямо с места направился к отцу красавицы, взял его под руку в сторону и стал просить у него руки дочери для жениха, которого он рекомендует.

Фебуфис был как на иголках, но около него был Шер; он его успокоивал и шептал ему:

— Ничего не выйдет; у ее отца, у этого старого Фрица, в голове преогромный павлин: он собит дочке мужа миллионера или маркграфа.

Отец красавицы, которую звали Гелия, был сытый и рослый бюргер с надменным лицом, напоминающим лицо герцога Веллингтона, слыл за страшного богача и жил роскошно. Однако, обращаясь в стороне от дворских обычаев и притом в торговом кружке, в котором он имел первенствующее значение, он не отличался находчивостью и был взят врасплох; он слыхал, что таким сватам не отказывают, и не успел сказать ни да, ни нет, как «сват» уже поманул к себе жениха. Это обещало дрянную игру: два головные павлина сшибались: отец отца Фебуфиса был приказчиком у отца старого Фрица, Фриц не мог желать себе такого зятя, но тем не менее сухое и даже немножко надменное согласие было дано. Герцог поднял бокал за здоровье жениха и невесты, и они были помолвлены. Негоцианты порта были этим удивлены и обижены, — на всех лицах было заметно неудовольствие, а Шер, принеся свое поздравление отцу невесты, отошел в амбразуру окна и, достав из кармана агенду, написал nota bene,[1] по которой тайной агентуре следовало пошарить везде, где возможно: все ли благополучно в делах почитаемого в миллионерах Фрица? Его уступчивость казалась Шеру подозрительною. Девушка не протестовала нимало, но с первых же минут показала своему жениху холодное презрение, а тем не менее вскоре же с царственною пышностью была отпразднована их свадьба. Невесту, которая все продолжала держать себя в строгом чине, подвел к алтарю сам герцог и оставался первым гостем на пире, где присутствовала вся знать столицы, но присутствовала также незримо и Немезида...

Негоциант ничего не определил дочери, но можно было думать, что он даст большое приданое, а герцог, который «любил награждать», конечно, доставит многосторонние другие выгоды, — вышло, однако, так, что все это было вдруг испорчено на первых порах. Недобрым предвестием всего было письмо, которое Фебуфис нашел у себя

---

[1] Запомни хорошо *(лат.)*.

на столе в то время, когда привез к себе молодую супругу и оставил ее на короткое время в ее художественно отделанной половине. Письмо было написано какою-то злою и мстительною женщиной: в нем извещали Фебуфиса, что он великолепно надут, что он получил жену с большими претензиями и без всяких средств; что тесть его, слывущий за миллионера, на самом деле готовый банкрот, ищущий спасения в дорого ценимой им уступке; что брак этот со стороны Гелии есть жертва для спасения отца, а Фебуфис от всего этого получит право ужинать всегда без последнего блюда.

Фебуфису показалось, что это писала Пеллегрина. Он знал, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, а притом она, кажется, успела стать слишком знакома с внутренним Шером и умела узнавать у него кое-что из его ежедневных упражнений в подпечатывании и чтении писем, вверяемых почтовой пересылке.

Маленькая изящная Пеллегрина могла знать тайности, но ей также ничто не мешало и лгать и клеветать на людей. Эта женщина — живое и мерзкое воспоминание, при котором является укол в сердце и мелькает перед глазами тень маленького Пика.

Теперь это случилось как нельзя больше не вовремя. Теперь это надо решительно прочь.

Он наскоро сунул смутившее его на минуту письмо в карман изящного спального жакета из мягкой восточной материи и в легких восточных туфлях спустился из мастерской вниз к жене, спальня и уборная которой были устроены в тех самых покоях, которые занимал в этом казенном доме Пик и его Пеллегрина. Спальня Гелии приходилась именно в той самой комнате, где Фебуфис писал портрет с Пеллегрины и скомпрометировал ее, севши слишком далеко от нее на диване.

Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда он с изящною ночною лампочкой в руке проходил по мягкому ковру той комнаты, где стоял Пик, держась рукою за сердце и выслушивая из собственных уст жены сознание в ее поступке и в ее чертовской опытности и органической любви к обману.

Фебуфис тряхнул своими поредевшими кудрями, как бы отгоняя воспоминания, и положил руку на массивную

бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери в женину спальню.

Сию минуту он увидит свою великолепную Гелию...

Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... она была заперта. Быть может, это ему так только кажется; быть может, он неловко берется. Он надавил ручку сильнее и теперь несомненно убедился, что дверь заперта изнутри на ключ. Значит, полученное неизвестным путем письмо предупреждало его кое о чем верно... свадебный пир его кончен, и он, как дитя, оставлен «без последнего блюда».

Он был в нерешимости, что ему делать: встряхнуть дверь и звать жену так, чтобы она должна была откликнуться, или выдержать себя и на первых же порах наказать ее ни с чем несообразный каприз пренебрежительною холодностью?

Первое угрожало шумом и скандалом, который мог дойти до ушей прислуги и сделать его смешным в передней, на кухне и в мелочных лавках, откуда потом придет слух и в гостиные... Второе... еще может к чему-нибудь вывести.

Он предпочел второе и возвратился спать в свою мастерскую.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимоверно. Начало семейной жизни его не радовало, и он встал, ощущая никогда ему до сих пор не известный страх перед женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холодною женщиной, избалованности и капризам которой, очевидно, нет меры, точно так же, как не видно меры ее упорству и самообладанию, которых совсем нет у Фебуфиса.

Но обстоятельства требовали, чтобы он показал некоторое самообладание, и он решился сделать над собою твердые усилия. Он сошел в столовую, где имел привычку пить свой утренний кофе, и, к удивлению своему, застал здесь за столом совершенно одетую жену, перед которой была английская книга, а у ног ее лежала ее огромная черная собака Рапо́. Супруги повидались холодно,

как знакомые. Гелия не обнаружила ни малейшего замешательства и даже дала заметить мужу, что она его некоторое время ожидала за кофе. Он хотел разразиться, но вместо того извинился, сделал несколько незначительных вопросов и несколько раз посмотрел на черного Рапó. Его занимало: когда и кто привел в его дом эту собаку, имевшую чрезвычайную привязанность к Гелии, а к нему возымевшую с первой встречи глухое личное неудовольствие, способное при всяком удобном поводе перейти в открытую неприязненность? Фебуфис даже не вытерпел и полюбопытствовал:

— Когда сюда перебрался Рапó?

Гелия отвечала, что Рапó пришел вчера с ее верною служанкой.

«Рапó и верная служанка!.. Недурненькие штучки для начала», — подумал Фебуфис и затем спросил:

— А где вы нашли для него здесь помещение?

— Его помещение, как всегда, при мне.

— Нет, где он спал?

— На ковре, в ногах у моей постели.

«Какова штучка!» — подумал Фебуфис и встал, чтобы приветствовать двух близких родных жены, приехавших сделать ей обычный визит на другое утро после брака.

Фебуфис был рад их приходу, чтобы избавиться от сообщества, в котором ему становилось тяжело, и в то же время показать первое проявление и своего равнодушия и своего самообладания.

Он мало поговорил и, встав, направился к себе в мастерскую; но при повороте на ковре наткнулся на Рапó и чуть не упал.

Он видел, что гости и его жена сделали над собою усилие, чтобы не засмеяться его полету и смешному взмаху, который он сделал руками.

Один Рапó поглядел на него серьезно и грустно, без унизительной иронии, и, звучно вздохнув из глубины своей собачьей души, точно хотел сказать: «Ах, уйди, тебе здесь не место!»

Фебуфис с своей стороны подумал: «Я эту собаку непременно убью», — и затем он прошел к себе в мастерскую, одновременно чувствуя и бешенство и неотразимую потребность удерживаться, и вдруг он схватил кисти и начал работать.

С этих пор мастерская, этажом выше жилья, сделалась его постоянным приютом. Он точно вышел из дому без спора и без боя, сам не заметив, как это случилось.

Он делал с женой визиты; был с нею на завтраке в за́мке у герцога, причем герцог, поздравляя Гелию, поцеловал у ней руку в присутствии герцогини. Потом у них был родственный обед, за которым Фебуфис убедился, что отец его жены не даст дочери ничего, а что все прочие ее родственники совсем даже и не намерены почитать его за замечательного человека. Они нимало не скрывают, что смотрят на него просто как на герцогского фаворита, до которого они снизошли случайно, по обстоятельствам, о которых он поймет в свое время и для которых обязан будет поработать. Вообще со временем ему скажут, что́ делать. За обедом последовал бал, на котором в блестящей свите прошел герцог, и опять уже не раз, а два раза поцеловал руку Гелии, — здороваясь и прощаясь, — и сидел с ней одной пять минут в уединенной маленькой гостиной, из которой, по принятому этикету, в эти минуты все вышли. Потом он подарил, по старине, вниманием и Фебуфиса. Он спросил его:

— Счастлив?

Фебуфис поблагодарил за внимание.

— То-то! — пошутил герцог и, улыбаясь, шепнул ему на ухо: — Будь терпелив и уповай на бога.

«Что за дьявольщина! — подумал, провожая герцога, Фебуфис. — Во что, в самом деле, он не вмешивается, чего он только не знает и о чем он не говорит!.. Как его много! Как его везде чертовски много!»

И вдруг он остановился на месте и зашатался. Он вдруг ясно увидел, что *его жена — любовница герцога.*

С Фебуфисом сделался обморок, и довольно странный обморок, в котором продолжалось сознание.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Этого, может быть, только не видят другие, или, наоборот, это видели и видят все, кроме его. Он, настоящий, форменный муж, который узнает о своем позоре самый последний и потом смиряется и сносит это из ложного стыда или выгод, но вот тут уж ошибка, — этого одного

уж ни за что не будет с Фебуфисом. Этого он не снесет ни за какие выгоды в мире. Он это разъяснит и разрубит все сейчас, сию минуту. И все условия ему благоприятствовали — обморок сокрыл от него разъезд гостей и окончание бала. Придя окончательно в чувство, Фебуфис увидел себя в полумраке, на кушетке, в будуаре жены. Сюда перенесли его гости, при которых он упал в дурноте, проводивши герцога. Гелия стояла перед ним, возле нее была ее «верная служанка», и невдалеке от нее, глядя ей в глаза, лежал не менее верный Рапо́. Огни во всех апартаментах были потушены, и в доме была тишина; сквозь складки оконных занавесок виднелась звезда, меркнувшая в предрассветной синеве неба.

Фебуфис остановил взгляд на служанке и сказал:

— Зачем она здесь?

Гелия сделала легкое движение головой, и женщина вышла.

— Могу ли я сделать вам один вопрос? — сказал Фебуфис.

— Конечно, — отвечала Гелия.

— О чем с вами говорил наедине герцог?

Гелия сдвинула брови и покраснела. Фебуфис мгновенно сорвался с места и вскрикнул:

— Я хочу это знать!

— Он говорил со мной об одном деле моего отца.

— О каком деле?

— Я не должна этого никому сказать.

— Это неправда!.. это ложь!.. Вы его любовница!

Краска мгновенно сбежала с лица Гелии и заменилась болезненною бледностью.

— Да,— продолжал Фебуфис,— я вас поймал... я вас открыл, я теперь понимаю ваше поведение, и вот... вот...

— Что вы хотите?

— Ничего!.. От вас ничего... Поняли?

— Поняла.

— Прекрасно!.. Мне не нужна герцогская любовница!

— Да?

— Да. Вы должны были по крайней мере раньше мне сознаться в этом.

— Идите ж вон отсюда!.. Сейчас же вон, или... эта собака перекусит вам горло!

— Я вон... я?!.

— Да, вы... Вон, сын приказчика моего деда!

— О, — протянул Фебуфис, в голове которого его собственный павлин вдруг распустил все свои перья, — так вы вот как на меня смотрите! Я вам покажу, кто я!

И он, задыхаясь и колеблясь от гнева на ногах, пошел в свою мастерскую, но он не лег спать, — его пожирала простая физическая жажда мщения, — он сошел опять вниз, взял из буфета две бутылки шампанского и обе их выпил, во все время беспрестанно волнуясь и то так, то иначе соображая свое положение. Он непременно хотел что-то сделать, и не знал, что ему делать. В этом уплыл остаток ночи, и в окнах серел рассвет непогожего дня.

Фебуфис стал приходить в другое, мирное настроение: он чувствовал теперь потребность сказать жене — холодно и не роняя своего достоинства, — что они навсегда будут чужды друг другу, и решить сообща с нею, как им держать себя, пока они найдут наименее скандалезный выход. Это будет холодное, деловое объяснение, но его надо сделать немедленно, сейчас, чтобы ни он, ни она не предприняли ничего несоответственного порознь и чтобы с сердца разом скорее сбросить то, что так тяжело и гадко.

Но двери ее спальни, конечно, опять уже заперты, и если она их опять не отопрет?.. Ему надо было просто, уходя, вынуть ключ, но он не догадался. Но он ее заставит отпереться. Он не будет стучать и ломиться, как ревнивый портной, а он ее убедит... он ее образумит. Так или иначе, она ему отопрет и его выслушает... А иначе... он сделает черт знает что!

Он выпил еще залпом, один за другим, два стакана шампанского, взял с камина флакон со скипидаром и стал спускаться с лестницы. Он не чувствовал себя пьяным, и в самом деле он не был пьян. Он ни скоро, ни тихо подошел к жениной спальне, которая действительно оказалась запертою, спокойно тронул ручку двери и произнес спокойным голосом:

— Я прошу вас меня извинить и не отказать мне выйти ко мне в эту комнату: мы должны сейчас объясниться.

Гелия не отвечала.

— Я хочу знать, слышите ли вы, что я вам говорю?

— Слышу.

— Оденьтесь и выйдите. Это важно для моей и вашей жизни.

Молчание.

— Я вам даю слово, что вы не услышите ни одного грубого слова. Не бойтесь меня.

Ему слышалось, что она как будто ходит и что-то делает, но на его слова не отвечает.

— Я вам даю слово, что вам меня не должно бояться.

Она ответила: «Я не боюсь», и опять слышались ее шаги и движение.

«Она ждет служанку и хочет уйти другим ходом!»

Это его взбесило.

— Вы не отворите?! — вскричал он, после нескольких слов, оставленных ею без ответа.

Гелия снова молчала.

— А, в таком случае я сейчас сожгу вас в вашем затворе.

С этим он плеснул скипидаром на портьеры и зажег их и в полном безумии бросился к другому выходу из спальни, но в это же мгновение осажденная повернула ключ и, открыв двери, предстала в пылающей раме горящих портьер. Она была в мантилье и в платье, с головой, покрытой кружевною косынкой. Этого Фебуфис не ожидал и вскрикнул:

— Куда вы?

Она только смерила его глазами и сделала шаг вперед.

Тогда он, забыв все, кинулся, чтобы остановить ее, но она на все это была готова: она вынула из-под мантильи руку и подняла прямо против его лица маленький щегольский пистолет.

— Я этого не боюсь! — вскричал Фебуфис.

— А я требую только, чтобы вы до меня не касались.

Из отуманенной бешенством и, может быть, отчасти вином головы Фебуфиса выскочил сразу весь план его мирных и благородных действий. Не успела его жена пройти через залу, как он догнал ее у второй двери и схватил ее сзади за мантилью. Гелия ударилась виском о резной шпингалет и, вскрикнув от боли, рванулась и убежала... В руках Фебуфиса осталась только ее мантилья. Жена ушла... стало пусто: на полу лежала большая золо-

тая шпилька, вершка в четыре длиной, какие носили по тогдашней моде, и на узорчатом шпингалете двери веялись, тихо колеблясь, несколько длинных и тонких шелковистых черных волос.

Гелия выбежала из мужнина дома, как из разбойничьего вертепа, в одном платье, и безотчетно пошла, как некогда шел куда-то обиженный Пик. Она не замечала ни окружавшей ее стужи, ни ветра, который трепал ее прекрасные волосы и бил в ее красивое негодующее лицо мелкими искрами леденистого снега.

В уме Гелии было идти прямо к герцогу и сказать ему:

— Защитите меня от обиды и, если вы рыцарь, — как о вас говорят, — скажите, что я не была вашею любовницей, и отмстите за мою честь.

Она верила, что она должна и может это сказать, что она это непременно скажет и что он защитит ее, как рыцарь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Не давая себе отчета, хорошо или дурно она думает, Гелия очутилась у герцогского замка. Выросши в торговом городе, жившем более во внешних политических сношениях с Европой, чем с своим правительственным центром, Гелия имела очень недостаточные понятия о том, как можно и как нельзя говорить с герцогом; но это и послужило ей в пользу, или, быть может, во вред, как мы увидим потом, при развитии нашего повествования.

В замке и вокруг замка герцога жизнь начиналась повоенному, то есть очень рано, и в тот ранний час, когда Гелия показалась у подъезда герцога, там уже стояла запряженная для него лошадь.

Гелия пошла прямо к подъезду и стала у колонны. Дежуривший у подъезда офицер настоятельно просил ее удалиться и особенно указал ей на сопровождавшую ее собаку.

Гелия слабо понимала речь того языка, на котором говорили в столице герцогства, но поняла указания на Рапó и нетерпеливо взглянула на него глазами.

Тяжелый и сильный зверь поднялся и пошел прочь за угол главной площадки замка.

— И вы сами тоже должны удалиться, — сказал офицер; но прежде чем он успел настоять на этом, массивная дверь быстро распахнулась, и появился герцог. Гелия к нему бросилась как дитя и в то же время как уверенная в своем достоинстве женщина.

Герцог остановился: ветер сильно перебивал ее лепет.

Она говорила, но он не понимал ее и... не узнавал ее.

Она в отчаянии закрыла лицо руками.

Герцог еще отодвинулся и приложил ладонь над глазами.

Гелия упала на колени и на этот раз твердо сказала:

— Молю вас, спасите!

— Что нужно? — спросил грозно герцог.

И в этот же миг он узнал Гелию и ужаснулся.

— Это вы, Гелия! Что с вами случилось?

И он подался к ней ближе и закрыл ее от ветра и снега полою своего плаща.

— Ваша светлость! — простонала она, — была ли я вашею любовницей? — и, зарыдав, она не могла продолжать далее.

Герцог заметил, что она шатается, и подхватил ее под руки.

— Кто смел сказать это?

— Вы меня выдали замуж, — произнесла Гелия.

— Ну да!.. Что ж дальше?

Гелия протянула к герцогу руку, в которой был пистолет, и сказала:

— Прикажите скорее взять меня в тюрьму.

— За что?

— Я сейчас хотела убить моего мужа.

— За что?

Она плакала.

— Говорите скорее, за что?

— Он хотел меня сжечь, — он обращается со мною как разбойник!

И, произнося каждое слово, она колебалась на ногах и вдруг совсем пошатнулась в сторону.

Герцог плотнее прикрыл ее плащом и сказал:

— Смотрите... правда ли это?

Вместо ответа Гелия взяла холодною рукой руку герцога и приблизила ее к своей голове.

На белой замшевой перчатке герцога остались капля крови и несколько глянцевитых и тонких черных волос.

Из груди его вырвался звук ужаса и негодования.

— Злодей! — вскричал герцог, — он будет страшно наказан!

С этими словами, задыхаясь и сверкая глазами, разгневанный герцог всхлипнул и потом отечески обнял молодую красавицу и, почувствовав, что она падает, поднял ее, как дитя, на руки, поцеловал в темя и с этою ношей возвратился назад в двери замка.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПУГАЛО

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889, стр. 246—304.

Рассказ написан в 1885 году; впервые опубликован в журнале «Задушевное слово», 1885, тт. X—XI, №№ 19—39, с подзаголовком «Рассказ для юношества».

В письме к А. С. Суворину от 9 ноября 1887 года Лесков писал: «У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад в журнале Вольфа как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника», которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный кромской случай... Рассказ читали с удовольствием и большие и дети... Позвольте мне предложить Вам: признаете ли Вы за удобное взять этот рассказ для третьей или (после З⟨апечатленного⟩ Ангела) четвертой книжки «Дешевой библиотеки» моего издания? В таком разе я доставил бы Вам печатные листки этого рассказа» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 111). Очевидно, Суворин изъявил готовность поместить рассказ в издании «Дешевой библиотеки», так как Лесков 12 ноября 1887 года писал ему: «Рассказ «Пугало» пришлю Вам через магазин» (там же, л. 112). Однако по каким-то неизвестным причинам это соглашение не было реализовано.

После опубликования рассказа в «Задушевном слове» Лесков не подвергал его никакой правке.

Стр. 6. *...родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали...* — Зимой 1839 года отец писателя купил имение «Панино», в тридцати верстах от Орла. Переезд семьи Лесковых в «Панино» совершился летом 1839 года.

Стр. 7. *Замашки* — стебли конопли.

Стр. 15. *Чéрез* — кошель в виде пояса для хранения денег.

Стр. 19. *Подторжье* — канун ярмарки, базара, торга.

Буцефал — легендарный дикий конь, укрощенный Александром Македонским. Здесь употреблено в шутливом значении.

Стр. 21. *Кутас* — шнур на кивере.

Стр. 23. *Вершник* — всадник.

Дорожные просовы — зажоры, ямы, наполненные водою, но невидимые под снегом.

...дней недельных... — то есть воскресных.

Ритор — ученик духовной семинарии по классу риторики.

Стр. 24. *Презенты* — подарки, приношения.

Стр. 24—25. *Легконосная* — быстроногая.

Стр. 25. *...«на шереметевский счет»...* — то есть бесплатно, «на даровщинку». Графы Шереметевы были очень богаты и хлебосольны. Об одном из них, фельдмаршале петровской эпохи Борисе Петровиче Шереметеве (1652—1719), Бантыш-Каменский пишет: «Дом графа Шереметева был прибежищем для всех неимущих: за стол его, на котором не ставилось менее пятидесяти приборов, даже в походное время, садился всякий, званый и незваный, знакомый и незнакомый, только с условием, чтоб не чиниться перед хозяином» (Д. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли, ч. 5, М., 1836, стр. 313).

Стр. 27. *Пифон* — в древнегреческой мифологии огромный страшный змей, воплощение стихийного начала.

Цербер — в древнегреческой мифологии злой пес, охраняющий вход в ад; в переносном значении — бдительный страж.

Стр. 28. *Этишкет* — принадлежность военной формы гусар: длинный шнур с двумя кистями на конце, идущий от эфеса шашки к воротнику.

Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. — Вар Публий Квингилий (ок. 53 до н. э. — 9 н. э.) — древнеримский политический деятель и полководец, правитель провинции Германии. В 9 г. н. э. был завлечен германским полководцем Арминием (17 до н. э. — 21 н. э.) в Тевтобургский лес и разбит наголову, после чего покончил самоубийством.

Стр. 38. *Фриз* — толстая ворсистая байка.

ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., стр. 425—491.

Рассказ впервые опубликован в журнале «Новь», 1885, т. III, №№ 10 и 11, 15 марта и 1 апреля; затем он был включен в сборник «Рассказы кстати», изданный т-вом Вольф (СПб. и М., 1886).

Название рассказа, а отчасти и его тема заимствованы Лесковым из упоминаемого им самим очерка Г. И. Успенского «Куда девался один хороший русский тип?» В очерке Г. И. Успенского «пожилая дама» говорит: «Нет теперь интересного мужчины... Вот что мне кажется...» Далее она замечает, что раньше «был господствующий тип мужчины, «достойного благоговения», поклонения... А теперь нет его... нет теперь такого типа, сокровенную глубину души которого масса женщин могла бы в самом деле благоговейно чтить, уважать или, наконец, просто бояться...» («Русская мысль», 1885, № 2, стр. 381, 382).

Любопытна также связь «Интересных мужчин» с рассказом Куприна «Брегет», напечатанным в 1897 году. В рассказе «Брегет» отсутствует важный для Лескова мотив мужской «интересности»; Куприн просто-напросто рассказывает анекдотически-занимательное происшествие в офицерской среде, не сопровождая его никаким авторским комментарием. Но зато все остальное в рассказе Куприна поразительно напоминает «Интересных мужчин»; это как бы вторая редакция рассказа Лескова, лишь с некоторыми изменениями в трактовке сюжета. Оба писателя изображают сходными чертами военный быт (карты, вино, офицерская «честь»); завязка и финал в обоих произведениях (пропажа ценностей во время азартной игры в карты и трагическая гибель ни в чем не повинного героя) совершенно одинаковы. Таким образом, в данном случае можно говорить о влиянии Лескова на Куприна.

Оценивая свой сборник «Рассказы кстати», в который вошли «Интересные мужчины», Лесков писал А. С. Суворину 15 марта 1887 года: «...это журнальные *фельетоны.* Поляк и Саша таковы и есть, как Вы их находите. Самое милое лицо Саша, за ним ротмистр с подмышками, а за этим полковой поп. В поляке преимущество выдержанности и воспитанности, при коих все-таки остается просвечивающая пренебрежительность к русским. Это самое я и хотел показать и, вероятно, показал... это рассказы *рядовые,* а не из ряда вон выходящие, но они не хуже тех, из коих о каждом возглашают как будто о замечательном произведении» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 103).

Включая рассказ в собрание своих сочинений, Лесков внес в текст ряд мелких стилистических исправлений.

Стр. 55. *Берсье,* Эжен (1805—1889) — французский проповедник. По отзыву Лескова — «отличный критик и знаток библии» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 146). Из воспоминаний И. А. Шляпкина известно, что Лесков в 1880-е годы сам «переводил молитвы Берсье». (См. И. А. Шляпкин. К биографии Н. С. Лескова — «Русская старина», 1895, декабрь, стр. 208.)

...рассказа Толстого в ней не было... — Речь идет о февральской книжке журнала «Русская мысль» за 1885 год, в которой было помещено следующее объявление: «Произведение графа Льва Николаевича Толстого: «Так что же нам делать?» не может быть помещено». Эта статья Л. Н. Толстого была запрещена цензурой в январе 1885 года.

...пробегал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского... — Подразумевается очерк «Куда девался один хороший русский тип?» из цикла «Через пень-колоду».

Стр. 56. *Ростислав Андреевич Фадеев* (1824—1883) — военный писатель и публицист реакционного направления, враг либеральных преобразований в армии.

Стр. 58. *...поклонение Бахусу...* — Бахус в античной мифологии — бог вина и веселья.

Стр. 61. *Если вы читали у Брет-Гарта...* — Дальше речь идет о рассказе Брет-Гарта «Счастье ревущего стана».

Стр. 62. *...«трудиться для польз императорского воспитательного дома»* — крылатое выражение; доходы от продажи игральных карт должны были поступать на нужды воспитательного дома, опекаемого царской фамилией.

«Живейный» извозчик — легковой извозчик (в отличие от ломового).

Стр. 66. *Грагам* — правильнее Грегем, Георг (1675—1751), знаменитый английский часовой мастер. Часы, созданные Грегемом, отличались чрезвычайной точностью хода. По заказу Гринвичской обсерватории Грегем изготовил множество астрономических приборов и хронометров.

Стр. 69. *Зодия* — раздел зодиака. Зодиак — звездный пояс, разделенный на двенадцать частей со следующими названиями созвездий, соответствующих месяцам: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Феральный — трагический, гибельный.

Стр. 70. *...как вы и я, — как целый свет* — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. VIII, строфа 8).

Гиппократовы черты — в данном случае выражение лица, свидетельствующее о скорой и неизбежной смерти. Гиппократ (ок.

460—377 до н. э.) — выдающийся древнегреческий врач, положивший в основу занятий медициной наблюдение и изучение. Был известен как врач, заранее предсказывающий исход болезни.

Стр. 71. ...*«великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался»*... — цитата из «Гамлета» (д. III, сц. I, монолог «Быть или не быть»). Лесков, очевидно, цитирует по переводу А. Кронеберга. У Кронеберга:

Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам...

(см. «Гамлет». Трагедия В. Шекспира. Перевод А. Кронеберга, изд. 2-е, М., 1861).

Стр. 72. ...*беседовал с самим паном Твардовским*... — Пан Твардовский — герой польской народной легенды, польский Фауст, продавший душу дьяволу в погоне за знаниями и наслаждениями. Легенда о Твардовском обрабатывалась многими польскими писателями, например И. И. Крашевским (1812—1887), написавшим повесть «Пан Твардовский» (русский перевод — 1859 г.).

Стр. 76. *«Товарищ в битвах поседелый»* — перифраза из «Египетских ночей» Пушкина. У Пушкина:

В дружинах римских поседелый.

Стр. 83. *Если вы читали, что писал Жаколио или пишет о загадочных вещах... Рада-Бай, то вы, может быть, прислушались к тому, что она повествует о «психической силе» у индусов и о зависимости этой силы от «умственного настроения».* — Луи Жаколио (1837—1897) — французский писатель, автор приключенческих романов. Радда-Бай — псевдоним русской путешественницы и писательницы Елены Петровны Блаватской (1831—1891), принимавшей участие в организации теософического общества. В данном случае речь идет о ее насыщенном теософическими рассуждениями рассказе «Загадочные племена. Три месяца на «голубых горах» Мадраса», напечатанном в журнале «Русский вестник» (1884, № 12; 1885, № 1—4). Лесков не совсем точно ее цитирует. Говоря о «психической силе», Радда-Бай заявляет, что многое зависит «от умственного направления так называемых «медиумов» («Русский вестник», 1885, № 2, стр. 722).

...*насвистывая из Орфея*... — Подразумевается «Орфей в аду», оперетта французского композитора Оффенбаха (1819—1880).

Екклезиаст прекрасно представляет это в примере тени, падающей от дерева по направлению получаемого освещения... — В «Книге

Екклезиаста, или проповедника» ничего не говорится о «тени, падающей от дерева...» Судя по контексту, Лесков мог иметь в виду следующее место из Екклезиаста: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?» (гл. VI, ст. 12).

Стр. 88. *Коник* — ларь с подъемной крышкой, употреблявшийся в качестве кровати.

Барбаросса — имя двух братьев-корсаров, подчинивших своей власти почти все северное побережье Африки (XVI век).

Стр. 91. *...«вкусил мало меду и умер»* — неточная цитата из библии (I Книга царств, XIV, 43).

Стр. 94. *...почувствовал себя в томленьях Дон-Карлоса.* — См. драматическую поэму Шиллера «Дон-Карлос».

Стр. 95. *Вспомните похороны Гоголя, о которых мы читали такие прекрасные описания, похороны Некрасова и Достоевского, которые называли «событием в истории».* — Лесков не совсем точен. О похоронах Гоголя в периодической печати писалось мало и скупо. Так, например, «Московские ведомости» (1852, № 25, от 26 февраля) посвятили этому событию сухо написанную заметку, поместив ее рядом с сообщением об испытаниях молотильной машины; в «Ведомостях московской городской полиции» (1852, № 47) появилась ходульным языком и с оглядкой на начальство написанная статья гр. Е. Ростопчиной «Похороны Гоголя». Впрочем, Лесков мог иметь в виду «Письмо из Петербурга» И. С. Тургенева, хотя оно и не было посвящено специально похоронам Гоголя («Московские ведомости», 1852, № 32, 13 марта). Подробные сведения о кончине и торжественных похоронах Гоголя в Москве Тургенев почерпнул из письма Е. М. Феоктистова, впоследствии ярого врага Лескова. Это письмо Феоктистова опубликовано только в наше время («Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 743). Петербургским же газетам цензура запретила упоминать даже «имя Гоголя» (см. И. С. Тургенев. Сочинения, т. XI, Л., 1934, стр. 440). Похороны Некрасова и Достоевского, наоборот, описывались почти во всех газетах того времени, столичных и провинциальных. Говоря о том, что эти похороны «называли «событием в истории», Лесков, по всей вероятности, подразумевает следующее место из статьи «Физиономия Петербурга в день похорон Ф. М. Достоевского», напечатанной в газете «Киевлянин»: «Репортеры столичных газет лучше меня описывают все подробности этих величественных, можно сказать, *исторических* похорон замечательного человека...» («Киевлянин», 1881, № 28, стр, 2).

Стр. 96. *...хоронили Скобелева...* — генерала Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882), пользовавшегося огромной популярностью в армии и в народе.

Стр. 97. *Иннокентий* — Борисов Иван Алексеевич (см. примеч. к рассказу «Фигура»).

Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Герой». У Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже...»

...песнотворческий гений Дамаскина. — Иоанн Дамаскин (конец VII в. — около 754) — византийский богослов и философ, по церковному преданию — талантливый гимнограф. Цитируемые ниже стихи взяты Лесковым из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин».

Стр. 98. *Вспомните шиллеровского великого инквизитора.*— См. драматическую поэму Шиллера — «Дон-Карлос», д. V, явл. 10.

...на зов пророка Исайи: «Приидите и стяжемся»... — Цитируется библия, Книга пророка Исайи, гл. XLV, ст. 20. Стяжемся — поговорим, поспорим.

Стр. 100. *Говорил он, говорил и, наконец, ошибся и что-то правду сказал. А «змея» сейчас его здесь и поддержала и прошипела: Voilà ça c'est vrai.* — В связи с этим эпизодом сын писателя вспоминает: «В «змее» улавливаются некоторые черты, приписывавшиеся жене фельдмаршала князя А. И. Барятинского. Генерал-адъютант С. Е. Кушелев уверял Лескова, что именно так, как поведано в рассказе, она «зарезала» мужа, принимавшего у себя раз вечером Александра Второго. Лесков неоднократно вспоминал в беседах о женских характерах этот эпизод. Слышал его не раз и я сам. Записал его и И. А. Шляпкин» (Н. С. Лесков. Избранные сочинения, М., 1945, стр. 459; см. также статью И. А. Шляпкина «К биографии Н. С. Лескова» — «Русская старина», 1895, декабрь, стр. 214).

Стр. 102. *...актеры занимавшей недавно Петербург мейнингенской труппы. Все серьезно поставлено!* — Труппа мейнингенского драматического театра гастролировала в России в 1885 и в 1890 годах. Характерные особенности этого театра — выразительная постановочная часть спектаклей, талантливость и большая культура актеров и режиссеров. Выступления мейнингенской труппы в Петербурге (февраль 1885 года) получили, например, следующую оценку в журнале «Дело»: «Большинство нашей публики наиболее заинтересовало известие о том, что мейнингенцы везут с собой 28 вагонов с декорациями, костюмами и аксессуарами... Между тем с первого же представления мейнингенцы показали нечто более

ценное... невиданную до сих пор стройность исполнения *пьесы,* красоту исполнения, соединенную с строгою историческою верностью, и полную реальность воспроизведения на сцене драматических произведений, составляющих репертуар их гастролей» («Мейнингенская труппа в Петербурге» — «Дело», № 6, за июнь 1884 — апрель 1885 г., стр. 81).

Стр. 102. *«Бурса»* — «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского.

Стр. 108. *Марьяжные интересы* — семейные интересы (от фр. mariage — брак, супружество).

Стр. 110. *«Корневильские колокола»* — оперетта французского композитора Планкетта (1848—1903).

ГРАБЕЖ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том пятый, СПб., 1889, стр. 371—418.

Рассказ впервые опубликован в «Книжках Недели», 1887, № 12.

Подготавливая рассказ для Собрания сочинений, Лесков подверг его значительной стилистической обработке и попутно с этим усилил его некоторыми характерными деталями. Так, например, в «Книжках Недели» нет отрывка, изображающего склонность любителей церковного пения к «страшному пойлу» (см. главу седьмую, от слов: «нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее» до слов: «нет, я больше одного стакана зараз не обожаю»). В редакции рассказа, вошедшей в Собрание сочинений, часто мелькает орловское колоритное словечко «подлет», вовсе не встречающееся в первопечатном тексте.

В современной Лескову критике этот талантливейший рассказ прошел незамеченным. Сын писателя называл «Грабеж» «заразительно-веселой, чисто орловской панорамой», насыщенной «архиорловским бытом» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 615; Н. С. Лесков, Избранные сочинения, М., 1945, стр. 460).

Стр. 112. *...незадолго перед знаменитыми орловскими... пожарами.* — В своей автобиографии Лесков пишет: «Осиротел на 16-м году... Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров» («Неделя», 1900, V, стр. 190). Таким образом, в данном случае речь идет об орловских пожарах, происходивших в 1847 году. В XIX веке Орел, город по преимуществу деревянный, горел неоднократно. Так, например, один из мемуаристов пишет: «Со второй половины 1826 года

Орел... несколько раз горел и, как небезызвестно, совершенно перестроился и вполне изменил свою физиономию, с какою я его знал за 45—47 лет перед сим» («Дело», 1873, № 6, стр. 189).

Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком. — См. рассказ «Умершее сословие» в наст. томе и примечания к нему (стр. 620).

Стр. 113. *Театр тогда у нас Турчанинов содержал после Каменского, а потом Молотковский...* — Сергей Михайлович Каменский (1771 или 1772—1835) — граф, отставной генерал, крупный орловский помещик, к концу жизни разорившийся, владелец театра, о котором сохранилось много воспоминаний современников. Г. Эртаулов, описывая театр, каким он был в 1826—1827 годах, отмечает, что в Орле «была целая худо вымощенная, обросшая травою степь, под наименованием «каменской площади», обстроенной многим множеством серых с красными крышами и белыми колоннами, тогда уже очень не новых и полинялых одноэтажных строений... Здесь, в этих зданиях, помещался театр, известный тогда во всей России под названием «театра графа Каменского». Театр этот доставлял немалое удовольствие орловцам, хвалившимся тем, что они, не в пример другим губерниям, имеют-де «свой» собственный, *доморощенный* театр, привлекавший к себе посетителей не только из уездов Орловской губернии, но и из городов окрестных губерний... Театр был публичный, и зала его состояла из нескольких десятков двухъярусных лож с галереею в виде амфитеатра и из партера в несколько десятков рядов... Представления в театре графа бывали три раза в неделю» («Дело», 1873, № 6, стр. 189—190). Среди крепостных актеров театра были люди очень талантливые, однако «его сиятельство, не одаренный и каплею сценического вкуса, требовал от своих актеров напыщенности и ходульности, которые восхищали чудака-театромана» (там же, стр. 207). Каменский относился к своим актерам с бесчеловечной жестокостью (см. рассказ Лескова «Тупейный художник», в котором объединены предания о двух Каменских — отце и сыне). Турчанинов и Молотковский — антрепренеры, распоряжавшиеся театром после смерти Каменского.

Стр. 114. *Перекрещенка* — женщина иной веры, принявшая христианское вероисповедание.

Стр. 116. *Поспа* — рассол из отвара отрубей для мочения яблок.

Яломок — валяная шапка.

Стр. 117. *Ктитор* — церковный староста.

Стр. 127. *«Аще не господь хранит дом — всуе бдит стрегий»* — «Если бог не охраняет дом, напрасно бодрствует стерегущий».

Стр. 128. *Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженые солдаты по домам представляют?* — Подразумевается персонаж из народной драмы XVIII века «О царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе». Цитируя эти строки лесковского рассказа в своей статье «Вероятный источник народной пьесы «О царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе», П. Н. Берков пишет: «Трудно предположить, что такой знаток народного быта, как Н. С. Лесков, в данном случае ошибся и что у него случайно Альфред появился вместо Адольфа. С другой стороны, в литературе нет никаких указаний на то, что солдатами исполнялась какая-то особая пьеса о неблагодарном Альфреде. По-видимому, речь здесь идет об особом варианте «Царя Максимилиана», до нас не дошедшем» («Труды отдела древнерусской литературы», т. XIII, М. — Л., 1957, стр. 303).

Стр. 129. *Ренсковые погреба* — лавки, где покупали рейнские вина (рейнвейн и др.).

Стр. 130. *Икатенья* — ектенья (моление).

Стр. 131. *...по булдажкам...* — Булдыга — кость.

Стр. 134. *Язовитское* — искаженное: иезуитское.

Стр. 137. *Дуван дуванить* — делить добычу после набега, грабежа.

Стр. 140. *...треснул... во-усысе...* — сильно ударил по лицу.

Стр. 144. *...живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины...* — не совсем точная цитата из русской повести XVII века «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин».

Костырь — мошенник, промышляющий игрою в кости.

Избавь нас от мужа кровей и от Арида! — См. Псалтырь, псалом 58, ст. 3. «Муж кровей» — по библейской легенде Каин, старший сын Адама, убивший своего брата Авеля. Арид или Аред — по библейской легенде — скупой, злой человек, отличавшийся чрезвычайным долголетием (отсюда крылатое выражение «аридовы веки»).

Стр. 152. *Рядовичи* — мелкие торговцы (сидящие в торговых рядах).

Ослопная свеча — очень большая свеча (ослоп — жердь, кол, дубина).

ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том второй, СПб., 1889, стр. 444—467.

Рассказ впервые опубликован в журнале «Русская мысль», 1887, апрель, под названием «Спасение погибавшего»; в том же

году и под тем же названием он был включен в издание «Повести и рассказы», кн. I.

В основу рассказа положены действительные события. Сын писателя отмечает, что он «написан со слов бывшего директора Александровского лицея, генерал-лейтенанта Николая Ивановича Миллера, в момент происшествия с рядовым Постниковым — капитана и начальника караула. Дочь Миллера была замужем за бароном А. Э. Штромбергом, жившим на одной лестнице, дверь в дверь, с Лесковым в 1880—1885 годах... В последней, XVII главе рассказа в лице «архиерея» во всех его статьях и чертах подан не иной кто, как прославленнейший иерарх, митрополит московский, Филарет Дроздов (1783—1867)... В письмах, статьях и рассказах Лесков не уставал исповедовать, что не может «чтить» этого бессердечного святителя, который в своем постничестве «одну просфору в день ел, да целым попом закусывал» (Н. С. Лесков. Избранные произведения, том 3, Петрозаводск, 1952, стр. 326, 327). Аналогичные указания на достоверность рассказа есть также в книге Д. Кобеко «Императорский Царскосельский лицей», СПб., 1911, стр. 455, и в воспоминаниях С. Уманца, причем последний к приведенной выше характеристике Филарета Дроздова прибавляет несколько колоритных штрихов, показывающих, насколько точен и меток был Лесков при изображении этого лица. О Филарете Дроздове Уманец пишет: «Говорил он очень тихо, почти шептал (этот шепот очень удачно называл Н. С. Лесков «тихоструй»), но не от слабости голоса, а нарочно, с расчетом, желая произвести впечатление вконец изнуренного постом и молитвой. Говорю так потому, что при мне он довольно-таки громко покрикивал на келейника и забывал о своем «тихоструе» (С. Уманец. Мозаика (из старых записных книжек) — «Исторический вестник», 1912, декабрь, стр. 1056).

В пору подготовки издания «Повести и рассказы», кн. 1, СПб., 1887, в которое вошли «Скоморох Памфалон» и «Человек на часах» (еще под своим первоначальным заглавием), Лесков писал С. Н. Шубинскому: «Указываемые Вами два рассказа: «Кадетский монастырь» и «Скоморох», отдаю в Ваше распоряжение на тех условиях, какие Вы предлагаете... Но я советовал бы присоединить к тем двум еще «Спасение погибавшего» из «Русской мысли», ибо он тоже относится к «праведникам», — не велик, довольно всем нравится и нигде, кроме московского журнала, неизвестен... Мне бы очень хотелось, чтобы все эти добряки собрались вместе...» (ГПБ, Архив С. Н. Шубинского, оп. 1, № 37, л. 99). В критике также подчеркивалась связь между этими произведениями. Автор рецензии, помещенной в журнале «Русская мысль» за 1887 год, отмечал, что

одной из отличительных особенностей «Человека на часах» и «Скомороха Памфалона» является в равной мере им присущий христианский гуманизм. Вместе с тем критик указывал на явное противоречие этого гуманизма с духом жестокой николаевской эпохи, изображенной в рассказе. Он писал: «Не лишено, как мы думаем, некоторого значения и напечатание рядом в одной книжке «восточной легенды» и чисто русского рассказа о том, как часовой, оставивши, вопреки «уставу», свой пост, спас утопавшего и получил за то «наказание на теле». Скоморох Памфалон и рядовой Постников поступали совсем не по «регламентам», даже вопреки «регламентам»; оба, «спасая жизнь другому человеку», губили самих себя» («Русская мысль», 1887, сентябрь, «Библиографический отдел», стр. 535). Из другой, столь же положительной, анонимной рецензии на рассказ видно, что сатирически изображенный, но не названный Лесковым по имени «владыка» сразу же был узнан читателями. По мнению автора этой рецензии, рассказ Лескова интересен «еще и в том отношении, что в нем фигурируют кое-какие исторические личности, которые у нас принято идеализировать, но к которым г. Лесков относится трезво и правильно» («Северный вестник», 1887, № 12, отдел «Новые книги», стр. 121).

Стр. 155. *Николай Иванович Миллер* (ум. в 1889) — генерал-лейтенант, после службы в Измайловском полку долгое время был сначала инспектором, а потом директором Александровского лицея. Нарисованный Лесковым гуманный образ Н. И. Миллера исторически верен. Один из воспитанников Александровского лицея, вспоминая о муштре и шагистике, ставшей в николаевское время обязательной и для лицеистов, тепло отзывается о Н. И. Миллере, «который, по образу мыслей и научной подготовке, настолько был «статским» для того времени, что мог бесцельно коверкать нам ноги несомненно только с отвращением» («Записки барона Николая Александровича Корфа» — «Русская старина», 1884, т. XLI, стр. 573).

Кордегардия — помещение для военного караула.

Стр. 159. *Кокошкин* — Кокошкин Сергей Александрович (ум. в 1861 г.), назначен петербургским обер-полицмейстером в 1830 году; в середине 40-х годов был харьковским генерал-губернатором и затем сенатором.

Свиньин, Никита Петрович, уже в 1833 году был в чине полковника Измайловского полка.

Стр. 160. *...как у Ахиллеса, было слабое место.* — По древнегреческой мифологии, у Ахиллеса, храбрейшего из греческих героев,

было только одно уязвимое место — пятка (отсюда выражение Ахиллесова пята).

Стр. 162. ...*скакать к великому князю Михаилу Павловичу...* — Великий князь Михаил Павлович (1798—1848) командовал в это время гвардейским корпусом.

Стр. 165. ...*«сорок тысяч курьеров»...* — неточная цитата из «Ревизора» (д. III, явл. VI). У Гоголя: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»

Стр. 173. *Перстное* — плотское (от персть — земной прах, пыль, плоть).

СКОМОРОХ ПАМФАЛОН

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 143—210.

Легенда впервые опубликована в журнале «Исторический вестник», 1887, март; в мае месяце 1887 года перепечатана в томике «Повестей и рассказов» Лескова, изданном Сувориным.

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) хранятся гранки журнального текста «Скомороха Памфалона», испещренные обильной авторской правкой, до одиннадцатой главы включительно. Эти одиннадцать обработанных глав в основном соответствуют журнальному тексту, хотя в них и есть некоторые отличительные особенности. В гранках легенда называется: «Повесть о боголюбезном скоморохе» (это название проставлено вместо зачеркнутого более раннего — «Повесть о великодушном скоморохе»); основные герои здесь имеют еще другие имена: Ермий называется Феодулом, Памфалон — Корнилием, гетера Азелла — Одиллией. Нет здесь также эпиграфа. Гранки в целом значительно отличаются от печатного текста. Сравнение их с печатным текстом показывает, что в процессе дальнейшей работы Лесков обнаружил тенденцию к большим сокращениям первоначального текста произведения. Вследствие этого в печать не попали многие длинноты, которыми отличалось произведение на ранних стадиях его создания. При этом кое-что было удалено без учета контекста, что привело к логическим несообразностям, не замеченным Лесковым. В главе двадцать четвертой после абзаца «— Согласна ли я! — воскликнула Магна» Лесков вычеркнул почти целую страницу, не обратив внимания на то, что в результате такой операции дальнейшее повествование плохо согласуется в деталях. В начале этой главы хозяин публичного дома говорит Магне, указывая на Магистриана: «Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра». И уходит. Через несколько ми-

нут после этого Магистриан напутствует Магну, переодетую в его платье: «Смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери». Владелец Магны мог не узнать ее, переодетую в платье Магистриана; но в таком случае он неизбежно должен был заинтересоваться внезапной переменой решения Магистриана остаться там до утра. Логическая несогласованность этих деталей очевидна. Все дело, оказывается, в том, что в исключенном отрывке (см. гранки) Магистриан говорит хозяину публичного дома: «Я еще пробуду с нею короткое время, и если ни в чем не успею, то я тогда тихо выйду и потом опять возвращусь к ней с диким арабом...» Столь же нелогичной, в результате непродуманного сокращения, оказывается и еще одна фраза в двадцать шестой главе. Приютив бежавшую Магну, Памфалон замечает: «Твой продавец уверен, что вы теперь слилися в объятьях». Ввести поправки в текст в данном случае не представляется возможным, так как тогда пришлось бы восстановить изъятый отрывок целиком, то есть пришлось бы нарушить «авторскую волю».

Из других особенностей гранок, по сравнению с печатным текстом, наиболее существенны следующие. Эпилог «Скомороха Памфалона» в гранках радикально отличается от эпилога, известного по печатному тексту. В печатном тексте после рассказа Памфалона Ермий духовно перерождается, бросает отшельнический образ жизни, отказывается от гордых мыслей о своей исключительности и идет служить людям. В гранках же повествуется о том, как «старец пошел опять через пустыни и дебри к своему столпу... и так простоял он еще, говоря всем: «избирайте лучшее...»

Очень любопытно не включенное в напечатанный текст и сохранившееся только в гранках пространное, проникнутое духом полемики авторское предисловие к «Скомороху Памфалону». Приводим это предисловие целиком:

«БОГОЛЮБЕЗНЫЙ СКОМОРОХ»

Старинное сказание

Несколько слов вместо предисловия

В вышедшей первого мая 1886 года книжке журнала «Дело» напечатана, между прочим, «Флорентинская легенда», в драматическом изложении Лей-Гента. Этой переводной пиесе посчастливилось обратить на себя внимание читателей, она многим понравилась за «благородство сюжета». Читатели сравнивали нежность чувств «флорентинской легенды» с тем, что изображают легенды византийского происхождения, с которыми русское образованное общество теперь понемножку знакомится при чтении несравненных пересказов Льва

Николаевича Толстого. Из сравнений «Флорентинской легенды», пересказанной Лей-Гентом, с сюжетами легенд византийского происхождения, пересказываемых Толстым, у читателей сложился такой вывод, что самые сюжеты западных легенд гораздо разнообразнее, живее и нежнее сюжетов легенд византийских, которые однообразны, грубы и мужиковаты.

Мне это кажется не совсем верным,— по крайней мере в отношении *разнообразия,* и я думаю, что могу представить на то историческое доказательство.

Чтобы делать сравнительные выводы, надо иметь надлежащий материал для сравнения, но граф Л. Толстой нимало этим не озабочен. У него есть свои цели, которым и отвечает его выбор. А в легендах византийских есть и иного рода сюжеты, и один из таких я попробую предложить здесь вниманию читателей.

Я нимало не коснусь пьесы Лей-Гента в критическом отношении, а позволю себе остановиться только на ее «благородном сюжете», который и передам для того, чтобы сравнить его с другим сюжетом легенды византийской, которая, по моему мнению, гораздо более интересна и еще более нежна, проста и благородна.

«Флорентинская легенда» представляет историю любви двух молодых людей, Джиневры и Антонио, из которых первая находится замужем за ревнивым и суровым стариком. Джиневра из тех женщин, которые своим мужьям не изменяют. Она не любит своего мужа и очень любит Антонио, но не хочет принять и прочитать даже таких его почтительных писем, где нет даже и отдаленного намека на подговор к измене. Джиневра дала обет сберечь себя от всякого пятна, и она соблюдает это обещание. Антонио так же благороден, как и Джиневра: он ничего от нее не требует, кроме того, чтобы она берегла свое здоровье. Здоровье Джиневры потрясено от жестокостей ее мужа, к которому Антонио безуспешно подсылает своих друзей, а потом является сам просить, чтобы на здоровье Джиневры было обращено более внимания. Муж приходит в раздражение на посторонних ходатаев, играющих, по правде сказать, довольно невероподобные роли, а кроткая и верная Джиневра между тем умирает. На сцене представляются похороны Джиневры. Ее вносят в могильный склеп, но она там *оживает* и, по нерушимой своей верности к мужу, опять идет одна ночью к этому мучителю. Тот пугается ее появления и не отпирает ей дверей. Тогда ожившая покойница идет к своим родителям, но те тоже считают ее за привидение и не впускают к себе в дом. Положение Джиневры отчаянное — она слаба, едва движет ноги и одета в погребальное платье, а по городу ходят толпы пьяных ночных гуляк, которые легко

склонны оскорбить женщину самым нецеремонным образом... Что остается делать Джиневре? Она в этом ужасном положении вспоминает об Антонио и идет к нему, чтобы вверить себя его защите, полагаясь во всем остальном на его благородство. Антонио узнает Джиневру, принимает ее и обещает ей полную неприкосновенность. Все это он и исполняет. Джиневра хочет остаться у него, чтобы поправиться в силах и идти в монастырь. Антонио ничего против этого не возражает, но муж Джиневры узнал, что жена его ожила, ушла из гроба и живет у Антонио. Муж приходит к Антонио и требует к себе воскресшую покойницу. Антонио так благороден, что сам содействует возвращению Джиневры к ее мучителю, который берет ее за руку и тут же начинает оскорблять ее. Возмутительное поведение мужа выводит из терпения одного из случившихся здесь друзей Антонио, и тот убивает мужа, а Джиневру, впавшую в обморок во время поединка, приводят в чувство.

Такова «Флорентинская легенда», сюжет которой нравится своим благородством и нежностью, каких будто бы нет в легендах византийского происхождения.

Скажем по этому поводу только несколько слов. Охранить женщину, которая вверила человеку свою женскую добродетель, положившись на его известную ей честность, — без сомнения, есть дело благородное, но это есть, так сказать, своего рода нормальная линия благородства. Малейшее понижение от нее будет уже неблагородство, оскорбляющее самое примитивное понятие о честности. При таком доверии, какое обнаружила восставшая из гроба Джиневра, и вдобавок еще при ее страдальческом бессилии, даже человек и невысокого благородства едва ли бы решился посягнуть на ее целомудрие. А потому в этом смысле сюжет флорентинской легенды мне не представляется ни особенно благородным, ни возвышенным. Если бы Антонио поступил иначе — он прямо был бы негодяй. Старинный легендарный жанр повествований имеет в этом роде сказания несравненно более реальные, простые и сильные, и в таком именно роде есть одно сказание *византийское*. Оно изложено в своем месте сухим и скучным образом, а я позволю себе попытаться пересказать его здесь по возможности простым русским языком, в том виде, в каком эта византийская легенда представляется при вникновении в ее сущность.

Теперь, пока этот литературный жанр в моде и пока он еще не надоел публике, надо этим пользоваться и показать, что он интересен не с одной только той стороны, которая с беспримерным художественным мастерством эксплуатируется графом Львом Нико-

лаевичем Толстым. За сим начинаем» (ИРЛИ, ф. 220, № 1, Арх. Н. С. Лескова, Собрание П. Я. Дашкова).

Полемическая задача, поставленная здесь Лесковым, — показать превосходство некоторых византийских легенд над легендами западного образца, — настойчиво реализуется в произведении. В этом нетрудно убедиться, сравнивая «Скомороха Памфалона» с «Флорентинской легендой». «Нормальной линии благородства» Антонио из «Флорентинской легенды» Лесков противопоставляет высшую степень благородства, проявляемого скромным и незаметным Памфалоном и художником Магистрианом. Чтобы спасти женщину от позора, Памфалон и Магистриан не останавливаются ни перед чем: первый жертвует своим последним достоянием, а когда этого оказывается недостаточно, готов вынести любые оскорбления и унижения, лишь бы достичь цели; второй с тою же целью не задумываясь продает себя в рабство. В противоположность пассивно-добродетельной, а в сущности холодной и «невероподобной» Джиневре, Лесков реалистически рисует обаятельный и живой образ Магны, обладающей добродетелью подлинной, добытой и выстраданной в испытаниях жизни. Ради детей Магна готова поступиться самым дорогим для себя — своей женской честью. Только недостойному мужу из «Флорентинской легенды» в «Скоморохе Памфалоне» соответствует в равной степени непривлекательная фигура — муж Магны, «византиец Руфин».

Лесков нигде не указывает на причины непоявления предисловия в печати, но они ясны и так. По всей вероятности, Лескову неудобно было печатать предисловие, из которого читатель мог сделать заключение о том, что его автор отваживается на соревнование не только с Лей-Гентом, но и с Л. Н. Толстым; больше того, некоторые выражения из предисловия могли натолкнуть на мысль, что это соревнование Лесков считает уже выигранным для себя. Другая причина более серьезна. Работая над «Скоморохом Памфалоном», Лесков слишком увлекся полемикой, соревнованием и собственной фантазией, и это привело к несколько неожиданным результатам. Получился не пересказ, а слишком вольная обработка, вступившая в противоречие с источником, легшим в основу произведения, и с некоторыми положениями предисловия. Лесков решил опустить предисловие, так как почувствовал это очень скоро. Впрочем, уже и в самом предисловии это чувствуется: «сказание византийское... изложено в своем месте *сухим и скучным образом*... позволю себе попытаться пересказать его... *по возможности... в том виде*... в каком эта византийская легенда *представляется при вникновении в ее сущность* (курсив мой, — *А. Б.*). Впоследствии это противоречие

просто-напросто констатируется. В письме к С. Н. Шубинскому от 19 сентября 1887 года Лесков пишет о «Скоморохе Памфалоне»: «Вы первый и долгое время Вы единственный ценили этот рассказ, стоивший мне особого труда по подделке языка и по изучению быта того мира... о котором иосифовский «Пролог» в житии св. Феодула давал только слабый и самый короткий намек» («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», 1897, сентябрь — декабрь, стр. 317-318). Это хорошо осознанное противоречие заставляет Лескова скрывать источник «Скомороха Памфалона» от широкого читателя. В письме к С. Н. Шубинскому от 20 мая 1886 года Лесков сообщал: «Повесть из Прологов кончил и ею доволен. Источника фабулы *не* указываю. Повесть вышла в роде Толстого (Льва), но более в роде Флобера «Искушение св. Антония...» Перечитал и изучил для нее немало и воспроизвел картину столкновения благородного сердца с фетишизмом и ханжеством. Душа моя и вкус этим утешены... Откуда взято — не узнают, пока сами не укажем» (ГПБ, Архив С. Н. Шубинского, оп. 1, № 34, л. 124).

Между тем сведущий читатель устанавливал скрываемое Лесковым противоречие и без этих указаний. Л. Н. Толстой, например, считал, что «у Лескова нет чувства меры... Лесков берет «Пролога», заимствует из них, но искажает их» (Д. М. Маковицкий, Яснополянские записки, выпуск второй, 1923, стр. 58). Важно отметить также, что свободное обращение Лескова с источниками своих легенд и сказаний вызывало подчас яростное сопротивление реакционеров. Г. Георгиевский в статье «Апокрифическое сказание или литературная фальсификация» обвинял Лескова в том, что в его произведении «Невинный Пруденций» проводится тенденциозная мысль об отрицании брака, которой нет в источнике («Слово от Патерика»), но которая есть в «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого. Георгиевский пришел к выводу, что под пером Лескова «Слово от Патерика» «из благочестивого и строго церковного «слова» превратилось в тенденциозный набор пустых фраз грубого материализма» («Русское обозрение», 1892, сентябрь, стр. 957). Столь же резким нападкам Георгиевского подверглась «Повесть о богоугодном древоколе», а в сущности и все другие «переделки», которые Лесков, по определению Георгиевского, выдавал «за подлинные сказания Пролога» (там же).

«Дурная слава» Лескова как критика церкви и сатирика высшего духовенства, видимо, отразилась и на «Скоморохе Памфалоне», которого писатель создавал, как и многие другие свои произведения, с оглядкой на цензуру. В одном из писем Лескова к С. Н. Шубинскому есть такие строки: «Я Вам писал, что повесть

вполне цензурна, а Вы мне отвечаете: я не верю...» Разве Вы думаете, я мало горд для того, чтобы не давать поводов говорить обо мне с Феоктистовым?.. в повести о скоморохе *нет ничего религиозного,* — до того, что даже не упоминается ни про евангелие, ни про церковь, ни про попа, ни про дьякона, ни про звонаря. Словом — нет ничего относящегося к церкви...» (ГПБ, Арх. С. Н. Шубинского, оп. 1, № 34, л. 125.) Еще более знаменательны горькие строки из письма Лескова к А. С. Суворину (от 11 марта 1887 года): «Хотел бы знать Ваше мнение: неужели «Скоморох» совсем плох? Я по трусости его сильно испортил» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 95).

Примечательна автохарактеристика языка и стиля «Скомороха Памфалона». С этой точки зрения «Скоморох Памфалон» не понравился А. С. Суворину. Полемизируя с ним по этому поводу, Лесков писал (14 марта 1887 года): «Пересмотрел своего Пантолона (sic!) и сравнил с соответствующими ему сценами из древнего мира. Все так писано — не нынешним живым языком. Не говорю о достоинстве языка, но собственно о *строе* речи. Так же он *подстаринен* в «Видении св. Антония», и в «Агриппие», и в Вашей «Медее». Просто Вам это не нравится, а другой язык (вроде «Кавказ⟨ского⟩ пленника» Толстого) был бы неуместен. «Зализанность», то есть большая явно излишняя тщательность в выделке есть, но ее, думается, можно снесть, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ это нынче встречается очень редко» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 101).

С суждениями, подобными суворинскому, Лесков не мог согласиться; он считал, что «Скомороха Памфалона», так же как и позднее написанную повесть «Гора» (см. ниже комментарий к этой повести), выгодно отличает особая «музыкальность» языка. В «Скоморохе Памфалоне», утверждал Лесков, «можно скандировать и читать с каденцией целые страницы» («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1897 год», сентябрь — декабрь, стр. 320).

Стр. 174. *Лао-тзы,* или Лао-цзы — древнекитайский философ VI—V. вв. до н. э.

В царствование императора Феодосия Великого... — Феодосий I Великий (346—395), римский император с 379 по 395 год.

Патрикий — сановник, крупный государственный деятель.

Епарх — управляющий провинцией.

Стр. 175. *...«оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем»...* — цитата из евангелия от Матфея, гл. VI, ст. 12.

Стр. 177. *...«бе бо ему богатство многосущное»...* — ибо было у него богатство разнообразное (церковнослав.).

Стр. 177. *Едесса,* или Эдесса (ныне Урфа) — город и царство (II в. до н. э. — III в. н. э.) в северной части Месопотамии. Город сыграл значительную роль в истории христианства: в нем было 300 монастырей; он также служил постоянным местопребыванием «отца церкви» Ефрема Сирина.

Стр. 178—179. *...читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.* — Здесь названы философы-богословы первых веков христианства. Ориген род. в Александрии около 185 года; по свидетельству одного из богословов, сочинения Оригена состояли из шести тысяч книг (в древнем значении этого слова); Григорий (ум. около 270 г. н. э.), называвшийся святым и чудотворцем, епископ Неокесарии, затем пустынник, сподвижник Оригена, автор «Похвального слова Оригену»; Пиерий — с 265 по 281 год пресвитер александрийской церкви; за красноречие и обилие сочинений был прозван «Оригеном младшим». Стефаний — архидиакон и первомученик христианской церкви, одним из первых выдвинул идею «вселенского христианства». Говоря о религиозных настроениях Лескова под конец жизни, И. А. Шляпкин в своей статье «К биографии Н. С. Лескова» отмечает: «Религиозное воззрение Лескова изменялось и развивалось далее: он увлекался Оригеном и проектировал даже перевод его на русский мною и Н. М. Бубновым (ныне профессором Киевского университета), под общей редакцией известного византиниста архимандрита Арсения...» («Русская старина», 1895, декабрь, стр. 208).

Стр. 179. *...«кацы суть богу угождающие и вечность улучившие?»* — «какие (кто) угождают богу и получают за это вечность?»

Стр. 182. *Козья милоть* — одежда из выделанной козьей шкуры (милоть — овчина).

Стр. 184. *Седмь* — семь.

Стр. 185. *Странные* — странники.

Содом и Гоморра — по библейской легенде, древнепалестинские города, жители которых вели развратный образ жизни. За это бог уничтожил Содом и Гоморру огненным дождем. Выражение «Содом и Гоморра» стало нарицательным.

Стр. 187. *Гетера* (греч. hetaira — подруга) — незамужняя женщина, ведшая свободный образ жизни. Гетеры обычно были образованными женщинами с артистическими способностями.

Стр. 189. *Накры* (перс.) — барабаны.

Гнуткие драницы — гибкие колотые сосновые дощечки, употреблявшиеся в качестве материала для кровли.

Стр. 190. *Дротяные кольца* — кольца, сделанные из проволоки.

Стр. 195. *Митушует* — от глагола митушáть (топать, частить в пляске или под лад).

Стр. 199. *Силен* — в греческой мифологии спутник Диониса, божество с низменными, животными инстинктами, пьяное и веселое. Женщин, пришедших к Памфалону, Ермий воспринимает как вакханок.

Стр. 200. *Стогны* — площади.

Стр. 205. *Поприще* — в данном случае мера длины. По одним источникам поприще приравнивается к одной версте, по другим — к двадцати верстам (см., например, у Даля).

...надену на себя степенный левитон... — Левитон — род верхней одежды у христиан первых веков христианства.

Стр. 207. *Литр* — в данном случае какая-то денежная единица.

Стр. 208. *Нитрийский брат.* — Нитрия — область в Сирии, в которой было много монастырей.

Стр. 216. *Горы* (или Оры) — по древнегреческой мифологии, дочери Юпитера и Фемиды, божества сменяющихся времен года, «часов» человеческой жизни. Горы обычно изображались в виде молодых девушек.

Стр. 217. *...вспомни, что сделала мать Маккавеев?* — По библейской легенде, Соломония, мать Маккавеев, предпочла смерть детей их позору: во время гонений на христианскую веру погибла вместе с своими детьми, отказавшись вкусить идоложертвенного мяса, предложенного язычниками.

ИНЖЕНЕРЫ-БЕССРЕБРЕНИКИ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том второй, СПб., 1889, стр. 181—250.

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1887, ноябрь, с предисловием. Заглавие было проставлено после предисловия; рассказ имел подзаголовок: «Из историй о трех праведниках». В 1888 и 1889 годах «Инженеры-бессребреники» дважды переиздавались отдельно Сувориным («Дешевая библиотека»), но уже без предисловия; в Собрании сочинений вместе с предисловием был опущен и подзаголовок.

Опущенное Лесковым предисловие дает важные сведения для понимания истории создания «Инженеров-бессребреников». В нем раскрыты и охарактеризованы не только источники, легшие в основу замысла, но и авторский метод его реализации. Вот это предисловие:

БЫТОВЫЕ АПОКРИФЫ

(По устным преданиям об отцах и братиях)

> Беста им рвение во всяку прю, и клеветы, и зависти, и мечты, и шепты.
>
> *(Рукоп. Рум. муз. 327).*

В течение многих лет занятия литературою я собрал изрядное число записей о разных историях и о разных лицах прошлой, не весьма от нас отдаленной поры тридцатых и сороковых годов истекающего столетия. Нечто из моего собрания я напечатал в «Новом времени» в виде извлечений из записок синодального секретаря Исмайлова.[1] Рассказы эти показались читателям занимательными, и ни одно из переданных мною событий никем не опровергнуто. Другие отрывки я брал для «Исторического вестника»,[2] и эти отрывки тоже находили себе внимание у читателей и тоже категорических опровержений не вызывали. Но я сам, однако, знаю, что в числе историй, приобретенных мною в рукописях или лично мною записанных с устных рассказов престарелых людей, есть такие, которые не представляют собою настоящей исторической благонадежности, а некоторые даже прямо противоречат тому, что известно из других источников. Поэтому я не выдаю предлагаемые рассказы за верное, а лучше хочу считать их апокрифами, в которых, может быть, не все верно, а иное положительно неверно, но тем не менее они, однако, имеют свое значение. Все они представляют нам события не в том сухом, хотя и точном, виде, в каком их представляют исследования и документы, а мы видим их тут такими, какими они казались современникам, составлявшим себе о них представления под живыми впечатлениями и дополнявшим их собственными соображениями, домыслами и догадками. Такое представление если и не вполне достоверно, зато любопытно, и передает картины не менее сочно, чем историческая повесть или роман, в которых и самая фабула и детали представляют сочинение автора. Я во всяком случае здесь ничего сам не сочиняю, а только передаю то, что представлялось людям, в свое время жившим и по-своему толковавшим все ими слышанное и виденное.

Для начала я беру события, где отступления от исторической

---

[1] Лесков имеет в виду «Картины прошлого. Брачные истории тридцатых годов. По запискам синодального секретаря», напечатанные в газете «Новое время», 1883, №№ 2461, 2469, 2475 и 2483.

[2] См., например, «Кадетский монастырь» («Исторический вестник», 1880, январь) и «Синодальные персоны. Период борьбы за преобладание» («Исторический вестник», 1882, ноябрь). — *А. Б.*

истины наиболее резки и даже непонятны, так как тут дело идет о лице, жизнь которого можно было проверить даже по формулярному его списку.[1] Но пусть это и покажет, как часто люди тогдашнего времени не искали точности, а сами компоновали истории и изъясняли душевные состояния и нравственные причины, руководившие людьми к поступкам необыкновенного характера.

В том, что они *сочиняли* о людях под влиянием своих склонностей и представлений, можно почерпнуть довольно верное понятие о вкусе и направлении мысли самих сочинителей, а это, без сомнения, характеризует дух времени».

Из приведенного предисловия видно, что Лесков не стремился к протокольно-правдивому, скрупулезно-точному изображению интересующих его лиц и событий. «Дух времени» для него был несравненно важнее документальной передачи того или иного конкретного факта; в центре его внимания — типические черты эпохи в целом, обусловливающие настроения и поведение его «праведников». Так же, как и в «Человеке на часах», в «Инженерах-бессребрениках» Лесков повествует о событиях неторопливо, спокойно, внешне непритязательно, но на этом «спокойном» фоне вырисовывается картина николаевского царствования, подавлявшего и калечившего в человеке благородные мысли и чувства.

Лесков стремился как можно быстрее переиздать «Инженеров-бессребреников» в «Дешевой библиотеке» Суворина. Судя по письму его к А. С. Суворину от 31 октября 1888 года, эта спешка вызвана была, по всей вероятности, какими-то разоблачениями деятельности современной «инженерии», ставшими достоянием периодической печати и воспринимавшимися Лесковым как лишнее подтверждение типичности его зарисовок. В упомянутом письме к Суворину Лесков писал: «Не признали ли бы Вы полезным и выгодным при нынешних обстоятельствах быстро напечатать и издать в «Дешевой библиотеке» или иначе мой рассказ *«Инженеры-бессребреники»* (из «Русской мысли») — который имел счастие Вам и другим очень нравиться? По-моему, это теперь было бы чрезвычайно своевременно. Жаль, что о нем-то *теперь* никто и не вспоминает... А он рисует нравы живо и показывает, с коих пор это пошло «в инженерии». На всякий случай прилагаю Вам оттиск, кот⟨орый⟩ можно послать в цензуру» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 138). Оттиск попал в духовную цензуру (см. письмо Лескова к В. А. Гольцеву от 20 ноября 1888 года — «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 401) и вернулся

---

[1] См. подстрочные примечания Лескова к «Инженерам-бессребреникам».

оттуда не без замечаний, о чем можно догадываться, сопоставляя тексты суворинских изданий с последним прижизненным изданием. В суворинских изданиях совсем нет двух абзацев из главы тринадцатой, в которых зло высмеивается циническое политиканство высшего духовенства (см. абзац «Викарий его за это отечески пощунял...» и следующий абзац). Многозначительные слова: «потому что и сам...» (в абзаце «Викарий известил Фермора...», см. главу четырнадцатую) в суворинских изданиях также отсутствуют, а следующее за этим заключение викария о поведении Фермора звучит не так откровенно и внушительно, как в последнем прижизненном издании (в последнем прижизненном издании: «этак дела идти в государстве не могут»; в суворинских изданиях: «подпоручик осуждает действия старшего генерала»). В конце главы восьмой есть фраза, вносящая особый оттенок в характеристику религиозности Фермора; там говорится, что «Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов». Этой фразы нет в суворинских изданиях. Нет в суворинских изданиях и намека на «странную роль», которую сыграл Антоний Рафальский при приеме почаевской лавры от униатских монахов (см. гл. тринадцатую, абзац «в числе рекомендаций...»). В суворинских изданиях явно смягчено колоритное сравнение (в главе девятой) инженеров-грабителей с духовным «причтом» (в последнем прижизненном издании: «Причетники получали то, что им давал отец настоятель, и никаких частностей всей этой благостыни могли не знать»; в суворинских изданиях: «Причетники же получали то, что им давал начальник, и никаких частностей всей этой операции могли не знать»).

Цензурное разрешение (дано 1 ноября 1888 года, но стало известно Лескову и его издателю значительно позднее, о чем свидетельствует письмо Лескова к В. А. Гольцеву от 20 ноября 1888 года — см. выше) сопровождалось, очевидно, настолько серьезным «внушением» и оговорками, что заставило задуматься даже Суворина. До крайности раздосадованный, Лесков писал ему 28 ноября 1888 года: «Позвольте мне узнать: что Вы решили сделать с «Инженерами»? Приказали Вы их набирать или нет? Я ничего не знаю, а ходить в люди я теперь не могу от стыда и досады, что я нигилист, что ли, или революционер, или дурак набитый, который не понимает, что льзя, и то, чего невозможно» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 142).

Стр. 232. *Брянчанинов,* Дмитрий Александрович (ум. в 1867 г.) — в 1826 году выпущен подпоручиком из верхнего офицерского класса Главного инженерного училища — в Санкт-Петербургский инженер-

ный округ; вскоре затем был переведен в Динабургскую инженерную команду. В 1827 году, добившись отставки, вступил послушником в пустынный Свирский монастырь Олонецкой губернии. В 1833 году Брянчанинов был настоятелем одного из монастырей Вологодской губернии, а с 1834 года — настоятелем Сергиевской пустыни (под Петербургом). С 1857 года до конца жизни Брянчанинов — епископ Кавказский и Черноморский. О нем написана книга — см. подстрочные примечания Лескова к стр. 233 и 236.

Чихачев, Михаил Васильевич (ум. в 1873 г.) в 1826 году выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища — в учебный саперный батальон. Вскоре постригся в монахи. С середины 30-х годов до конца жизни находился в Сергиевской пустыни под именем «отца Михаила».

Николай Фермор — Николай Федорович Фермор (ум. в начале 1840-х годов). В 1832 году выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища — в гарнизонные офицеры. Был знаком с Н. А. Некрасовым и помог ему напечатать первую книгу стихов «Мечты и звуки». В 1839 году Некрасов написал стихотворение «Изгнанник», посвященное Фермору (см. Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 1, М., 1948, стр. 261—264, 592, 613—614).

...если верить френологическим системам Галя и Лафатера... — Австрийский врач и анатом Франц-Иосиф Галль (1758—1828) и немецкий писатель Иоганн-Каспар Лафатер (1741—1801), автор «Физиономики», выдвигали антинаучное положение о том, что по форме черепа и выражению лица можно составить полное представление о характере человека, его способностях и т. д.

Стр. 233. *Фермор,* Павел Федорович (1810—1888) — брат Н. Ф. Фермора, генерал-лейтенант, начальник Военно-юридической академии. Учился в Инженерном училище почти в одно время с Брянчаниновым и Чихачевым (выпущен в 1830 году прапорщиком из нижнего офицерского класса).

Стр. 236. *Библейский пиетизм* — безоговорочно уважительное отношение к библии, исключающее момент критики (от лат. pietas — благочестие).

...православие в духе митрополита Михаила. — Речь идет о петербургском митрополите Михаиле Десницком. См. текст «Инженеров-бессребреников» и подстрочные к нему примечания Лескова на стр. 236, 239.

Стр. 239. *...содержал в постоянном страхе известного Андрея Николаевича Муравьева... а его молодых «сен-сиров» называл «скверновцами»...* — Здесь Лесков перепутал факты из биографий

двух Муравьевых. К Невской лавре имел отношение церковный писатель Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874), а его отец, Николай Николаевич Муравьев (1768—1840), тоже писатель и общественный деятель, с 1810 по 1823 год заведовал училищем колонновожатых, содержавшимся на его иждивении (см. «Н. Н. Муравьев и Муравьевское училище колонновожатых» — «Военный сборник», 1872, № 5). Сен-Сир — французская военная школа, готовившая офицеров для пехоты и кавалерии. Школа основана в 1803 году Наполеоном I; в 1808 году она была переведена из Фонтенбло в Сен-Сир, городок в 22 километрах от Парижа; отсюда ее название.

Стр. 240. *...инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ламновский, имя которого было исторически связано с поставкою в казну мрамора, почему его и звали «мраморным».* — Петр Карлович Ламновский (правильнее — Ломновский; ум. в 1859 г.) — в 1820-е годы преподаватель, с 1833 по 1844 год, — с перерывами, — инспектор и затем до конца жизни начальник Главного инженерного училища. Очевидно, здесь речь идет о крупных хищениях, связанных с именем Ломновского, так как известно, что в 1845 году, в течение нескольких месяцев, он находился во Флоренции, заготовляя мрамор для постройки Исаакиевского собора (см. «Исторический очерк развития главного инженерного училища, составленный М. Максимовским», СПб., 1869, стр. 70). Ломновский изображен также в рассказе Лескова «Привидение в Инженерном замке» (см. наст. изд., т. 7).

Как только у нас возгорелась война с Турциею... — Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 годов, объявленной в апреле 1828 года.

Стр. 241. *...сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени.* — Речь идет о повсеместном взяточничестве и воровстве царских чиновников, что нашло отражение в воспоминаниях и анекдотах о Николае I (печатались чаще всего в журналах «Русская старина», «Исторический вестник», выпускались отдельными изданиями А. С. Сувориным). Один из авторов такого рода произведений пишет, например, следующее: «Осматривая однажды постройки Брестской крепости, государь в присутствии иностранных гостей, хваливших работы, поднял кирпич и, обратясь к одному из окружающих его лиц, спросил:

— Знаете, из чего он сделан?

— Полагаю, из глины, ваше величество.

— Нет, из чистого золота, — отвечал царь, — по крайней мере я столько за него заплатил.

Разумеется, строители крепости почувствовали себя крайне неловко при этих словах» («Рассказы бабушки», А. Я. Бутковской — «Исторический вестник», 1884, т. 18, стр. 623). Во время Крымской войны Николай I однажды сказал наследнику Александру Николаевичу: «—Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем» (там же, стр. 624). Другой автор отмечает: «Тульское шоссе до такой степени было дурно устроено, что через год после сдачи его в губернское ведомство рушилось». Комиссия, назначенная для расследования этого дела, виновных не нашла, и Николай I написал на ее решении: «Шоссе нет, денег нет, и виноватых нет; поневоле дело должно кончить, а шоссе снова строить» («Исторические рассказы и анекдоты» —« Русская старина», 1879, т. 26, стр. 217).

Стр. 242. *Ольга Васильевна Кутузова* (1798—1867) — жена крупного чиновника Ивана Александровича Голенищева-Кутузова (1801—1874).

Стр. 243. *...житие Алексея человека божия...* — сирийский памятник житийной литературы (V—VI вв.; славянский перевод жития сохранился в рукописи от XII в.). Согласно этому житию, Алексей человек божий в юности тайно ушел из дома богатых родителей и всю жизнь провел в добровольных лишениях и подвижничестве «господа ради и спасения своей души».

Стр. 244. *Московский митрополит Филарет Дроздов* (1783—1867) — автор «катехизиса» и манифеста об освобождении крестьян, мракобес; сатирически изображен Лесковым в рассказе «Человек на часах» и в ряде других произведений. 9 марта 1888 года Лесков писал А. С. Суворину: «...катехиз⟨ис⟩ Филарета — это мерзко. Припоминаю всегда слова, сказанные стариком Соловьевым (С. М.) — старику А. Д. Галахову: «Николай погубил тысячи, а Филарет *тьмы»*... Ф. Дроздов «употребляет бога», как обманщик, на обманные дела. Кат⟨ехизис⟩ Ф⟨иларе⟩та — это систематизированное мошенничество величайшими делами веры» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 133).

Стр. 246. *Схима* — высшая монашеская степень, требующая от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил.

...за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. — Александр Александрович Кавелин (1793—1850) был петербургским генерал-губернатором с 1842 по 1846 год.

Рубини — Джиованни Баттиста Рубини (1795—1854), итальянский тенор. Давал концерты в Петербурге в 1844 году.

Стр. 249. *Великий князь Михаил Павлович* (1798—1848) в 1826 году был назначен генерал-инспектором по инженерной части.

Стр. 249. *После взятия Варшавы...* — Варшава была занята русскими войсками 8 сентября 1831 года, после капитуляции.

Стр. 252. *...известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами: «Да здравствует разум»...* — «Вакхическая песня». Лесков ошибается: слова «да здравствует разум» стоят не в конце, а в середине названного стихотворения.

Этот человек постоянно являлся вне общего движения — «уединенным пошехонцем», и все были рады, что он оставил общество ранее других... — Сослуживцы сравнивают Фермора с одним из героев Щедрина, «ябедником заведомым» Никанором Беркутовым, о котором в «Пошехонских рассказах» говорится: «Хотя же он и продолжал греметь по всем кабакам, что все и всех необходимо привести к одному знаменателю, но пошехонцы, убедившись, что начальство к нему относится немилостиво, не только не доверяли его словам, но даже не раз содействовали его заключению в клоповник, как возмутителя» (Н. Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XV, М., 1940, стр. 530). «Уединенный пошехонец» — пошехонская газета, взявшая под защиту доносчика Беркутова (там же).

Стр. 253. *Зинет* — зинуть — расширять пасть, набрасываться.

Стр. 261. *...«глаголом жечь сердца людей»* — цитата из стихотворения Пушкина «Пророк».

Стр. 264. *...православному викарному архиерею Антонию Рафальскому, известному своею странною и до сих пор невыясненною ролью по приему Почаевской лавры от униатских монахов...* — Речь идет об Антонии Рафальском (ум. в 1848 г.). В «Православной богословской энциклопедии» отмечается, что Рафальского «сделала известным» его «деятельность... по обращению униатских монахов Почаевской лавры в православие, когда почти весь монастырь, по его убеждениям, отрекся от унии». В связи с этим Рафальский был назначен наместником Почаевской лавры (1833). Столь быстрое превращение униатов в православных под руководством Рафальского и должно было казаться Лескову по меньшей мере странным, так как незадолго до этого, в 1831 году, почаевские униатские монахи активно помогали польским повстанцам и открыто высказывали свое враждебное отношение к православию (см. статью «Пятидесятилетний юбилей Почаевской лавры» — «Исторический вестник», 1883, декабрь, отдел «Смесь», стр. 641-642). В очерке «Синодальные персоны», также упоминая о Рафальском в связи с его «ролью по приему Почаевской лавры», Лесков употребляет многозначительное определение характера этого лица — «волынский «крутопоп» (см. «Исторический вестник», 1882, № 11, стр. 400). Церковная уния — объединение православной и католической

церкви на условиях признания православной церковью главенства римского папы и сохранения ею своих обрядов и церковной службы на родном языке.

...с начальником инженеров в Варшаве Деном... — Подразумевается Иван Иванович Дэн (1786—1859), инженер-генерал, известный быстрой постройкой военных крепостей в Польше (Ново-Георгиевск, Александровская цитадель, Иван-город, Брест-Литовск и др.). В 1843 году ему была поручена постройка Варшавско-Венской железной дороги и управление ею. В «Русском биографическом словаре» Дэн охарактеризован как «человек, не привыкший стесняться при сооружении крепостей никакими суммами».

Стр. 266. *Трется попасть в амишки!* — то есть с корыстной целью стремится занять положение раболепного прислужника. Амишка — собачья кличка.

Стр. 271. *Эдуард Губер* (1814—1847) — русский поэт, переводчик «Фауста» Гете. В 1845 году вышла в свет книга его стихотворений, в 1860 году — собрание сочинений. Стихи его отличаются меланхолическим содержанием.

Душевные страдания Фермора, говорят, послужили мотивами Герцену для его «Записок доктора Крупова», а еще позже — Феофилу Толстому, который с него написал свой этюд «Болезни воли». — Повесть Герцена «Доктор Крупов» под названием «Из сочинения доктора Крупова» впервые появилась в «Современнике», 1847, № 9; Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881) — музыкальный критик, композитор, писатель, цензор, был известен под псевдонимом «Ростислав». Его роман «Болезни воли» был напечатан в «Русском вестнике» за 1859 год и затем дважды переиздавался в собраниях его сочинений. Сведений о Н. Ферморе как возможном прототипе героев Герцена и Ф. Толстого в литературе, посвященной творчеству этих писателей, обнаружить не удалось. Герой романа Ф. Толстого, князь Пронский, правдолюбец, с болезненной чуткостью реагирующий на малейшее проявление лжи и оканчивающий свои дни в сумасшедшем доме, очень похож на Н. Фермора в изображении Лескова.

Стр. 272. *...сидел потупя взор, как Абадонна...* — См. в стихотворении В. А. Жуковского «Аббадона»:

Взоры потупив, вздохнул Аббадона. То удалиться,
То подойти он желает; то в сиротстве, безнадежный,
Он в беспредельное броситься хочет... и т. д.

Стр. 276. *Мандт* — лейб-медик Николая I.

Стр. 280. *Здекауер* — Николай Федорович Здекауэр (ум. в 1897 году) — медик, «заслуженный профессор», служивший в мини-

стерствах морских, внутренних дел, императорского двора и в различных императорских благотворительных учреждениях и обществах.

Стр. 284. *Степанов* Гавриил Степанович (1807—1864) — воспитанник Инженерного училища, которое окончил в 1830 году.

Стр. 285. *...бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов...* — Михаил Семенович Воронцов (1782—1856), князь, фельдмаршал; был новороссийским генерал-губернатором с 1823 по 1828 год.

Апофегма — краткое остроумное изречение или назидательный рассказ из жизни какого-нибудь философа.

Стр. 286. *Карл Пиллар фон Пильхау.*— Лесков не совсем точен. Речь идет о кавалергардском поручике, бароне Адольфе Яковлевиче Пиллар фон Пильхау (1814—1870).

Стр. 288. *Фрейганг* — Андрей Васильевич Фрейганг (1809—1880), адмирал, писатель (сотрудничал главным образом в «Морском сборнике»), учредитель общества «Спасение на водах». В статье «Русские деятели в остзейском крае» Лесков писал о нем: «Человек удивительно доброй души, нежнейшего сердца и вообще возвышеннейших нравственных качеств. Нежность и доброта заставили его «изменить немцам и предаться их невольникам — латышам и эстам» («Исторический вестник», 1883, декабрь, стр. 506—507).

Стр. 290. *...«отыди от зла и сотвори благо»...* — цитата из Псалтыри, псалом 33, ст. 15.

ПРЕКРАСНАЯ АЗА

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 129—142.

Легенда впервые опубликована в газете «Новое время», 1888, № 4347, 5(17) апреля, с посвящением Я. П. Полонскому и следующим авторским примечанием: «Рассказ об египтянке Азе составляет этюд, приводимый здесь отрывком из систематического обозрения Пролога, которое в полном изложении будет напечатано в ежемесячном журнале».[1] В следующем году «Прекрасная Аза» была издана дважды («Совестный Данила и Прекрасная Аза. Две легенды по старинному Прологу», М., 1889; «Прекрасная Аза. Легенда по старинному Прологу». С рис. И. Репина, М., 1889).

Первопечатный текст легенды был сопровожден послесловием, в котором автор писал:

---

[1] «Систематическое обозрение Пролога» напечатано не было. См. ниже.

«Житийные книги не почитают Азу святою. Повесть ее — просто есть повесть для чтения, или «пролог», или еще, как говорит Феофан Прокопович, быть может и «басня», но в ней, несомненно, есть поэтическая прелесть и литературное значение, которое стоит отметить.

Русскими стихотворцами было сделано несколько попыток опоэтизировать грешницу, которой «простится много за то, что она *много возлюбила»* (Лук., VII, 47). Сильнее всех к этому стремился Вс. Вл. Крестовский, и он же достиг того, что выразил свою мысль всех ярче и сильнее: ему принадлежит изображение такой грешницы, которая «милостыню грешным телом подала».[1] Дальше этого ни один поэт идти не отважился, но значительно позже Вс. Крестовского один судебный оратор обошелся с евангельским текстом еще смелее. Впрочем, как поэт, так и судебный оратор одинаково смешивали «любовь многу» с частым или «многим» прегрешением. Они так понимали, что грешить со многими — это, собственно, и значит «любить много».

Критика не хотела или не умела поправить увлечение музы г. Крестовского, но по поводу адвокатской речи покойный Катков заметил, что оратор, очевидно, имел мысль «приурочить слово Христово к Nana». И взаправду, *в их смысле* Nana, без сомнения, «много любила», но истинный поэтический дар и светлый рассудок, конечно, не могут принять *эту любовь* за любовь, ради которой милосердье должно «отпустить грехи многи...» Творческая фантазия и до сих пор остается бессильною, чтобы дать нам изображения такого женского лица, к «многим грехам» которого почтительная рука могла бы позволить себе приблизить евангельский текст, не опасаясь понизить высокий смысл его священного значения.

Аза египтянка из Пролога дает нечто такое. Аза много грешна, но грехи ее вышли от многой любви такого рода, которая много грехов покрывает.

В этом смысле легенда об Азе есть находка.

---

[1] Неточная цитата из стихотворения В. В. Крестовского «Гитана». У Крестовского: «подаянье грешным телом подала». Заключительные строки стихотворения Крестовского.

Пусть позор — моя дорога
В замогильные края, —
Мне за то простится много,
Что любила много я.

(Соч. В. В. Крестовского, т. 1., изд. 2, СПб., 1866, стр. 42)

Я с радостью встретил эту находку и позволю себе посвятить ее поэту, муза которого внимала душевной борьбе «Келиота».[1]

«Прекрасная Аза» — одно из многих произведений Лескова, написанных на сюжеты из «Пролога» — древнерусского житийного сборника XII—XIII веков, составленного по образцу византийских житийных сборников X—XI веков. Этими сюжетами Лесков был увлечен в течение ряда лет. «Пролог, — писал Лесков Суворину 26 декабря 1887 года, — хлам, но в этом хламе есть картины, каких не выдумаешь. Я их покажу *все,* и другому в Прологе ничего искать не останется... Апокрифы писать лучше, чем пружиться над ледащими вымыслами» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 121). В ближайшие два года, предшествовавшие опубликованию «Прекрасной Азы», Лесков работал над «Обозрением Пролога»[2] — своего рода сборником художественных обработок проложных сюжетов. В этом «Обозрении...» были изображены около сорока женских типов, среди которых заметное положение занимала «Прекрасная Аза». «В тридцати семи женских типах, — писал Лесков о своем «Обозрении Пролога», — есть не менее «Азы» интересные, но такой *грациозный* — один, и я его отделал с особенной любовью...» («Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, стр. 69). «Обозрением Пролога» Лесков очень дорожил и собирался его напечатать в «Историческом вестнике» С. Н. Шубинского. Но последний на это не согласился, мотивируя свой отказ «безнравственностью» изображений Лескова. К мнению Шубинского присоединились многие современники, и, несмотря на неоднократные разъяснения Лескова, что «Обозрение Пролога» — серьезно и *нравственно*», что «в «Обозрении» *все скромно*», что автор «не *усиливал,* а *смягчал* всякое выражение Пролога» (см. «Письма русских писателей к А. С. Суворину», стр. 83), — оно в печати не появилось.

Интересно также отметить, что в связи с «Прекрасной Азой» у Лескова были большие неприятности и с цензурой. 29 ноября 1888 года Лесков писал А. С. Суворину: «Сейчас получил из Воронежа письмо от Черткова, что «Аза» и «Совестный Данила», после пяти запрещений пятью цензорами в пяти городах, вдруг фуксом пропущены в Киеве *духовною цензурою!..* Вот и соображайтесь тут с ними!» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 145). Другими данными о цензурной истории «Прекрасной Азы» мы не располагаем, а по этому письму трудно составить о ней сколько-нибудь определенное пред-

---

[1] «Келиот» — поэма Я. П. Полонского.

[2] В одном из неопубликованных писем к Суворину Лесков приводит другой вариант заглавия — «Женские типы по Прологу» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 130).

ставление. Возможно, что и цензура находила «Прекрасную Азу» «безнравственной».

Специальных критических разборов, посвященных «Прекрасной Азе», в современной Лескову периодической печати не появлялось. Позднее А. И. Фаресов, в свое время близкий к Лескову, писал о ней: «После дикаря «На краю света» Лескову уже легче было написать в том же опрощенном духе своих христиан: скомороха Памфалона, блудницу Азу, способных на высочайшие христианские подвиги, оставаясь в грубом неведении о значении заученных правил и обрядов». По определению Фаресова, писать легенды такого рода помогало Лескову убеждение в том, что «христианство возникло среди простого народа ранее, чем оно стало господствующим культом с присущими ему формами, и что оно своим внутренним содержанием всего более влиятельно» («Исторический вестник», 1916, т. CXLIII, № 3, стр. 801).

В переписке Лескова сохранились пересказы положительных отзывов о «Прекрасной Азе», данных Гончаровым, Толстым, Полонским и др. 19 апреля 1888 года Лесков сообщал А. С. Суворину: «Получилось письмо от Л. Н. об «Азе». Это совсем не то, что говорили. Он (как и Вы) пишет, что «ставит Азу выше всего», и дальше другие похвалы, о кот‹орых› говорить нечего. Ровно никакого замечания — всю одобряет и хвалит с головы до ног и советует мне «еще написать такую» («Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, стр. 72). Несколько ранее Лесков писал Суворину о другом сообщенном ему отзыве Л. Н. Толстого: «Разве мог я дать *иной* конец! Я мог только опоэтизировать сцену, — что и сделал... Л. Н. говорит: «зачем очень хорошо написано — это заставляет обращать внимание на художество, красоту и закрывает суть»... А как бы он хотел?.. Там (то есть в «Прологе». — *А. Б.*) стоит, например: «Иди облязи со мною». А она отвечает: «Не хощу днесь спати...» (там же, стр. 69). Гончаров помог Лескову «выбрать» «Азу» (для напечатания в «Новом времени») «из всех тридцати семи» женских типов, «которые пойдут в сплошном обозрении» (там же). В другом письме к Суворину Лесков отмечает, что «Прекрасную Азу» он «передавал Гончарову, и мы ее пообсудили и нашли наивною, но «полезною» для людей «распутной свободы» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 129).

Стр. 298. *Стращенный* — смешанный, разбавленный.

Стр. 301. *Левит* — священнослужитель у древних евреев. Первоначально — человек из Левитова колена.

Клирик — служитель культа.

Стр. 301. *Катехизатор* — наставник в вопросах веры.

Стр. 302. *Пресвитер* — старец, старейшина. В первые века христианства так часто называли епископов в знак уважения к их возрасту и мудрости.

...друг Исаака-сирийца... — Речь идет об Исааке — патриархе сирийских христиан (ум. в 411 году).

ГОРА

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 1—102.

Впервые опубликовано в журнале «Живописное обозрение», 1890, № 1—12, с иллюстрациями И. Е. Репина, С. Соломко и др. художников. Затем «Гора» была напечатана отдельным изданием («Гора. Роман из египетской жизни Н. С. Лескова», СПб., 1890).

Повесть писалась в 1887—1888 годах и должна была появиться в свет в ноябрьском номере московского журнала «Русская мысль» за 1888 год под своим первоначальным заглавием «Зенон Златокузнец». Однако редакция «Русской мысли», усмотрев в изображенном там «патриархе» чуть ли не портрет московского митрополита Филарета Дроздова, решила обезопасить себя от неприятных последствий и без ведома автора направила повесть в духовную цензуру. Духовная цензура наложила на повесть свое veto (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 560). Впрочем, сам Лесков излагает это событие несколько иначе. В письме к Л. Н. Толстому от 1 октября 1888 года он писал: «Поп, которому давали читать, будто «открыл сходство между патриархом и Филаретом», после чего будто «Русск⟨ая⟩ М⟨ысль⟩» «ахнула и сама отказалась печатать» («Письма Толстого и к Толстому», М. — Л., 1928, стр. 72; письмо это здесь ошибочно датировано 1889 годом). Начавшееся уже печатание повести было приостановлено. Вскоре Лесков узнал, что во всей этой истории определенную роль сыграл его могущественный враг, начальник Главного управления по делам печати Феоктистов. 20 ноября 1888 года Лесков пишет В. А. Гольцеву: «Сейчас... был у меня Вк. Мх. (Вукол Михайлович Лавров.— *А. Б.*) и передал мне, в какое положение поставлен «Зенон». Это положение, без сомнения, есть вполне безнадежное. Меня крайне удивляет ожидание что-то выиграть здесь, когда проиграно в Москве. Известно ведь, что Ф⟨еоктистов⟩ имеет ко мне особую ненависть, и притом сугубую, так как притеснением меня он доставляет удовольствие П⟨обедонос⟩цеву и г-ну ⟨Т. И.⟩ Ф⟨илип⟩пову. Следовательно, ожидать хорошего просто смешно и наивно» («Го-

лос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 400-401). 24 ноября того же года Лесков писал А. С. Суворину о Феоктистове: «Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в «Некуда» назад тому 25 лет. Не много гордости и души у этого человека, — а другие ему «стараются...» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 139). Однако эта неудача с повестью обескураживает Лескова только на первых порах; он начинает борьбу за появление ее в печати. Уже в цитированном письме к Гольцеву он просит «прислать... *хоть в полосах* экземпляр «Зенона» без выпусков, которые... не нравятся и которые напрасны, ибо они не могли изменить общего духа и направления повести» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 401). Лесков намеревался устроить «Зенона Златокузнеца» в петербургском журнале «Неделя», минуя, таким образом, московскую цензуру. Почти одновременно с этим он печатает в газете «Русские ведомости» «письмо в редакцию» «О повести Зенон Златокузнец», в котором пытается рассеять неблагоприятные о ней слухи и таким путем повлиять на цензуру, доказать ей беспочвенность ее нападок. Лесков раскрывает в этом письме замысел повести, ее источники и характеризует ее содержание в целом.

«Некоторые грустные и для меня, как для писателя, весьма многозначащие обстоятельства, — пишет Лесков, — побуждают меня просить редакцию «Русских ведомостей» напечатать от меня нижеследующие строки.

В августе 1888 года в петербургских газетах было помещено известие, что я написал повесть из первых веков христианства, под заглавием «Зенон Златокузнец». Потом вскоре же среди разных других литературных новостей было упомянуто, что повесть «Зенон» приобретена редакциею журнала «Русская мысль», который издается в Москве, и что повесть эта будет напечатана в осенних книжках этого журнала.

Все три известия были верны, но одно из них — именно последнее — осталось невыполненным, и это подало повод к таким рассказам и толкованиям, которых я не могу оставить без разъяснения.

В кружках литературных и среди читателей, интересующихся тем, что нового является в литературе, быстро распространились и упорно держатся два крайне неприятные мне известия. Говорят, будто в повести «Зенон Златокузнец» под вымышленным именем представлено мною одно недавно умершее лицо русского происхождения, жившее и действовавшее в Москве, и будто это повело к затруднениям, расстроившим мои отношения с редакторами журнала «Русская мысль», почему повесть «Зенон» и не напечатана в этом журнале.

Оба эти сведения совершенно ложны: никакого охлаждения или разрыва в отношениях моих с редакциею «Русской мысли» не происходило. Отношения наши нынче так же дружественны, как они были до сих пор и каковыми я желаю сохранить их навсегда. Во всей повести «Зенон Златокузнец» нет ни малейшего намека на какое бы то ни было известное «русское лицо», и никто не может указать ни в одном из лиц повести даже случайного сходства в указанном роде. Повесть «Зенон» относится к третьему веку христианства в Египте. Она, если можно так выразиться, есть повесть обстановочная. Тема ее взята из апокрифического сказания, давно признанного *баснословным*,[1] а историческая и обстановочная ее стороны обработаны по Эберсу и Масперо и по другим египтологам.[2] Ничего представляющего какие бы то ни было современные происшествия в России, в Европе или вообще на всем белом свете — в повести моей нет. Повесть просто представляет интересное старинное происшествие. Герой повести «Зенон» — художник из Александрии, а героиня Нефорис — богатая вдова из Антиохии, влюбленная в Зенона и обращаемая им в христианство. Все событие происходит в конце третьего или начале четвертого века в самом городе Александрии и частью на утесе Адер около одного из гирл реки Нила. Никаким сопоставлениям с русскими нравами и положениями там нет и места — в чем я и свидетельствуюсь редакциею «Русской мысли», которой хорошо известно содержание повести «Зенон Златокузнец». Лучшим же подтверждением моих слов может послужить немецкий перевод «Зенона», который сделан с корректурных листов и появится в немецком журнале»[3] («Русские ведомости», 1889, № 12, 12 января).

---

[1] В письме к В. А. Гольцеву от 14 ноября 1888 года Лесков прямо называет источник, из которого заимствован сюжет «Зенона». «Немцам, — пишет он, — ...особенно нравятся мои египетские и сирийские рассказы, составленные, как Вам известно, на темы из Пролога» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 399).

[2] Говоря о других египтологах, Лесков во всяком случае имел в виду Геродота и Страбона. См. ниже реальный комментарий.

[3] Осенью 1888 года Лесковым было послано письмо к В. А. Гольцеву, в котором была выражена просьба «войти для меня в переговоры с некоторым г. Греве, желающим переводить все мои сочинения для «Nordische Rundschau» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 399-400). 28 ноября 1888 года Лесков писал А. С. Суворину: «А знаете ли Вы, что немцы *первые* перевели мои *египетские* этюды: «Памфалона» и «Азу», и с *рукописи* переводят «Зенона Златокузнеца». А я им подивился и написал, что «у Вас есть Эберс, кот⟨орый⟩ все лично видел», а я и т. д. А они мне ответили: «Нет у Эберса такой живой переработки, как у Л⟨еско⟩ва, и переводы с русского Л⟨еско⟩ва *особенно желательны*» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 141).

Письмо, однако, остается «гласом вопиющего в пустыне», а очередная попытка напечатать «Зенона» в «Неделе» приносит новое и опять неожиданное разочарование. Напуганный толками о повести, идущими из Москвы, редактор «Недели» П. А. Гайдебуров предлагает Лескову неприемлемые условия. Друг писателя, А. И. Фаресов, в связи с этим писал в своих воспоминаниях: «...Лесков передал повесть П. А. Гайдебурову в «Неделю», но тот приехал к автору просить «пожертвовать тенденцией».

— Такое прекрасное описание египетской жизни, — говорил он. — Обстановка, природа, обычаи —удивительно художественно воспроизведены; но для сохранения повести необходимо пожертвовать тенденцией. Мне хочется напечатать ее, но в этом виде, как возьму я ее в руку, она жжет мне пальцы.

— Отымите от рассказа тенденцию,— отвечал Лесков, — от него ничего не останется. Выйдет глупая басня. Я именно и писал его затем, чтобы человек своей верой мог увлекать людей, двигать горами, как Зенон готовностью умереть за веру тронул и сдвинул чужое сердце... Мне только это и мило в моем рассказе, а вы меня просите пожертвовать тенденцией и оставить только рамки рассказа и краски.

Так они и разошлись. По уходе Гайдебурова Лесков сказал:

— Настоящий литератор никогда не посоветовал бы сохранить художественность без идеи...» (А. И. Фаресов. А. К. Шеллер, СПб., 1901, стр. 135—136.)

Лишь по прошествии полугода был найден выход из положения. Повесть рискнул напечатать в журнале «Живописное обозрение» его редактор А. К. Шеллер. Но при этом Лесков, в целях маскировки, должен был изменить заглавие повести и дать другие имена основным действующим лицам (Зенон стал называться Фовелом, а Нефора — Атоссой). В таком виде редактор «Живописного обозрения» послал повесть в петербургскую цензуру, которая не узнала в ней нашумевшего «Зенона Златокузнеца» и пропустила в печать. Новое название произведения впоследствии уже не менялось, а герои получили прежние свои имена только при включении повести в десятый том Собрания сочинений. Восхищенный находчивостью А. К. Шеллера и феноменальной тупостью и непоследовательностью цензуры, Лесков в письме от 5 октября 1889 года сообщал В. А. Гольцеву: «Кстати прибавлю, что Зенон под иным заглавием *пропущен к печати предварительною цензурою,* весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве!» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 403).

В связи с заявлением Лескова о том, что в его произведении нет места «сопоставлениям с русскими нравами и положениями» (см. выше), нельзя не вспомнить о заметке Ив. Розанова «Еще о лесковиане», порождающей путаные представления как о цензурной истории повести, так и о ее содержании в целом. Ив. Розанов полагает, что запрещение повести вызвано было описанными в ней погромами христиан, в которых цензура усмотрела намек на еврейские погромы в России. Однако данные, привлекаемые Ив. Розановым для доказательства такой точки зрения, не выдерживают критики. Ив. Розанов неправильно прочел автограф Лескова на экземпляре отдельного издания повести «Гора», хранящемся в Историческом музее в Москве. Вот автограф Лескова: «Эта повесть под заглавием «Зенон Златокузнец» была вырезана в 1888 году из журнала «Русская мысль». Н. Лесков». Нечетко написанную восьмерку Ив. Розанов принял за тройку; таким образом, вместо 1888 года появился год 1883, а вслед за этим и заманчивое, но явно неубедительное заключение. «Как раз перед 1883 годом, — пишет Ив. Розанов, — когда роман должен был быть напечатан в «Русской мысли», в 1881 и 1882 годах по России прокатилась волна страшных еврейских погромов... Аналогия между тем, что рассказывалось в романе, и тем, что было у всех на глазах, была слишком очевидна, и роман был запрещен.

В 1890 году впечатления от этих погромов сгладились, новых погромов не было, роман перестал казаться опасным и был разрешен под другим заглавием» («Книжные новости», 1937, № 23—24, стр. 108). В действительности же повесть «Гора» и писалась и проходила цензуру в относительно спокойное время.

В Институте русской литературы Академии наук СССР хранится корректура повести «Гора». По всем признакам, это корректура несостоявшегося издания в «Русской мысли» (заглавие здесь еще старое — «Зенон Златокузнец. Историческая повесть (по древним преданиям)»; эпиграфа нет, герои носят свои первоначальные имена). Сравнение корректуры с печатным текстом показывает, что в процессе дальнейшей работы Лесков освобождал повесть от излишних длиннот, повторений, утяжеляющих ее многочисленных описаний местных обычаев, верований, нравов и т. д. Большая часть сокращений, таким образом, была оправдана соображениями художественности. Но при этом с некоторыми отрывками Лесков расправился, пожалуй, излишне сурово. После последнего абзаца тридцать второй главы, известной по печатному тексту, в корректуре шло довольно большое описание разговора христиан с правителем, а также описание того, что за этим последовало. Начало этого опи-

сания по-лесковски живо и остроумно: «Несколько человек из тех, которые дали свои драгоценности епископу, приходили объяснять правителю, что с имуществом их вышла ошибка, но правитель всем им ответил, что он ничего не может поправить и что ошибаться не стыдно, ибо и Гомер ошибался. Не ошибается один ручной эфиопский лев, который лежит у ног правителя и наверняка растерзает каждого, на кого ему укажет его господин».

Выше отмечено, что основной причиной запрещения повести в журнале «Русская мысль» было убеждение цензуры в схожести «патриарха» с Филаретом Дроздовым. Сопоставление, в этой связи, корректуры со всеми печатными текстами показывает, что Лесков дипломатично учитывал это настроение цензуры. В самом начале тридцать второй главы происходит такой разговор между правителем и патриархом:

«— Извини меня, я не был уверен, что твоя святость уже дома.

— Наше смирение всегда близко и всегда далеко от того, кто чего заслуживает, — ответил патриарх.

— Знает, конечно, твоя святость, какой все приняло оборот?..»

И далее:

«— Да, я ошибся, и теперь прошу твою святость — давай помиримся: мы можем быть очень полезны друг другу.

— Ну, мне кажется, что нашему смирению теперь уже никто не нужен.

— А пусть твое всеблаженство вспомнит, что и Гомер ошибался.

Патриарх это вспомнил».

Последней фразы, напоенной сарказмом, и почтительно-ядовитых эпитетов и определений «твоя святость», «наше смирение», «твое всеблаженство», нет ни в тексте «Живописного обозрения», ни в тексте отдельного издания; но, однако, нечто подобное еще есть в корректуре. А поскольку это так, становится правомерным вывод о том, что приглушенно-сатирическая трактовка образа патриарха, характерная для текста повести в «Живописном обозрении» и в отдельном издании, вызвана была упомянутым выше заключением цензуры. Лесков счел необходимым временно смягчить убийственную характеристику патриарха.

Критические отклики современников на появление повести Лескова в печати были, как правило, положительны. А. И. Фаресов отмечал, что с повести «Гора» «начинается... ускоренное сближение» Лескова с Л. Н. Толстым. «Когда эта повесть появилась в печати, — писал Фаресов, — Толстой отметил в ней значение идеи о том, что «вера двигает горами», но что сдвинуть языческие верования гораздо

труднее, чем обычную гору, и что это «чудо» должно быть в нравственном подвиге христиан...» (А. И. Фаресов. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова — «Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 803). В рецензии, посвященной выходу в свет отдельного издания повести, критик С. Трубачев писал о ней: «Интрига романа очень проста, да и не в ней дело: дело в симпатичной идее, положенной в его основу и воплощенной в живых образах. Автор хотел показать превосходство любви чистой, духовной, христианской перед любовью мутной, чувственной, языческой, — любви самоотверженной, деятельной перед любовью эгоистической, эпикурейской...» («Исторический вестник», 1890, июнь, отдел «Критика и библиография», стр. 679). Переходя далее к оценке чисто художественных достоинств повести, Трубачев продолжал: «Написана «Гора» с мастерством, присущим г. Лескову в обработке легенд и обличающим крупного художника. Простой, гибкий, образный и вместе с тем музыкальный язык удивительно гармонирует с благородством и глубиной содержания; картины египетской языческой жизни являют собой эффектные контрасты с главной идеей произведения; герой и героиня психологически очерчены мастерски, хотя и несколько эскизно. Вообще, повторяем, роман «Гора» — крупное художественное произведение» (там же, стр. 680). Отзыв начинающего критика настолько понравился писателю, что он поспешил поделиться своими впечатлениями с редактором «Исторического вестника» С. Н. Шубинским. «Гора» столько раз переписана, — признается в этом письме Лесков, — что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает «музыки». Я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что он заметил эту «музыкальность языка». Лести тут нет: я *добивался* «музыкальности», которая идет к этому сюжету *как речитатив...* Мне самому стыдно было на это указывать, а старшие этого не раскушали. А Трубачев это уловил. Это ему делает честь. Он *умеет читать...»* («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1897, сентябрь — декабрь, стр. 319—320). Еще одна хвалебная рецензия на повесть «Гора» появилась в журнале «Русская мысль». Анонимный критик ставил повесть в один ряд с другими произведениями Лескова на восточные темы и характеризовал эти произведения как «блестящие художественные картины», полные «любви к ближним, без разделения этих ближних на «своих» и «чужих» по верованиям, национальностям, общественным положениям и занятиям». «Необходимо,— отмечал критик, — иметь не только очень большие знания относительно описываемых событий, обычаев и мелких житейских подробностей, но еще из ряда выдающийся, совершенно особенный

и своеобразный талант для того, чтобы представлять в беллетристических произведениях такие цельные, захватывающие своей реальностью картины...» («Русская мысль», 1890, № 6, «Библиографический отдел», стр. 245, 247).

В 1916 году А. И. Фаресов писал: «В настоящее время «Гора» переделана г-жой Бахаревой в пьесу и поставлена в Петрограде на сцене «Народного дома» под заглавием: «Блажен, кто верует».

Центр тяжести перенесен режиссерами на физическое движение горы, потому что, по их мнению, без этого физического «чуда» не было бы пьесы... Но... разве Лесков не проповедовал того, что только моральное величие людей может сдвинуть в нас «Гору» язычества и эгоизма?

Конечно, обстановочные картины в пьесе смотрятся не без интереса, но сам Лесков не был бы ею удовлетворен» («Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 804).

Стр. 303. Слова, взятые Лесковым в качестве эпиграфа, за исключением первой фразы, не входят в основной текст «Египетских ночей» Пушкина, известный по академическому и другим советским изданиям его сочинений. Лесков заимствовал эпиграф или из «Русского архива», 1882, кн. 1, где в числе других материалов, под общим заглавием «Египетские ночи», напечатан отрывок «Ах, расскажите, расскажите!», или же из «Собрания сочинений А. С. Пушкина» под ред. П. А. Ефремова, т. IV (М., 1882), в котором были помещены «Пять подготовительных отрывков «Египетских ночей». Цитируя Пушкина по одному из этих изданий (см. соответственно стр. 224 и 472), Лесков намеренно, в целях соблюдения гармонии между эпиграфом и содержанием повести, подменил пушкинское слово «торг» словом «случай».

Палестра (греч.) — школа для физических упражнений, в противоположность гимназиям содержавшаяся не на счет государства, а частными лицами.

Стр. 304. *Митра* — древнеиндийское божество, блюститель правды и добродетели; первоначально — бог солнца.

Стр. 305. *...на празднествах в роще Дафны.* — Дафна (греч. — лавр) в греческой мифологии — дочь аркадского речного бога. Убегая от преследовавшего ее Аполлона, был укрыта матерью и превращена в лавровое дерево.

Стр. 306. *Удолья* — речные долины.

Амаликитянин. — Амаликиты, или амаликитяне — древнее племя арабского происхождения, кочевавшее в степях каменистой Аравии.

Главные кочевья амаликитян были между Египтом и синайской степью.

Стр. 308. *Диарит* (правильнее диорит) — изверженная гранитная порода; цвет от серого до зеленовато-серого.

Подобно известному со времен Амазиса художнику Феодору...— Имеется в виду египетский царь Амазис II (годы царствования — 570—526 до н. э.), который с большим уважением относился к греческой культуре, поощрял сближение Египта с Грецией, заботился о материальном благосостоянии страны. Феодор — талантливый греческий художник, живший в эпоху Амазиса II и часто бывавший в Египте. У Феодора на острове Самосе была собственная художественная мастерская, он занимался архитектурой, скульптурой и в особенности художественным литьем металлов. Многочисленные упоминания о нем и характеристики его творчества см. в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя».

Стр. 309. *Кефье* — шелковый, с темными полосками на светлом фоне, головной платок.

Стр. 310. *Ристанье* — состязание.

Стр. 314. *Рясны* (рясно) — ожерелье или подвески.

Стр. 320. *Мицраим* — древнееврейское название Египта.

Стр. 325. *Строфокомил* (греч.) — страус.

Стр. 327. *Гизех*, или Гизе — местность на левом берегу Нила, почти напротив Каира, знаменитая многочисленными пирамидами.

Стр. 328. *Квитовое яблоко* — то же, что айва; служило у египтян символом любви.

Стр. 329. *Мемфит* — житель или уроженец города Мемфиса, древней столицы Египта.

...старый потомок старых понтифов... — Понтифы, или понтифексы (лат. Pontifex) — члены коллегии жрецов в древнем Риме, обязанностью которых было следить за чистотой религиозных обрядов.

...почитают какого-то распятого Назареянина... — то есть Иисуса Христа.

Стр. 333. *Ихневмон*, или фараонова мышь — хищное млекопитающее размером больше домашней кошки; в древнем Египте считалось священным животным.

...бывших рабов наших — евреев... — Евреи были подвластны Египту с 320 по 201 год до н. э.

Стр. 339. *...вести быстро долетели до ушей вещей статуи Мемнона, и Амгиготеп заговорил на рассвете.* — Мемнон — царь эфиопов, герой киклической поэмы «Эфиопиды», сын Зари. В более позднюю эпоху Мемнон считался царем Верхнего Египта. С I века до

н. э. его именем называются две статуи египетского царя Аменхотепа III, расположенные возле Фив. Одна из этих статуй, полуразрушенная, под влиянием движения нагревающихся песков могла издавать звуки; древние считали, что это душа Мемнона разговаривает со своей матерью, Зарей.

...пурпуровых ковров, о которых еще Феокрит писал, что они «нежнее сна и легче пуха». — Феокрит (III век до н. э.) — древнегреческий поэт. Лесков приблизительно цитирует идиллию Феокрита «Сиракузянки, или праздник Адониса» в русском переводе А. Н. Сиротинина. У А. Н. Сиротинина: «Сверху из тканей пурпурных покровы, что сна много мягче...» («Стихотворения Феокрита», пер. А. Н. Сиротинина, СПб., 1890, стр. 64, перепечатка из «Журнала министерства народного просвещения», 1890).

Стр. 340. *Аколуфы,* или аколуты — прислужники епископов (носили подсвечники, зажигали свечи, подавали за обедней вино и воду и т. д.).

Нард — ароматическая жидкость, приготовленная из разнообразных приятно пахнущих растений; часто упоминается у древних писателей и в священном писании.

Стр. 343. *Куш* — египетское название Эфиопии.

Стр. 362. *...справедливое замечание египетского царя Амазиса: «Жены Египта мстивы и смелы: легче иметь дело с раздраженною львицей, чем с обиженной египтянкой».* — По всей вероятности, это не цитата, а вольная переработка одного из шутливых изречений Амазиса, встречающихся в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя». В этом романе Амазис говорит, что он «скорее согласился бы раздразнить львицу, нежели женщину» (Г. Эберс. Дочь египетского царя, пер. В. Вольфсона, изд. 4-е, СПб., стр. 71).

Стр. 371. *Ариман* — злой дух, в религии Зороастра — олицетворение зла.

...Кунакай, путь десяти тысяч греков... — Кунакай, Кунаки, или Кунакс — селение в нескольких милях к северу от Вавилона, возле которого в 401 году до н. э. произошла битва между армией персидского царя Артаксеркса II (годы царствования 405—359 до н. э.) и войсками его брата, Кира Младшего, претендовавшего на персидский трон. Кир в этом сражении был убит, после чего его главные силы частью рассеялись, частью перешли на сторону царя. Однако наемные войска Кира — десять тысяч греков, несмотря на предательское умерщвление военачальников, отсутствие проводников, незнание местности и лишения, не утратили мужества и, совершив поход по вражеской территории до берегов Черного моря, присоединились к своим соотечественникам. В числе вновь избранных вождей

этого похода был древнегреческий историк Ксенофонт (ок. 430—355—354 до н. э.), давший подробное его описание в своей книге «Анабасис».

Стр. 376. *...Гедеон оставил всех пивших пригоршнями, а взял с собой только одних лакавших воду по-песьи* — переложение из библии (Книга судей израилевых, гл. VII, ст. 5—7, 8).

Стр. 383. *Гаторовы головы* — скульптурные изображения египетской богини Атор, которую греки уподобляли своей богине любви Афродите.

Стр. 383—384. *Огонь и вода падают с неба!.. Зенон читал Страбона и сейчас же узнал это явление...* — Страбон (р. ок. 63 до н. э., ум. ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк, автор «Географии», переведенной на русский язык в 1879 году («География Страбона в семнадцати книгах», пер. с греч. с предисловием и указателем Ф. Г. Мищенко, М., 1879). Описание ливней в Египте см. на стр. 708—709, 806—808 этого издания. Очевидно, именно этим переводом пользовался Лесков, работая над своим произведением, так как фраза «Огонь и вода падают с неба!» является почти цитатой из него (см. стр. 808 с ссылкой на Гомера, у которого Нил, в результате дождей и вызванного ими наводнения, «называется упавшим с неба»).

Стр. 389. *...вспомнил слова Амазиса: тетива на луке слаба...* — Подразумевается изречение египетского царя Амазиса, пересказанное в «Истории» Геродота: «Владеющие луком натягивают тетиву, когда имеют нужду в луке, и отпускают ее, когда лук более не нужен; если бы тетива оставалась натянутой все время, лук лопнул бы, и им нельзя было бы воспользоваться в случае нужды. Так и с человеком: если бы человек пожелал заниматься делами непрерывно и совсем не отдыхал бы в забавах, то наверное он незаметно для себя или сошел бы с ума, или совсем отупел бы. Я знаю это и потому отдаю свою долю и труду и забаве». (Геродот. История в девяти книгах, пер. с греч. Ф. Г. Мищенко, т. 1, М., 1888, стр. 210). Это же изречение Амазиса приведено в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя».

КОЛЫВАНСКИЙ МУЖ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, том пятый, СПб., 1889, стр. 451—520.

Рассказ впервые напечатан в декабрьском номере «Книжек Недели» за 1888 год.

Действие рассказа, видимо, не случайно приурочено к 1869—1870 годам. Именно в это время (точнее — летом 1870 года) Лесков

впервые сталкивается с оскорбительными для русского человека проявлениями немецкого национализма и шовинизма в Ревеле (см. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 235). Столкновение запоминается Лескову на всю жизнь. В дальнейшем, благодаря частым наездам в Остзейский край, писателю неоднократно приходится наблюдать явления подобного рода, и в его сознании прочно утверждается враждебное отношение к немецким баронам-остзейцам и к правящим классам Германии вообще, выказывавшим в отношении других народов дух нетерпимости и насилия. В публицистике и художественном творчестве Лескова, хронологически предваряющих рассказ «Колыванский муж», эта вражда проступает явственно (см., например, статью Лескова «Законные вреды» и рассказы «Железная воля» и «Александрит»). В «Колыванском муже» она завуалирована шутливой формой повествования, но по существу остается той же. Немецким характерам, с железной педантичностью и настойчивостью проводящим в жизнь идею о своей национальной исключительности и превосходстве, Лесков противопоставляет тип русского человека, горячего, непосредственного и непоследовательного, привлекающего к себе симпатии даже своими недостатками, но не отдает предпочтения и ему. Лесков не был квасным патриотом, но в данном случае такой подход к герою усугублялся его особой оценкой политической обстановки в Прибалтике. Наряду с немецким национализмом писателю были, пожалуй, не менее чужды бестактные, а подчас и грубые действия русских обрусителей края, а также в известной мере солидаризировавшихся с ними славянофилов типа Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова. Рассказ недаром пестрит ироническими характеристиками патриотизма славянофилов. «Односторонность» славянофилов претила писателю. В одном из своих писем он заявляет: «Я не только не партизан славянофильского направления, но даже прямо не люблю его» (ИРЛИ, ф. 62, оп. 3, № 295). В статье «Русские деятели в остзейском крае», касаясь вопроса о сосуществовании различных национальных стихий в прибалтийских странах и поведения царской администрации, Лесков писал: «Правитель... обязан заботиться, чтобы всякий племенной антагонизм смешанного населения не усиливался, а сглаживался и чтобы все равно чувствовали справедливость в беспристрастии правящей власти. Думается, что равное для всех внимание и справедливость были бы гораздо нужнее и полезнее, чем обнаружение тех или других племенных «предпочтений». История русской администрации в остзейском крае имеет немало доказательств, что предпочтения как в ту, так и в другую сторону приносили гораздо

более вреда, чем пользы» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, стр. 257).

Изображенная Лесковым комическая история превращения русских детей в немцев (по закону о смешанных браках дети Сипачева должны были называться русскими — по отцу) была, очевидно, типичным явлением в жизни остзейского края. Во всяком случае, задолго до написания «Колыванского мужа» тема его уже как бы получила права гражданства в русской периодической печати. Так, например, в статье «Отзыв рижского петропавловского братчика о мнимовероисповедном вопросе в прибалтийских губерниях» читаем: «Даже уступки со стороны православной церкви не укрощают, а только поощряют врагов русского православия еще к большей заносчивости. При совершении в прибалтийских губерниях браков между православными и протестантами отменено требовать подписки о воспитании в православной вере детей, имеющих родиться от сих браков. Теперь многие пасторы, как выше сказано, стали крестить чрез своих агентов не только таких детей, но даже и тех, у коих оба родителя православные. Слыша и видя все это, мы, русские, сокрушаемся и чувствуем, что в обидах, чинимых православию, выражается неприязнь не к православию только, но и к нам, к русскому народу, к русскому имени вообще, и от кого же? От людей, осыпанных и осыпаемых благодеяниями русского правительства!» («Москва», 1867, № 58).

Учитывая ревниво-насмешливое отношение Лескова к деятельности славянофила И. С. Аксакова, поместившего эту статью в своей газете, трудно допустить, чтобы такой «отзыв» не попал в поле его зрения при работе над «Колыванским мужем».

Рассказ Лескова получил высокую оценку в критике. Сотрудник газеты «Санктпетербургские ведомости» Н. Ладожский в своей статье «Критические наброски» отмечал: «...перипетии борьбы этого московского мужа со своею колыванскою роднею... составляют всю прелесть, всю правду и глубину превосходного рассказа г. Лескова... Помимо бытового значения рассказа г. Лескова, весьма и весьма многое объясняющего в удивительной истории иностранной колонизации в России... самый рассказ безусловно следует признать... художественным...» («Санктпетербургские ведомости», 1889, № 34, стр. 2). Другой критик, столь же положительно оценивая рассказ, высказал мысль об известной его близости к произведениям Тургенева. «В «Колыванском муже», — писал критик, — затронута и солидно разработана та черта русской неустойчивости, слабости характера, которая так постоянна в многочисленных повестях Турге-

нева; г. Лесков... показал человека совсем русского... который «кончил свой курс немцем» и даже погребен в Дрездене» («Исторический вестник», 1890, май, стр. 401—402).

Стр. 390. *Колывань* — древнерусское название Ревеля (теперь Таллин).

...когда там губернаторствовал М. Н. Галкин-Врасский... — Михаил Николаевич Галкин-Врасский (1834—1916) был эстляндским губернатором с конца 1868 по 1870 год. В дальнейшем — саратовский губернатор, начальник главного тюремного управления, член государственного совета, статс-секретарь Николая II. В статье «Русские деятели в остзейском крае» Лесков называет Галкина-Врасского в числе лиц, «которые здесь (в остзейском крае. — *А. Б.)* носились с своими русскими симпатиями и... тоже добра не сделали» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, стр. 257).

...бывшего петербургского генерал-губернатора, князя Суворова... — Подразумевается Александр Аркадьевич Суворов (1804—1882), внук полководца, генерал, бывший петербургским военным генерал-губернатором с 1861 по 1866 год.

Стр. 391. *Там тогда дьяконствовал нынешний настоятель русский в Вене, о. Николаевский... и почитался национальным борцом и «истинно русским человеком», так как он корреспондировал в московскую газету покойного Аксакова.* — В год смерти (1912) Николаевский был протоиереем русской посольской церкви в Вене. Корреспонденции, подписанные фамилией Николаевский, в газетах И. С. Аксакова (см. ниже) не встречаются. Говоря о московской газете Аксакова, Лесков имеет в виду газеты «Москва» или «Москвич» (1867—1868).

Ланские — русский графский и дворянский род. Один из Ланских, Сергей Степанович (1787—1862), с 1850 года был членом государственного совета, а с 1855 по 1861 год — министром внутренних дел.

...до вице-губернатора Поливанова... — Виктор Петрович Поливанов (ум. в 1889 году) — бывший вице-губернатор и затем губернатор Эстляндской губернии («Всеобщий календарь», 1891, стр. 510).

Феодор Знаменский (ум. до 1883 года) — настоятель Ревельского собора. О нем см. «Исторический вестник» 1883, декабрь, стр. 501.

...немецкими баронами, имевшими основание особенно любить и уважать ее брата... — А. А. Суворов (см. выше) в 1848 году был назначен эстляндским генерал-губернатором В своей статье «Русские деятели в остзейском крае» Лесков писал, что это назначение «надо

считать несчастием для русских... Суворов обнаруживал предпочтение немцам, и это было дурно» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, стр. 257). Точка зрения Лескова на «остзейский вопрос» исключала национальные «предпочтения» (см. выше, примеч. к стр. 390).

Стр. 394. *Anku dranku...* — бессмысленное сочетание звуков типа детской считалки.

Стр. 394—395. *...розовый колпачок, придававший ее легкой и грациозной фигуре что-то фригийское.* — Фригийский колпак, головной убор с узким верхом, загибающимся кпереди, носили фригийцы (Фригия — историческая область на побережье Мраморного моря). Впоследствии фригийский колпак считался эмблемой освобождения и послужил образцом для шапочки якобинцев во время французской буржуазной революции 1789—1793 годов.

Стр. 404. *Он с Киреевскими, с Аксаковыми — со всеми знаком.* — Речь идет о славянофилах — братьях Киреевских и отце и сыновьях Аксаковых. Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) один из вождей славянофилов. В 1832 году издавал журнал «Европеец», запрещенный цензурой; в 1845 году некоторое время редактировал славянофильский журнал «Москвитянин», позднее сотрудничал в славянофильских изданиях «Московский сборник» (1852) и «Русская беседа» (1856). Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) приобрел известность как собиратель русского народного творчества. После его смерти вышли в свет «Песни, собранные П. В. Киреевским», десять выпусков, 1860—1874. Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — известный писатель. Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) общественный деятель — критик, оратор, публицист, неутомимый редактор и издатель славянофильских газет и журналов «Русская беседа» (1857), «Парус» (1859), «День» (1861—1865), «Москва» (1867—1868), «Москвич» (1867—1868), «Русь» (1880—1886). Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — критик, историк-филолог, принимал активное участие в славянофильских «Московских сборниках».

Стр. 407. *...страданиями вашего молодого Вертера...* — См. роман в письмах Гете «Страдания молодого Вертера».

Стр. 407—408. *...как ангел на каульбаховской фреске...* — Очевидно, речь идет об одной из каульбаховских фресок на стенах Мюнхенской Пинакотеки (картинной галереи). Вильгельм Каульбах (1805—1874) — немецкий художник.

Стр. 410. *Вспомни «Любушин суд».* — Подразумевается былина А. Н. Майкова «Любуша и Премысл», написанная по мотивам чешского народного творчества. В ней говорится о борьбе чешского народа за сохранение национальных порядков и обычаев, против под-

ражания немецкому образу жизни. Идеи, выраженные в этом произведении, были созвучны чаяниям славянофилов, так как там, например, есть такие строки:

«Непохвально в немцах нам искати правды!» —
Повторили старцы и бояре,
И во всем народе раздалося:
«Непохвально в немцах нам искати правды!»
«Так и быть суду, как положило вече!» —
Порешила мудрая княжна Любуша...

...в Берлине раз суд в пользу простого мельника против короля решил. — Подразумевается знаменитый исторический факт о конфликте между прусским королем Фридрихом Великим и владельцем мельницы в потсдамском парке. Фридрих Великий в середине XVIII века задумал строить в этом парке дворец Сан-Суси, но ему мешала расположенная там мельница. Мельник отказался ее снести, подал на короля в суд и выиграл процесс. Отсюда пошла французская поговорка: «Il y a encore des juges à Berlin» («Есть еще судьи в Берлине»).

...привел... слова Тургенева, что «нашей русской сути из нас ничем не выкуришь» — неточная цитата из «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева. У Тургенева: «нашей, русской, сути из нас не вывести».

Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море, так своей сути и лишился. — Подразумевается следующее место из «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева: «Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн, — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда» (см. «Вместо вступления»).

...сам просит: «Виновных не щади!» — намек на неизвестное в печати стихотворение Н. А. Некрасова в честь палача польского восстания М. Н. Муравьева, назначенного в апреле 1866 года следователем по каракозовскому делу. В связи с этим назначением ожидались массовые аресты среди демократической интеллигенции и усиление гонений на демократическую печать. Преподнося свой дифирамб Муравьеву, Некрасов стремился отвести удар от журнала «Современник», это была «жертва, принесенная Некрасовым чудовищу», ради спасения лучшего, передового журнала того времени (см. сборник «Шестидесятые годы», «Academia», 1933, стр. 462). Между тем современники склонны были расценивать этот поступок Некрасова как выражение его беспринципности, моральной нечистоплотности, находящейся в странном противоречии со всем его творче-

ством. Лесков цитирует стихотворение по пересказу газеты «Московские ведомости», в которой сообщалось: «Нам пишут из Петербурга, что в прошлую субботу тамошний Английский клуб избрал графа Муравьева в свои почетные члены, а в эту субботу, 16 апреля, граф присутствовал там на обеде. Пили его здоровье, говорили речи... После обеда г. Некрасов прочел стихи, написанные им в честь графа Муравьева. В стихах выставлены заслуги графа, которому теперь «вся Россия бьет челом». Стихи оканчиваются просьбой: «виновных не щади» («Московские ведомости», 1866, № 83, 20 апреля, стр. 2).

Стр. 410. *...Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы...* — Дмитрий Федорович Самарин — общественный деятель — славянофил, сотрудник изданий И. С. Аксакова. Выпустил в свет собрание сочинений своего брата, Ю. Ф. Самарина (о нем см. ниже). Хомяковы — очевидно, подразумевается только один из Хомяковых — Алексей Степанович Хомяков (1804—1860), теоретик славянофильства, поэт и драматург. Аксаковы — см. выше, прим. к стр. 404).

Самарин-то — ведь он был в этом, в их Колыванском краю, но они небось его не завертели. Думали завертеть, да он им шиш показал. — Юрий Федорович Самарин (1819—1876), писатель и общественный деятель — славянофил, в 1847 году служил в Риге делопроизводителем комиссии, ревизовавшей городское самоуправление; в дальнейшем написал ряд работ, затрагивающих вопрос о русской политике в Прибалтике («Общественное устройство г. Риги», СПб. 1852; «Письма из Риги», 1849; «Окраины России», Берлин, 1868—1876). Относясь сочувственно к коренному населению края — латышам и эстонцам, Самарин выступал за уничтожение в Прибалтике немецкого влияния, противопоставляя всему немецкому — русское. К позиции Самарина Лесков относился отрицательно, расценивая ее как выражение «односторонности», «партийной несвободности, которая у Самарина иногда граничит с пристрастием... Нам кажется, — продолжает Лесков, — что если бы безусловное «предпочтение» получило теперь такое развитие, какое для него желал Ю. Ф. Самарин, то это привело бы совсем не к благоприятным для русских результатам» («Исторический вестник», 1883, декабрь, стр. 498, 499).

Стр. 413. *Гернгутер* — член религиозной секты «Богемские братья», основанной в XV веке в Богемии. Критически относясь к учению католической церкви, «богемские братья» желали возвращения к первым векам христианства. Почти вся секта была истреблена во время Богемской войны. В 1772 году граф Цинцендорф предоставил остаткам секты убежище в своем поместье Герренгут (или Гернгут) — отсюда новое наименование членов общины.

В Прибалтийском крае гернгутеры появились в первой половине XVIII века; они подвергались преследованиям правительства (см. «Правительственные меры по случаю появления в Лифляндии секты гернгутеров в 1743 г.» — «Русский архив», 1868, № 9). «Русские» гернгутеры исповедовали безбрачие, отвергали «спасение» одной верой, отказывались от присяги, военной и государственной службы и т. п.

Стр. 414. *...как оный венецианский мавр...* — Подразумевается Отелло, герой одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 418. *«Боже благослови, а я не виноват»* — неточная цитата из «Ревизора». У Гоголя: «Да благословит бог, я не виноват!» (д. IV, явл. 5).

Стр. 421. *«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»* — цитата из «Дворянского гнезда» Тургенева (эпилог).

Стр. 422. *...теориями метампсихоза и подумать, что в ней живет душа какой-то тевтобургской векши.* — Метампсихоз, или метемпсихоз (греч. metempsychosis — переселение душ) — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма, после его смерти, в другой. Векша — белка. Тевтобургский лес — лес в Германии, в котором произошло сражение между древними германцами и римскими войсками (см. примечания к рассказу «Пугало»).

Стр. 424. *...и между поэтами и писателями тоже многие, которые судьбу свою с немецкою женщиною связали...* — На немках женаты были М. В. Ломоносов, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев.

Низводилось это до самых столпов славянофильства. — По всей вероятности, здесь подразумевается Иван Сергеевич Аксаков, жена которого, Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта, была наполовину немкой (см. выше).

«Благословение непраздной и имущей во чреве; да разверзет ее ложесна отрок...» — См. библию, Исход, гл. XIII, ст. 2; евангелие от Луки, гл. II, ст. 23.

...всегда все выходило так хорошо и выспренно, как будто он Аксакову в газету передовицу пишет... — Подразумеваются передовицы из газет И. С. Аксакова «День», «Москва» и «Москвич». Значительная часть этих передовиц, написанных самим Аксаковым, была посвящена пропаганде русского влияния в остзейском крае и разоблачению националистических устремлений немцев.

Стр. 427. *Не верю наветам коварным* — цитата из романса М. И. Глинки «Уймитесь, волнения страсти», написанного на слова Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868).

Стр. 429. *...«Глас вопиет в пустыне: приготовьте путь богу»* — цитата из библии, Книга пророка Исаии, гл. XL, ст. 3.

Стр. 430. *Готфрид Бульонович* — каламбур. Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии (ок. 1060—1100), по преданию — главный начальник первого крестового похода (1096).

...а вышел фос-куш. — Fausse couche (франц.) — преждевременные роды.

Стр. 431. *И прочитает в немецком переводе из Гафиза: Тщетно, художник, ты мнишь, Что творений своих — ты создатель.* — Лесков ошибается: это не перевод из Гафиза, а строка из стихотворения А. К. Толстого.

...полечиться в Дубельне у Нордштрема, в его гидропатической лечебнице. — Нордштрем Христиан Андреевич (1817—1885) — доктор, статский советник (см. «Российский медицинский список на 1876 г., стр. 193). В одном из писем В. П. Боткина к И. С. Тургеневу есть следующая характеристика Нордштрема: «...самый дельный из всех докторов, каких я знал» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка 1851—1869», «Academia», М. — Л., 1930, стр. 113).

Дубельн, Майоренгоф — теперь Дубулты, Майори.

Захарьин, Григорий Антонович (1829—1897) — профессор Московского университета, директор факультетской терапевтической клиники, врач-практик, автор диссертации на тему: «Ученье о послеродовых заболеваниях».

Стр. 432. *Поланген* — теперь Паланга.

Стр. 442—443. *Было опять утро, и был вечер в день второй* — неточная цитата из библии (Книга первая Моисеева, Бытие, ст. 8).

Стр. 444. *Литке*, Федор Петрович (1797—1882) — граф, адмирал; исследователь Арктики и Тихого океана, президент Академии наук, основатель «Русского географического общества». В 1850—1856 годах был командиром порта и военным губернатором в Ревеле и в Кронштадте.

УМЕРШЕЕ СОСЛОВИЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889, стр. 561—574.

Рассказ впервые опубликован в «Книжках Недели», 1888, № 5.

Написанный на склоне лет, рассказ отражает детские и юношеские воспоминания Лескова. Подобно другим произведениям писателя, в которых также силен мемуарный элемент (см., например, рассказ «Грабеж»), «Умершее сословие» подчинено задаче добродушно-иронического изображения невозвратного прошлого города Орла.

Стр. 450. *Баранов,* Николай Михайлович (ум. в 1901 г.) — в 1880—1890-е годы нижегородский губернатор, затем сенатор. Один из современников отмечает, что Баранов принадлежал «к числу тех энергичных натур, которые обаятельно действуют на окружающих, в особенности если последние больше привыкли чувствовать, чем рассуждать». В действительности же Баранов был «одним из первых губернаторов, прибегавших к экстраординарной административной расправе не только при уличных беспорядках, не только при крестьянских волнениях... но и в виде наказания за отдельные проступки, подлежавшие судебному разбору» («Вестник Европы», 1901, № 9, стр. 375—376).

...рисовка, гарун-аль-рашидство... — Герой рассказа хочет подчеркнуть, что губернатор только притворяется терпимым и добрым. Гарун-аль-Рашид (763—809), калиф багдадский, в рассказах «Тысяча и одна ночь» представлен как добрый и справедливый государь. На самом же деле, особенно в последний период своей жизни, Гарун-аль-Рашид отличался деспотизмом и вероломством.

Во время моей юности, проходившей в Орле... — До десятилетнего возраста Лесков жил в имении Панино, в 1841 году поступил в орловскую гимназию. После смерти отца в 1847 году Лесков около двух лет служил в орловской палате уголовного суда, затем, в 1849 году, переехал в Киев.

...жил на высылке Афанасий Васильевич Маркович... — А. В. Маркович (около 1826—1867), украинский этнограф, муж известной писательницы Марко Вовчок, по делу «Кирилло-мефодиевского общества» был сослан в 1847 году в Орел, где служил помощником правителя канцелярии губернатора. О Марковиче Лесков писал впоследствии, что он, Лесков, «обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе» (А. И. Ф а р е с о в. Против течений, СПб., 1904, стр. 164). Маркович, в частности, способствовал возникновению у Лескова интереса к фольклору и украинской литературе.

Стр. 451. *«Марко Вовчок»* (псевдоним Марии Александровны Вилинской-Маркович, 1834—1907) — русско-украинская писательница, в шестидесятые годы близкая к революционной демократии. Ее творчеству посвящена статья Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья». Переводчиком ее произведений (с украинского на русский) был И. С. Тургенев. Марко Вовчок была хорошо знакома с Н. С. Лесковым.

«Костомаровская история». — Николай Иванович Костомаров (1817—1885) — историк, профессор, один из главных организаторов и руководителей тайного «Кирилло-мефодиевского общества», раскрытого царским правительством в 1847 году. Костомаров был со-

слан в Саратов под надзор полиции; освобожден от надзора в 1857 году.

Стр. 451. *Орловскою губернией во время ссылки Марковича правил не раз упоминавшийся в литературе князь Петр Иванович Трубецкой.*— О Марковиче см. выше, прим. к стр. 450. Орловский губернатор князь П. И. Трубецкой (1798—1871) неоднократно упоминается в ранее написанных произведениях самого Лескова (см. «Мелочи архиерейской жизни», рассказ «Грабеж» и статью «Русские деятели в остзейском крае» («Исторический вестник», 1883, ноябрь).

...много раз описанной непримиримой «войны» между ним и покойным орловским архиепископом Смарагдом Крыжановским... — Смарагд (Крыжановский, 1796—1863) был архиепископом в Орле с 1844 по 1858 год. Колоритные описания его «войны» с П. И. Трубецким см. в главе десятой «Мелочей архиерейской жизни» (наст. изд., т. 6). Об этой же войне Лесков упоминает в статье «Русские деятели в остзейском крае»: «Князь Петр Иванович Трубецкой, распоряжаясь в Орле... сражался с Смарагдом Крыжановским, которого звал «козлом», и не мог простить, что тот его в свою очередь называл «петухом» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, стр. 253).

...по случаю болезни Павского... — Герасим Петрович Павский (1787—1863), протоиерей, с 1826 года до конца 30-х годов был законоучителем будущего императора Александра II. Павский — переводчик «Слова о полку Игореве» и «Песни песней» Соломона.

Стр. 451—452. *Его «война» с Трубецким... не раз изображалась и в прозе, и в стихах, и даже в произведениях пластического искусства. (В Орле тогда были карикатуристы: майор Шульц и В. Черепов.)* — См. «Мелочи архиерейской жизни», глава десятая; там же характеристика майора Александра Христиановича Шульца. Сведений о В. Черепове и о том, кто изображал «войну» в стихах, обнаружить не удалось.

Стр. 452. *...Мордарий Васильевич Милюков (на дочери которого впоследствии был женат В. Якушкин)...* — М. В. Милюков был попечителем орловской гимназии. Вячеслав Евгеньевич Якушкин (1856—1912) — внук декабриста, пушкинист, один из основателей кадетской партии, земский деятель. Здесь Лесков, очевидно, путает факты: не В. Е. Якушкин был женат на дочери Милюкова, а М. В. Милюков был женат на Елизавете Дмитриевне Якушкиной, сестре декабриста.

Стр. 454. *Альберт Брольи* — Жан-Виктор-Альбер Брольи (герцог de Broglie) — французский публицист, историк, государственный деятель реакционного направления (1821—1901),

Реклю Жан Элизе (1830—1905) — французский географ и социолог, теоретик анархизма, бакунист, поплатившийся за участие в Парижской Коммуне пожизненным изгнанием из Франции.

Стр. 455. *Обер-полицеймейстер Беринг* — Алексей Александрович Тимашев-Беринг (1831—1863), московский обер-полицмейстер, жестокое обращение которого с московским населением (студентами и солдатами в особенности) было предметом неоднократных разоблачений в «Колоколе» Герцена (см., например, заметку «Москва» — «Колокол», № 6, 1 декабря 1857 года).

...приснопамятный инспектор гимназии Азбукин — Петр Андреевич Азбукин, инспектор орловской гимназии, в которой учился и Лесков. Азбукин любил истязать учащихся, этим только он и «приснопамятен» (см. «Житие одной бабы», наст. изд., т. I, стр. 384).

Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, рожденная Витгенштейн — Эмилия Петровна Трубецкая, урожденная Сайн-Витгенштейн.

Стр. 458. *...Александр Алексеевич Панчулидзев в Пензе, на которого дерзкою рукою «навел следствие» немножко известный в литературе своими «стансами» Евфим Федорович Зарин...* — Ссылка Лескова на «стансы» поэта и переводчика Байрона Е. Ф. Зарина (1829—1892), якобы напечатанные в «Библиотеке для чтения», неверна. Лескову эти «стансы» были хорошо известны, так как в течение ряда лет, живя в Петербурге, он находился в приятельских отношениях с семейством Зарина; но, очевидно, именно это обстоятельство «заставило» его забыть о том, что стихи Зарина в печати не появлялись. В Институте русской литературы АН СССР хранятся рукописные «Воспоминания» Е. И. Зариной-Новиковой, жены Зарина. Упоминаемые Лесковым стихотворения Зарина («стансы») приведены в приложениях ко II части этих воспоминаний. Названия этих стихотворений: «Александру Алексеевичу Панчулидзеву в 25-ю годовщину управления его Пензенскою губерниею» и «К портрету А. А. Панчулидзева». Остро-сатирические стихи Зарина распространялись по городу в рукописном виде. Одно из них (второе) было даже незаметно приложено к портрету губернатора, специально заказанному в Петербурге по случаю юбилея, и произвело необычайный эффект. В конце концов из-за преследований начальства во главе с губернатором Зарин был вынужден покинуть Пензу. А. А. Панчулидзев (1790—1867) был гражданским губернатором в Пензе с 1831 по 1859 год, беззастенчиво грабил казну, чуть ли не с каждого жителя вымогал взятки и т. п. В воспоминаниях И. Н. Захарьина «Белинский и Лермонтов в Чембаре» (см. «Исторический вестник», 1898, март, стр. 919), высказывается мысль, что Панчулид-

зев вынужден был уйти в отставку после ревизии, назначенной под влиянием разоблачений его деятельности в статье «Дневной грабеж в Пензе», напечатанной в «Колоколе» за 1858 год. Статьи с таким названием в «Колоколе» нет; возможно, Захарьин имел в виду статью «Танеевское дело» («Колокол», 1858, 1 ноября), в которой подробно описывается губернаторский грабеж, а сам губернатор Панчулидзев называется виновником «всех несправедливостей, делающихся в продолжении его 27-летнего в Пензенской губернии царствования...» О Панчулидзеве см. также в рассказе Лескова «Белый орел» (наст. изд., т. 7).

Стр. 459. *Арапов.* — Генерал-лейтенант Александр Николаевич Арапов (1801—1872) был пензенским предводителем дворянства в течение восемнадцати лет.

Маетности — поместья (от польск. majątek).

Стр. 460. *...Иван Иванович Фундуклей* (1804—1880) — киевский губернатор с 1839 по 1852 год. Основал в Киеве первую в России женскую гимназию («фундуклеевское училище»), принимал участие в составлении двухтомного «Обозрения Киева и Киевской губернии по отношению к древностям» (Киев, 1847) и «Обозрения могил, валов и городищ Киевской губернии» (Киев, 1848), изданном на его счет.

Стр. 461. *...напоминал известную киевлянам фигуру златоустовского дьячка «Котина»...* — См. «Печерские антики» Лескова и примечания к ним (наст. изд., т. 7, стр. 204, 535).

Стр. 462. *...покойным медицинским профессором Алекс. Павл. Матвеевым.*— Александр Павлович Матвеев (1816—1822), с 1874 года — профессор Киевского университета по кафедре акушерства.

ФИГУРА

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889, стр. 305—332.

Рассказ впервые опубликован в журнале «Труд», 1889, т. III, № 13, 1 июля, с подзаголовком: «Из воспоминаний о праведниках». В том же году он был издан отдельно (Фигура. Рассказ Лескова, М., 1889).

При сверке прижизненных изданий обнаруживаются любопытные несовпадения в тексте. Прежде всего интересна тенденция к сокращениям, проявленная Лесковым при подготовке отдельного издания. В отдельном издании, например, совершенно отсутствует большой последний абзац из главы одиннадцатой, в котором упоминается ненавистный Лескову Филарет Дроздов. Исключен он, надо

полагать, потому, что примерно в это время цензура не хотела пропускать в печать повесть Лескова «Гора», видя в изображенном там духовном лице сходство с Филаретом. Чтобы не давать лишнего и очень удобного повода для новых придирок, Лесков временно жертвует этим абзацем и снова вспоминает о нем лишь после преодоления цензурных затруднений с повестью «Гора». Точно так же повышенной осторожностью Лескова ввиду возможных цензурных нападок следует объяснить изъятие из отдельного издания некоторых других отрывков. Так, в самом начале главы четырнадцатой Лесков убрал рассуждение Сакена о мирском значении библии; в главе девятой исчезает рассуждение главного героя о Сакене и боге, которое при сложившихся неблагоприятных обстоятельствах могло показаться несколько фамильярным (см. в главе девятой: «Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать!»).

Другая категория разночтений может быть объяснена перепиской Лескова с Л. Н. Толстым. 31 апреля 1889 года Лесков писал Толстому: «Вчера я послал Вам под бандеролькой мой маленький новый рассказ *«Фигура»*. Он дозволен к печати и должен явиться в журнале «Труд»... Это тот самый рассказ о родоначальнике украинской штунды, о котором я писал Вам некогда, испрашивая у Вас совета, чтобы сделать из этого мал⟨енький⟩ роман. Не получив ответа, я скомкал все в форме рассказа, сделанного оч⟨ень⟩ наскоро. Тут оч⟨ень⟩ мало вымысла, а почти все быль, но досадно, что я из были-то что-то важное позабыл и не могу вспомнить. Кроме того — я Сакена никогда не видал и никаких сведений о его привычках не имею. Оттого, вероятно, облик его вышел бесхарактерен и бледен. Не могу ли я попросить Вас посолить этот ломоть Вашею рукою и из Вашей солонки? Не укажете ли в корректуре: где и что уместно припустить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, — я думаю, — знали и помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно, и корректуру с Вашими отметками мне возвратите; а я все Вами указанное воспроизведу и внесу в текст в отдельном издании. Буду ждать от Вас хоть одной строчки ответа...

Помогите мне выправить и дополнить *«Фигуру»* в отношении неизвестного мне Сакена» («Письма Толстого и к Толстому», М. — Л., 1928, стр. 74—75).

В ответе Л. Н. Толстого, к сожалению до нас не дошедшем, необходимые указания и советы были даны, так как вскоре за этим, 18 мая 1889 года, Лесков пишет Толстому: «Благодарю Вас, Лев Николаевич, за полученное мною письмо ваше о «Фигуре». Все, что

пишете, — верно: рассказ скомкан и «холоден», но я все видел перед собою опротивевшее пугало цензуры и боялся разводить теплоту. Оттого, думается, и вышло холодно, но зато рассказ прошел в подцензурном издании. «Тени на лицо Фигуры» нужны, и я их попробую навести при внесении рассказа в пятый том собр⟨ания⟩ моих сочинений, а под цензурою пусть уже хоть так бредет. Кое-что доброе рассказ все-таки внушает и в этом виде. Благодарю Вас и за то, что черкнули о Сакене: я о нем ничего не знал, кроме того, что написал. Оттиска «Фигуры» во второй раз не буду Вам посылать, чтобы не беспокоить Вас. С меня довольно того, что Вы мне сказали...» (там же, стр. 76).

Эти письма Лескова, содержащие конкретные сведения о замысле и истории создания рассказа, интересны еще в том отношении, что в них выражено твердое намерение учесть при дальнейшей работе над текстом указания и советы Толстого. В комментарии к первой публикации этих писем в издании «Письма Толстого и к Толстому», М., 1928, утверждается, что никакой работы в этом направлении Лесков не проделал. Но это не совсем так. Работа была проделана (правда, не очень значительная), и поскольку при этом были уточнены или дополнены только характеристики Сакена и «Фигуры», о которых идет речь в переписке Лескова с Толстым, можно догадываться, что в данном случае без прямого или косвенного влияния Толстого не обошлось. Лесков пишет Толстому, что он о Сакене *«ничего не знал, кроме того, что написал»*. Проходит совсем немного времени, и в текст рассказа вставляется деталь, казалось бы совсем несущественная, однако при этом Сакен представляется в новом освещении — как человек суетливо-неумный и во всяком случае лишенный самой элементарной проницательности. В главе двенадцатой (Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889) о Сакене говорится: «Адъютанты у него это знали, иные и сами тоже были богомолы, — *другие притворялись*. Он *не разбирал и всех* таких любил и поощрял». Слова, выделенные курсивом, отсутствуют в журнальном тексте и в отдельном издании. В главе тринадцатой также появляется несколько новых штрихов, подчеркивающих ханжескую набожность Сакена («Гордость! У бога все возможно! Гордость» и др.).

Более определенны поправки, внесенные в образ главного героя. Толстой советовал Лескову положить «тени на лицо Фигуры». Неясно, что́ именно хотел сказать этим Толстой; можно только констатировать, что, обратившись еще раз к этому герою, Лесков несколькими мимолетными штрихами как бы затушевывает его безупречную святость; внося в характеристику «праведника» Фигуры

некоторые черты, присущие обыкновенным смертным (вспыльчивость, непокорство, даже грубоватость), Лесков сообщает этому образу бо́льшую реальность, бо́льшую жизненную убедительность. Так, в главе тринадцатой Фигура следующим образом рассказывает о своей беседе с Сакеном:

«— Вон как!.. вон как у нас!.. Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает...»

В обоих предшествующих изданиях есть только первая фраза этого отрывка. Там же, в разговоре с командиром полка, Фигура то и дело говорит: «виноват...», «простите, но не мог иначе поступить...» и т. д. В последнем прижизненном издании на вопросы начальства Фигура отвечает коротко, твердо, решительно.

Критика указывала на известную связь этого рассказа с идеями Л. Н. Толстого. В разделе «Журнальное обозрение» газеты «Одесский вестник» за 1889 год (№ 253) было отмечено: «В тринадцатом нумере (журнала «Труд». — *А. Б.*) помещен живой рассказ г. Лескова — «Фигура». В рассказе, отличающемся обычною оригинальностью языка автора, передается о том, как один армейский офицер, не будучи в силах примирить между собою противоречия «культурной» жизни, обратился к «первобытной» жизни, то есть стал пахать землю. Так как г. Лесков описывает действительный случай из давнего прошлого, то оказывается, таким образом, что Фигура... на много лет опередил графа Л. Н. Толстого».

Стр. 463. *...известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский...* (1810—1856). — В 1845 году Журавский «переехал в Киев и поселился под самым городом, на взятом им в аренду хуторе» («Месяцеслов» на 1858 год, стр. 250). Там же говорится о том, что Журавский всю жизнь занимался выкупом на волю крепостных людей и завещал на это дело все свое небольшое состояние (см. также статью «На заре крестьянской свободы» — «Русская старина», 1897, № 10). В «Захудалом роде» Журавский упоминается как «сотрудник Сперанского по изданию законов и потом искреннейший аболиционист» (см. наст. изд., т. 5, стр. 162). У Лескова хранилась записка Журавского «О крепостных людях и о средствах устроить их положение на лучших началах» (там же). В последние годы жизни Журавский занимался статистикой. В наше время

о Журавском написана монография (М. В. Птуха. Д. П. Журавский. Жизнь, труды, статистическая деятельность, Госстатиздат, 1951).

Стр. 465. *...нехай так и личе...* — пусть так и будет.

Дружина — жена.

Стр. 467. *...один служил даже в университете профессором...* — Речь идет об Иване Мартыновиче Вигуре (1819—1856), профессоре государственного права в Киевском университете. В монографии «Н. С. Лесков», Гослитиздат, 1945, стр. 32, Л. Гроссман отмечает: «Знал Лесков и государствоведа И. М. Вигуру, учившегося в Берлине и Гейдельберге; по возвращении из-за границы молодой доцент заговорил было с кафедры о конституциях и парламентах, но, получив от начальства внушение, сосредоточился всецело на департаментах, орденах и мундирах. Одно время он преподавал русскую словесность».

Стр. 468. *...«праздники ваши ненавидит душа моя»...* — цитата из библии (Книга пророка Исайи, гл. 1, ст. 15).

Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще всё акафисты читает. — Подразумевается граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790—1881) — генерал, участник всех войн России с Наполеоном I, русско-персидской войны 1826—1827, русско-турецкой войны 1828—1829 годов, участник подавления польского (1831) и венгерского (1849) восстаний; в Крымскую войну (с ноября 1854) начальник севастопольского гарнизона, отличавшийся бездарностью и чрезвычайной набожностью, нашедшей сатирическое отражение в солдатских песнях, записанных Л. Н. Толстым.

Стр. 476. *...будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским — киевского ректора (Иннокентия Борисова).* — Филарет Дроздов (1783—1867) — см. выше, стр. 577. Николай Александрович Протасов (1799—1855), граф — генерал, член государственного совета, с 1833 по 1855 год — обер-прокурор святейшего синода. Иннокентий Борисов (1800—1857) — богослов, талантливый церковный оратор, собиратель старинных рукописей религиозного содержания, с 1830 года — ректор Киевской духовной академии. Андрей Николаевич Муравьев (см. выше) в течение ряда лет добивался назначения на должность обер-прокурора святейшего синода, а Филарет оказывал ему в этом противодействие (см. очерк Лескова «Синодальные персоны» — «Исторический вестник», 1882, ноябрь).

Аудитор — должностное лицо в дореволюционных военных судах, исполнявшее прокурорские обязанности.

Стр. 479. *Сирах велел «пещись об имени своем»...* — см. библию. (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. XLI, ст. 15.)

Стр. 480. *«Любяй наказует»* — цитата из библии (Книга притчей Соломоновых, гл. III, ст. 12).

Комиссариатская комиссия — учреждение, занимавшееся интендантским снабжением армии.

Цейхвартер — интендантская должность, нечто вроде каптенармуса (от нем. Zeug — материя, ткань, и Wart — хранитель, страж).

Стр. 483. *Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае...* — См. выше, о Д. Е. Остен-Сакене.

...туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, — клокочут зиждящие силы». — Лесков ошибается: это цитата не из Гете, а из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (У А. К. Толстого: «Где первообразы кипят, трепещут творческие силы»).

Стр. 485. *...суббота для человека, а не человек для субботы...* — евангелие от Матфея, гл. II, ст. 27.

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 1—102.

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1890, январь.

Замысел и история создания этого произведения, стоящего както особняком в творчестве писателя и, на первый взгляд, как будто бы и не связанного с русской жизнью, чрезвычайно интересны. Беглые упоминания о нем встречаются в письмах Лескова, относящихся еще к первой половине 1870-х годов. 5 июня 1871 года Лесков писал П. К. Щебальскому: «Смеха и горя» здесь продано все, что прислано, то есть 200 экз. Новая работа задумана как раз в этом же роде, и я к ней рвусь с жадностью. Это будут «Чертовы куклы» — все будет о женщинах. В приеме намерен подражать «Серапионовым братьям» Гофмана» («Шестидесятые годы», сборник под редакцией Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера, М. — Л., 1940, стр. 320). 3 августа 1875 года, раздраженный вынужденным общением с низкопоклонными и бездарными чиновниками из министерства народного просвещения, упивавшимися посылкой своему министру Д. А. Толстому льстивых поздравительных депеш, Лесков писал А. П. Милюкову: «Еще ли не деятели? А того нет, чтобы сказать графу о стоне, который стоит по всей стране за неразрешение переэкзаменовок за одну двойку... Кто же будет с ними? — Конечно, только они сами, пока их черт возьмет куда следует. Они мне и здесь и воду и воздух гадят, и на беду их тут много собралось.

В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде «Смеха и горя» — под заглавием *«Чертовы куклы»,* и за это я уже принялся» (А. В. Багрий. Литературный семинарий, Баку, 1927, стр. 26). В дальнейшем, однако, этот сатирический замысел значительно усложняется. В известных нам главах романа центральное положение занял вопрос о задачах и судьбах искусства.

Лесков всецело на стороне одного из героев романа, художника Мака, развенчивающего в спорах с Фебуфисом так называемое «искусство для искусства». В 1890-е годы, в беседе с критиком Протопоповым, Лесков говорил нечто подобное: «Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать все то, что я считаю за истину и за благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю: смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения... Я совершенно не понимаю принципа «искусство для искусства»: нет, искусство должно приносить пользу, — только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусства рисовать обнаженных женщин я не признаю... Точно так же и в литературе: раз при помощи ее нельзя служить истине и добру — нечего и писать, надо бросить это занятие» («Русские писатели о литературе», т. 2, Л., 1939, стр. 298).

В своей статье «Пути русского искусства» писатель А. В. Амфитеатров тесно связывает роман «Чертовы куклы» с русской действительностью; роман и изображенную в нем эпоху он характеризует следующим образом: «В последние годы царствования Александра I и при Николае I окрепающий абсолютизм, распространяя цепкую паутину на все отрасли русской жизни, не позабыл об искусстве и поработил его тем усиленным, казенным меценатством, которое покойный Лесков так хорошо начал было изображать в своем романе «Чертовы куклы», оставшемся недоконченным по цензурным причинам. Очень жаль это, потому что замысел Лескова был громаден, а эпоху и характеры он знал великолепно, чему и оставил свидетельство в «Захудалом роде». Роман этот можно считать предисловием к «Чертовым куклам». Уже в «Захудалом роде» начинают бродить по сцене: Бенкендорф, Орлов и прочие творцы солдатско-светской атмосферы, в которой, по воле Николая, разложились и вымерли остатки старой боярской Руси. «Чертовы куклы» направлены были специально против дворцовой дисциплины искусства. В трагикомедии своего Фебуфиса Лесков собирался совместить две печальнейшие драмы двух величайших художников николаевского века: рассказать, как исказился и разменялся на медную монету громадный талант К. П. Брюллова, и бросить свет на причины и

подробности смерти А. С. Пушкина» (Собрание сочинений А. В. Амфитеатрова, т. XXI, СПб., 1913, стр. 288—289). И далее Амфитеатров пишет: «Сам Брюллов, жизнь которого Лесков хотел сделать сюжетом «Чертовых кукол», оставался в глазах передовых, западнических групп николаевского общества не более, как «пухлою ничтожностью»: именно этою кличкою обозвал его Тургенев в «Дыме» устами Потугина. Примирение интеллигенции с Брюлловым создалось лишь на почве открытого бунта, каким, слишком поздно для себя, вспыхнул этот стихийный, но легкомысленный человек, весь сплетенный из таланта и тщеславия, против золотых цепей, наложенных на него меценатствующим деспотизмом» (там же, стр. 308—309).

Характеристика замысла и содержания «Чертовых кукол», данная Амфитеатровым (за исключением указания на якобы освещенные в романе «причины и подробности смерти А. С. Пушкина»), подтверждается обнаруженными в советские годы письмами Лескова и специальным в связи с этим исследованием С. Елеонского «Николай I и Карл Брюллов в «Чертовых куклах» Н. С. Лескова» («Печать и революция», 1928, книга восьмая). 14 июня 1889 года Лесков писал редактору-издателю журнала «Русская мысль» В. М. Лаврову: «В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а пожалуй, более всего роман листов в пятнадцать — семнадцать. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края, — по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. «Натурель» он был бы невозможен и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где, — в виде «найденной рукописи». Имена всё нерусские и нарочно деланные, вроде кличек. Прием как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности, люди сведущие поймут, что это не история. Главный ее элемент — серальный разврат и нравы серальных вельмож. «Борьба не с плотью и кровью», а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерии. Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, *«Чертовы куклы»*. Живу я в П⟨етер⟩бурге и никуда не еду, потому что все переделываю и переписываю роман и желаю его кончить к августу... Роман делится на четыре части, — каждая листа по 4 или немножко побольше или поменьше. Надеюсь, что это совершенно цензурно. Повторяю — роман по преимущ⟨еству⟩ *любовный,* и все дело в московских и петербургских великосветских «чертовых куклах» (курвах) изящной отделки под именами Помок, Недд, Делли и т. д., упадающих перед «герцогом», списанным известно с кого и не име-

ющим иного имени, как «герцог». Потом тут в гарнире Брюллов (Фебуфис) и tutti-frutti». Это все отдает то баснею и стариною, то вдруг хватишься и чувствуешь — ведь это что-то свое! Так все и написано — вроде «Серапионовых братьев» Гофмана» (там же, стр. 37—38). В письме к тому же лицу от 15 декабря 1889 года, объясняя задержку «Чертовых кукол» тем, что «работа вырастает, и ее оборвать невозможно», Лесков вновь напоминает, что в этом романе «колорит и типы верные действительности (история Брюллова). Того, кто называется «герцогом», я иногда называл «высочеством» — иногда «светлостью»... Прошу Вас оставить везде «светлость»... К июню роман может окончиться» (там же, стр. 38, 39). 10 мая 1891 года, то есть уже после того, как первая часть «Чертовых кукол» дважды появилась в печати, Лесков пишет письмо к Гольцеву, из которого видно, что роман к этому времени имел написанное продолжение в двух частях. «К осени, — писал Лесков,— хочу отделать и прислать Вам третью часть «Чертовых кукол». Вторая — неудобна, а третья — удобна и интересна. Поговорите же об этом в триумвирате и напишите мне. Я думаю, что это будет встречено с сочувствием. Их помнят и о них говорят. Напишите, как Вам это покажется. Так м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ и проведем все вразнобивку» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 408).

Это намерение, к сожалению, не осуществилось. Помешала или мучительная болезнь, изнурявшая писателя в последние годы его жизни, или боязнь преследований со стороны цензуры, которая могла в конце концов разобраться в подлинном содержании романа. Недаром же Лесков говорил о второй части, что она «неудобна»; очевидно, это неудобство было чисто цензурного свойства.

Сравнительно недавно в «Трудах Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова» (серия филологическая, выпуск 2, Баку, 1947) была напечатана статья «К вопросу о замысле романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы». Автор этой статьи, Н. С. Плещунов, пытается связать окончательное оформление замысла романа Лескова с кризисом в среде русских художников-передвижников, часть которых в определенный период временно отошла от принципов идейного реалистического искусства и поступила на службу в Академию художеств. Как отмечает Плещунов, эта временная измена у таких художников, как Репин, например, сочеталась «с защитой Брюллова, с попыткой его канонизации и с заявлением, что его, Репина, интересует только искусство для искусства» (там же, стр. 64). Этот и подобные этому факты позволяют, как полагает Плещунов, прийти к следующему выводу: «Лесков, воспользовавшись увлечением части художников творчеством

Брюллова, привел давнишний интересный материал из жизни этого замечательного мастера в движении, подчинив его идее борьбы за искусство «содержательное», искусство гуманное, и создал роман «Чертовы куклы», представляющий собой одну из попыток борьбы с буржуазным направлением в русском искусстве и имеющий обобщающее значение, а не изображающий только судьбу одного подлинного лица» (там же, стр. 70).

Конечно, роман Лескова — это не только изображение «судьбы одного подлинного лица», он безусловно имеет «обобщающее значение». Тем не менее попытка Плещунова связать историю создания «Чертовых кукол» с известными исканиями и колебаниями в среде передвижников вряд ли убедительна. Плещунов забывает о важных фактах, опровергающих его концепцию. Сссылаясь, например, на одно из писем Репина об искусстве, содержащее хвалебные отзывы о Брюллове, Плещунов не указывает, что это письмо датировано 23 октября 1893 года и напечатано в том же году в «Театральной газете» (см. «Воспоминания, статьи и письма из-за границы И. Е. Репина», СПб., 1901, стр. 76—83). Плещунов явно не учитывает того, что кризис в среде передвижников наметился лишь в начале 1890-х годов, когда первая часть «Чертовых кукол» уже давно была и написана и напечатана, а работа над романом в целом, надо полагать, прекратилась навсегда.

Стр. 490. *...похож на Луку Кранаха...* — Лукас Кранах (настоящая фамилия Мюллер, 1472—1553) — немецкий живописец и гравер. Писал большей частью на религиозные и мифологические темы.

Стр. 492. *...тогдашней папской столицы...* — С 756 по 1870 год столицей папской области — теократического государства во главе с папой — был Рим.

...тогда еще малоизвестный патриот Гарибальди... — Очевидно, речь идет о 1830-х годах — начале революционной деятельности Гарибальди (1807—1882).

Пармезанец — житель или уроженец города Пармы (северная Италия).

Стр. 496. *...неприличную картину, вроде известной классической Pandora.* — В греческой мифологии Пандора — имя прекрасной женщины, созданной Гефестом по повелению Зевса в наказание людям за грехи Прометея. Пандора была наделена многими пороками: льстивостью, коварством и т. д. Посланная на землю с сосудом, наполненным бедствиями, из любопытства раскрыла его, и бедствия распространились среди людей. Описание Пандоры см. в поэме Гесиода «Труды и дни». В истории живописи известна фреска фран-

цузского художника Миньяра (1612—1692), на которой Пандора изображена восседающей на облаке в окружении восхищенных богов. Фреска погибла в 1736 году во время частичной перестройки Версальского дворца.

Стр. 499. *«Бросься вниз»* — цитата из евангелия от Матфея, гл. VI, ст. 6.

Стр. 503. *Сиеста* (исп. siesta) — полуденный отдых, послеобеденный сон.

Стр. 505. *...был почтен большою дружбой Иоанна Великодушного... судьба обрекла его покровителя на заточение...* — В 1550 году Лукас Кранах добровольно отправился в Аусгбург, где был в плену у католиков вождь протестантской армии, курфюрст саксонский Иоганн-Фридрих I Великодушный (1503—1554) и в течение двух лет (а не пяти, как пишет Лесков) разделял его участь.

Муштабель — длинная палочка, употребляемая художником при работе над картиной (для опоры правой руки).

Стр. 512. *Вы поклянитесь на своих мечах!* — цитата из «Гамлета» (см. д. 1, сц. 5).

Стр. 515. *Шнель-клёпс* (нем.) — рубленое мясо.

Стр. 518. *Кроки* (от франц. croquis) — рисунок, набросок карандашом.

Стр. 524. *Альмавива* — в первой четверти XIX века мужской широкий плащ особого покроя.

Стр. 531. *Мастихин* (греч.) — нож для снятия красок на палитре.

Стр. 537. *...европейский восторг при появлении картины Каульбаха «Сражение гуннов с римлянами»...* — Речь идет о монументальной картине Вильгельма Каульбаха (1805—1874), написанной в 1834—1837 годах. Картина положила начало европейской известности художника.

...Фебуфис начал записывать огромное полотно, на котором хотел воспроизвести сюжет еще более величественный и смелый, чем сюжет Каульбаха... — В связи с этим Амфитеатров отмечает: «Лесков все в тех же «Чертовых куклах» остроумно и тонко передает, как Николай думал брюлловским «Последним днем Помпеи» послать победоносный вызов просвещенного абсолютизма революционной романтике, воплощенной в «Битве гуннов» Каульбаха» (Собрание сочинений А. В. Амфитеатрова, т. XXI, СПб., 1913, стр. 294—295). Картина Брюллова «Последний день Помпеи» была закончена в 1833 году; в следующем году она демонстрировалась на выставках в Милане, Париже и Петербурге. Таким образом, если Лесков в лице Фебуфиса изображает Брюллова, следует констатировать, что в данном случае он нарушает историческую последовательность

событий: картина «Последний день Помпеи» написана раньше «Битвы гуннов» Каульбаха. В действительности Брюллов в этот период работал над заказанной Николаем I картиной «Осада Пскова», оставшейся незаконченной (см. «Печать и революция» 1928, № 8, стр. 51).

Стр. 538. *Буколика* — пастушеская поэзия у древних, отличавшаяся идиллическим характером.

Стр. 539. ...*уязвлен этим «артиклем»* — то есть задет содержанием этой статьи (от франц. article — статья).

Топчак — часть молотилки, приводимая в движение ногой.

Стр. 544. ...*как сто тысяч братьев.* — Перифраза из «Гамлета» (д. V, сц. 1). Гамлет говорит, обращаясь к Лаэрту:

Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их — не чета моей.
Скажи, на что ты в честь ее способен?

(Перевод Б. Пастернака)

...*она в миньонном роде...* — здесь в смысле миниатюрная, изящная, милая (от франц. mignonne).

Стр. 553. *Собить* — прочить, припасать.

Герцог Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и реакционный деятель, победитель Наполеона под Ватерлоо (1815).

Стр. 554. *Агенда* (исп. agenda) — записная книжка.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 8

Редактор А. Бихтер
Художественный редактор
Л. Чалова
Художник Г. Епифанов
Технический редактор
Л. Крючкина
Корректоры А. Большаков
и Л. Лапшина

Подписано к печати 20/III 1958 г.
Бумага 84 × 108$^{1}/_{32}$ — 19,88 печ. л. =
= 32,59 усл. печ. л. 32,65 уч.-изд. л.
Тираж 350 000 экз.
Заказ № 1070. Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр. 28

Ленинградский Совет народного
хозяйства. Управление поли-
графической промышленности.
Типография № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

